

СТАНИСЛАВ ГРАНИН



ТРОФЕЙНАЯ РОТА БЕРЁМ ВСЁ!



18+

ТОМ 1

Станислав Гранин

Трофейная рота. Берём всё!

«Автор»

2026

Гранин С.

Трофейная рота. Берём всё! / С. Гранин — «Автор», 2026

Илья Сергеевич двадцать лет вытаскивал разбитые фуры. Одна роковая ночь — и вместо современной трассы он приходит в себя 25 июня 1944 года в теле старшего лейтенанта Алексея Ракитина. Под его командованием восемнадцать бойцов, два старых ЗИСа и задача отремонтировать всё, что ещё можно вернуть на дорогу. Наступление идёт на запад, обочины полны брошенной немецкой техники, а опыт эвакуаторщика оказывается ценнее любых учебников. Каждый исправный грузовик может спасти людей, подвезти боеприпасы и приблизить Победу. Значит, нельзя бросать ни машину, ни человека. Так начинается история трофейной роты — странного хозяйства на колёсах, где механики совершают невозможное, водители приручают чужие моторы, а команда «Берём всё!» становится не жадностью, а принципом. Впереди лесные дороги Белоруссии, рискованные находки, немецкие засады и работа, которую умеет делать только он.

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	203
Глава 3	211
Глава 4	218
Глава 5	225
Глава 6	232
Глава 7	239
Глава 8	246
Конец ознакомительного фрагмента.	253

Станислав Гранин

Трофейная рота. Берём всё!

Глава 1

Последнее, что я видел в той жизни, был трос.

Хороший трос, двадцать четыре миллиметра, новый — я сам принимал его у поставщика в апреле и сам же ругался, что дорого. Он шёл от лебёдки моего КамАЗа к раме фуры, которая лежала в кювете на боку, как большая усталая корова, и по нему, натянутому до звона, бежали капли дождя. Ночь, трасса, мокрый асфальт, оранжевые маячки, Витька в кабине на лебёдке, я снаружи с рацией — за двадцать лет я привык, что самое важное видно только снаружи. Фура пошла. Пошла не так, как я хотел: не за раму, а всем боком, и я шагнул вперёд посмотреть, что там с крюком.

Всё. Дальше не было ничего — ни тоннеля, ни света, ни, как пишут в книжках, жизни перед глазами. Была темнота, короткая, как провал между двумя кадрами, а потом кто-то тряс меня за плечо и звал не моим именем.

— Палыч! Алексей Палыч, слышишь меня? Командир!

Голос был громкий, низкий, с хрипотцой, и я его знал. Вот что было странно: я знал его раньше, чем открыл глаза. Знал, что голос принадлежит человеку по имени Фёдор Буров, старшему сержанту, которого все зовут Фролом, что Фролу тридцать четыре года и что он мой заместитель во всём, где стреляют. Откуда я это знал — не спрашивайте. Знание лежало во мне так же просто, как таблица умножения, и так же не помнило, когда его туда положили.

Я открыл глаза.

Надо мной было небо, очень чистое, раннее, сосновые верхушки по краям и два лица. Одно широкое, скуластое, с рыжеватой щетиной и злыми от беспокойства глазами — Фрол. Второе спокойное, выбритое, с прищуром человека, который смотрит не на тебя, а в тебя: Устинов, Валентин, санинструктор, старший сержант. Его пальцы лежали у меня на шее под челюстью и считали.

— Живой, — сказал Устинов не мне, а Фролу. — Пульс ровный. Алексей Палыч, на меня смотри. За пальцем — глазами, головой не крути.

Я смотрел глазами. Палец ходил вправо-влево, глаза за ним ходили, и я, пока они ходили, успел подумать очень много всего сразу и ничего толком.

Руки были не мои. То есть мои — они слушались, — но чужие: моложе, суше, с другими костяшками, с чёрной каёмкой под ногтями — руки, которые вчера что-то крутили. На мне была гимнастёрка, выгоревшая до цвета сухой травы, с погонами, и на погонах — я скопился, насколько позволял палец Устинова — три звёздочки и один просвет. Старший лейтенант. Ракитин Алексей Павлович, двадцать семь лет. Это тоже лежало во мне готовое, как лежат в бардачке документы на машину: имя, звание, кто такие эти люди, что я ими командую, — а вот что было вчера вечером и позавчера, помнилось смутно, кусками, чужой скороговоркой. Зато другое я помнил отлично. Что меня зовут Илья Сергеевич, что мне сорок три, что у меня фирма из четырёх эвакуаторов и восьми человек и что в субботу — в субботу по моему счёту — я собирался наконец поменять резину на своей машине.

Между этими двумя знаниями не было ни ссоры, ни спора. Они просто лежали рядом, как две карты в одном планшете, и мне предстояло ездить по обеим.

— Голова? — спросил Устинов. — Тошнит? Пальцы сожми. Теперь ноги. Сядь.

Я сел. Земля была песчаная, с хвоей, под ладонью попался сосновый корень. Голова не болела. Не тошнило. Всё двигалось. Устинов ощупал мне затылок, заглянул в глаза ещё раз,

потрогал ключицы, как трогают на рынке, и, кажется, остался недоволен тем, что придраться не к чему.

— Ран нет, — сказал он. — Крови нет. Шишки нет. Но я тебя, Алексей Палыч, сегодня на глазу подержу, и ты мне не возражай.

— Не возражаю, — сказал я, и голос тоже оказался чужой — выше моего, с другой посадкой. — Что было?

— Ты из кабины вылез, — сказал Фрол. — Пошёл к Князеву. Потом сел на подножку. Потом лёг. Минуту лежал, я думал — всё, ушёл командир, а мы тут стой.

Он сказал это сердито, по-хозяйски, как говорят про сбежавшего пса, и я понял, что он испугался и что признаваться в этом не станет. Мне это понравилось. Мне вообще, как ни странно, нравилось всё, что я видел, и я сам себе удивился.

Я поднялся. Фрол на всякий случай держал руку у моего локтя, не касаясь.

Мы стояли в дорожном кармане — так я бы назвал это на своей работе: расширение у обочины, где лесная грунтовка выходит на большак, где когда-то, наверное, разворачивались телеги с сеном, а теперь стояли две трёхтонки. Две. ЗИС-5, оба старые, довоенные, с железными кабинами, один с помятым правым крылом. Первый стоял ровно, носом к дороге. Второй, в десяти шагах, с открытым капотом, и над его радиатором стоял пар — не бил, а стоял, как дыхание на морозе, редая.

Вокруг были люди. Я насчитал их машинально, как считаю на месте всё, что движется и стоит: у капота — двое, один совсем седой, в фуражке, второй в пилотке, помоложе; у первого грузовика — водитель на подножке, курит, тонкий, с быстрыми глазами; двое в кузове разбирают что-то; у кромки леса — цепочка стрелков, лежат, смотрят в сторону, откуда через сосны выходила боковая дорога, и ручной пулемёт на сошках, знакомый, дегтярёвский, с плоским диском сверху. Восемнадцать человек вместе со мной. Я знал это число, как знал имена, — и тут же проверил его глазами, потому что привык проверять.

Мир пах сосной, бензином и горячей водой из-под капота. Где-то далеко, за лесом, на западе, что-то глухо бухало — не рядом, не по нам, но ровно, с промежутками, как работает большой завод. Двадцать пятое июня сорок четвёртого. Это число во мне тоже было. Белоруссия. Наступление. Я знал, чем оно кончится, — знал так, как знает любой человек, учившийся в школе: Бобруйск, Минск, а через год без малого — Берлин. Знание было большое, круглое и совершенно бесполезное для человека, у которого посреди леса закипел грузовик.

Потому что вот это я знал по-настоящему. Всем собой, обеими жизнями.

— Дед! — крикнул я седому у капота, и прозвище пришло само, раньше имени. — Что там?

Седой обернулся. Это был Дед — техник-лейтенант Григорий Шестаков, сорок восемь лет, старший механик, — и я увидел, что он рад, что я стою, и что рад он сдержанно, потому что сейчас у него есть дело поважнее меня.

— Радиатор, — сказал он. — Нижний бачок, шов. Старая пайка, ещё та, заводская. Она у него давно потела, я говорил. А тут дорога, тряска — и потекла. Василий молодец, вовремя заглушил.

Василий — старшина Князев, Князь, тридцать один год, водитель второго ЗИСа — стоял тут же, рядом с Дедом, и я увидел, что он ждал именно этих слов и что теперь, когда они сказаны при всех, он может позволить себе скромность.

— Да я как пар увидел, — сказал он. — Он не сразу пошёл. Сперва запах — вода горячая, знаете, сладкий такой. Я думал, показалось. Потом смотрю — из-под капота. Ну я и заглушил. Не гнал.

— Не гнал, — подтвердил Дед. — Блок целый. Головка целая. Насос я покрутил — ходит. Я, Алексей Палыч, в сорок первом видел, как человек с такой течью решил дотянуть до своих.

Восемь километров дотянул. Мотор потом можно было в поле оставлять, вместе с человеком. А тут — стоит, живой, только пить ему нечего.

— Запаять можем?

— Чем? — Дед посмотрел на меня почти с обидой, и я понял, что задал вопрос, на который он сам себе ответил уже раз десять. — Лампы нет. Олова нет. Кислоты нет. Большой комплект не с нами, ты сам знаешь. Здесь у меня — вот. — Он показал на второй грузовик, на его кузов, где два человека, те самые механики, что-то передвигали. — Ключи, домкрат, съёмник, две ножовки, мелочь. Ручной инструмент. Три ящика. И вот эти три ящика, — Дед повысил голос, чтобы слышал и Фрол, и вообще все, — я здесь не оставлю. Хоть режьте.

Я ему верил. Я верил ему так, как верил своему Витьке, когда тот говорил, что стропа не выдержит, — и я уже видел задачу целиком, всю, разом, как вижу её всегда: что стоит, что едет, что надо перетащить и куда.

Первый ЗИС — исправный. В кузове — люди, и их много. Три ящика инструмента Деда — тяжёлые, я знал, что тяжёлые, я такие ящики таскал. Восемнадцать человек и три ящика в один кузов трёхтонки, у которого борта по пояс, не входили. Входили либо люди, либо ящики, либо половина тех и половина этих. Оставить ящики — Дед ляжет на них. Оставить людей — нет, это не обсуждалось даже во мне.

— Фрол, — сказал я. — Где мы?

Он посмотрел на меня чуть дольше, чем надо. Он знал, что я это знаю. И всё-таки ответил — прямо, как отвечают на вопрос, а не на странность:

— Километр до нашей точки, вон по дороге. Там ремонтники, там наши. Впереди наши прошли ещё вчера — большак чистый. А вот это, — он кивнул на боковую дорогу, что выходила из сосен, — никто не чистил. Оттуда что хочешь может выйти. Я потому и людей положил.

— Правильно положил.

— Да я знаю, что правильно, — сказал Фрол, и в глазах у него мелькнуло то, что я потом видел у него много раз: удовольствие человека, которому нравится, когда его считают правым. — Ты мне скажи, что делать будем. Ящики или люди?

Я открыл рот — и не ответил.

Потому что из сосен, оттуда, куда смотрели стрелки, послышался мотор.

* * *

Он шёл не быстро. Шёл на второй, натужно, с подвыванием — так идут по лесной колее, когда водитель боится сесть на брюхо и держит газ ровно. Стрелки у кромки замерли. Фрол уже лежал рядом с пулемётчиком, и я не заметил, когда он туда успел.

Я не лёг. Я присел за передним колесом первого ЗИСа и смотрел.

Сначала показалась морда — тупая, с решёткой, с двумя круглыми фарами в защитных кожухах, серая, пыльная. Потом кабина. Потом тент над кузовом. Немецкий грузовик, «Опель», трёхтонка, — я знал эту машину, как знают старых знакомых с фотографий: «Блиц», рядная шестёрка, бензин, задний привод. Он вылез из леса на своей тяжёлой второй передаче, выкатился в карман — и встал.

Встал он потому, что ехать вперёд ему было некуда.

Карман у выхода боковой дороги был завален. Я это увидел ещё когда осматривался, но не думал, а теперь думал очень быстро: разбитая повозка с задранной оглоблей, кверху колёсами, лошадь рядом — уже вздувшаяся, на неё старались не смотреть; сваленная сосна, прикрывшая полдороги, с обрубленными кем-то ветками; и ещё какая-то телега с сорванным колесом, прямо посередине. Кто-то тут дрался вчера, или позавчера, или отходил в спешке, и бросил всё, как бросают. Немец, выходя из леса, метил на большак, а перед ним, между ним и большаком, стояла эта куча, и объехать её носом вперёд можно было, только сползая в кювет, а кювет здесь был глубокий, с водой, с чёрным торфяным краем — я видел, как под ним блестело.

А позади него, за его правым задним колесом, было чисто.

Вот это я увидел сразу и наверняка, и от этого у меня, честно скажу, ёкнуло — не страхом, а тем, что бывает, когда работа сама показывает, как её сделать. Между кормой «Опеля» и большаком в сторону нашей точки, туда, где стояли наши ЗИСы, лежал ровный твёрдый песок с корнями, метров пятнадцать, потом обочина, потом дорога. Сдать назад с небольшим доворотом, обойти повозку кормой, выйти на обочину — и он на большаке. Он бы и сам, наверное, это сделал, если бы у него был человек снаружи. Но снаружи у него никого не было, а в кабине двое смотрели вперёд, на кучу, и на наши грузовики, и не знали, что делать, — я это видел по тому, как машина стояла: с работающим мотором, чуть подрагивая. Водитель перевёл рычаг в нейтраль и снова уставился на завал.

Они нас увидели. Не могли не увидеть.

— Фрол, — сказал я негромко и понял, что он слышит, потому что он всегда слышал. — Целая машина. Исправная. Ей ехать некуда, кроме как назад. Берём целую.

Фрол не обернулся. Он смотрел на «Опель», на кузов, и я понял, что он считает.

— В кабине двое, — сказал он так же негромко. — В кузове — тент откинут сзади, вижу троих, может, четверо. Винтовки. У того, что справа в кабине, — не винтовка. Автомат или ракетница, не видно.

— Что за ними, по той дороге?

— Не знаю. Может, ничего. Может, колонна. Этих — возьмём. За тех, кого не вижу, не ручаюсь. — Он помолчал одну секунду. — Ты хочешь машину живую. Тогда по кабине не стрелять. Ты это понимаешь?

— Понимаю.

— Тогда так.

И дальше он говорил уже не мне.

— Дегтярёв — на дорогу, на ту, лесную. По кабине не бить. Если из леса кто выйдет — ваши. Исаев, — это ефрейтору, крепкому, спокойному, что лежал во втором ряду, — трое твоих — правым краем, вдоль кювета, к кузову. Стрелять по кузову, если они первые. Я — к кабине, слева. Профессор! — Сержант с худым молодым лицом вскинул голову из-за колеса второго ЗИСа. — Крикни им по-ихнему. Чтоб выходили и бросали. Один раз. Больше не кричи.

Профессор — сержант Пётр Зорин, двадцать три года, радист, у которого не было радиостанции, и человек с немецким языком — набрал воздуха и крикнул. Крикнул он хорошо: громко, зло и коротко, так, что даже я понял смысл без слов: бросить оружие, выходить, руки. Голос у него при этом сорвался на последнем слогe, и он, я видел, сам поморщился от досады.

Немцы не вышли.

Из кузова кто-то выстрелил. Один раз, в белый свет, куда-то поверх наших машин, — и я до сих пор думаю, что стрелял он не по нам, а от страха, но какая разница. Пулемёт у леса дал короткую — не по кабине, по кузову, по тенту, сверху, — и в кузове закричали. Исаев с тремя стрелками уже бежали правым краем, пригнувшись, вдоль кювета, и я видел, как один из них на бегу передёрнул затвор. Фрол пошёл слева — не побежал, пошёл, быстро, с ППШ у плеча, и, дойдя до кабины, ударил прикладом в стекло водительской дверцы, не разбивая, — просто чтобы стало громко.

В кабине водитель бросил руль и поднял руки. Второй, справа, дёрнулся вниз, к ногам, — и Фрол, не стреляя, распахнул дверцу и вытащил водителя наружу за ворот, а Исаев с другой стороны, с подножки, ткнул стволом в кабину и что-то сказал коротко, по-русски, и тот, справа, тоже поднял руки. Из кузова прыгнули на землю двое — с руками наверху, без оружия, один прихрамывая. Третий лежал в кузове и не двигался.

Всё это заняло меньше времени, чем я рассказываю.

И вот тут-то оно и началось — то, ради чего я, если честно, и полез из-за колеса.

Потому что грузовик был наш. Он стоял, работая, с открытой водительской дверцей, с урчащей на холостых шестёркой, и всё, что от него требовалось, — это выехать оттуда, где он стоял, туда, где стояли мы. Пятнадцать метров назад. Мимо повозки, не задев кормой оглоблю, не съехав правым задним в чёрный кювет, не сев на корень. Обычная работа. Я такую работу делал сотни раз — не за рулём, снаружи, руками, потому что снаружи видно, а изнутри нет.

— Артист! — крикнул я, и водитель первого ЗИСа, тот, тонкий, с быстрыми глазами, что курил на подножке, бросил окурочку раньше, чем я договорил. — В кабину. На месте не трогай — жди руку.

Семён Лисицын, ефрейтор, двадцать девять лет, водитель, до войны — я это знал так же, как знал остальное, — работал в гастрольной бригаде. Артист. Он пробежал мимо меня, весь подобранный, лёгкий, и вскочил в чужую кабину так, будто в ней родился, и я слышал, как он там, внутри, что-то сказал самому себе — не разобрал что, но интонация была восхищённая.

Я обошёл машину сзади. Оглобля от повозки торчала как раз на уровне заднего борта, левее, и её надо было обойти правым доворотом; справа шёл кювет, и до него от колеса было меньше метра. Между этим и тем — коридор. Я встал в него, лицом к кабине, так, чтобы Артист видел меня в зеркало, — зеркало у «Опеля» было, круглое, на кронштейне, слава богу, — и поднял руку.

— Задний! Тихо-тихо. Пошёл.

Он пошёл. Тихо, ровно, — хорошо пошёл, я сразу услышал, что человек за рулём умеет слушать ногой, — и корма поплыла на меня. Я вёл его ладонью: чуть правее, ещё, стой, ещё чуть, — и корма прошла мимо оглобли в ладони от борта, и я услышал, как Артист в кабине выдохнул.

И в это время справа, из-за перевёрнутой повозки, из-под лошади, где никто не мог лежать, потому что там нельзя было лежать, поднялся человек.

Я его увидел краем глаза — серое, шевельнувшееся, — и успел подумать только одно слово, и слово это было не «немец», а «стой», и я его крикнул: «Стой!» — Артисту, чтобы не сдал в кювет, если дёрнется. Артист встал как вкопанный. А человек из-за повозки поднял винтовку — медленно, я видел, как медленно, — и не выстрелил, потому что Фрол, стоявший у кабины с той стороны, выстрелил первым. Одну очередь, короткую. Человек сел обратно за повозку и больше не поднимался.

— Этот не с машины, — сказал Фрол ровно, не мне. — Лежал там до нас. Исаев! Повозку — проверить. Кювет — проверить. Всё, что лежит, — проверить.

— Есть.

Я стоял с поднятой рукой. Рука не дрожала, и я ей, честно говоря, гордился, потому что внутри у меня всё дрожало очень заметно, и хотелось сесть. Но садиться было нельзя, потому что грузовик стоял поперёк коридора, в полуметре от кювета, и работа была не сделана.

— Артист, — сказал я, и голос вышел нормальный. — Слышишь меня? Задний. Тихо. Пошёл.

И он пошёл.

Корма прошла кювет, вышла на песок, потом на обочину, потом задние колёса встали на укатанный большак, я довёл его ещё на корпус, с доворотом, чтобы встал вдоль дороги, и поднял обе ладони: стоп. «Опель» стал. Дизелем он не пах — бензином, горячим маслом, немецким пыльным брезентом. Он стоял на нашей дороге, чуть наискось, кормой к нашей точке, рядом с нашими ЗИСами, и был целый.

Вот это я и запомнил из того утра лучше всего. Не выстрелы. То, что чужой исправный грузовик стоит у своих.

* * *

Дальше всё делалось разом, и я расскажу по порядку, хотя порядка в этом было немного.

Исаев — Яков Исаев, ефрейтор, двадцать пять лет, из тех спокойных людей, которых сразу слушаются, — принял пленных. Их было четверо живых: водитель, тот, что сидел справа, и двое из кузова, один с рассечённой голенью, — он хромал, и Устинов, не спрашивая никого, уже шёл к нему с сумкой. Двое остались лежать: тот, в кузове, и тот, за повозкой. Пленных обыскали, сложили их винтовки и один короткий автомат в сторону — Фрол с ними разобрался быстро и без интереса: наша служба примет, сдадим, — и посадили в тень у переднего ЗИСа, под двух стрелков. Никто их не трогал, и они, поняв это, стали смотреть уже не в землю, а на «Опель», и я понимал их взгляд: машина была их, и вот она стоит у других.

Профессор вытащил из кабины планшет с бумагами — какие-то листки, путёвка, наверное, что-то с печатью — и тут же хотел читать, стоя, на солнце, и я сказал: потом. Он посмотрел на меня с таким выражением, будто я отобрал у него завтрак, но листки убрал.

— Потом, Пётр, — сказал я. — На точке. Сядешь и прочтёшь как следует.

— Там может быть, откуда они, — сказал он.

— Может. И через час там будет то же самое.

Он кивнул. Он был прав, и я был прав, и мы оба это знали, и это было хорошее чувство.

А Дед уже был в «Опеле». То есть не в кабине — под капотом. Капот у «Блица» открывался с боков, створками, и Дед откинул одну и стоял, засунув голову внутрь, и молчал. Молчал он так долго, что Князь, подошедший к нему, успел два раза открыть рот и два раза закрыть.

— Ну, — сказал наконец Дед, вылезая, и я увидел, что он старается говорить строго. — Шесть цилиндров. Три с половиной литра, что ли, — потом посмотрим. Масло есть. Вода есть, — он произнёс это с явным нажимом и покосился на Князя, и Князь сделал вид, что не понял. — Ремень целый. Стартер крутит. Резина... — Он обошёл машину, пнул носком сапога заднее колесо, присел, посмотрел на рессоры. — Резина хорошая. Лучше нашей. Гриша, — сказал он сам себе вслух, — что ты хочешь, у них война пятый год, у нас четвёртый, и резина у них лучше. Не обижайся.

— Ехать может? — спросил я.

— Ехать? — Дед посмотрел на меня с удивлением, как на человека, который спросил, умеет ли летать птица. — Она пришла своим ходом, Алексей Палыч. Она ехать может. Я тебе другое скажу. — Он положил ладонь на серое крыло, и я увидел, что рука у него лежит там не как у механика, а как у человека, который гладит. — Она может ехать хорошо. Я таких не водил. Но я на неё смотрю, и мне уже интересно.

— Потом, Дед.

— Знаю, что потом. — Он вздохнул. — Всё у тебя потом. Ящики грузим?

— Ящики грузим.

Вот тут мы и сделали то, ради чего всё было. Три ящика Деда — тяжёлые, я угадал, — сняли с борта второго ЗИСа, пронесли двадцать шагов и поставили в кузов «Опеля», к переднему борту, где они не будут ёрзать. Кузов у него был почти пустой — несколько ранцев, пустые ящики, свёрнутый брезент; Князь всё это осмотрел глазами так, как осматривает хозяйка чужую кухню, и ничего пока не сказал, но я видел, что он запомнил. Ящики ставили Дед с механиками, и Дед каждый ящик, поставив, тронул рукой, как трогают спящего ребёнка, — целы ли. Потом в кузов сели пленные — четверо, на пол, у заднего борта — и Исаев с двумя стрелками против них, и Устинов рядом с хромым. Остальное место — вот оно, было теперь место, — под людей.

И тут вышел спор. Хороший спор, я такие люблю.

Артист сидел в кабине «Опеля» и не выходил. Он держал руль двумя руками, и лицо у него было такое, будто ему подарили эту машину лично, с ключами, и он пробует, как она сидит. Он потрогал рычаг передач. Он нажал педаль сцепления и отпустил. Он посмотрел на щиток, где были круглые приборы с немецкими надписями, и я видел, как он шевелит губами, читая то, чего прочесть не может.

— Товарищ старший лейтенант, — сказал он, высунувшись, и голос у него был неописуемый. — Вы это слышали? Как она у меня сдавала? Вы слышали — она же поёт. Наш ЗИС — он кашляет. Он уважаемый человек, наш ЗИС, я его люблю, но он кашляет. А эта — поёт. Пять передач. Пять! У меня руки уже её знают. Я на ней десять шагов проехал, и у меня руки её знают.

— Красиво, — сказал я, и это была правда. — Слезай.

— Товарищ старший лейтенант...

— Семён. Кто поведёт первый ЗИС?

Он открыл рот. Закрыл. Посмотрел через дорогу на свой ЗИС, старый, с помятым крылом, и в этом взгляде было столько, что я не стал бы это словами описывать: там был и упрёк, и нежность, и понимание того, что две машины одновременно один человек не поведёт, — и он всё это понял раньше меня и только тянул, потому что хотел, чтобы кто-нибудь ещё увидел, как ему хорошо.

— Суров, — сказал я. — Гаврила. Иди сюда.

Гаврила Суров, рядовой, двадцать четыре года, водитель — второй водитель нашей группы, тот, что ехал до этого в кузове, потому что руля ему не досталось, — подошёл. Он был некрупный, плотный, с медленным круглым лицом, и по нему ничего не было видно, кроме того, что он ждёт.

— Принимай.

Он не сказал «есть». Он посмотрел на «Опель», потом на Артиста в кабине, и стало ясно, что он тоже давно смотрел на эту машину, только молча.

— Гаврила, — сказал Артист, не вылезая, и голос у него стал доверительный, тёплый, как у человека, который сейчас расскажет тебе что-то важное про жизнь. — Ты понимаешь, что ты принимаешь? Это не грузовик. Это, я тебе скажу, скрипка. Её надо чувствовать. Её надо слушать. Ты когда-нибудь скрипку слушал?

— Нет, — сказал Суров.

— Вот. А я в бригаде два года со скрипачом ездил. Так что я...

— Семён, — сказал Суров. — Вылезай. Мне ехать.

Это было сказано без всякой злости, просто, как говорят «подвинься», — и Артист от неожиданности рассмеялся. Он рассмеялся честно, с удовольствием, откинув голову, и вылез, и хлопнул Сурова по плечу, и сказал: «Ладно. Твоя. Но если она у тебя кашлять начнёт — я тебе этого не прощу, Гаврила, я тебе это на всю жизнь припомню», — и пошёл к своему ЗИСу. Возле него остановился, обошёл кругом, посмотрел на помятое крыло, и я слышал, как он сказал ему, ЗИСу, вполголоса: «Ну что ты. Ну что ты, я же не всерьёз».

Суров сел в кабину. Устроился, поёрзал, потрогал зеркало, положил руки на руль и замер, и лицо у него стало таким спокойным, что я понял: этот человек только что получил всё, чего хотел от жизни на ближайшее время, и не собирается об этом говорить.

— Ну, — сказал Фрол, оказавшийся рядом. Он стоял, широко расставив ноги, с ППШ на ремне, и смотрел на «Опель» с тем откровенным удовольствием, с каким смотрят на чужую хорошую лошадь. — Давай по-честному, Алексей Палыч. Кто машину взял?

— Ты, — сказал я.

— Нет. Ты погоди. Кто первый увидел, что её брать надо?

— Я увидел.

— Кто к кабине первый подошёл?

— Ты.

— Кто её оттуда вывел?

— Я.

— Вот, — сказал Фрол удовлетворённо. — Значит, пополам. Только я тебе скажу, что первый подошёл — это больше, чем первый увидел. Увидеть каждый может.

— А вывести?

— Вывести — да, — согласился он честно. — Вывести — это да. Ладно. Пополам. — И добавил, помолчав, уже другим голосом: — Я думал, тебя из-за повозки положат. Стоишь с рукой, как на параде.

— Я тоже думал, — сказал я.

Мы посмотрели друг на друга, и оба ничего больше не сказали, и этого было достаточно.

Потом я собрал всех, кого надо было собрать, — Фрола, Деда, Князя, Артиста, Сурова, Исаева, — и сказал, как будет. Я сказал коротко, потому что всё уже было ясно и потому что это была моя работа — говорить коротко, когда ясно.

«Опель» с ящиками, пленными и Исаевым — на точку, километр. Первый ЗИС — с людьми, туда же. Разгружаемся, сдаём пленных, оставляем ящики и людей, и «Опель» с Дедом, водой и кем скажет Фрол — сразу обратно, сюда. Второй ЗИС остаётся здесь. С ним — Князь, потому что это его машина и он от неё не уйдёт; с ним — пулемёт и трое стрелков, потому что боковая дорога никуда не делась; старший — Фрол.

— Не бросаем, — сказал я Князю, потому что видел, как он смотрит на свой ЗИС с открытым капотом. — Ни машину, ни тебя. Час, много полтора. Я вернусь и заберу.

— А если из леса? — спросил Князь. Не испуганно — по-хозяйски, как спрашивают, хватит ли дров.

— Если из леса — Фрол, — сказал я, и Фрол кивнул с таким видом, будто ему только что подарили лес.

— Ладно, — сказал Князь. — Тогда я пока тут покомандую. Хоть посмотрю, чего у них в кузове было, — и он с сожалением посмотрел на «Опель», где уже сидели пленные, — потом посмотрю.

Дед стоял в стороне и молчал, и я подошёл к нему. Он смотрел на свой второй ЗИС, на его радиатор, из-под которого уже не шёл пар, а капало — редко, чёрными каплями на песок.

— Что скажешь, Григорий?

— Что скажу. — Он помолчал. — Скажу, что она не кончилась. Она стоит. Я через час её посмотрю ещё раз, как следует, с водой. Про километр — не обещаю. Посмотрим.

— Воду я тебе через час привезу, — сказал я. — Остальное — смотри.

Он посмотрел на меня искоса, снизу, — он был ниже меня на голову, — и сказал неожиданно:

— А ты, Алексей Палыч, сегодня какой-то... — Он поискал слово. — Довольный.

— Довольный, — сказал я. — Мы грузовик взяли.

— Да, — сказал Дед, и лицо у него вдруг стало мягким, и он засмеялся коротко, в усы. — Грузовик взяли. Ты слышал, как он у Семёна сдавал? Я не водитель. Но я слышал.

Люди грузились в первый ЗИС — в кузов, через борт, привычно; в «Опель» — осторожно, как в чужой дом. Суров завёл мотор с первого раза, и шестёрка пошла ровно, тихо, и я увидел, как несколько голов повернулись на этот звук — просто послушать. Артист из своей кабины сказал что-то, чего я не расслышал, и в кузове у него засмеялись. Фрол уже расставлял стрелков у кромки, и пулемёт снова смотрел на боковую дорогу. Князь стоял у своего ЗИСа, положив ладонь на крыло, и ждал.

Я сел в кабину к Сурову — место рядом с водителем было моё по всем правилам — и посмотрел через стекло на дорогу: километр, ровный большак, сосны с обеих сторон, солнце уже поднялось и лежало на дороге пятнами. Хороший день. Я не знал, что будет дальше, — не знал по-настоящему, не из учебника, — но знал, что у нас есть три ящика инструмента, восемнадцать человек, два грузовика на ходу и один, который ещё не кончился.

И что первую работу на этом свете я сделал.

— Поехали, Гаврила, — сказал я.

Суров включил передачу — первую, мягко, без рывка, — развернул «Опель» в два приёма на широком месте, не задев ни повозки, ни кювета, и вывел на большак, и в зеркале, круглом, на кронштейне, я видел, как уходит назад наш второй ЗИС с открытым капотом, и Князь возле него, и Фрол, и как Князь поднимает руку.

Свой грузовик стоял позади, и к нему надо было вернуться. Это была следующая работа. Она стояла передо мной так же буквально, как стоял тот «Опель», — только теперь я уже знал, что такие вещи делаются.

Глава 2. «Никого не бросаем. Машину тоже»

Обратно мы ехали в том же «Опеле», и я всю дорогу — весь этот километр — думал не о немцах, а о тресе.

Это, наверное, надо объяснить. За двадцать лет у меня выработалось то, что моя бухгалтерша называла «профессиональной деформацией», а я называл порядком: если машина неисправна, её не заводят. Её цепляют и везут. Всё остальное — самодеятельность, за которую потом платят мотором. У меня в кузове, в ящике под сиденьем, всегда лежал трос, и я знал, что в ЗИСе у Артиста, в таком же ящике, тоже что-то лежит, потому что помнил это тем чужим, кусковым знанием, которое досталось мне вместе с погонами. «Опель» — исправный, тяговитый, с хорошей резиной. Второй ЗИС — три тонны без груза, руль цел, тормоза целы. Километр ровного большака. Зацепить, тронуться на первой, довести — четверть часа. Я даже прикинул, где встану сам перед троганием: сбоку, чтобы видеть сцепку и обоих водителей.

Рядом со мной, между мной и Суровым, сидеть было негде — кабина на двоих, — и Дед ехал в кузове, с механиком и двумя канистрами воды, и я слышал сквозь заднее стекло, как он что-то втолковывает механику, размахивая рукой. Устинов тоже ехал в кузове, хотя я ему сказал, что он на точке нужнее.

— Я сказал: на глазу подержу, — ответил он. — Значит, на глазу.

И полез через борт. Я не стал спорить. Мне, если честно, было приятно, что за мной кто-то смотрит с таким упрямством, — в той жизни за мной так смотрели только налоговая и Витькина жена.

Свой второй ЗИС я увидел издалека — он стоял там же, у кармана, с открытым капотом, серый и терпеливый, и над ним никто не суеился. Возле него на подножке сидел Князь и курил, Фрол стоял у кромки леса с двумя стрелками, пулемёт лежал на своём месте, а третий стрелок с механиком копались у переднего колеса, что-то подкладывая. Всё было тихо. Всё стояло так, как я оставил, и это само по себе, знаете, — большое дело: вернуться и застать то, что оставил.

Суров подвёл «Опель» и встал, не глуша.

Дед с механиком сразу занялись ЗИСом: подлили воду, дали мотору поработать и снова полезли к нижнему бачку. Я тем временем прикинул, как поставить «Опель» под буксир. Минут через двадцать Дед выпрямился и вытер руки.

— Ну, — сказал я. — Цепляем и тянем.

Я сказал это, не дождавшись, что скажет Дед, и сказал зря. Не потому, что был неправ по существу, — а потому, что здесь, среди этих людей, я не был человеком, который знает, как надо. Здесь это ещё надо было заработать. Я это понял по тому, как Князь перестал курить.

Дед ещё раз заглянул под капот, проверил, как капает, и только тогда посмотрел на меня.

— Тянуть — не надо, — сказал он.

— Мотор?

— Мотор живой. Я сейчас посмотрел его ещё раз, с водой. Прогрел на холостых, послушал. Он не заклинил, Алексей Палыч. Он даже не постучал. — Дед произнёс это с тем удовольствием, с каким говорят о выздоровевшем родственнике. — И течь я прижал.

— Запаял?

— Прижал, — повторил он твёрдо. — Не запаял. Чем прижал — не спрашивай, стыдно сказать, я об этом на вечере не расскажу. Но она теперь не течёт, а сочится. На километр хватит. Может, на два. На три — не хватит, и не проси.

— Григорий, — сказал я. — На тресе за «Опелем» — четверть часа, и мотор вообще не трогаем. Зачем его гонять, если можно не гонять?

Тут я был на своей земле, и голос у меня, наверное, это показал. Дед посмотрел на меня внимательно и — что мне понравилось — не обиделся. Он думал. Потом мотнул головой в сторону большака, туда, в направлении точки.

— Ты по этой дороге ехал сейчас. Ложбину видел? Метров через четырёста. Песок, низина, и колея разбита.

— Видел.

— Немец с тремя тоннами на тресе в эту ложбину войдёт — и забуксует. Резина у него хорошая, а привод один, задний. Он забуксует, встанет, а Василий сзади — без мотора, без наката, на одних тормозах, а тормоза у ЗИСа — вот такие. — Дед показал пальцами, сколько именно, и получилось немного. — Василий накатит немцу в корму. И будет у нас два битых грузовика вместо одного больного. Это раз. А два — трос. Трос у нас один, на первом ЗИСе, и он не для этого. Метров шесть, и жёсткой сцепки нет. В этой ложбине задняя машина накатит на переднюю быстрее, чем Василий выберет слабину тормозами. Стоять между ними ты сам никому не позволишь.

Я стоял и слушал, и знаете, что чувствовал? Не досаду. Удовольствие. Такое же, как когда мой Витка в первый год работы вдруг сказал мне: «Сергеич, крюк не туда цепляешь», — и был прав, и я понял, что у меня появился человек, на которого можно оставить площадку. Дед не спорил со мной о моторе. Он спорил о ложбине, о тресе и о тормозах — о том, что он видел глазами и щупал руками. У меня в голове был другой трос, другой тягач и другая дорога — асфальт, с разметкой, — а он мне показывал эту.

— Значит, своим ходом, — сказал я.

— Своим ходом. Медленно. С остановками. Вода — с нами, и я — с ним. — Дед кивнул на Князя. — В кабине.

— А я?

— А ты, командир, — сказал Дед, и в первый раз за день назвал меня командиром, — впереди, на немце, с водой. Чтобы, когда я крикну «стой», вода уже стояла рядом, а не ехала.

Так у воды было отдельное место, а Дед мог ехать рядом с Князем и следить за машиной. Я прикинул ход через ложбину ещё раз. Для этого короткого перегона его предложение годилось.

— Тогда так, — сказал я, и сам услышал, что говорю голосом Фрола. — «Опель» впереди, с водой, метров на пятьдесят. Не дальше, чтобы Дед докричался. Второй ЗИС за ним. Ложбину я сначала пройду ногами. Фрол!

— Слышу, — сказал Фрол от кромки. Он всё это время стоял к нам спиной и смотрел в лес, и слушал, и я понял, что он слышал всё до последнего слова.

— Люди — пешком, по обочине, впереди и с той стороны. Пулемёт — в кузов «Опеля», задом, на лес.

— Пулемёт в кузов — да, — сказал Фрол. — А люди — двое впереди, двое с боку, один сзади. Сзади тоже надо, Алексей Палыч. Лес и там.

— Ставь и сзади. Кого — сам знаешь.

— Знаю, — сказал Фрол, уже поворачиваясь к своим, и по голосу было слышно, что расставлять людей ему нравится больше, чем спорить о них.

Воду залили — Дед сам, из канистры, тонкой струёй, слушая, как она уходит, и раз остановился, и покачал радиатор ладонью, и снова лил. Я стоял рядом, и мне очень хотелось взять канистру самому, потому что руки чесались, но я не взял. Вместо этого я взял ведро, набрал

в кювете — вода там была чёрная, торфяная, но для радиатора годилась, — и поставил его в кузов «Опеля», к канистрам, чтобы было три ёмкости, а не две. Дед на это посмотрел и ничего не сказал. Но кивнул.

* * *

Тронулись мы в первом часу — по солнцу, часов у меня на руке не было, и я поймал себя на том, что уже второй раз за утро смотрю на запястье и вижу там загорелую полоску от чужого ремешка.

Суров вывел «Опель» на большак, я сел к нему, а в кузове устроились пулемётчики, задом, стволом на сосны, и Устинов, потому что он, по-моему, решил, что теперь до вечера будет там, где я. Сзади, метрах в пятидесяти, завёлся ЗИС — я услышал его, кашлянул раз, другой, потом поймал, — и в круглом зеркале я увидел, как он тронулся: тяжело, осторожно, будто Князь вёз не пустой кузов, а полный воды до краёв.

Он и правда так вёз. Это я понял по первым ста метрам.

Князь ехал на первой. На первой, на самых малых, так, что стрелки на обочине шли быстрее, чем он ехал, и один из них, тот, что впереди, раз даже оглянулся — не отстать бы от машины, а машина от него не отставала. Я велел Сурову держать ровно, чтобы не растянуть колонну, и «Опель» тоже пополз, и мы ползли так, все вместе, и звук у ЗИСа сзади был ровный, чистый, без свиста.

Через триста метров Дед крикнул «стой».

Я услышал это через два мотора, потому что Дед, когда хотел, умел кричать так, что слышно через два мотора. Суров встал. Я спрыгнул, взял канистру и пошёл назад. ЗИС стоял, Князь сидел за рулём с таким лицом, будто его остановили на пороге собственного дома, а Дед уже был у капота.

— Не кипит, — сказал Князь мне, потому что Дед его не слушал. — Не кипит же. Я его чувствую. Он ровный. Мы могли ещё двести проехать.

— Могли, — сказал Дед из-под капота. — Воду сюда. Пока не лей, дай остынуть немного.

Я поставил канистру рядом. Дед велел Князю заглушить мотор, выждал и долил немного — на палец, не больше. Потом вытер руки о штаны.

— Григорий, — сказал Князь, и голос у него был тот особенный, каким водители говорят с механиками, когда очень стараются не обидеть. — Ты пойми. Я его веду. Я его слышу. Если бы он начал — я бы первый встал. Ты же меня знаешь. А ты его каждые триста метров глушить будешь, он у тебя от этого только хуже — то горячий, то холодный...

— Для осмотра я его не глушу, — сказал Дед. — Долить надо — тогда остановлю. Я смотрю, сколько ушло. Ушло на палец. Значит, сочится. Значит, едем дальше. Если бы ушло на ладонь — стояли бы, и ты бы у меня не то что двести, ты бы двадцать не проехал.

— Так на палец же!

— На палец — потому что я остановил. А не остановил бы — не знал бы, сколько.

Они говорили одновременно и оба были правы, и я это видел, как видел ложбину. Князь хотел довести свою машину домой — и он её слышал, слышал по-настоящему, я по его рукам на руле видел, что слышит. Дед хотел, чтобы машину было чем чинить завтра, — и он единственный из нас знал, сколько воды в этом радиаторе на самом деле и сколько её должно там быть. Ни один не мог уступить, потому что каждый уступал бы не другому, а машине.

— Стоп, — сказал я. — Оба.

Оба замолчали, и Князь посмотрел на меня с надеждой, а Дед — с подозрением.

— Василий, — сказал я. — Ты его слышишь. Верю. Дед смотрит воду. Верю. Делаем так: остановок будет три. Не «каждые триста метров», а три: перед ложбиной, за ложбиной и на точке. Перед ложбиной — потому что в ней ты дашь газу, и вот там я хочу, чтобы Дед посмотрел до, а не после. За ложбиной — потому что после газа. На точке — потому что всё.

Между ними — не глушим, не останавливаемся, едешь как едешь. Григорий, три остановки — хватит?

Дед подумал. По-честному подумал, глядя на радиатор, а не на меня.

— До ложбины — хватит. За ложбиной — посмотрю. Если за ложбиной ушло много — будет четвёртая, и ты, Василий, не спорь.

— Не буду, — сказал Князь и, кажется, впервые за час улыбнулся. — Три — это по-человечески. Три я понимаю.

Ложбину я, как обещал, прошёл ногами. Это было нетрудно и, наверное, со стороны смешно — старший лейтенант идёт по колее, как по минному полю, и смотрит под ноги, — но я знал, зачем иду. Песок был сухой сверху и сырой снизу, колея разбита в две глубокие борозды, а между бороздами горб, и я нашёл то, что искал: правее, ближе к сосне, старый след, где кто-то уже проходил, взяв правее горба, по твёрдому. Я показал Сурову рукой: сюда. Он прошёл — мягко, не сбавляя, «Опель» только чуть присел на задних и вылез. Потом я показал Князю, и Дед из кабины кивнул мне, что видит, и ЗИС пошёл — на первой, на ровном газу, и в самой низине я услышал, как мотор набрал, потянул, — Князь дал ему ровно столько, сколько надо, ни капель больше, — и вышел на твёрдое, и я, стоя по колено в песке, поймал себя на том, что улыбаюсь во весь рот.

За ложбиной остановились. Дед смотрел долго. Долил — на два пальца.

— Ушло больше, — сказал он. — Но не много. Едем.

— Я же говорил, — сказал Князь.

— Ты говорил, что не кипит. Он и не кипел. А воды ушло на два пальца — я тебе показывал. — Дед захлопнул капот. — Езжай.

Последние двести метров были самыми простыми и самыми длинными, потому что точка уже была видна — бочки, палатка, свой регулировщик с флажком у обочины, наш первый ЗИС под соснами, — и Князь, я это видел, держал первую из последних сил. Он мог бы дать вторую. Он очень хотел дать вторую. Он не дал.

ЗИС вкатился на точку, прошёл мимо бочек, мимо регулировщика, который посмотрел на него с интересом, и встал под соснами, рядом с первым, и Князь заглушил мотор.

Стало тихо.

Дед вылез, открыл капот, посмотрел. Долго. Потом закрыл капот, вытер руки и сказал — не Князю, не мне, а всем, кто стоял рядом, и стояли уже все:

— Стоит. Довезли. — И, помолчав, добавил то, что я от него и ждал: — Это не значит, что она починена. Она стоит, потому что я её прижал и потому что Василий её вёл, как яйцо. Отсюда она никуда не поедет, пока я её не запаю. Кто её тронет с места — будет иметь дело со мной.

— Никто не тронет, — сказал я.

— Вот и хорошо, — сказал Дед, и тут его лицо не выдержало, и он засмеялся, и хлопнул Князя по плечу, и сказал: — Как яйцо вёз, Василий! Как яйцо! — и Князь, красный, довольный, отмахнулся от него и полез в кабину за кисетом, потому что руки у него, я видел, чуть дрожали, и он не хотел, чтобы это заметили.

* * *

Точка наша — я теперь могу рассказать про неё спокойно, потому что мы на ней стояли до двадцать восьмого — была не бог весть что. Съезд с большака на старую вырубку, укатанный колёсами; под соснами — место для машин, штук на шесть; бочки с горючим под накатом из жердей; палатка; окопчик для дежурного с видом на дорогу; и шесть человек из своих, армейских, которые держали здесь заправку и связь с тылом — то есть посыльного на попутных машинах, потому что никакой другой связи тут не было. Всё это было временное, дней на пять, а может, на три, потому что наступление шло, и точка должна была идти за ним.

Пленных мы передали здесь же, ещё до возвращения за Князевым ЗИСом. Дежурный — пожилой, обстоятельный, с карандашом за ухом — принял их по счёту, четверых, посмотрел документы, которые у них были, спросил, есть ли раненые, и Устинов сказал: один, голень, перевязан, идти может. Дежурный записал. Потом спросил про оружие, и Исаев показал, что лежит в кузове: четыре винтовки и автомат, — и это тоже записали, и людей увезли попутной полуторкой под двумя стрелками из точки: раненого — в ближайший медпункт, троих остальных — на сборный пункт пленных. На раненого Устинов передал отдельную записку. Пленные, уходя, ещё раз посмотрели на «Опель». Я их понимал. Я бы тоже посмотрел.

Потом мы записали «Опель». Это делал я, сам, на листе из планшета дежурного, потому что это была моя работа: грузовик, «Опель Блиц», трёхтонный, исправный, взят такого-то числа на такой-то дороге в бою, принят группой для использования, водитель — рядовой Суров. Я писал и ловил себя на том, что мне это нравится: буквы — чужие, пером я не писал лет тридцать, а бумага — та же самая, в сущности. Акт есть акт. Хоть в каком году.

А потом — потом был тот час, ради которого, наверное, люди и делают всё остальное.

Князь за полчаса устроил из ничего стол. То есть не стол — накат из жердей у бочек, накрытый плащ-палаткой; но на нём стояли котелки, лежал хлеб и что-то из консервов, порезанное ровными ломтями, и это было сделано так, будто он готовился к нам с утра. Дед сидел на пеньке спиной к своему ЗИСу и время от времени оборачивался на него, как на спящего. Артист лежал под первым ЗИСом, на спине, с закрытыми глазами, и по нему было видно, что он не спит, а готовится. Фрол ел стоя. Суров ел в кабине «Опеля» — он оттуда, кажется, не вылезал с самого утра, и никто ему не мешал.

А Профессор сидел в стороне, под сосной, спиной ко всем, с планшетом на коленях, и читал немецкие бумаги.

Он подошёл ко мне ещё до еды.

— Алексей Павлович, — сказал он, и я заметил, что он один из всех говорит «Павлович» полностью, — там не путёвка. То есть путёвка тоже. Но там больше. Мне надо посидеть. Не полчаса — час. Может, больше. Я не хочу выдать вам сейчас половину, а потом оказаться неправым.

— Сиди, — сказал я. — Сколько надо.

Он кивнул и ушёл под сосну, и я видел, как он там устроился — по-настоящему, с карандашом, с листком, на который что-то выписывал, — и подумал, что этому человеку нужно не время, а разрешение, и что разрешение я, кажется, только что дал правильно.

А к столу подошёл Князь. Не сел. Стоял и мялся, и я понял, что он собирается о чём-то просить и что просьба ему неудобна.

— Алексей Палыч, — сказал он наконец. — Можно на минуту?

Мы отошли. Он привёл меня не в сторону, а к людям — к стрелкам, что сидели у своего кузова, — и там, не говоря ни слова, показал пальцем. На ноги.

Я посмотрел. У одного стрелка — второй номер у пулемёта, я его запомнил по утру — сапог был подвязан проволокой: подошва отходила спереди, и при каждом шаге он, наверное, черпал ею песок. У другого — ботинки с обмотками, и обмотки были целые, а ботинки — нет, левый разошёлся по шву, и из него торчала портянка. У третьего, механика, сапоги были ещё ничего, но голенища — сшиты из двух разных пар, я это видел по цвету.

— Это я не про красивую жизнь, — сказал Князь тихо, чтобы стрелки не слышали, хотя они слышали. — Я про то, что нам с ними ходить. Сегодня — километр. Завтра — сколько скажете. А второй номер у меня уже сейчас хромает, только не признаётся. Я у него спросил — говорит, нормально. У него не нормально. У него сапог, Алексей Палыч, не сапог, а лапоть.

— Сколько надо?

— Пар пять, если по-честному. Три — совсем. Две — можно потерпеть.

Я посмотрел на сапог с проволокой. Мне вдруг очень ясно вспомнилось, как у меня в фирме первый год люди работали в чём попало, потому что на спецобувь не хватало, и как я потом узнал, что один из моих ребят зимой три недели ходил с мокрыми ногами и молчал, потому что «нормально». Я тогда взял кредит на обувь. Здесь кредит взять было негде.

— С пленных не снимаем, — сказал Князь раньше, чем я успел что-то сказать, и сказал твёрдо. — Я не про то. Я знаю, что не снимаем. Я про своих.

— Я знаю, что ты не про то, — сказал я. — Через нашу службу. Я доложу, при первой же встрече с майором. Сапог не обещаю — не моё дело обещать то, чего нет на складе. Обещаю добиваться. Пять пар. Каждый раз, когда буду говорить с начальством, — пять пар. Пока не дадут.

— Пока не дадут? — переспросил Князь.

— Пока не дадут.

Он посмотрел на меня, и я увидел, что он не столько поверил, сколько запомнил. Это было правильно: верить мне тут ещё было не за что. А запомнить — уже было.

— Ладно, — сказал он. — Тогда я тоже запомню. Пять.

И пошёл к столу, и по спине его было видно, что ему полегчало — не от сапог, которых не было, а оттого, что его услышали и не отмахнулись.

* * *

А за столом, пока меня не было, началось.

Началось, судя по всему, с того, что Дед сказал «довёз я», а Князь сказал «довёз я», и оба сказали это без злости, просто как факт, — но Артист под ЗИСом открыл один глаз, и этого оказалось достаточно.

Когда я вернулся, Артист уже сидел на пеньке, как в президиуме, и говорил:

— Нет, товарищи, давайте разберёмся. Давайте по-честному. У нас есть машина. Она стояла и была больная. Теперь она стоит и — как, Григорий? — «не кончилась». Хорошо. Кто её спас?

— Никто её пока не спас, — сказал Дед. — Она стоит. Спасена она будет, когда я её запаяю.

— То есть спасать её будешь ты.

— Я.

— А кто её довёз?

— Василий, — сказал Дед честно. — Как яйцо.

— Значит, Василий её спас?

— Нет, — сказал Дед. — Василий её довёз. Это разное.

— Как это разное? — вмешался Князь, который, видимо, только этого и ждал. — Ты мне объясни, Григорий, как это разное. Если бы я её не довёз — ты бы что паял? Ты бы паял её там, у кармана, с немцами из леса? Довёз — значит, спас. Кто вёз, тот и спас, это всякий водитель знает.

— Всякий водитель знает, — сказал Дед, — что если бы я её не прижал, ты бы её не довёз. Ты бы её вскипятил на второй сотне метров, потому что ты слышишь мотор, а воду ты не слышишь. Воду никто не слышит. Воду смотрят.

— Так, — сказал Фрол, вытирая ложку о рукав. — Стоп. Так вы до утра будете. Давайте правила. Спасение — это когда? Когда машина в безопасности. Так?

— Так, — сказали оба.

— В безопасности — от чего?

— От леса, — сказал Князь.

— От перегрева, — сказал Дед.

— Вот, — сказал Фрол удовлетворённо. — Вы про разное спасение. От леса её спас Василий, потому что довёз. От перегрева — Дед, потому что прижал. Оба спасли. Пополам.

— Опять у тебя пополам, — сказал Артист. — У тебя утром с командиром было пополам, теперь с этими пополам. Ты, Фрол, судья или бухгалтер?

— Я честный человек, — сказал Фрол с достоинством. — А ты, Семён, помолчи, ты вообще утром на чужой машине катался.

— Я не катался, я её выводил!

— Тебя командир выводил. Рукой.

Тут Артист, вместо того чтобы обидеться, вскочил и сказал: «Хорошо! Хорошо. Нужен третейский суд. Нужен человек, который не вёл, не паял и не командовал», — и пошёл под сосну к Профессору.

Я хотел его остановить. Не успел.

— Пётр, — сказал Артист торжественно. — Отвлекись на секунду. Одна секунда, и ты вернёшься к своим бумагам. Скажи как учёный человек: машину Деда — кто спас, механик или водитель?

Профессор не поднял головы. Он дописал что-то на своём листке, поставил точку и сказал, глядя в бумаги:

— Спасённой можно считать машину, которой больше не грозит опасность. Опасность здесь — перегрев. Перегрев возможен при работающем моторе. Мотор заглушен. Пока машина стоит с заглушенным мотором — она спасена. Как только её заведут — нет. — Он поднял глаза. — Значит, спас её тот, кто заглушил мотор. Кто заглушил?

Стало тихо.

— Василий, — сказал Дед.

— Я, — сказал Князь и посмотрел на Деда. — Утром. Ещё до всего.

— Тогда — Василий, — сказал Профессор и вернулся к бумагам. — Утром. Ещё до всего. Но это временное решение. Когда Григорий её запакает, ответ изменится.

Артист стоял с открытым ртом. Он, по-моему, рассчитывал на что угодно, кроме того, что ему ответят точно. Фрол первый захохотал — громко, с удовольствием, откинувшись, — и сказал: «Вот! Вот это судья! Утром, ещё до всего! А вы тут — пополам!», и Князь засмеялся, и Дед засмеялся, и сказал Князю: «Ладно. Утром — твоя. А запакаю — моя», — и они на этом сошлись, и я видел, что сошлись по-настоящему, не для смеха.

А Профессор сидел под сосной и, кажется, даже не понял, что выиграл.

* * *

Он подошёл ко мне через час с лишним, когда солнце уже ушло за сосны, а стол Князя был убран, и людям было велено спать по очереди. Подошёл с планшетом и своим листком и сел рядом — не спросив разрешения, но так, что было ясно: он не забыл, что должен был спросить, просто сейчас ему важнее сказать.

— Я скажу сначала, что есть, — начал он. — Потом — что это, по-моему, значит. Отдельно. Чтобы вы видели, где я знаю, а где думаю.

— Давай.

— Есть путёвка на машину. Обычная, с маршрутом на вчера. Есть — вот это главное — записи о выдаче. Кому, что, когда: запасные части, инструмент, масла, всё по ремонтному хозяйству. Записей много, за две недели. Выдавали не одной части, а нескольким, и с разных мест. Здесь, — он показал на листок, где выписал столбиком, — по-моему, пять точек. Пять названий, где что-то принимали или выдавали. Три — я нашёл бы на карте, если бы была карта. Два — не знаю, может, не населённые пункты, а какие-то их условные названия.

— Что за точки?

— Мастерские. Ремонтные. Не полевые кузницы — настоящие: там числятся станки, там выдают моторы в сборе. — Он помолчал. — То есть у них тут, по нашему направлению, целая сеть ремонта. Была. Или есть. По бумагам — две недели назад была.

— А сейчас?

— Вот тут я думаю, а не знаю, — сказал Профессор аккуратно. — Последние записи — уже не выдача, а приём. То есть они не раздают, а собирают. Своят. Куда — не написано. Я бы сказал — вывозят. Отходят и вывозят. Но это уже я говорю, а не бумага.

Я смотрел на его листок и видел то же, что видел он, — и ещё кое-что, чего он видеть не мог, потому что не работал в моей конторе.

У нас было два ЗИСа. Один — с прижатым радиатором, который никуда не поедет, пока Дед не найдёт олова. Один — с помятым крылом. Три ящика с ручным инструментом. Ни станка, ни сварки, ни подъёмника, ни мастерской на колёсах. А в десяти, в двадцати, в тридцати километрах отсюда кто-то, кого мы только что ободрали на один грузовик, свозил к себе по дорогам — по нашим же дорогам — целые мастерские. Со станками. С моторами в сборе. Чтобы увезти.

И вот тут во мне что-то повернулось — тем самым поворотом, который я знал за собой с той жизни. Когда видишь не беду, а возможность. Не «у них есть, а у нас нет», а — «у них есть, и оно едет по дороге, а дороги — это моё».

— Пётр, — сказал я. — Спасибо.

— Это не всё, — сказал он. — Я бы ещё раз перечитал. Там есть места, где я не уверен в почерке.

— Перечитай. Утром. А листок этот — мне.

Он отдал листок и пошёл спать, и по нему было видно, что он доволен: не тем, что нашёл, а тем, что его нашли нужным.

Я остался сидеть. Было ещё светло — здесь в конце июня темнеет поздно, — и с дороги слышно было, как проходят машины на запад, туда, где днём бухало. Под соснами стояли три грузовика — два наших и один, который стал наш сегодня. У бочек ходил дежурный. Где-то в кузове Артист вполголоса что-то рассказывал, и кто-то смеялся, тихо, чтобы не разбудить спящих.

Я думал про майора Чумакова, который нас курировал и должен был появиться на точке, — не сегодня, но скоро, — и про то, как я ему это скажу. Не «дайте нам задание». А — «вот что едет по дорогам, и вот что мы можем с этим сделать, если нам дадут людей и разрешат».

Работа была. Настоящая, большая, из тех, что я любил. И она стояла не завтра и не через неделю — она уже ехала где-то по лесной дороге на запад, на второй передаче, с подвыванием, и надо было её только догнать.

Глава 3. «Заказ на большую добычу»

Майор Чумаков приехал утром двадцать шестого, на «виллисе», таком пыльном, что цвета у него не было вовсе, и я узнал об этом не по машине, а по тому, как дежурный у бочек вдруг выпрямился и поправил пилотку.

Я в это время шёл через точку от наших грузовиков к палатке, и идти было метров сто, и на этих ста метрах я увидел то, что потом вспоминал не раз, — потому что за эти сто метров я, кажется, впервые понял, где нахожусь. Не в каком году. В каком хозяйстве.

У бочек стоял ЗИС-5. Не наш — чужой, с другим номером на борту, но такой же старый, с такой же железной кабиной, только чистый по-особенному: чистый после ремонта, когда машину протёрли не потому, что грязная, а потому, что жалко отдавать грязной. Возле него стояли двое ремонтников с точки, наших, армейских, и один из них ещё что-то подтягивал под капотом, а водитель — молодой, в замасленной пилотке — стоял рядом с ведомостью в руке и ждал. Ждал бензина. Бензин у точки был, в бочках под жердями, но выдавали его не так, как хочется, а так, как записано, и водитель это знал и не спорил, а просто стоял, и по нему было видно, что стоит он тут не первый час.

И пока я шёл, подошла партия. Полуторка с бочками, две в кузове, с сопровождающим, который прыгнул, не дожидаясь остановки, и сразу пошёл к дежурному с бумагой. Дежурный прочёл, кивнул, что-то отметил карандашом, и через пять минут водитель отремонтированного

ЗИСа уже наливал в свой бак из ведра через воронку — ровно столько, сколько ему было положено, и ни литра сверху, я видел, как он посмотрел на ведро и на ведомость, — потом закрыл бак, сунул ведомость за пазуху, кивнул ремонтникам, сел и уехал. На запад, к своей части, к тем, кому этот ЗИС был нужен ещё вчера.

Вот и всё. Ничего не случилось. Одна машина починилась, дождалась бензина и уехала. Но я стоял и смотрел ей вслед, и во мне сложилось то, что не складывалось со вчерашнего дня.

Это был не фронт, как его показывают в кино, — атаки, окопы. Это был тыл наступающей армии, то есть огромное, в сотни километров, хозяйство, которое едет за войной на колёсах, и всё, что в этом хозяйстве имеет колёса, — на вес золота. Каждый исправный грузовик — это чей-то бензин, довезённый вовремя. Чьи-то снаряды. Чей-то хлеб. Одна машина, отремонтированная и заправленная, уехала — и где-то там, за лесом, у кого-то сегодня всё будет чуть лучше. А у нас под соснами стоял «Опель», взятый вчера. Тоже исправный. Тоже с колёсами.

Я повернул к нашим машинам и нашёл Деда — он, разумеется, был у своего ЗИСа, с открытым капотом, и смотрел на радиатор так, как смотрят на письмо, которое не могут прочесть.

— Григорий. Одну минуту. Если бы тебе сейчас дали что угодно — одну вещь — что бы ты взял?

Он даже не задумался.

— Лампу паяльную. Олово. Кислоту. Это одна вещь, не спорь, это всё вместе — одна вещь, она называется «запаять». — Он подумал и добавил честно: — А если по-настоящему одну — то большой ремонтный комплект. Настоящий. Потому что с тремя моими ящиками мы будем чинить только то, что и так почти целое. А то, что сломалось всерьёз, — будем смотреть и вздыхать.

— Понял, — сказал я.

— Ты к майору?

— К майору.

— Скажи ему про лампу, — сказал Дед. — Про комплект не говори, не поверит. Про лампу — скажи.

* * *

Чумаков сидел в палатке на ящике, с планшетом на коленях, и пил из кружки что-то горячее, и когда я вошёл и доложил, он посмотрел на меня поверх кружки внимательно — не на погоны, на лицо. Ему был сорок один год, я знал это своим чужим знанием, и выглядел он на сорок один: плотный, с тяжёлой челюстью, с сединой в висках, в выгоревшей гимнастёрке с полевыми погонами, и руки у него были не штабные — с въевшейся чернотой в складках, как у Деда. Это я заметил первым. Это мне понравилось.

— Садись, Ракитин, — сказал он. — Мне уже доложили, что у тебя тут стоит. Расскажи, как стоит.

Я рассказал. Я рассказал коротко и по порядку, и первым назвал не себя.

— Старший сержант Буров оценил обстановку и провёл захват: пять человек противника, машина взята без повреждений, потеря у нас нет. Техник-лейтенант Шестаков сохранил мотор ЗИС-5 при течи радиатора и принял трофейную машину, она пригодна. Водители — ефрейтор Лисицын вывел «Опель» из-под огня, рядовой Суров принял его и ведёт. Старшина Князев довёл неисправный ЗИС на точку своим ходом, без ущерба для мотора. Сержант Зорин разобрал бумаги с машины — вот его выписка. Пленные переданы вчера с документами, оружие сдано, акт на машину составлен.

Чумаков слушал не перебивая. Когда я кончил, он не сказал «молодец» и не сказал «плохо». Он сказал:

— Буров здесь?

— Здесь.

— Шестаков?

— Здесь.

— Зови обоих.

Я вышел и позвал, и они пришли — Фрол быстро, Дед не спеша, вытирая руки, — и встали в палатке, и Чумаков посмотрел на них так же, как на меня: на лица.

— Буров, — сказал он. — Сколько их было и откуда?

— Пятеро на машине, товарищ майор, — сказал Фрол сразу, не глядя на меня. — Двое в кабине, трое в кузове. Шестой — отдельно, лежал у повозки, не с ними, раньше. Машина шла с боковой дороги, с востока, одна. По тому, как шла, — отстала от своих. Ехали не по карте, а куда дорога выведет. Водитель — водитель, остальные — так, ехали. Стреляли один раз. Сдались быстро. За ними по той дороге я не ходил, товарищ майор, — не с чем было.

— Правильно, что не ходил. Шестаков. Машина?

— «Опель», трёхтонный, товарищ майор, — сказал Дед, и я услышал, как он старается говорить по-казённому и как ему это плохо удаётся. — Шесть цилиндров, бензин. Ходит. Резина хорошая. Наш бензин — подойдёт. Масло наше — подойдёт, я лил, работает. Чего нет — запасных частей. Ни одной. Если у неё что-то сломается — а оно сломается, любая машина ломается, — снять будет не с чего.

— Значит, — сказал Чумаков, и уголок рта у него дрогнул, — нужна вторая такая же.

— Так точно, — сказал Дед совершенно серьёзно. — И третья. С третьей уже можно работать.

Чумаков посмотрел на него, и я увидел, что майору Дед понравился — не как подчинённый, как человек, — и что он этого не станет показывать.

— Свободны, — сказал он. — Спасибо. Ракитин, останься.

Они вышли. Чумаков взял выписку Профессора — листок, исписанный столбиком, — и читал долго, водя пальцем. Потом достал из планшета свою бумагу, тоже исписанную, положил рядом и сравнивал. Я ждал.

— Три из пяти сходятся, — сказал он наконец. — Три твоих названия есть у меня. Нам с трофейного отдела и от соседей передавали ещё позавчера: у немцев по этому направлению стояли армейские мастерские, ремонтные пункты, штук несколько, с оборудованием. Сейчас они их сворачивают. Не бросают — сворачивают. Свозят в одно место и вывозят на запад. Целиком: станки, агрегаты, людей. Мастерские на колёсах. — Он постучал пальцем по листку. — Твой сержант это увидел по накладным. Умный сержант.

— Он ещё не всё дочитал, — сказал я. — Просил утром перечитать, там почерк.

— Отдельные машины отстают. Вот как твоя. — Чумаков отложил листок. — А сама база — идёт. Где — не знаю. Кто ведёт — не знаю. Знаю, что она есть, что она подвижная и что она ещё не ушла. И вот это, Ракитин, — он посмотрел на меня прямо, — стоит очень дорого. Не мне. Армии. У нас передовой ремонт — ты сам видел, — он мотнул головой в сторону бочек, — два человека и ящик ключей, а всё остальное — сзади, за сто вёрст. А у них — на «Опелях», и собрана, и укомплектована, и здесь. Если такую взять целой — это не грузовик. Это мастерская для целой армии, которую не надо строить. Она уже построена.

Я это понимал. Я это понимал ещё вчера вечером, сидя с листком Профессора, — но одно дело понимать самому, а другое — услышать от человека, у которого на планшете лежит бумага из трофейного отдела.

— Товарищ майор, — сказал я. — Мы можем её искать.

— Можете, — сказал он. — Об этом я и приехал.

* * *

Он достал вторую бумагу — на этот раз отпечатанную, с подписью, — и подал мне, и я прочёл, и перескажу своими словами, потому что казённые слова там были казённые, а смысл — простой.

Группе — работать в указанном дорожном коридоре: вот отсюда, от точки, до Глуска и дальше по мере продвижения армии. Вывезти своё оставленное имущество — и тут была строчка, которую я прочёл дважды: в семи километрах западнее, на брошенном ремонтном дворе, наше передовое подразделение при перемене обстановки оставило ящики с ремонтным имуществом; вывезти. Собирать пригодную технику на дорогах и сведения о противнике. Отдельные доступные цели брать при согласовании с местной боевой частью. Выходить к назначенным точкам связи — они были перечислены, и эта точка — первая. И — отдельно, чётко — не уходить всем парком в неподтверждённый тыл противника.

— Последнее — это про тебя, — сказал Чумаков, когда я дочитал. — Я тебя вчера не видел, но мне рассказали, как ты с рукой стоял. Так вот: одна машина на боковой дороге — это одно. База — другое. Базу в одиночку не берут. Её сначала находят, потом докладывают, потом армия решает. Ты найди. Это твоё. Остальное — не твоё, и не обижайся.

— Не обижаюсь, — сказал я, и это было правдой: он говорил со мной так, как я сам говорил с Витькой, когда тот в первый год рвался тащить фуру, которую надо было сначала разгрузить. — Товарищ майор. Ящики на дворе — это в семи километрах. Мой механик со вчерашнего дня просит паяльную лампу. Там она может быть?

— Там может быть что угодно, — сказал Чумаков. — Двор бросали спешно. Что успели взять — взяли, что нет — там. Поезжай и посмотри. Сегодня. Дорога до двора наша, вчера проверяли. Дальше — нет.

— Сегодня, — сказал я. — И второе.

— Говори.

— Если мы будем брать машины — а мы будем, — кто их поведёт? У меня три водителя на три машины и один без руля. Механиков двое и Шестаков. Каждый новый грузовик — это водитель. Каждый сломанный — это руки. Если мы найдём базу и её возьмут — там будут машины, и много, и кто-то должен будет их вести хотя бы до своих. Мне нужны люди. На будущие машины. Три водителя. Три ремонтника. Запросить сейчас.

Чумаков смотрел на меня с интересом. Не с раздражением — с интересом, как смотрят на человека, который просит не то, что обычно просят.

— Ты машины ещё не взял, а водителей на них уже просишь.

— Когда возьму — просить будет поздно. Они пока дойдут — а машины стоят. Товарищ майор, я знаю, как это бывает: техника есть, людей нет, и техника стоит и ржавеет. Лучше пусть люди ждут машину, чем машина — людей.

— Appetit у тебя, — сказал Чумаков.

— Есть, — согласился я.

Он помолчал. Потом достал карандаш.

— Три водителя, три ремонтника, — сказал он, записывая. — Запрос напишу сегодня, уйдёт с посыльным. Когда придут — не скажу. Не потому, что не хочу, — потому что не знаю: это не мои люди, это люди автомобильного отдела, а у отдела вас таких — не один. Дня через два-три, если дадут. Если не дадут — скажу тебе честно, что не дали, и ты не будешь ждать зря. Так годится?

— Годится.

— И ещё, — сказал он, не поднимая головы от бумаги. — Я тебе не командующий. Я — офицер отдела, которому поручено с тобой работать. Что я могу дать — дам. Что не могу — попрошу у тех, кто может, и это будет не завтра. Не строй на мне того, чего я не выдержу. Договорились?

— Договорились, товарищ майор.

— Вот и хорошо. — Он поднял голову. — А что ещё просишь? У тебя лицо такое, что ещё просишь.

Я не собирался, честно. Но лицо, видимо, было.

— Сапоги, — сказал я. — Пять пар. Люди ходят пешком за машинами, обувь разбита. У одного подошва на проволоке. Пленных не разуваем. Через нашу службу — пять пар.

Чумаков хмыкнул.

— Запишу, — сказал он. — Не обещаю. Обувь — это не по моей части, но записать могу и передать могу. Пять пар. — Он записал. — Что ещё?

— Всё, товарищ майор.

— Не верю, — сказал он, — но ладно.

* * *

Вот тут, в этот момент, снаружи затрещал мотоцикл.

Он подошёл к самой палатке, треща и стреляя, и заглох, и я услышал голоса — дежурный что-то спросил, ему ответили, коротко, женским голосом, — и полог откинулся, и в палатку вошла женщина.

Лейтенант. Это я увидел первым — не женщину, а лейтенанта: полевые погоны с двумя звёздочками, гимнастёрка, перетянутая ремнём, полевая сумка на боку, сапоги в пыли до колена, пилотка сдвинута на затылок, и в руках — планшет, раскрытый уже на нужном месте. Она доложила Чумакову коротко и правильно — «лейтенант Веденеева, офицер связи штаба такого-то стрелкового полка» — и, не садясь, сказала, зачем приехала.

Зачем — я понял не сразу, потому что это была не моя служба, но понял через минуту, и это оказалось просто. Её полк шёл вперёд. Ему нужен был бензин, ремонт, всё, что даёт автомобильная служба армии, — и для этого штаб полка посылал донесения сюда, в автомобильный отдел, через такие вот точки. Позавчера полк послал связного на точку, которая была вчера. Связной приехал — точки нет, ушла вперёд. День потерян. Начальник штаба полка послал её выяснить раз и навсегда: где принимают донесения сейчас, до какого часа, кому сдавать, и куда точка уйдёт потом, — чтобы больше не гонять людей по пустому месту.

— Здесь, — сказал Чумаков. — Дежурный, круглосуточно. До утра двадцать восьмого — точно. Дальше точка идёт за армией, куда — сообщим через ваш штаб.

— «Сообщим» — это как, товарищ майор? — спросила она. Не грубо — точно. — Позавчера тоже сообщили, и связной приехал на пустое место. Мне нужно, чтобы я вернулась и сказала начальнику штаба: до такого-то часа — здесь, после такого-то — там. Иначе я ездила зря.

Чумаков посмотрел на неё с тем же выражением, с каким десять минут назад смотрел на меня. Ему нравилось, когда просят точно.

— До восьми утра двадцать восьмого — здесь, — сказал он. — Это я вам говорю твёрдо, дежурный получит. С восьми — новое место, и оно будет доведено вашему штабу не «сообщим», а посыльным от меня лично, к вечеру двадцать седьмого. Если посыльного не будет — значит, точка не ушла. Так годится?

— Годится, — сказала она и записала. — Кому сдавать, если дежурный сменился?

— Любому дежурному. Это его обязанность, не его имя.

— Спасибо, товарищ майор. — Она закрыла планшет. — Разрешите идти? Мне до вечера ещё в две точки.

— Идите.

И тут она посмотрела на меня. Впервые за всё время — до этого я для неё был предметом обстановки, и правильно. Посмотрела коротко, оценивающе, так, как смотрят на человека, с которым, может быть, ещё придётся иметь дело, а может, и нет.

— Это ваш «Опель» у бочек? — спросила она.

— Наш.

— Вчера взяли?

— Вчера.

— Ходит?

— Ходит.

— Хорошо, — сказала она. — Значит, если нашим достанется такой же, есть у кого спросить, как с ним обращаться. — Она чуть наклонила голову. — Лейтенант Веденеева. Анна.

— Старший лейтенант Ракитин. Алексей.

— Я знаю, — сказала она. — Мне дежурный сказал, пока я мотоцикл глушила. Он сказал: «Тот самый, с рукой». Я не поняла, с какой рукой, но, видимо, что-то было.

— Было, — сказал я.

— Расскажите при случае, — сказала она, и это было не обещание, а вежливость, и она сама это знала, и я знал, и мы оба, кажется, поняли, что вежливость эту можно будет при случае и проверить. — Разрешите, товарищ майор.

И вышла. Мотоцикл затрещал, стрельнул, и его не стало.

Вот теперь я скажу то, что должен сказать честно, потому что рассказываю всё по порядку. Сначала — первые две минуты — я видел, как она работает: как пришла с готовым вопросом, как не дала майору отделаться словом «сообщим», как записала, как спросила про дежурного. Это было хорошо сделано, и мне это нравилось так же, как мне вчера нравилось, как Суров тронул «Опель». А потом, когда она уже закрыла планшет, я увидел, что она молодая, лет двадцати пяти, что у неё под пилоткой тёмные волосы, забранные так, чтобы не мешали, и серые, очень внимательные глаза, и что она красивая — не той красотой, о которой говорят, а той, на которую смотрят. И я смотрел, пока полог не упал, и Чумаков это видел, и не сказал ничего, и правильно сделал.

— Веденеева, — сказал он, когда мотоцикл стих. — Второй раз её вижу. Оба раза — по делу. Хороший офицер. — Он помолчал и добавил без всякого выражения: — Полк её, между прочим, идёт тем же коридором, что и ты. Так что точки связи у вас общие.

— Понял, товарищ майор.

— Я и не сомневался. — Он встал. — Всё, Ракитин. Иди работай. Ящики — сегодня. Базу — искать. Людей — ждать. Обувь — записана. Что ещё?

— Паяльную лампу, — сказал я. — Механик просил передать. Лично.

— Передай механику, — сказал Чумаков, — что паяльную лампу он, скорее всего, найдёт на том дворе сам. А если не найдёт — пусть скажет мне, и я буду искать. Но пусть сначала посмотрит.

* * *

Когда я вышел из палатки, у наших грузовиков уже все были в сборе. Не потому, что я велел, — просто все, кто был свободен, оказались там, где стоял «Опель», а «Опель» стоял так, что от него видна была палатка. Артист сидел на подножке своего ЗИСа. Фрол стоял, скрестив руки. Дед — у капота, но смотрел не в капот. Князь, Профессор, Суров в кабине, Исаев с двумя стрелками у кузова — все делали вид, что заняты, и все смотрели на меня.

Я рассказал. Не всё — всё было ни к чему, — а то, что нужно, чтобы работать.

— Ближайшее: сегодня. Семь километров на запад, брошенный ремонтный двор. Наши ремонтники оставили там ящики с имуществом, когда пришлось уйти с двора. Сейчас дорогу снова проверили. Вывезти. Едем на «Опеле» и первом ЗИСе, второй ЗИС стоит. Дорога до двора наша, дальше — нет, дальше не суёмся. Фрол — охрана, как всегда. Дед — смотреть, что там, и брать всё, что нужно. Всё.

— А сверх ящиков? — спросил Дед, и я понял, что он спрашивает про лампу.

— Майор сказал: посмотри сам. Что найдёшь — твоё. То есть наше.

Дед кивнул с таким видом, будто ему уже что-то пообещали.

— Дальше, — сказал я. — Люди. Я попросил три водителя и три ремонтника. Запрос ушёл. Придут дня через два-три, если дадут. Если не дадут — нам скажут честно.

— На какие машины? — спросил Артист с подножки. — У нас машин три.

— На те, которые будут.

— А они будут? — спросил Артист, и по его лицу было видно, что он не сомневается, а подводит.

— Будут, — сказал я. — И вот про это — третье.

И рассказал про базу. Про то, что немцы сворачивают свои мастерские и вывозят их куда-то на запад, целиком, на колёсах, и что эта база — не наша добыча и не наша задача, а задача армии, а наша задача — найти, где она, и доложить. Что ищем по дорогам: по отставшим машинам, по бумагам, по людям. Что брать её нам никто не даст, и правильно, и что если она найдётся — её возьмут те, кому положено, а мы будем при этом, и это, я думаю, будет хороший день.

Стало тихо. Потом Князь сказал негромко, не мне:

— Мастерская на колёсах. Целая. С запасом.

— Не наша, — сказал я.

— Я и говорю — не наша, — сказал Князь. — Я просто представил.

— Василий, — сказал я. — Про обувь майор записал. Пять пар. Не обещал — записал. Я ему буду напоминать.

Князь посмотрел на меня и кивнул — тем же кивком, что вчера: запомнил.

И тут заговорил Фрол, и заговорил не со мной.

— Григорий, — сказал он. — Вот скажи мне как механик. Если эту базу найдут и её будут брать — что там для тебя? Что ты с неё хочешь?

— Всё, — сказал Дед просто.

— Ну «всё» — это не ответ. Что первое?

— Станок, — сказал Дед, и глаза у него стали такие, какие бывают у людей, когда они говорят о том, что любят. — Любой. Токарный. Ты понимаешь, Фёдор, что такое токарный станок на колёсах в двадцати километрах от передовой? Это значит, что любую втулку, любой палец я тебе сделаю за час. Не «поищу на складе» — сделаю. Из куска железа.

— А я тебе скажу, что первое, — сказал Фрол. — Первое — это как её брать. Потому что если её берут плохо — твой станок горит вместе с ней. Мастерская на колёсах — это значит, что у них там бензин, и много. Один снаряд — и нет твоего станка. Значит, брать её надо так, чтобы никто не успел ничего поджечь. А это, Григорий, уже моя часть. Так что сначала моё, потом твоё.

— Сначала твоё, — согласился Дед. — Но ты её бери целой. Ты понял? Целой. Мне станок нужен, а не станок с дыркой.

— Если там станок найдётся и мы его возьмём целым, — сказал Фрол торжественно, — ты мне сделаешь втулку. За час. Ты сказал.

— Сказал.

— При свидетелях.

— При свидетелях, — сказал Дед, и они пожали друг другу руки, серьёзно, как люди, заключившие сделку, — и Артист с подножки сказал: «Свидетель — я. Втулка за час. Запомнил», — и все засмеялись, и я тоже, и подумал, что вот так, наверное, и начинаются большие дела: не с приказа, а с того, что два человека при свидетелях поспорили на втулку.

— Через час выезжаем, — сказал я. — Суров, Артист — машины. Князь — вода, еда на день. Фрол — люди. Дед — ящики под груз освободить. Пётр...

— Я с вами, — сказал Профессор. — Там может быть что-то немецкое. Бумаги. Надписи.

— Едешь, — сказал я.

Перед выходом Князь получил у дежурного бензин и пополнение наших патронов по заявке. Водители заправились: на семь километров туда, работу и обратный путь хватало.

Через час мы выехали. Второй ЗИС остался под соснами, с открытым капотом; при нём — Устинов, один механик и стрелок, остальные пятнадцать ехали на двух исправных маши-

нах. Князь, садясь в кабину «Опеля» рядом с Суровым, — я в этот раз ехал с Артистом, — обернулся на свой ЗИС, и я видел, как он обернулся. Не бросаем. Просто он пока стоит.

Глава 4. «Наши ящики»

Семь километров на запад мы прошли за полчаса, и это был первый длинный выезд в этой жизни, и я, признаться, всю дорогу смотрел в окно, как турист.

Дорога была своя — вчера по ней прошли наши, сегодня по ней шли тылы: навстречу нам попались две полуторки, порожние, идущие назад, санитарная машина и пешая команда с лошадью, — и на обочинах лежало то, что лежит на обочинах после большого наступления: перевёрнутая немецкая повозка, брошенное оружие с задраным стволом, сгоревший остов чего-то, чего уже было не разобрать. Артист вёл ровно, не гнал, и раз, обгоняя телегу с ранеными, сбавил до шага и что-то крикнул им из окна, и на телеге засмеялись. Я не расслышал что. Я смотрел на лес по сторонам и думал о том, что где-то в этих лесах, по таким же дорогам, сейчас едет на запад целая мастерская, и что я её найду.

Двор мы увидели с дороги. Я ждал пустого двора — Чумаков сказал «брошенный», и я себе представил пустой сарай с раскрытыми воротами, — а увидел людей.

Их было человек десять, и все они работали. Двор оказался старым хозяйственным двором при какой-то бывшей МТС или чём-то вроде: длинный сарай с широкими воротами, навес, колодец с журавлём, забор из жердей, поваленный в двух местах, и въезд — узкий, между сараем и каменной стеной, оставшейся от чего-то давно сгоревшего, — такой узкий, что грузовик проходил в него впритирку, я это увидел ещё с дороги, привычным глазом. В этом въезде сейчас стоял ЗИС — не наш, чужой, с разбитым передком, — и его цепляли на трос к другому ЗИСу, стоящему снаружи, а человек в пилотке и с ведомостью в руках командовал сразу тремя делами: тросом, ящиками, которые двое выносили из сарая, и жердями забора, которые ещё двое оттаскивали, освобождая место.

— Наши, — сказал Артист, глядя на это. — Вернулись. Значит, тут вчера было весело.

Я вылез. Человек с ведомостью увидел мои погоны и подошёл — не бегом, а так, как подходят люди, у которых на руках три дела и ни одно нельзя бросить: лейтенант, техник, лет тридцати, с лицом, серым от недосыпа. Мы доложились друг другу коротко. Он был из того самого передового подразделения, что оставило двор позавчера, когда справа, в лесу, что-то зашевелилось и стало стрелять, и своих сил удержать двор не было; вчера обстановка переменилась, лес прочесали, и сегодня утром они вернулись — забирать то, что оставили, и вывозить повреждённую машину, которую тогда бросили с разбитым передком.

— Мне велено вывезти имущество, — сказал я и показал бумагу.

Он прочёл. Кивнул.

— Мне велено то же самое, — сказал он. — Но у меня одна машина, и она тянет вот эту. Так что забирайте, товарищ старший лейтенант. Только не сейчас. Сейчас я вывожу битую, и пока она в проезде — никто ни туда, ни оттуда. Проезд один.

— Сколько?

— Полчаса. Если трос не лопнет.

— Трос выглядит целым, — сказал я. — Только крепление проверьте, петля набок легла.

Лейтенант обернулся, окликнул своих. Трос ослабили и поправили; человек в кабине битого ЗИСа высунулся, чтобы лучше видеть сигналы. Я дождался, пока закончат, и пошёл искать Деда.

Пока мы говорили, Фрол уже был у забора с двумя стрелками и говорил с человеком из здешних — сержантом, судя по всему, из охраны двора, — и я видел, как тот показывает ему рукой: туда, на север, в лес, потом на дорогу дальше, на запад, и качает головой. Через минуту Фрол подошёл.

— Дорога дальше — не наша, — сказал он. — Вчера прочесали до опушки, и всё. В лесу на север вчера стреляли, сегодня — тихо, но никто не ходил. Я людей ставлю на опушку, к

дороге и к забору с севера. Здесь — их охрана, четверо. Я с ними договорился, кто где. Если что — сначала мои, потом их.

— Хорошо.

— И ещё, — сказал Фрол. — Их лейтенант — нормальный мужик. Он тут второй день не спит. Ты с ним не спорь.

— Я не спорю.

— Я вижу, что не споришь, — сказал Фрол. — Я на всякий случай.

* * *

Деда я нашёл в сарае, и он был не один.

В сарае было полутемно, пахло железом, старой соломой и керосином, и вдоль стен стояли ящики — не три, как у нас, а штук пятнадцать, разных, одни закрытые и подписанные мелом, другие раскрытые, с торчащими рукоятками, — и посреди всего этого стояли двое и спорили. Один был Дед. Второй — невысокий, кряжистый, лысый, в комбинезоне, старший сержант по погонам, с руками, которые я узнал бы в любой толпе: руки человека, который тридцать лет держит ключ. Мастер. Они стояли друг против друга, как два петуха, и одновременно улыбались, и это было видно даже в полутьме.

— ...а я тебе говорю, что микрометры я уже уложил, — говорил мастер. — Уложил, подписал, в ту отправку, которая идёт с битой машиной. Они там. Ты что, хочешь, чтобы я вскрывал?

— Хочу, — говорил Дед. — Потому что ключи — здесь, а микрометры — там. И что мне с ключами без микрометров? Я гайку закручу, а зазор мне кто померит? Ты?

— Да зачем тебе зазор мерить, Григорий! Ты что, в поле моторы перебирать собрался?

— Собрался, — сказал Дед с таким спокойствием, что я понял: он говорит правду и сам этому рад. — Ты не знаешь, что у меня стоит. У меня стоит немец с шестью цилиндрами и ни одной запасной части. Когда он у меня застучит — а он застучит, — я его буду перебирать в поле, и мне нужен будет зазор. И плоскость. И щупы. Всё, что ты в ту отправку положил, мне нужно здесь, с этими ключами, в одном месте. Потому что рабочее место — это не ключи. Рабочее место — это ключи и чем мерить. Одно без другого — это красивый ящик.

Мастер посмотрел на него. На ящики. На меня, стоящего в дверях. Я молчал: тут я был лишний, и понимал это.

— Григорий, — сказал мастер другим голосом. — Ты понимаешь, что я за них расписался? Я их вскрою, отдам тебе — а с меня спросят.

— Спросят. Скажешь, что отдал по распоряжению. — Дед кивнул на меня. — Вот распоряжение, у товарища старшего лейтенанта, с подписью. Скажешь, что на месте решил передать полный комплект группе, которая будет работать в поле, а не в тылу. Потому что в тылу микрометр пролежит в ящике до осени, а в поле он завтра будет мерить.

Мастер помолчал. Потом сказал, обращаясь ко мне, впервые:

— Товарищ старший лейтенант. Он всегда такой был. В тридцать восьмом, когда мы вместе работали, он у меня так же выпросил набор плашек. Сказал: «В тылу пролежат». И они у него пролежали, только не в тылу, а у него.

— И работали, — сказал Дед.

— И работали, — признал мастер. — Работали, чёрт с тобой.

Он повернулся к ящикам, к тем, что были закрыты и подписаны мелом, нашёл один — небольшой, плоский, окованный, — и поставил его отдельно, к ногам Деда.

— Микрометры, штангели, щупы, линейки, плитка. Полный. Пиши расписку, Григорий. Не командиру — мне лично. Чтoб я знал, с кого спрашивать, если что.

— Напишу, — сказал Дед. И вдруг положил ему руку на плечо. — Спасибо.

— Иди ты, — сказал мастер и отвернулся, и я увидел, что он доволен так же, как Дед, и точно так же не хочет этого показывать.

Дальше пошла работа, и я вам скажу: я такую работу люблю больше всего на свете. Не бой — это. Когда надо найти, взять, перенести и положить так, чтобы потом можно было найти снова.

Груза нам досталось на семь мест. Не на пятнадцать — на семь; остальные уходили с той отправкой, к своим, и это было правильно, и Дед не спорил. Семь: два ящика ключей — гаечных, торцовых, разводных, с воротками, тяжёлых, — я поднял один вдвоём с механиком и понял, что двое — это в самый раз; ящик с измерительным, тот самый, плоский; ящик со съёмниками и оправками; тиски, стуловые, вместе с наковаленкой — не ящик, а просто железо, обёрнутое в мешковину; ящик с расходным — прокладки, шплинты, шайбы, проволока, лента, — и ещё один, в котором Дед копался дольше всего и наконец выпрямился с таким лицом, что я всё понял до того, как он сказал.

— Лампа, — сказал он. — Паяльная. И олово. Кислоты нет, но кислоту я найду. Алексей Палыч. Лампа.

— Вижу.

— Ты не видишь. Ты смотришь. — Он держал её в руках, медную, закопчённую, с помятым баком, как держат добычу. — Это значит, что Василий поедет. Не сегодня — но поедет.

Мастер из угла сказал: «Лампу я тебе не давал, учти, лампа была в общем ящике», — и Дед ответил: «А я и не беру. Я её нашёл», — и они снова заулыбались, и я вышел из сарая, потому что мне надо было посмотреть на проезд, а этим двоим было хорошо и без меня.

* * *

С проездом дело было плохо.

За те двадцать минут, что я провёл в сарае, лейтенант с ведомостью успел зацепить свою битую машину, тронуть — и встать. Крепление выдержало, но буксирующий ЗИС встал слишком близко к стене. Когда он потянул, передние колёса битой машины пошли к углу сарая; водитель попробовал отвернуть, и грузовик закосило, и теперь стоял в проезде наискось, передним колесом у стены, и ни вперёд, ни назад ему было не пройти, потому что впереди мешал угол сарая, а сзади — он сам, то есть его собственный разворот. Лейтенант стоял у него, серый, и молчал. Водитель тягача высунулся из кабины и ждал. Артист сидел в кабине нашего ЗИСа снаружи, у дороги, и тоже ждал, и Суров в «Опеле» за ним, и всё наше дело стояло вместе с этим одним чужим грузовиком, вставшим в узком месте наискось.

Я подошёл к лейтенанту.

— Товарищ лейтенант. Разрешите.

Он посмотрел на меня.

— Что «разрешите»?

— Разрешите вашу машину провести. Я это умею. Не хвастаюсь — умею. Это моя работа.

Он мог отказать. Я бы на его месте, наверное, отказал: чужой старший лейтенант, второй день не спишь, а тут тебе указывают. Но он был усталый и честный, и он посмотрел на свой ЗИС, стоящий наискось, и на меня, и сказал:

— Ведите.

И я повёл.

Это было просто. То есть это было просто для меня — я такие вещи делал двадцать лет и делал бы с закрытыми глазами, — а для того, кто не делал, это выглядело, наверное, как фокус. Сначала я отвёл людей от троса и посмотрел, куда могут пройти передние колёса. На битом ЗИСе человек оставался за рулём, руль и тормоза у машины работали. Буксирующий грузовик пришлось переставить: теперь он тянул с выносом влево, от стены. Крепления я проверил ещё раз. Оба водителя видели мою руку. Я сказал ему: «Полметра. Не больше. По руке», — и поднял ладонь. Он дал полметра. Битый ЗИС качнулся, его передок пошёл от стены — на ладонь, на две, — и я сказал: «Стой». Когда трос ослаб, буксирующий ЗИС чуть переставили. Я показал второму водителю, как повернуть колёса. Ещё полметра. Передок отошёл от стены

и встал ровно, в створ проезда. Теперь обе машины стояли прямо, и я сказал: «Теперь тихо и не останавливаясь», — и тягач потянул, и битый ЗИС вышел из проезда, как выходит пробка из бутылки, если её не дёргать, а вести.

Восемь минут. Я не считал — это лейтенант потом сказал.

Он стоял и смотрел на свой ЗИС, уже на дороге, уже на прямом тротуаре, и потом посмотрел на меня.

— Где учились? — спросил он.

— Нигде, — сказал я, и это была почти правда. — Работал.

— Работали, — повторил он. — Ну да. — И вдруг протянул руку. — Спасибо. Я бы его тут до вечера ковырял. Проезд ваш.

Вот и всё. Ничего героического. Но Артист из кабины смотрел на меня так, что мне стало неловко, а Суров — Суров не смотрел. Он уже подавал «Опель» задом в освободившийся проезд, и подавал хорошо: не дожидаясь моей руки, сам, по зеркалу, ровно, в ладони от стены, — и встал у ворот сарая точно так, чтобы ящики можно было подавать прямо из дверей в кузов, без переноски. Я это увидел и ничего не сказал. Не потому, что не оценил — потому, что он сделал это не для того, чтобы оценили.

Зато сказал Артист. Он вылез из своей кабины, подошёл к «Опелю», обошёл его, посмотрел на просвет между бортом и стеной, потом на Сурова в кабине и сказал громко, для всех:

— Гаврила. Ты это сам?

— Сам, — сказал Суров.

— Без руки?

— Зеркало есть.

— Зеркало есть, — повторил Артист и повернулся к Деду, который как раз выносил из сарая первый ящик. — Григорий, ты видел? Он её задом в щель поставил, как ложку в стакан. Вчера человек первый раз за этот руль сел. Вчера! Я на своём ЗИСе третий год, и я бы сюда с двух раз заходил.

— С трёх, — сказал Дед, не останавливаясь.

— С двух!

— Я тебя видел в марте у переправы. С трёх.

Суров сидел в кабине и молчал, и уши у него были красные, и я подумал, что вот так, наверное, и надо: чтобы человека хвалили не командир, а тот, кто сам умеет, и чтобы третий при этом честно уточнял счёт. Я подошёл к кабине и сказал ему только одно:

— Она твоя, Гаврила. Совсем.

Он кивнул. Ничего не ответил. Но руки на руле положил иначе — как кладут на своё.

И вот тут выяснилось то, чего я, честно говоря, не рассчитал.

Грузовых мест было семь, включая тиски с наковаленкой, и ещё то, что Дед нашёл «сверх» — а он нашёл, он не мог не найти: два бидона с маслом, которые мастер отдал со словами «всё равно не довезём», и моток буксирного троса, старого, но целого, и какие-то доски, «под ноги, чтоб не в грязи стоять». Весь этот комплект — это не три ящика ручного инструмента. Это вес. Наш первый ЗИС мог взять это всё, но тогда в нём не оставалось места людям — а людей у нас на две машины было пятнадцать. Трёх из них Фрол держал на опушке до последнего, они должны были сесть уже перед отъездом. Ещё надо было оставить место знакомому мастеру Деда: он сопровождал имущество до точки. Без «Опеля» пришлось бы ехать дважды. Семь километров туда, семь обратно, ещё раз в проезд, ещё раз в этот двор, который в любую минуту мог опять стать «не наш».

С «Опелем» — один раз.

Я стоял и смотрел, как ящики уходят в его кузов — тяжёлые сначала, к переднему борту, потом лёгкие, потом тиски и железо, обёрнутое в мешковину, по бокам, чтобы не ёрзали, —

и думал, что вот ради этого, собственно, я вчера и стоял с рукой у повозки. Не ради машины. Ради того, чтобы сегодня не ехать дважды.

Дед распоряжался погрузкой, как дирижёр: «этот — сюда, этот — не туда, не ставь на измерительный, я тебе руки оторву», — и механики его слушали, и мастер стоял рядом и, кажется, впервые за день ничего не делал, а просто смотрел, как правильно грузят его ящики, и это ему нравилось.

С досками вышла заминка. Дед велел их грузить, Артист, подававший из сарая, взял верхнюю, посмотрел на неё и остановился.

— Григорий. Это доска.

— Я вижу, что доска.

— Мы за семь километров за досками ехали?

— Мы ехали за инструментом. А доска — это чтобы инструмент не лежал в грязи, когда я его разложу. Ты когда-нибудь искал щуп в луже?

— Не искал.

— Вот и не будешь. Грузи.

Артист погрузил. Но вторую доску он взял уже иначе — с некоторым уважением, как берут вещь, у которой, оказывается, есть назначение, — и Профессор, стоявший у борта с бумагами, которые нашёл в сарае (немецких там не оказалось, все наши, но он всё равно посмотрел), сказал ему негромко: «У него на всё есть назначение. Ты заметил? Даже на нас», — и Артист засмеялся и сказал: «На тебя — точно. Ты у него — чтобы надписи читать», — и Профессор не обиделся, а подумал и сказал: «Справедливо».

Фрол пришёл с опушки, когда оставался последний ящик.

— В лесу на севере, — сказал он мне негромко, — километрах в двух, стреляли. Минуту назад. Не по нам. Не в нашу сторону. Кто-то с кем-то. Я людей не трогаю — они стоят, они смотрят. Грузитесь. Если пойдёт ближе — скажу.

— Сколько у нас?

— Сколько надо, столько и есть. — Он посмотрел на кузов «Опеля». — Не торопись. Торопиться — ронять.

Я не торопился. Через десять минут последний ящик встал на своё место, и Дед закрыл борт, и хлопнул по нему ладонью, и сказал: «Всё», — и мастер сказал: «Ну, Григорий», — и они пожали друг другу руки во второй раз за день, и мастер полез в кузов «Опеля», потому что ехал с нами: с ним ехали его ящики, и он их не оставлял.

Люди Фрола сели последними — через борт первого ЗИСа, уже у самой дороги, — и в лесу на севере больше не стреляли, и мы ушли.

Обратно «Опель» шёл впереди, тяжело, с грузом, и Суров вёл его так, что ни один ящик, я думаю, не сдвинулся ни на палец; мы шли за ним, и Артист, глядя ему в корму, сказал через минуту молчания:

— Один раз.

— Что — один раз?

— Съездили один раз. Я, когда ящики увидел, подумал — два. Точно два. А вышло — один. — Он покачал головой. — Вот вам и немец. Одна машина — а семь километров сэкономила.

— Четырнадцать, — сказал я. — Туда и обратно.

— Четырнадцать. — Он попробовал число на слух, как пробуют реплику перед выходом. — Так и буду говорить.

— А вы, товарищ старший лейтенант, с тросом — это где?

— Работал, — сказал я.

— Работали, — повторил он так же, как лейтенант во дворе, и больше не спрашивал, и я был ему за это благодарен: не потому, что скрывал, а потому, что «работал» было единственным честным ответом, который я мог дать, и он это, кажется, почувствовал.

* * *

На точке нас ждали.

Не потому, что кто-то что-то знал, — просто дежурный видел, как мы уходили, и видел, как возвращаемся с грузом, и вышел встречать, и с ним двое ремонтников. Чумаков уехал ещё днём — я узнал это первым делом, — но уехал не молча: дежурному была оставлена записка, и в записке было то, что я, честно говоря, надеялся прочесть, но не ждал так скоро: имущество принять на точку по ведомости, группе Ракитина выделить для работы то, что группа обоснует, остальное — по линии отдела. «Обоснует» было подчёркнуто. Я понял это так: бери, что нужно, но чтобы было понятно, зачем.

Обосновать я поручил Деду. Он это сделал за пять минут, и лучше, чем сделал бы я, потому что говорил не «нам надо», а «вот это — на «Опель», у которого нет запасных частей; вот это — на ЗИС, у которого течёт радиатор; вот это — на любую машину, которую мы возьмём, потому что без съёмника вы её не разберёте, а ключи от неё немецкие, а немецкие ключи у нас есть — вон, с «Опеля», три штуки», — и дежурный слушал и записывал, и в конце концов группе остались четыре ящика из шести, тиски с наковаленкой, лампа из расходного ящика, масло, трос и все доски. Два ящика — те, что дублировали наши, — ушли на точку, и Дед отдал их без звука, потому что дублирующие ключи — это не то, из-за чего спорят с армией.

А потом на точке произошло то, чего я не планировал, и что оказалось лучше всякого плана: Дед и мастер сели разбирать ящики.

Это надо было видеть. Они сели на землю у нашего второго ЗИСа, под открытым капотом, поставили между собой измерительный ящик, открыли его — и пропали. Я подходил три раза. Первый раз они обсуждали, какой из двух микрометров врёт и на сколько, и мастер говорил: «на две сотых, я его в апреле выверял», а Дед говорил: «на три, я его сейчас проверил по плитке». Второй раз они уже говорили не про микрометры, а про какого-то Семёнова, который в тридцать девятом уронил этот самый ящик с эстакады, и что он после этого сказал, и что ему на это сказал мастер, и оба смеялись так, что Профессор, читавший под сосной, поднял голову. Третий раз я не подходил — я просто стоял в стороне и слушал, как Дед объясняет мастеру, что такое немецкий «Опель» с точки зрения зазоров, а мастер объясняет Деду, что он ничего не понимает в немецких зазорах, и что в тридцать восьмом тоже не понимал, и это была неправда, и оба это знали, и оба были счастливы.

Я подумал тогда — и до сих пор так думаю, — что человеку нужно не так уж много. Нужна работа, которая получилась. И нужен кто-то, кто понимает, почему она получилась.

Князь подошёл ко мне, когда я стоял и слушал. Подошёл не так, как вчера, — не мялся. Подошёл по делу.

— Алексей Палыч. Ужин будет через час, я договорился с точкой на кипяток. Это раз. Два: масло, которое Дед привёз, — я его перепишу, чтобы было понятно, сколько чьё. Три. — Он помолчал. — Про обувь я не спрашиваю. Я знаю, что вы сказали майору. Мне Фрол сказал, он под палаткой стоял.

— Сказал, — подтвердил я.

— Я не про это. Я про то, что у меня второй номер сегодня семь километров в кузове трясся с этим сапогом, а завтра, если куда пойдём, — опять. Я ему пока проволоку перемотал, новую. Но это не сапог. Так что я хочу, чтобы вы знали: если где-то по дороге будет трофейное имущество — не с пленных, я не про это, а склад, брошенное, что положено принимать, — я первым делом смотрю обувь. И если найду — я вам доложу, а вы решите. Я сам не возьму.

— Договорились, — сказал я. — Смотри. И докладывай.

— Вот, — сказал Князь и, кажется, остался доволен: не тем, что получил, а тем, что порядок был ясен.

И тут к нам подошёл человек, которого я до этого не видел, — водитель, с проходящей машины, полуторки, что стояла у бочек на заправке: немолодой, небритый, в ватнике, несмотря на июнь. Его привёл дежурный. Дежурный сказал: «Вот, товарищ старший лейтенант, он тут говорит одно дело, а я помню, майор велел — про немецкие мастерские всё, что услышим, к вам».

— Говори, — сказал я водителю.

Он говорил медленно, как человек, который привык, что его перебивают, и удивлён, что не перебивают. Он вёз имущество с востока, по дороге в объезд — по той стороне, восточнее Глуска, где вчера ещё стреляли, а сегодня уже пропускали. И на боковом выезде, километрах в восьми от Глуска, если по той дороге считать, — он показал рукой, куда, — он видел, как в лес, на просёлок, сворачивает немецкая машина. Не грузовик. С кузовом. С будкой. «Как у ремонтников, — сказал он. — Знаете, такая, с дверью сзади и окошком». Одна. Никто её не гнал, никто за ней не ехал. Свернула и ушла в лес, как к себе домой.

— Когда?

— Сегодня. С утра. Часов в восемь, может, в девять. Я как раз проезжал.

— Точно немецкая?

— Товарищ старший лейтенант, — сказал водитель почти обиженно, — я их четвёртый год вижу. Немецкая. Серая. С будкой.

— Охрана? Ещё машины? Люди?

— Не видел. Она одна. Свернула — и всё. Я дальше поехал, мне не до неё.

Больше он ничего не знал, и я не стал его мучить: он сказал всё, что видел, и сказал честно, и место показал, и время. Я поблагодарил, и дежурный увёл его к его полуторке, и я остался стоять.

Немецкая машина с будкой. Ремонтная. Одна, не в колонне. Сворачивает с бокового выезда в лес — не бежит, а сворачивает, «как к себе домой». Сегодня утром, в восьми километрах восточнее Глуска, на той стороне, куда нам ехать не велено.

Это был не приказ. Не карта. Даже не уверенность. Это был след — свежий, как след на песке, — и я стоял и смотрел на него, как смотрят на след, когда знают, что по нему пойдут.

Не всем парком. Чумаков сказал ясно, и он был прав. Сегодня ещё хватало света на выезд к передовому посту, а дальше — как скажет Фрол.

— Фрол, — сказал я.

Он оказался рядом — как всегда.

— Слышал?

— Слышал, — сказал он. — Одна. С будкой. В лес. Восемь километров от Глуска, по восточной. — Он помолчал. — Я бы посмотрел.

— Я бы тоже.

— Не всем.

— Малой группой, — сказал я. — Собирай. Пока едим, договоримся.

А у второго ЗИСа Дед и мастер всё ещё сидели над открытым ящиком, и мастер говорил: «Ты этот щуп не суй, он погнутый, я его в тридцать девятом на Семёнове погнул», — и Дед хохотал, и Артист, подошедший послушать, уже сидел рядом и ждал, когда ему объяснят, кто такой Семёнов, и что можно погнуть щуп об человека.

Глава 5. «Где у немцев руки»

Мы выехали, когда солнце ещё стояло высоко, вечером двадцать шестого, часов в шесть, и я знал, что это правильно, и всё равно мне казалось, что поздно.

Ехали на первом ЗИСе — Артист за рулём, я рядом, в кузове Фрол, Дед, Профессор и двое стрелков, которых Фрол выбрал сам, не спрашивая: один — тот, второй номер, с сапогом

на проволоке, потому что «ходит тихо, а сапог — это не ноги»; второй — молодой, длинный, с винтовкой, о котором Фрол сказал только «глаза хорошие». «Опель» с Суровым остался на точке, и Князь, и Исаев, и второй ЗИС под соснами с открытым капотом, и все остальные, — и это было правильно, потому что мы ехали не брать, а смотреть, а смотреть ездят немногие.

Дорога была длинная. Тридцать с лишним километров в объезд, по восточной стороне, где Глуск оставался слева, за лесом и рекой, и куда нам было нельзя, потому что Глуск ещё не был наш. Вчера здесь стреляли. Сегодня пропускали — на двух постах нас останавливали, смотрели бумагу, спрашивали, куда, и на втором посту, у сгоревшего хутора, старший, лейтенант-пехотинец с забинтованной кистью, сказал: «Про вас знаем, из автоотдела передавали. Дальше по дороге — наши до поворота на просёлок. За поворотом — не ходили. Если пойдёте — скажите, когда назад, чтоб не стрельнули». Я сказал: ночью. Он кивнул и записал.

Вот это и был наш «согласованный выход», о котором так гладко пишут в бумагах: лейтенант с забинтованной рукой, который знает, что мы поедem, и запишет, когда мы вернёмся. Больше ничего. И этого, если честно, было достаточно.

Мне хотелось ехать быстрее. Я ловил себя на этом всю дорогу — на том, как я смотрю на спидометр, на то, как Артист берёт повороты, на солнце, которое, как мне казалось, падает слишком быстро. Я хотел увидеть эту машину. С того часа, как вернулись с ящиками, с того момента, как водитель в ватнике сказал «с будкой», я думал только о ней — так, как думаешь о вещи, которую тебе показали в витрине и сказали, что сегодня её ещё не продают. Я это понимал, и понимал, что это неправильно, и всё равно смотрел на спидометр.

Фрол, видимо, тоже понимал. Когда мы свернули с дороги на просёлок — тот самый, что показал водитель, узкий, в две колеи, уходящий в сосны, — он постучал в заднее стекло, и Артист встал, и Фрол слез и подошёл к моему окну.

— Дальше — пешком, — сказал он. — Машину — сюда, в кусты, задом, чтобы выезжать носом. Семён при ней. Нас шестеро, Семён остаётся при машине. Километра два, если водитель не соврал.

— Не соврал, — сказал я.

— Тогда два. — Он посмотрел на меня. — Алексей Палыч. Ты когда её увидишь — не беги. Второй день за тобой смотрю — так и тянет тебя к чужому рулю.

— Не побегу.

— Вот и посмотрим, — сказал Фрол.

* * *

Он был прав, и я это признаю, потому что рассказываю честно.

Через полтора километра просёлок сделал поворот, и лес расступился, и мы увидели двор. То есть — я увидел двор. Фрол увидел что-то другое, но сначала расскажу, что увидел я.

Мы лежали в кустах у поворота, на пригорке, откуда просёлок уходил вниз и упирался в ворота. Ворота были распахнуты. За ними, метрах в двухстах, стоял большой сарай, каменный, с широкой крышей, — бывшая, наверное, кузница или мастерская при какой-то усадьбе, — и перед сараем, на утоптанной площадке, стояла машина. Серая. «Опель», такой же, как наш, с той же тупой мордой, — только вместо бортового кузова у него была будка: высокий закрытый кузов с покатой крышей, с дверью сзади и маленьким окном сбоку. Мастерская. Я знал, как выглядят мастерские на колёсах, я их видел в той жизни десятки, — и эта была именно она: не фургон, не санитарка, а рабочий кузов, в котором внутри верстак, а снаружи — откидной борт.

Она стояла тихо. Никого вокруг. Ворота открыты, площадка пуста, дверь сарая прикрыта. Вечер, тень от сарая легла на половину двора. Ни звука, ни движения.

— Брошена, — сказал я.

Я сказал это тихо, но с такой уверенностью, что сам её услышал. Брошена. Стоит. Они ушли, оставили, и вот она стоит, и до неё двести метров, и надо просто спуститься и...

— Погоди, — сказал Фрол.

Он лежал рядом и смотрел не на машину. Он смотрел на сарай, на угол сарая, на тень.

— Что?

— Ты видишь ворота и машину. — Он говорил медленно, как говорят, думая. — Ты не видишь двор. Двор — за сараем. Сарай длинный, он закрывает всё, что за ним. И слева, за забором, — там тоже что-то есть, я вижу крышу. Мы видим то, что нам показывают: пустую площадку и машину. Может, она и брошена. А может, за сараем — десять человек, и они ужинают.

— Как проверить?

— Обойти. — Он показал рукой: вправо, в лес, по дуге, туда, где за двором поднимался пологий холм, поросший соснами. — Оттуда, с горки, двор будет как на ладони. Весь. Полчаса ходу.

Полчаса. Солнце уже касалось верхушек. Я посмотрел на машину, стоящую внизу, тихую, серую, в двухстах метрах, — и на Фрола. И вот тут я, честно скажу, подумал: а что, если он прав, и за сараем никого нет, и мы потратим полчаса на то, чтобы посмотреть на пустой двор с другой стороны, и стемнеет, и мы уедем ни с чем?

А потом я подумал другое. Я подумал: он видит крышу за забором, а я не вижу. Он думает про то, что за сараем, а я думаю про машину. Я двадцать лет учил Витьку: не лезь к фуру, пока не обошёл кругом. Не лезь. Обойди.

— Идём, — сказал я.

— Не бежишь? — спросил Фрол.

— Не бегу.

— Ну и молодец, — сказал он совершенно серьёзно и пополз назад, в лес.

Мы обошли. Полчаса — это Фрол сказал щедро, вышло минут сорок, потому что шли тихо, а тихо по лесу — это медленно, и комары ели нас так, будто нас им обещали. Но когда мы вылезли на холм и легли между сосен, и я посмотрел вниз, — я понял, что такое «обойти», понял всем собой, как понимаешь, когда ошибся и тебя вовремя удержали.

Двор был живой.

За сараем — тем самым, который закрывал всё с дороги, — была вторая площадка, больше первой, и на ней было человек восемь. Не десять — восемь, Фрол сосчитал сразу и сказал: «восемь, двое у ворот в лес, один на углу, за ним пулемёт, пятеро работают». Работали они у машины — той же самой, серой, с будкой, — только теперь я видел её с другой стороны, с рабочей: задняя дверь открыта, откидной борт опущен, и на нём разложен инструмент, и двое стоят у борта и что-то делают, а третий носит из сарая ящики, и ставит их у колеса, и возвращается за следующим. У ворот, что выходили в лес — вторые ворота, с той стороны, откуда мы теперь смотрели, — стояли двое с винтовками, и оба смотрели не в лес, а во двор, на работу, и один курил. На углу сарая, под навесом, лежал пулемёт на сошках — я его не сразу разглядел, разглядел Фрол, — и возле него сидел человек, спиной к стене, и, кажется, дремал.

И ещё во дворе была повозка с двумя лошадьми, распряжёнными, и на повозке тоже лежали ящики.

— Не брошена, — сказал я.

— Работают, — сказал Фрол. — Лежи. Досмотрим.

Я лежал и смотрел, и во мне, знаете, одновременно было два чувства, и оба сильные. Первое — стыд: если бы я побежал, как хотел, то выбежал бы на пустую площадку перед сараем, и из-за угла в меня выстрелил бы тот, кто сейчас дремлет у пулемёта, и, наверное, попал бы. Второе — удовольствие, странное, почти детское: она не брошена, она живая, возле неё работают, её готовят к дороге, — значит, шанс получить исправную мастерскую ещё есть.

— Фёдор, — сказал я. — Спасибо.

— За что?

— За то, что я не побежал.

— Это ты сам не побежал, — сказал Фрол. — Я только сказал «погоди».

* * *

Мы лежали на холме до темноты, а темнело в тот вечер долго, и я расскажу, что мы видели, потому что каждый из нас видел своё, и всё вместе сложилось в то, с чем мы потом вернулись.

Профессор видел надпись.

На боку будки, на серой стенке, крупно, белым, была нанесена надпись — не имя, не название, а служебная строка, буквы и цифры, какие немцы ставили на своих машинах, чтобы своя же служба знала, чьё это. Профессор смотрел на неё долго, прищурившись, — было далеко, метров сто пятьдесят, и свет уходил, — и потом сказал, не мне, а Деду, который лежал рядом:

— Это та же самая.

— Какая та же самая? — спросил Дед, не отрываясь от машины.

— Та, что в бумагах с «Опеля». Там в накладных, где выдача, есть получатель — сокращение и номер. Я его выписал, помнишь, я говорил — три названия и два непонятных. Так вот одно непонятное — не название. Это не место. Это они. — Он кивнул вниз. — Вот эта надпись. Это подразделение, которое получало. Ремонтное. Которому выдавали.

— То есть?

— То есть тот грузовик, что мы взяли вчера, вёз для них. Или от них. Он — их. И эта — их. Одна и та же... — он поискал слово, — контора.

— Контора, — повторил Дед и, кажется, впервые за вечер оторвался от машины и посмотрел на Профессора. — А сколько у конторы таких машин, ты по надписи скажешь?

— Нет, — сказал Профессор честно. — По надписи — нет. Надпись говорит, чьё. Не сколько. И не где остальные. Я не буду угадывать.

— Правильно, — сказал Дед. — Не угадывай. Я тебе скажу, что вижу я.

И он сказал. Он лежал, подперев подбородок кулаками, и говорил тихо, ровно, как человек, который читает вслух то, что перед ним написано.

— Борт откидной — верстак. Не стол, а верстак, на кронштейнах, видишь, как стоит — не качается. На нём — тиски, маленькие, я их отсюда вижу по тому, как тот, с ключом, за них держится. Ящики, что носят из сарая, — это инструмент, тяжёлый, видишь, как несёт, двумя руками, а ящик небольшой. Значит, металл. Значит, ключи или оправки. Дверь сзади — открыта, внутри свет, — лампа переносная, значит, есть чем светить. Внутри — полки, вижу край. Что на полках — не вижу. Что в ящиках — не вижу. Есть ли там станок — не знаю, но не думаю: под станок кузов был бы другой, шире и ниже, а этот — обычный. — Он помолчал. — Верстак, тиски, свет, полки, инструмент в ящиках. Всё. Больше не скажу, пока внутрь не зайду.

— А ты зайдёшь, — сказал Профессор.

— Я зайду, — сказал Дед так, что стало ясно: это не надежда, а намерение.

А я видел движение.

Это моя работа — видеть, как движется груз, и я её делал, лёжа на холме между сосен, как делал бы её на своей площадке. Я видел, что машина стоит носом к воротам в лес, а не к сараю: её уже развернули, чтобы выезжать. Я видел, что ящики, которые носят из сарая, ставят у колеса, а не в кузов — значит, ещё не грузят, а готовят; грузить будут потом, когда кончат то, что делают у борта. Я видел, что делают у борта — не видел, что именно, но видел, как: двое, склонившись, с инструментом, над чем-то, что лежит на верстаке, и третий подаёт, и они не спешат. Это была работа. Не сборы — работа. Они что-то чинили. И пока они чинили, машина стояла.

— Похоже, ждут окончания работы, — сказал я. — Потом погрузят ящики и поедут. Машина уже носом на выезд.

— Мотор-то живой? — спросил Фрол.

— Надеюсь. Перед сараем стояла, теперь за сараем, носом на выезд. Сама могла пройти, пока мы обходили.

— А могли и перекатить.

— Могли, — согласился я. — Значит, подождём. Перед дорогой им всё равно её заводить.

— Лежим, — сказал Фрол.

И тут внизу переменялось.

Тот, кто носил ящики, поставил последний — и не пошёл за следующим. Вместо этого он подошёл к кабине, открыл дверцу, залез, и через минуту мы услышали — снизу, через сто пятьдесят метров, через вечер, — как мотор завёлся. Завёлся хорошо, ровно, шестёркой, я эту шестёрку узнал, как узнают голос, и водитель дал газ, послушал, сбросил, послушал ещё — так слушают мотор перед дорогой, — и заглушил. И вылез. И подошёл к своим у борта, и что-то сказал, и те у борта — я видел — стали убирать. Не работать — убирать. Складывать инструмент с верстака в ящик.

— Кончили, — сказал Дед.

— Теперь — грузить, — сказал я. — И ехать могут хоть сейчас.

— До утра простоят? — спросил Фрол.

— Может, простоят. — Я кивнул на небо, где уже не было солнца. — На ночь по такой дороге с грузом я бы не полез. Но за них не решу. Надо вернуться со своими к рассвету; позже можем застать пустой двор.

Пока он считал, мы лежали молча, и комары делали своё дело, и я, чтобы не думать о них, думал о том, что вот сейчас, в эту минуту, внизу восемь человек заканчивают работу и не знают, что за ними смотрят с холма; и что вчера утром я точно так же не знал, что за повозкой лежит человек с винтовкой. Это было странное чувство — не превосходства, а какой-то ответственности за то, что знаешь. Фрол, видимо, думал о чём-то похожем, потому что вдруг сказал, не поворачивая головы:

— Алексей Палыч. Вчера. У повозки. Ты почему не лёг?

— Когда?

— Когда он поднялся. Ты стоял с рукой. Любой бы лёг. Ты — нет.

Я подумал. Можно было ответить «не успел», и это была бы половина правды. Но он спрашивал по-настоящему, и я ответил по-настоящему.

— Машина шла задом. Если бы я лёг, Семён потерял бы руку — мою, в зеркале, — и дёрнулся бы. В кювет или на оглоблю. Это раз. — Я помолчал. — А два — я хотел, чтобы вы видели, что я умею. Первый день. Вы меня знаете, а я вас — как будто заново. Хотел показать.

Фрол помолчал.

— Показал, — сказал он. — Только больше так не показывай. Мне тебя потом Деду объяснять.

— Не буду.

— Будешь, — сказал он. — Но я тебя предупредил.

Фрол лежал и смотрел вниз, и я видел, как он считает — не машину, людей: двоих у ворот, того на углу с пулемётом, пятерых у борта. Считает, как они стоят, куда смотрят, где лес подходит к забору, где двор просматривается, а где нет.

— Двое у ворот — смотрят во двор, — сказал он наконец. — Пулемёт на углу — один, и он спит, а если не спит, то не видит лес: угол закрыт навесом. Пятеро работают, оружие — у стены сарая, я вижу, стоят винтовки, пять штук, в ряд. Их нужно брать не ночью — ночью они спят у стены, рядом с винтовками. Утром. Когда они встали, разошлись по работе, и оружие — там, а они — здесь. Идти — от леса, с этой стороны, к воротам, где двое. Двоих снять тихо — и весь двор наш, потому что пулемёт не видит, а пятеро — без винтовок. Если пулемёт проснётся — по нему первым, из леса, ДП, он тут как раз ляжет, я место вижу. — Он помолчал.

— Это если утром они стоят так же, как сейчас. Если не так — буду смотреть утром. Это я тебе, Алексей Палыч, не обещаю. Это я тебе говорю, что вижу.

— Мне нужна машина, — сказал я. — Целая. На ходу. С тем, что в ней. Мне не нужен сарай. Не нужна повозка. Не нужно, чтобы взяли всех до одного. Мне нужно, чтобы её никто не поджёг, не прострелил и не успел выгнать в лес. Всё остальное — твоё, как ты скажешь.

— Понял, — сказал Фрол. — Значит, первое — водитель. Чтобы не сел. Второе — пулёмёт, чтоб не стрельнул по кузову. Третье — все остальные. — Он подумал. — Двадцать человек мне не надо. Надо восемь. С ДП. И чтобы никто не бежал впереди.

— Никто не побежит, — сказал я.

— Я это уже слышал сегодня, — сказал Фрол, и в темноте я услышал, что он усмехается.

* * *

Обратно мы шли в полной темноте, и это было долго, и я не буду рассказывать про два километра леса ночью, потому что там нечего рассказывать, кроме комаров и корней. Скажу только, что Фрол шёл первым и ни разу не сбился, и что стрелок с хорошими глазами шёл последним и дважды останавливал нас, и оба раза это была птица.

Артист ждал у машины. Он не спал — он сидел на подножке в темноте, с ППШ на коленях, и когда мы вышли из кустов, он не вскочил, а сказал тихо: «Свой?» — и Фрол ответил, и тогда он встал. Мы сели: я в кабину, остальные в кузов, и Артист вывел ЗИС из кустов носом вперёд, без света, как и загнал, и только на просёлке включил фару.

На обратной дороге остановились у своего поста: нас записали, а я попросил Артиста заглушить мотор на несколько минут и подошёл к кузову. Надо было сразу решить, кем вывозить мастерскую, если утром её возьмём. Фрол как раз говорил об этом с Дедом.

— Кто поведёт? — спрашивал Фрол. — Вот возьмём мы её. Она на ходу. Кто поведёт?

— Я поведу, — сказал Дед.

— Ты не водитель.

— Я не водитель, — согласился Дед. — Но я её поведу. Я её из этого двора выведу и до наших доведу, потому что я знаю, что у неё внутри, — то есть не знаю, но узнаю, как только сяду, — и я не дам её никому, кто её не понимает.

— Григорий, — сказал Профессор мягко. — Ты сейчас говоришь как человек, который хочет её потрогать.

— Я хочу её потрогать! — сказал Дед с такой силой, что Артист в кабине засмеялся. — Что, нельзя? Я сегодня увидел лампу и обрадовался как маленький. А это — не лампа. Это — вот что: верстак, который не качается. Тиски на верстаке, который не качается. Свет. Полки. Я тридцать лет чинил машины на земле, на коленях, при свечке, — и вот стоит будка, в которой всё это есть, и она — на колёсах, и она — в двух шагах, и вы мне говорите «кто поведёт»? Да я её на руках унесу!

В кузове засмеялись — оба стрелка, и Профессор, и Фрол громче всех.

— На руках не надо, — сказал Фрол. — Она три тонны. Ты её поведёшь, а по дороге сядешь в кювет, потому что будешь смотреть не на дорогу, а на полки. Нет. Водитель — водитель.

— Семён? — спросил Профессор.

— Семён — на своём, — сказал я, положив руки на борт. — Семён ведёт ЗИС, а ЗИС нам там нужен: люди, ДП, обратная дорога. Одновременно две машины он не поведёт. Гаврила — на «Опеле», и «Опель» пойдёт с нами, потому что восемь человек Фрола, ДП, мы и ещё место под то, что возьмём с машиной, — в один ЗИС не влезут. Остаётся один.

Стало тихо, и я слышал, как они все одновременно вспомнили.

— Второй водитель, — сказал Фрол. — Наш. Который пока в кузове.

— Он, — сказал я. — Он сидит без руля с того дня, как Гаврила взял «Опель». Он водитель. Ему нужен руль. Вот ему и руль — на первый выезд: из двора и до точки. Дальше — посмотрим. Майор обещал людей; придут — будет постоянный. Не придут — останется он.

— Он справится? — спросил Профессор.

— Он водитель, — сказал Фрол. — Немец — это тот же ЗИС, только передач больше. Справится. Гаврила же справился. — Он помолчал. — А Дед сядет к нему рядом. В кабину. И будет всю дорогу думать о полках. Григорий, это тебя устроит?

— Устроит, — сказал Дед, и по голосу было слышно, что он улыбается. — Только не через стекло. Я сначала внутрь зайду. Пять минут. Потом поедem.

— Три, — сказал Фрол.

— Пять!

— Три минуты, Григорий, и я тебя вытащу за ногу. Там двор не наш, там лес кругом. Три.

— Четыре, — сказал Дед, и они на этом сошлись, и Профессор сказал: «Свидетель», — и все опять засмеялись, и я тоже, и Артист в кабине.

— Куда её? — спросил Профессор, когда отсмеялись.

— На точку, — сказал я. — К нашему второму ЗИСу. Рядом. Чтобы Дед в неё зашёл — и через час у него был радиатор. У него будет и лампа, и олово, и верстак. И машина стоит рядом. Вот для этого она нам и нужна — не чтобы стоять, а чтобы чинить. Первое, что она починит, — наше.

— А сарай? — спросил Фрол. — Там же ящики. Повозка. Там, может, ещё что.

— Сарай — не наш, — сказал я. — Что успеем взять с машиной — возьмём. Что не успеем — доложим, и трофейная служба заберёт, когда дорога будет наша. Мы не за сараем едем. Мы за машиной. Если мы полезем в сарай — мы потеряем машину, потому что пока мы будем таскать ящики, кто-нибудь заведёт её и уедет. Машина — первое. Сарай — потом. Кто-нибудь. Не мы.

— Жалко, — сказал Дед.

— Мне тоже, — сказал я. — Но ты мне сам утром скажешь: три ящика или машина?

— Машина, — сказал Дед мгновенно. — Что ты меня спрашиваешь.

Я вернулся в кабину, Артист завёл мотор. Мы ехали. Фара выхватывала дорогу, по обочинам стояло всё то же, что днём, только чернее. У следующего поста, у сгоревшего хутора, нас окликнули, и Артист встал, и лейтенант с забинтованной рукой вышел к машине, посмотрел на меня и сказал: «Записал. Живые?» — «Живые». — «Утром опять?» — «Утром опять». — «Тогда я предупрежу по цепочке. Чтоб не стрельнули». И записал ещё раз.

На точку мы пришли во втором часу. Дежурный не спал. Князь тоже — он вышел к машине, посмотрел на нас, сосчитал, увидел, что все, и только тогда сказал: «Кипяток есть». И был кипяток, и был хлеб, и все сидели у бочек, в темноте, и Дед рассказывал Князю про верстак, который не качается, и Князь слушал так, как слушают человека, который видел чудо, и переспрашивал: «А полки — деревянные или железные?» — и Дед отвечал: «Не разглядел», — и это его, кажется, мучило больше всего.

А я сидел с кружкой и думал о водителе — нашем, втором, который сейчас спал в кузове «Опеля», не зная, что утром сядет за руль. Я его почти не знал. Я знал, что он водитель, что он пока ездил в кузове и ни разу ничего не сказал, и что завтра ему дадут машину, которую он никогда не водил, и двор, который не наш, и четыре минуты, пока Дед будет ходить внутри.

Я думал, что скажу ему это утром просто: «Ты поведёшь». И что он, наверное, ответит так же, как Гаврила: ничего. И положит руки на руль.

Глава 6. «Мастерская с доставкой»

Второму водителю я сказал это в четвёртом часу утра, в темноте, у бочек, когда люди уже грузились: «Ты поведёшь». Он посмотрел на меня, потом на «Опель», потом опять на меня — и спросил только одно: «Немца?» — «Немца. С будкой». Он кивнул и полез в кузов первого

ЗИСа, и всю дорогу, тридцать километров, сидел там молча, и я его понимал: он два дня ехал в кузове чужой машины, а теперь ехал в кузове чужой машины к своей.

Ехали двумя: первый ЗИС с Артистом, я рядом; «Опель» с Суровым, Дед рядом. В кузовах — восемь бойцов: Фрол, Исаев и все шесть стрелков с ДП; Профессор; Устинов, который сказал, что раз стреляют, то он едет, и это не обсуждается; и второй водитель. Пятнадцать. На точке остались Князь с обоими механиками. Трое. Второй ЗИС под соснами с открытым капотом Князь обещал стеречь, как стерегут дом.

Лейтенант с забинтованной рукой на посту у хутора не спал. Он вышел к машине, посмотрел на два грузовика и людей в кузовах, и сказал: «Понял. По цепочке передано. Назад — как?» — «К полудню». — «Если после полудня — пришлите кого-нибудь вперёд, я предупрежу». И записал. Я подумал, что человек с этой книжечкой, наверное, спас за войну больше народу, чем иной с орденом, и что никто ему за книжечку ничего не даст, и что он это знает и всё равно пишет.

На просёлочек мы свернули, когда небо на востоке уже серело, и машины загнали туда же, где вчера стоял один ЗИС, — задом, в кусты, носом на выезд, — и дальше пошли пешком, и на этот раз я не смотрел на часы, которых у меня не было, а смотрел под ноги, потому что Фрол сказал «тихо», и это значило тихо.

* * *

С холма двор был тот же, и не тот же.

Тот же — потому что сарай стоял, где стоял, и машина стояла, где мы её оставили вечером, носом к лесным воротам. Не тот же — потому что вчера они работали, а сегодня собирались. Это было видно сразу, с первого взгляда, как видно с первого взгляда, что люди уезжают: ящики, что вчера стояли у колеса, уже были в кузове, задняя дверь будки закрыта, откидной борт поднят и закреплён, — а во дворе запрягали лошадей. Двое возились с повозкой, третий выносил из сарая последнее — какой-то ящик, небольшой, окованный, я видел, как он несёт: двумя руками, с наклоном, тяжёлый, — и ставил его на повозку, не в машину. Двое у ворот стояли, как вчера, и курили, как вчера. Пулемётчик на углу сидел, и на этот раз не дремал: смотрел в лес. Но не в наш лес. В тот, куда выходили ворота.

— Быстрее, чем я думал, — сказал Дед тихо, и в голосе его была настоящая обида. — Они же не кончили. Они вчера не кончили, я видел!

— Кончили ночью, — сказал я. — Или решили, что кончили.

— Ящик на повозку несут, — сказал Дед. — Тот, окованный. Это инструмент. Это, Алексей Палыч, не абы что, это...

— Григорий, — сказал Фрол, не оборачиваясь. — Потом.

Дед замолчал.

Фрол лежал и смотрел, и я видел, как он сравнивает: то, что вчера, с тем, что сегодня. Двое у ворот — так же. Пулемёт — не так: не спит. Пятеро — не у борта, а в разных местах: двое у повозки, один ходит, двое я не видел — в сарае, наверное.

— Хуже, чем вчера, — сказал Фрол. — Пулемёт проснулся. Зато водитель не в кабине, и машина закрыта, и ей ехать — надо сначала запрячь, а они запрягают повозку, а не её. Значит, повозка первая. Машина — за ней. Минут десять у нас есть. Может, пятнадцать.

— Мне нужна машина, — сказал я.

— Знаю. — Он повернулся к своим, лежавшим за ним в ряд. — Слушать. ДП — сюда, на этот край, стволом на угол. Угол — ваш. Как я пойду — по углу, сразу, не ждать. Исаев — с двумя — правым краем, вдоль забора, к тем воротам, что на просёлочек, чтобы никто не ушёл на дорогу. Стоять там, держать. Двое со мной — к лесным воротам, к тем двоим. Тихо, пока можно; как нельзя — громко. — Он повернулся ко мне. — Ты, водитель, Григорий — за мной, но не со мной. Отстать на двадцать шагов. Ваше — машина. Как я скажу «пошли» — идёте к кабине, и всё. Не к сараю, не к повозке, не к пулемёту. К кабине. Григорий, ты слышишь?

— Слышу, — сказал Дед.

— Профессор — с ними. Крикнуть, когда я скажу. Устинов — за ДП, ждать. Всё.

И пошёл.

* * *

Я расскажу это так, как видел, а видел я мало, потому что двадцать шагов позади человека, который идёт через лес к вооружённым людям, — это не то место, откуда видно всё.

Фрол и двое шли вниз по склону между сосен — не крадучись, а просто тихо, как ходят по лесу за грибами, — и я видел их спины, и видел за ними, внизу, ворота, и двоих у ворот, которые курили и смотрели во двор. Метров сто. Потом восемьдесят. Потом Фрол поднял руку, и двое за ним легли, а он пошёл один, и я подумал, что вот сейчас, и оказалось — да, сейчас: один из тех, у ворот, повернул голову, увидел, открыл рот — и Фрол побежал.

Дальше всё стало быстро и громко.

Тот, кто увидел, вскинул винтовку, и не выстрелил, потому что двое за Фролом выстрелили раньше, и он упал. Второй бросил винтовку и поднял руки — сразу, я видел, как она упала в траву. И в ту же секунду с угла сарая заработал пулемёт — не по Фролу, по лесу, наугад, туда, откуда стреляли, — длинно, зло, несколькими очередями, и я вжался в землю, и Дед рядом вжался, и над нами полетели ветки. А потом с нашего края, сзади, из-за спины, ударил ДП — короткими, три, четыре, — и пулемёт на углу замолчал. Не сразу — ещё дал одну, короткую, вбок — и замолчал совсем.

— Пошли! — крикнул Фрол снизу.

И мы пошли.

Я бежал вниз по склону и видел одновременно много всего, и всё это было не то, на что надо было смотреть. Я видел, как из сарая выскакивают двое с винтовками и стреляют — не прицельно, в сторону ворот, — и как двое Фрола отвечают из-за столбов. Я видел, как у повозки человек бьёт лошадей и как повозка, с ящиками, с тем окованным ящиком, срывается с места и уходит в другие ворота — те, дальние, на просёлок, — и как там, у дальних ворот, поднимается Исаев с двумя, и стреляет, и повозка не останавливается, а летит, и Исаев не бежит за ней, потому что ему сказано стоять, и он стоит. Я видел, как из-за угла сарая, от замолчавшего пулемёта, отползает человек, и как Устинов, оказывается, уже бежит вниз со своей сумкой — не к нашим, к нему. Я видел всё это — и не смотрел.

Я смотрел на кабину.

Она была в тридцати метрах, потом в двадцати, серая, закрытая, с дверцей, и к ней с другой стороны, от сарая, бежал человек. Немец. Водитель — я понял это по тому, как он бежал: не с винтовкой, а с чем-то маленьким в руке, с ключом, наверное, — и бежал именно к дверце, к водительской, и до неё ему было столько же, сколько нам.

— Дверца! — крикнул я второму водителю, и он понял.

Он был быстрее меня. Он был моложе и проворнее меня, и он добежал первым, и не к водительской — к правой, к пассажирской, и рванул её, и она открылась, и он влетел внутрь, поперёк сиденья, лицом к другой дверце, — и когда немец снаружи распахнул водительскую, он увидел не пустую кабину, а человека, лежащего на сиденье с ППШ, направленным ему в живот.

Немец остановился. Ключ у него в руке — это был ключ, я теперь видел, — он не бросил, а как-то очень аккуратно положил на подножку. И поднял руки.

Я подбежал и взял ключ.

— В кабину, — сказал я водителю. — За руль. Не заводи.

И повернулся, и увидел Деда.

Дед не бежал к кабине. Дед стоял у борта, у откидного борта, который был поднят и закреплён, и отстёгивал его, и борт упал с грохотом, и на нём — на верстаке — ничего не было,

всё было убрано. И Дед посмотрел на пустой верстак с таким лицом, будто у него отняли, — и повернулся, и увидел то, что лежало снаружи.

А снаружи лежало много. Не всё они успели убрать: у колеса стоял ящик, второй, раскрытый, с ключами; у стены сарая, на бревне, лежал ряд напильников, разложенных по размеру, как их раскладывает человек, который завтра будет ими работать; на пне у входа стояла переносная лампа, та самая, что светила вчера в открытой двери; и ещё какие-то оправки, и коробка, и свёрток. Это они не успели. Это они бросили бы, если бы уехали. И Дед пошёл к этому — не к кабине, а к напильникам, — и Профессор, шедший к кабине за бумагами, подхватил лампу. Дед тем временем уже присел над ящиком у стены и тянул к себе ещё какую-то коробку, и в сарае ещё стреляли, и Фрол с двумя работал у той стены, и это было — вот это было — то, что я знал по своей площадке, как знают собственную руку: момент, когда груз открыт, и все тянут каждый своё, и через минуту не будет ни груза, ни порядка, а будет куча людей с вещами в руках и одна машина, которую никто не ведёт.

— Стоп! — крикнул я.

Я крикнул так, что сам испугался, и они остановились. Все.

— Всё, что взяли, — в кузов. Не себе — в кузов. В будку. Григорий, ты выбираешь, что вернуть внутрь, — только ты, — и оно идёт внутрь, а не в карман. Две минуты. Потом мы едем. Не с ящиками — с машиной. Кто с вещью в руках через две минуты — бросает вещь и садится в кузов. Сарай — не наш. Повозка ушла — ушла. Мы берём машину. Целиком. Всё, что в ней, — наше. Всё, что не в ней, — не наше. Понятно?

— Понятно, — сказал Профессор с лампой, отнёс её в будку и вернулся во двор к Фролу. Лампа поедет с машиной; сам он ещё нужен был здесь.

Дед стоял с напильниками в руках. Не с одним — с рядом, как их и держат, — и смотрел на меня.

— Алексей Палыч. Там, в сарае, — я вижу отсюда — стеллаж. Что на нём — не знаю. Дай мне пять минут. Три.

— Нет.

— Григорий! — крикнул Фрол от сарая, и голос у него был такой, каким он, наверное, говорил редко. — Там двое с винтовками. Я их держу. Я их не выкурю ещё десять минут. Ты в этот сарай не пойдёшь, потому что я тебя туда не пущу. Клади свои напильники в кузов и садись!

Дед посмотрел на сарай. На Фрола. На напильники. И — я это видел, я это запомнил — сделал то, что делает человек, у которого отняли, но которому оставили главное: пошёл к будке, залез в дверь, положил напильники на полку внутри — я видел, что на полку, аккуратно, — и вылез, и поднял ящик с ключами, и тоже занёс, и ещё оправки, и коробку, и свёрток, — за две минуты, молча, как грузят своё. И вылез, и захлопнул дверь, и сказал:

— Верстак пустой. Ящика того — нет. Того, окованного. Он на повозке. Ушёл.

— Она в лесу, — сказал я. — Исаев стоял, где сказано.

— Там были ключи. И измерительный. Я по тому, как несли, видел.

— Григорий, у нас есть измерительный. Ты его вчера у мастера выпросил.

Дед посмотрел на меня — и вдруг засмеялся. Коротко, зло, как смеются над собой.

— Выпросил, — сказал он. — Правда. Ладно. Поехали.

И полез в кабину, справа от водителя.

* * *

Фрол создал нам выезд так, как обещал: не выкуривая сарай, а закрыв его.

Он оставил у той стены своих двоих, чтобы двое с винтовками внутри не могли высунуться в дверь, — и они не высывались, стреляли из окна наугад, и пули шли поверху, в лес, — и повернулся к воротам, к лесным, и крикнул мне: «Дорога чистая! Выводи!» — и это было всё, что мне было нужно.

— Заводи, — сказал я водителю.

Он завёл. Ключ, стартер, — шестёрка схватила сразу, ровно, как вчера вечером, когда мы слышали её с холма, — и он послушал её, как слушал Суров, и посмотрел на меня.

— Тихо, — сказал я. — Первая. По руке.

И встал перед машиной, лицом к кабине, спиной к воротам, и поднял руку, — и знаете, что я подумал в эту секунду? Что вот я стою в третий раз за три дня перед грузовиком с поднятой рукой, и что Фрол это видит, и что он мне вечером это припомнит. И что мне всё равно.

Машина пошла. Тяжёлая — будка, ящики, — тяжелее «Опеля» с ящиками вчера, но пошла ровно, и водитель держал сцепление так, как держат в первый раз на чужой машине: слишком осторожно и оттого правильно. Ворота были широкие. Просёлок за ними — узкий, но прямой. Я вёл его до ворот пешком, потом вскочил на подножку, а за воротами велел остановиться. Дед слез с правой стороны и забрался в будку: «Я должен посмотреть, что там едет». Я занял освободившееся место, и только тогда водитель снова тронулся.

Сзади, во дворе, ещё стреляли — редко, лениво, — а потом перестали, и я услышал, как Фрол кричит что-то, и Профессор кричит по-немецки, и потом — тишину, и потом голоса, и понял, что сарай кончился.

Через триста метров, на просёлке, я велел встать.

Мы стояли и ждали, и за нами, из ворот, вышли все: Фрол, стрелки, Исаев со своими, Устинов, ведущий под руку человека с перевязанной ногой — того, с пулемёта, — и четверо пленных с поднятыми руками — водитель, тот, что бросил винтовку у ворот, и двое из сарая, — и Профессор с планшетом. Один остался во дворе, у ворот, и его я больше не видел. Повозки не было. Она ушла в лес, и Исаев сказал: «Не догнать. Две лошади. Я стрелял по колёсам — не попал», — и Фрол сказал: «Не надо было догонять. Ты стоял, где сказано. Хорошо».

Пленные шли под Исаевым и двумя стрелками, отдельно, и Исаев нёс на плече кроме своей винтовки ещё одну вещь, которую снял с угла сарая, — пулемёт. Немецкий, с лентой, с сошками, — и нёс его не как трофей, а как вещь, с которой знаком: на ремне.

Мы дошли до машин. Там, на просёлке, у кустов, стояли наши — ЗИС с Артистом, «Опель» с Суровым, — и когда из-за поворота вышла будка, серая, высокая, на своих колёсах, своим ходом, Артист вылез из кабины и не сказал ничего. Просто стоял и смотрел. И Суров вылез. И они стояли по обе стороны просёлка, два наших водителя, и смотрели, как второй водитель — наш, третий, — подводит трофей и ставит рядом с «Опелем»: серое к серому, будка к борту, две немецкие машины, одна другой хуже, с точки зрения тех, кто их делал, и одна другой лучше, с нашей.

— Ну, — сказал Артист наконец. — Гаврила. Твоя всё ещё лучше.

— Знаю, — сказал Суров.

— Моя тоже.

— Знаю, — сказал Суров и полез обратно в кабину.

Дед вылез из будки. Он ходил там, внутри, пока мы стояли, и теперь вылез, и лицо у него было такое, что я даже не спросил. Он подошёл к кабине и сказал водителю: «Открой капот», — и тот открыл, и Дед сунулся, и пробыл там ровно столько, сколько надо, чтобы посмотреть масло и воду и послушать, как крутится. И вылез. И сказал мне:

— До точки доедет. Мотор — ровный. Вода — есть. Масло — есть. Тормоза сейчас проверим на ровном, до спуска. Водитель, слышишь? Только после проверки двинемся дальше.

— Слышу, — сказал водитель.

— Внутри, — сказал Дед, и голос у него изменился, — верстак. Тиски. Полки — железные, Василию скажу. Инструмент — половина. Ключей — треть от того, что надо. Измерительного — нет. Лампа — есть. — Тут Дед покосился на Профессора, и тот поправил ремень планшета. — Напильники. Дрель ручная. Расходники — прокладки, шланги, трубка медная,

крепёж. Ветошь. — Он помолчал. — Это половина мастерской, Алексей Палыч. Вторая половина уехала на повозке.

— А наша половина? — спросил я. — Та, что с двора. Ключи, измерительный.

Дед подумал.

— С нашей — будет три четверти. Может, больше. — И вдруг понял то, что я сказал, и посмотрел на меня, и лицо у него стало светлое. — Ты поэтому ящики брал. Вчера. Не для ЗИСа. Для этого.

— Для этого, — сказал я. — И для ЗИСа. Григорий, поехали. Полдень.

— Успеем, — сказал Дед и полез в кабину.

* * *

Обратно шли тремя. Впереди ЗИС с Артистом и людьми Фрола; за ним будка — второй водитель за рулём, Дед рядом; замыкал «Опель» с Суровым, с пленными, Исаевым и Устиновым. Я ехал в будке — не в кабине, внутри, на ящике, между полками, потому что хотел посмотреть сам, и потому что Профессор сидел там же, на другом ящике, с планшетом, и читал.

Читал он то, что взял из кабины, — из ящичка под щитком и из-за козырька, — обычные бумаги: путёвки, записи, накладные, такие же, как позавчера, только больше. Он читал молча, минут двадцать, пока мы тряслись по просёлку, и я не мешал, я смотрел на полки — на железные полки, на тиски, привинченные к верстаку так, что не качались, на моток медной трубки, — и думал, что Дед был прав: это была половина мастерской, но половина настоящая.

— Алексей Павлович, — сказал Профессор.

Я повернулся.

— Скажу, что есть. Потом — что думаю. — Он поднял листок. — Это запись выдачи. Двадцать пятого июня. Позавчера. Здесь, с этой машины, выдали расходники — масло, прокладки, ещё что-то, я не всё разобрал, — подвижной ремонтной группе. Так и написано: подвижная ремонтная группа. И написано, чья. — Он посмотрел на меня. — Майора Курта Хеннинга.

Я молчал.

— Это имя, — сказал Профессор. — Не должность, не номер. Имя. Курт Хеннинг, майор. Он получатель. То есть эта мастерская — она не его. Она — при них, она их снабжала. Позавчера снабдила в последний раз. И дальше — вот это. — Он показал строчку. — Следующее получение. Не место — направление. Любанское.

— Любань?

— Любанское направление. Не «в Любани». Не «у Любани». Направление. То есть — туда. На запад отсюда. Где именно — не написано. Когда — не написано. Кто ещё будет получать — не написано. — Он опустил листок. — Вот это я знаю. А думаю я, что Хеннинг — это тот, кто ведёт базу. Ту, о которой майор говорил. Потому что «подвижная ремонтная группа майора» — это не отделение. Это — вот оно. Но это я думаю. По одной записи.

— По одной записи, — повторил я.

— Да.

Я сидел на ящике, в будке, которая тряслась, и смотрел на листок с чужим именем, и во мне было то, что бывает, когда работа, которую ты искал ошупью, вдруг получает лицо. Не адрес — лицо. Майор Курт Хеннинг. Где-то на запад отсюда, на Любанском направлении, человек с этим именем вёл на запад мастерские, целые, на колёсах, и позавчера получал масло с этой самой машины, на которой я сейчас еду.

— Пётр, — сказал я. — Это нужно майору. Сегодня же. Слово в слово.

— Я перепишу, — сказал он. — Отдельно: что написано. Отдельно: что я думаю. Чтобы он видел разницу.

— Так и сделай.

Дед из кабины постучал в перегородку и крикнул: «Тормоза держат, как на пробе! Спуск прошли!» — и водитель что-то ответил, и я услышал в голосе у водителя то, чего не слышал два дня: он был доволен.

На посту у хутора нас записали — все три машины, по счёту, — и лейтенант с забинтованной рукой посмотрел на будку, и сказал: «Ого», — и больше ничего.

А на привале — мы встали на десять минут у ручья, напоить пленных и дать людям размяться — я увидел то, чего не ждал.

Исаев сидел на подножке «Опея» с тем самым пулемётом на коленях. Немецким, с угла сарая. Он его не разглядывал — он его разбирал. Не весь: снял ленту, отвёл затвор, посмотрел в ствол, проверил что-то на коробке, — руки у него ходили так, как ходят руки у человека, который это уже делал, и не раз.

— Знакомый? — спросил я.

— Приходилось, — сказал Исаев, не поднимая головы. — По прежней службе. Немного. Лента, затвор, ствол менять — это знаю. Больше — нет. — Он вставил затвор на место, отложил ленту в сторону. — Хороший пулемёт, товарищ старший лейтенант. Только патронов к нему — вот, что в ленте. Сотня. И всё. Наши к нему не подходят.

— Сдаём его, — сказал я. — Вместе с винтовками. На точке.

— Так точно, — сказал Исаев. Помолчал. — Жалко.

— Сотня патронов, — сказал я. — И не наши. Сдаём.

— Это да, — сказал Исаев и завернул пулемёт в мешковину, аккуратно, как заворачивают чужое.

* * *

На точку мы пришли за полдень, и на точке нас ждали не только свои.

У бочек стояла полуторка — чужая, с чужим номером, — и возле неё шесть человек с вещмешками, и дежурный с бумагой, и Князь, который встретил нас первым, потому что увидел будку, и подошёл к ней, и обошёл кругом, и заглянул в дверь, и сказал: «Полки железные», — с таким удовольствием, будто это он их привинтил.

Шестеро были те самые. Три водителя, три ремонтника, по бумаге о прикомандировании, с печатью, — дежурный подал мне её, и я прочёл, и всё сходилось: майор Чумаков написал запрос вчера, и вот они, на день раньше, чем он обещал, потому что, как сказал старший из них, «в отделе сказали — срочно, и мы поехали». Полуторка, что их привезла, уже заправлялась, чтобы уйти обратно, к своей части, — она нам не принадлежала, и я, признаться, на неё посмотрел с сожалением, но только посмотрел.

Я построил их. Не для торжественности — чтобы видеть лица. Шесть лиц: три водителя — один постарше, лет под тридцать, с ефрейторской лычкой, спокойный, и двое помоложе; три ремонтника — все трое с теми самыми руками, которые я узнаю в любой толпе. Я сказал им, кто мы и что у нас стоит: два ЗИСа, один с течью, два «Опея», один с будкой, — и что работа начинается сейчас, потому что будку надо ставить рядом с больным ЗИСом, и разгружать, и Дед — вот он — покажет, что куда.

— Водители, — сказал я. — Кто на чём работал?

Первый сказал: ЗИС, полуторка. Второй — то же, и ещё «студебекер» на курсах. Третий, тот, что с лычкой, помолчал и сказал:

— Ефрейтор Селиванов. Егор. ЗИС, ГАЗ. И — трофейный. Бронетранспортёр, полугусеничный, немецкий, наши взяли раньше, в другой части, и я на нём ездил. Водил и обслуживал. Не стрелял — водил.

Стало тихо. Артист, стоявший у своего ЗИСа, повернул голову. Фрол посмотрел на Селиванова с интересом. А Дед — Дед сказал, ни к кому не обращаясь: «Полугусеничный. Скажите пожалуйста».

— У нас бронетранспортёра нет, — сказал я Селиванову честно.

— Я знаю, — сказал он. — Я и не говорю, что есть. Вы спросили, на чём работал. Я сказал.

Мне это понравилось. Не то, что он водил бронетранспортёр, — то, как он это сказал: без «а вот у нас», без ожидания, что его сейчас за это возьмут в командиры. Сказал — и всё.

— Тогда так, — сказал я. — Постоянных машин под вас пока нет: ЗИСы закреплены, «Опель» закреплён, будка — вот. — Я посмотрел на второго водителя из тех, что помоложе, того, что сказал про «студебекер». — Будка — твоя. С этого часа. Водитель, что её привёл, — наш, и руль у него ещё будет, а сегодня он покажет тебе, что она умеет: он на ней тридцать километров прошёл, он знает. Селиванов — подменять. Любую машину, любого водителя, кто устал или кому надо в другое место. И — к механикам: помогать. Третий — то же, и готовиться: машины будут.

— Какие? — спросил третий.

— Не знаю, — сказал я. — Но будут.

Артист от своего ЗИСа сказал негромко: «Это он всегда так говорит. Позавчера тоже говорил», — и Фрол добавил: «И вчера», — и новые посмотрели на них, потом на будку, стоящую рядом с «Опелем», и, кажется, что-то поняли про то, куда попали.

Ремонтников Дед забрал сразу. Просто подошёл, посмотрел на руки каждого — на руки, не на лица, — и сказал: «Ты — со мной, ты — с ним, ты — разгружать ящики с ЗИСа, вот те, с двора, и не путать, где что, я потом проверю», — и увёл всех троих к будке, и через минуту оттуда уже слышалось: «Не туда! Это измерительный, я тебе руки оторву!» — и ремонтник, которому он это сказал, отвечал что-то спокойно и не обиженно, и я понял, что эти двое работают.

А у будки уже стоял спор. Не новый — старый, начатый ещё на просёлке: Артист с Князем обсуждали, что было на той повозке, и Артист утверждал, что там был «весь настоящий инструмент, а нам оставили обёртку», а Князь говорил: «Какая обёртка, ты видел полки? Полки железные!» — и Профессор, проходя мимо с переписанным листком, сказал, не останавливаясь: «На повозке был один ящик. Окованный. Дед видел, что несли. Один», — и Артист сказал: «Один — но какой!», — и новые водители стояли и слушали это, и один из них, молодой, засмеялся, и Артист посмотрел на него и сказал: «Вот. Человек понимает».

Полуторка, что привезла шестерых, ушла. Раненого Устинов передал для отправки в ближайший медпункт, остальных четверых Исаев сдал дежурному под охрану. Дежурный записал всех пятерых с отдельной отметкой о раненом, а потом оружие, и отдельно, с моих слов, пулемёт, и я поставил подпись, и Исаев поставил рядом свою, как принявший и сдавший. Второй ЗИС стоял под соснами, с открытым капотом, а теперь рядом с ним стояла будка, и между ними уже лежали доски — те самые, из-за которых Артист вчера спорил с Дедом, — и на досках Дед раскладывал ключи.

Двадцать четыре человека. Три машины на ходу и одна, которая вот-вот. Имя — Курт Хеннинг — осталось на копии у Профессора; листок с переводом я уже отдал дежурному для майора.

Я стоял и смотрел, как Дед раскладывает ключи, и думал, что ещё два дня назад я лежал на песке у дороги. А теперь знал, как зовут того, кого ищу.

Глава 7. «Дом на колёсах»

К вечеру двадцать седьмого у нас под соснами стояло уже не место для машин, а хозяйство, и я это понял по тому, что перестал узнавать его с первого взгляда.

Будка стояла вплотную к больному ЗИСу, задом к нему, с открытой дверью и опущенным бортом-верстаком, и от неё до ЗИСа на земле лежали доски — те самые, — и на досках был разложен инструмент. Не свален — разложен: ключи по размеру, от больших к маленьким, съёмники отдельно, напильники в ряд, как в сарае у немцев, только теперь это был наш ряд. Плоский окованный ящик с измерительным стоял на верстаке, открытый, и в нём лежали

микрометры, которые вчера Дед с мастером проверяли по плитке. Переносная лампа висела на гвозде, вбитом в дверной косяк будки, и её ещё не зажигали, потому что было светло, но она висела, и это было главное: висела на своём месте.

Дед ходил между всем этим, как ходит человек по дому, в который переехал утром: трогал, переставлял, отходил, смотрел и опять переставлял. Три новых ремонтника ходили за ним. Один — плотный, немолодой, с медленными руками — сразу занял место у верстака и ничего не спрашивал, только делал; второй, помоложе, таскал и раскладывал; третий — щуплый, с прокуренными пальцами, тот самый, которому Дед в первый час обещал оторвать руки, — держался ближе всех и молчал, но молчал не так, как молчат из робости, а так, как молчат, когда думают.

Я помогал тем, чем мог: распределял руки. Это я умею. Один механик — на воду: две канистры, ведро, ещё ведро, потому что радиатор снимают сухим, а ставят с водой, и воды надо много. Второй — с Дедом, на радиатор. Ремонтники — как Дед скажет. Князь — не подпускать к машине, пока не позовут, потому что Князь ходил вокруг своего ЗИСа кругами, как ходят вокруг больного, и мешал. Я ему так и сказал: «Василий, ты мешаешь». Он обиделся и пошёл к бочкам, и оттуда всё равно смотрел.

Радиатор сняли за полчаса. Дед освобождал крепления и патрубки медленно, и я понял почему: он смотрел на шов. Он повернул снятый радиатор на досках, положил его нижним бачком кверху, и вот он был, шов: длинный, паяный, с чёрным потёком в одном месте и ещё двумя местами, где пайка была тёмной, как бывает, когда она вот-вот.

— Вот тут, — сказал Дед, показывая пальцем. — Течёт тут. А вот тут и тут — не течёт, но будет. Той же пайки. Того же года. Если я запаяю только это, — он показал на потёк, — через неделю потечёт вот это. Значит, паять — весь шов. Весь. Это долго.

— Сколько?

— С лампой, с оловом, если никто не будет дёргать, — до темноты. Может, к ночи.

И тут щуплый сказал — не мне, Деду, и негромко, так, что я не сразу понял, что он сказал что-то важное:

— Товарищ техник-лейтенант. Разрешите. Шов если весь перепаявать — старое олово всё снимать надо. Бачок старый, края тонкие. Я бы его лишний раз не разбирал. Трещину зачистить, облудить и накладку пустить. Полоску медную, узкую, по всему шву, и пропаять её сверху. Она и шов держит, и медь под ней целая остаётся. У нас так на... — он запнулся, — так делали. У нас держало. Здесь надо проверить.

Дед посмотрел на него. Долго. Потом на шов. Потом опять на него.

— Полоску, — сказал он.

— Полоску. Из медной трубки, вон, с будки, если нет полосы, — трубку расплющить и пустить. Я видел, там есть.

— Трубку расплющить, — повторил Дед и, кажется, попробовал это на вкус. — Молотком?

— Молотком, на наковаленке. Она тонкостенная, ляжет ровно.

Дед молчал ещё секунд десять. Я стоял и не вмешивался, потому что здесь мне вмешиваться было незачем: это был разговор двух людей, которые понимали друг друга лучше, чем я понимал их обоих. Я видел, как Дед думает — не про полоску, про то, что перед ним стоит человек, который два часа назад пришёл с чужой полуторкой, а сейчас говорит ему про его радиатор такое, чего он сам не подумал. Или подумал, но не сказал.

— Ты паял? — спросил Дед. — Сам? Не смотрел, как другие, — сам?

— Сам.

— Сколько раз?

— Много, — сказал щуплый и не стал уточнять, и это было правильно: «много» тут значило больше, чем любое число.

Дед повернулся к будке, залез в неё, погромел там и вылез с мотком медной трубки. Отмотал, посмотрел на просвет, отрезал кусок. И протянул щуплому.

— Плющи, — сказал он. — Полоску — ты. Лудить — ты. Паять — вместе. Я держу лампу, ты ведёшь. Если полоска отойдёт — ты мне это скажешь сам, раньше, чем я увижу.

— Скажу, — сказал щуплый, и я увидел, как у него дрогнуло лицо — не от испуга, от того, что ему дали.

Вот так. Ничего больше. Дед не сказал «молодец», не сказал «доверяю», не хлопнул по плечу. Он дал ему кусок трубки и половину работы, и щуплый это понял, и я это понял, и старший ремонтник у верстака, плотный, медленный, поднял голову от своих ключей и посмотрел на них обоих, и опустил голову, и, по-моему, улыбнулся.

* * *

Паяли они до темноты, и я не буду рассказывать, как паяют радиатор, потому что это делают руками, а не словами, и потому что половину времени я стоял в стороне и слушал, как они переговариваются, — «держи», «ниже», «ещё», «стой, тут пузырь», — и это был лучший разговор за день, хотя в нём не было ни одной целой фразы.

Проверяли просто: заткнули патрубки, залили водой, поставили на доски и ждали. Дед сидел на корточках и смотрел на шов так, как я в той жизни смотрел на манометр. Пять минут. Десять. Сухо. Щуплый стоял рядом и не смотрел на шов — смотрел на Деда. Через пятнадцать минут Дед провёл по шву пальцем, посмотрел на палец и сказал: «Сухой», — и это было всё, что он сказал, и щуплый выдохнул.

Ставили уже с лампой — не паяльной, а той, переносной, с гвоздя, — потому что стемнело. Патрубки, болты, вода. Заводили — заводил Князь, потому что это был его ЗИС, и я видел, как у него дрожали руки, когда он полез в кабину, и как он это скрывал. Мотор схватил, пошёл, — и Дед стоял у капота с лампой и смотрел на шов, на бачок, на патрубки, и минуту, и две, и пять, а Князь сидел за рулём и ждал, и наконец не выдержал:

— Григорий. Ну?

— Не ну, — сказал Дед, не оборачиваясь. — Полчаса на холостых. Потом круг по точке. Потом ещё раз смотрю. Потом — ну.

— Полчаса?!

— Ты его двое суток ждал, — сказал Дед. — Полчаса подождёшь. Или хочешь, чтобы он у тебя завтра на марше закипел, при всех, при новых, при майоре, если приедет? Полчаса, Василий.

Князь подождал. Он сидел в кабине, положив руки на руль, все полчаса, и не вылезал, и я его понимал. А потом Дед сказал: «Круг», — и Князь включил первую, и ЗИС пошёл — сам, без остановок, без «стой, смотрю воду», — прошёл вдоль бочек, мимо палатки, мимо дежурного, который проводил его взглядом, развернулся на выезде и вернулся. Двести метров. Первые двести метров за двое суток, которые эта машина прошла как здоровая.

Дед посмотрел ещё раз. Долго. И сказал:

— Сухой. — И потом — то, что я от него ждал: — Это не значит, что он новый. Это значит, что он запаян. Завтра на марше — смотреть воду на каждой остановке, Василий, не как раньше, а просто смотреть. Через неделю я его сниму и посмотрю ещё раз. Но ехать — может. Куда угодно.

— Куда угодно, — повторил Князь. И вылез. И подошёл к Деду, и я думал, он его обнимет, но он не обнял. Он повернулся к щуплому, который стоял в стороне, и сказал ему: — Тебя как зовут?

Щуплый сказал.

— Спасибо, — сказал Князь. — Я запомню.

И вот тут Дед сказал — щуплому, при всех, при Князе, при мне, при старшем ремонтнике у верстака:

— Полоска — его. Я бы снимал старое олово. Он сказал не снимать. Шов сухой — вы видели. — И, помолчав: — Завтра будешь мне «Опель» смотреть. Один. Я только гляну потом.

Щуплый ничего не ответил. Но ушёл к будке так, как уходят люди, у которых сегодня получилось.

А Профессор весь этот вечер сидел у верстака с бумагами — с той папкой из будки, — и когда радиатор проверяли, он подошёл ко мне и к Деду с одним листком. Одним, не папкой.

— Я не буду рассказывать всё, — сказал он. — Там много, и половина — не про нас. Я скажу, что нам нужно на дорогу. Две вещи.

— Говори.

— Первое: где они брали горючее. В записях есть — не адреса, а порядок: каждые сколько-то дней, с каких точек. Точки — те же, что были в списке с «Опеля». Две из них — по нашему направлению, на запад. Если там остались бочки — это бочки. Если нет — там хотя бы стояли, и по дороге туда можно смотреть. Второе: они возили не только для Хеннинга. Есть ещё получатели — мелкие, наверное, тыловые. Это значит, что по дорогам ходят и другие их машины, не только базы. Отстают, ломаются, бросают. — Он опустил листок. — Остальное — не на дорогу. Остальное — майору, я перепишу.

— Перепиши, — сказал я.

Я стоял и думал о том, о чём думал ещё утром, ведя будку через ворота: что у нас теперь три грузовика на ходу и мастерская, и что это очень много, и что это ничего не решает, если на дороге попадётся что-то тяжелее трёх тонн. «Отстают, ломаются, бросают» — а что бросают? В сухом дворе я сегодня мог бы повторить вчерашнюю работу с двумя ЗИСами. Но размокшая обочина — другое дело: там одному грузовику легко увязнуть рядом со вторым. А на дорогах за наступлением лежало много такого, что тяжелее трёх тонн, я это видел, я это считал по обочинам с первого дня.

— Нужен тягач, — сказал я.

— Нужен, — сказал Дед. — Только его не паяют. Его или находят, или нет.

— Найдём, — сказал я.

— Ты это уже говорил про водителей, — заметил Профессор. — Вчера. Они пришли.

— Вот видишь, — сказал я.

* * *

А тем временем у бочек затевалось.

Я это заметил не сразу, потому что был при радиаторе, — но когда пошёл к бочкам за кипятком, увидел, что Князь с Артистом стоят у стола — у того самого наката из жердей — и спорят, а Фрол сидит рядом на ящике и слушает с видом человека, которого сейчас позовут в судьи, и это ему нравится.

— ...потому что вечер — это когда люди сидят, — говорил Князь. — Сидят, Семён. Не стоят с кружкой, а сидят. И у них есть стол, и на столе есть что поставить, и им тепло, и никто не бегают. Вот это вечер. А ты хочешь, чтобы они тебя слушали.

— Я хочу, чтобы они смеялись, — говорил Артист. — Сидеть можно и в окопе. А смеются — не везде. Вечер — это когда потом вспоминают. Вспоминают что? Как сидели? Нет. Вспоминают, что рассказали.

— Вспоминают, как хорошо было.

— Хорошо — от чего?

— От стола!

— От рассказа!

— Стоп, — сказал Фрол, и это было его любимое слово, я это уже понял. — Вы оба хотите, чтоб было хорошо. Вы спорите, от чего. Это не спор, это два разных вечера. Давайте проверим. Кто проверит?

— Что проверит? — спросил я, подходя.

Они обернулись. Артист посмотрел на Князя, Князь — на Артиста, и я увидел, что они уже придумали, и им нужен был кто-то, кому это сказать.

— Дед, — сказал Артист.

— Что — Дед?

— Дед проверит. — Артист сел на край стола, что Князю не понравилось, и стал объяснять, и объяснял он так, как рассказывал бы со сцены: с подводкой. — Смотрите, товарищ старший лейтенант. У нас есть человек, который любит хорошую компанию. Я это знаю. Он любит послушать, он любит подпеть, он умеет заслушаться так, что у него рот открыт. Я видел. Но у этого человека есть одна беда: у него всегда стоит машина. И машина всегда важнее. Он придёт к столу, посидит десять минут — и вспомнит, что не посмотрел зазор. И уйдёт. Не потому, что ему с нами плохо. Потому, что там — интереснее. Так вот. Вечер удался — это когда Дед сам пришёл и сам остался до конца. Сам. Никто его не держит, никто не уговаривает. Если он остался — значит, было лучше, чем у машины. Вот проверка.

— А кто устраивает? — спросил я.

— Мы, — сказал Князь. — Я — стол. Он — рассказ. Оба сразу. И смотрим, что его удержит.

— И если он остался — кто выиграл?

Тут они замолчали, потому что об этом не подумали.

— Если остался — оба, — сказал Фрол. — Если ушёл — оба проиграли. А если ушёл в середине — то смотрим, от чего ушёл: от стола или от рассказа. Так честно.

— «До конца» — это до чего? — спросил Профессор.

Он подошёл незаметно, как всегда, с кружкой, и стоял, и спрашивал так, как спрашивал позавчера про «спасённую машину»: без подвоха, всерьёз.

— До конца вечера, — сказал Артист.

— А когда вечер кончается? Когда все ушли? Когда кончился рассказ? Когда стол убрали? Это разные концы. Если Дед уйдёт после рассказа, но до того, как убрали стол, — это до конца или нет?

Артист открыл рот. Князь открыл рот. Фрол засмеялся.

— Вот! — сказал он. — Я же говорю. Условие надо ставить, а то потом — как с машиной. Пётр, ты скажи, как правильно.

— Я не знаю, как правильно, — сказал Профессор. — Я знаю, что надо договориться. Предлагаю: до конца — это пока не встал последний. Кто бы он ни был. Если Дед встал последним или вместе с последним — вечер удался.

— Годится, — сказал Князь.

— Годится, — сказал Артист. — Только тогда я буду сидеть до утра.

— А я тогда стол не уберу, — сказал Князь.

— Вот и посмотрим, — сказал Фрол, и они посмотрели на меня.

Я понял, что от меня ждут. Не разрешения — участия. Они хотели, чтобы командир был в игре, не над ней. И мне, если честно, этого хотелось самому: сесть за стол, который устроил Князь, слушать, что рассказывает Артист, и смотреть, уйдёт Дед или нет, — и не знать, чем кончится.

— Я — зритель, — сказал я. — Не судья. Судья — Фрол, он уже назначился. Я сижу, ем и смотрю. И если Дед меня спросит, зачем его позвали, — я не скажу.

— Вот это правильно, — сказал Артист. — Вот это по-товарищески.

— И ещё, — сказал я. — Я ставлю на стол.

— Почему? — спросил Артист с обидой.

— Потому что я за ним два дня смотрю, — сказал я, — и он за это время два раза сказал «потом» на мой вопрос и ни разу — на еду.

— Это не считается, он голодный был!

— Вот и проверим, — сказал Фрол, и на этом затея была принята.

* * *

Стол Князь устроил такой, что я, признаться, не ожидал.

Не по еде — еда была наша, разрешённая, из того, что выдавали: каша, консервы, хлеб, чай, — а по тому, как это стояло. Он где-то достал — «выменял у точки на работу», сказал он, и я не стал спрашивать, на какую, — большой закопчённый чайник, настоящий, на всех; он накрыл накат не плащ-палаткой, а куском брезента, чистого; он поставил вокруг ящики так, чтобы всем было где сесть, и не в ряд, а кругом, чтобы видеть друг друга; и он зажёг — вот это было главное — лампу. Переносную, с гвоздя на будке, — он выпросил её у Деда «на два часа, потом верну», и повесил над столом, на жерди, и в её свете стол стал не столом у бочек, а тем, что Князь и хотел: местом, где сидят.

Люди сели. Не все — охранение стояло, Исаев с двумя ходил по точке, — но все, кто был свободен: Фрол, Профессор, Артист, Устинов, Суров, новые водители, ремонтники, стрелки. Двадцать человек кругом. И Дед.

Дед пришёл сам. Это надо отметить: сам, когда Князь крикнул «готово», — вытер руки, посмотрел на свой ЗИС, на будку, на щуплого, который ещё что-то раскладывал, и пошёл к столу, и сел, и ему налили, и он ел, и говорил с Устиновым про что-то своё, и смеялся, и я видел, как Князь смотрит на него с надеждой, а Артист — с расчётом.

И Артист начал.

Он начал не сразу — он дал людям поесть, дал стихнуть, а потом, когда Фрол сказал что-то про немецкую повозку, которая утром ушла, Артист сказал: «А я вам про повозку расскажу», — и все повернулись, и он рассказал. Про то, как в тридцать восьмом их бригада ехала на гастроли по району на подводах, четыре подводы и лошадь, которую звали Секретарь, потому что она отказывалась работать после шести вечера, — и как в одном селе они играли в клубе, а лошадь ушла, и её искали всем селом, и нашли в правлении колхоза, где она стояла и ела протокол собрания, — и как председатель сказал: «Правильно, я бы тоже съел». Он рассказывал это так, что я видел эту лошадь. Я видел правление. Люди смеялись — Фрол громче всех, Суров молча, но со слезами, новые водители сначала осторожно, потом как все. Дед смеялся. Он сидел, откинувшись, с кружкой, и смеялся, и Князь смотрел на него, и я видел, как у Князя разглаживается лицо.

А потом к столу подошёл щуплый.

Он не подходил специально — он шёл от будки к бочкам за водой, с ведром, — и остановился за спиной у Деда, послушать, и Артист как раз дошёл до того, что лошадь на следующий год избрали в президиум, — и щуплый засмеялся, и Дед обернулся, и увидел его с ведром, и спросил:

— Ты чего с ведром?

— Воду. В радиатор долить, на утро, чтоб полный был.

— Он полный.

— Полный, — согласился щуплый. — Я на всякий случай. — И помолчал, и добавил, потому что не мог не добавить, я это видел: — Товарищ техник-лейтенант, я вот думаю. Верхний шов. Он ведь того же года. Той же пайки. Мы нижний перекрыли, а верхний — он сейчас держит, но если и он такой же...

Дед перестал улыбаться. Не обиделся, не помрачнел — перестал улыбаться так, как перестают, когда думают.

— Верхний, — сказал он.

— Верхний. Я не говорю, что течёт. Я говорю — посмотреть бы. Пока лампа горит. Пять минут.

— Лампа горит здесь, — сказал Князь быстро.

— Я и без лампы, — сказал щуплый. — Я на ощупь. Я просто говорю.

Дед сидел. Я видел, как он сидел: с кружкой в руке, на ящике, в свете лампы, и вокруг смеялись, и Артист уже начал следующую историю — про Секретаря в президиуме, — и Дед слушал, и одновременно думал про верхний шов, и я видел, как эти две вещи в нём борются, и это было, честное слово, лучше любой истории.

Он поставил кружку.

— Пять минут, — сказал он Князю. — Я пощупаю и вернусь.

— Григорий, — сказал Князь.

— Пять минут, Василий. Я не уйду. Я щупать.

И встал, и пошёл к ЗИСу, и шуплый за ним с ведром, и мы все смотрели им вслед, и Артист замолчал на середине фразы, и Фрол сказал, глядя на Князя:

— Так. От чего ушёл?

— Он не ушёл! — сказал Князь. — Он щупать!

— Он не от стола ушёл, — сказал Артист. — И не от рассказа. Он к шву ушёл.

— Шов — это не из условия, — сказал Профессор. — Мы говорили про стол и про рассказ. Про шов никто не говорил.

— Значит, надо было говорить! — сказал Фрол с удовольствием. — Я же предупреждал: условие!

Они спорили ещё полчаса. Дед не вернулся. То есть он вернулся — раз, минут через двадцать, взял кружку, сказал: «Верхний держит. Но я ему накладку тоже пушу. Не сегодня. Завтра, если стоять будем», — и ушёл обратно, потому что шуплый там что-то уже размечал, и им обоим было интересно, и это было видно с двадцати шагов, и никто их не звал. Не потому, что обиделись. Потому что понимали.

— Не удался, — сказал Князь. Не горько — как констатируют.

— Как это не удался? — спросил Суров.

Все повернулись к нему, потому что Суров за весь вечер сказал три слова.

— Я вот сидел, — сказал Суров. — Ел. Смеялся. Лошадь эта. Мне хорошо было. И сейчас хорошо. Как это — не удался?

— Условие не выполнено, — сказал Князь.

— Ваше условие, — сказал Суров. — Не моё. — И встал, и пошёл к своему «Опелю», спать, и по спине его было видно, что вечер у него удался, и с ним встали ещё двое, и тоже, видимо, считали так же.

— Суров дело сказал, — заметил Устинов неожиданно. — Вечер был. Деда не было. Это две разные вещи.

— Это одна вещь! — сказал Артист. — Мы для него...

— Вы для себя, — сказал Устинов. — Чтоб он оценил. А он оценил и пошёл щупать. Это не поражение, Семён. Это Дед.

Артист хотел ответить и не ответил. Посмотрел на Князя. Князь посмотрел на него. И оба, кажется, поняли, что проиграли не Деду, а собственному условию, и что это, в общем, не страшно, и что ещё будет случай.

— Следующий раз, — сказал Князь. — Когда стоять будем. Я по-другому сделаю.

— И я по-другому, — сказал Артист. — Я про машину расскажу. Он про машину не уйдёт.

— Уйдёт, — сказал Фрол. — Проверять. — И захохотал, и на этом вечер кончился, и Князь убрал стол, и последним встал не Дед, а Профессор, который сидел и что-то дописывал в своём листке при свете лампы, пока Князь не снял её с жерди, чтобы вернуть на гвоздь.

* * *

Я обошёл точку перед сном. Это уже становилось привычкой — как в той жизни обходил площадку перед тем, как запереть ворота.

Первый ЗИС, с помятым крылом, — стоит, Артист спит в кабине. «Опель» — стоит, Суров в кабине, не спит, но лежит. Будка — стоит, дверь прикрыта, внутри темно, и рядом на досках лежит инструмент, накрытый брезентом от росы. Второй ЗИС — стоит, с закрытым капотом. Закрытым. Впервые за три дня. У него в темноте сидели двое: Дед на подножке, щуплый на корточках у колеса, и они не работали — сидели и разговаривали вполголоса, и я не стал подходить.

Три грузовика и мастерская. Двадцать четыре человека. Пулемёт немецкий — сдан днём дежурному, с лентой, под расписку, и Исаев расписался и ещё раз сказал «жалко», и я ещё раз сказал «патронов сотня». Всё стояло. Всё было целое. Завтра — марш: через Глуск, который сегодня, как сказали на точке, взяли, — на запад, за наступлением, туда, куда ушли повозка, и база, и майор Курт Хеннинг.

И где-то там нам могла попасться тяжёлая машина на плохом грунте. Такая, возле которой придётся стоять и чесать затылок, если нечем будет потянуть.

Тягач. Я его ещё не видел. Но я уже знал, что он мне нужен, — а это, как показывали последние три дня, было полдела.

Глава 8. «Дорога выбирает добычу»

Колонной мы пошли впервые, и я, признаться, волновался так, как не волновался ни у повозки, ни во дворе с сараем.

Четыре машины. Первый ЗИС с Артистом — головной, потому что Артист знал дорогу до Глуска лучше всех и потому что у него было чувство дистанции, которое не выучишь; я с ним. Второй ЗИС с Князем — за ним, потому что вчера запаянный радиатор надо было держать на виду, и Дед сидел у Князя в кабине и смотрел на капот так, как смотрят на спящего. «Опель» с Суровым — третьим, с людьми. Будка — замыкающей, с новым водителем, и рядом с ним Селиванов, потому что будка была для нового ещё чужая, а Селиванов, как выяснилось за вчерашний вечер, умел объяснять чужую машину коротко и без обиды. Фрол — в «Опеле», с ДП в кузове, стволом назад. Профессор — в будке, с бумагами, потому что ему там было удобно.

Двадцать четыре человека, четыре машины, и все на ходу. Я сидел рядом с Артистом и смотрел в зеркало на то, как они идут за нами — серый борт, серая будка, — и думал, что три дня назад у меня было полтора грузовика и восемнадцать человек, которых я знал по именам, не зная в лицо.

Точку мы оставили в шесть. Дежурный проводил нас, как провожают жильцов: записал, посмотрел вслед и вернулся к своим бочкам. Чумаков не приехал — но приехал его посыльный, ещё затемно, с бумагой: проезд через Глуск подтверждён, дорога до пилюрамы северо-восточнее Любани открыта для колонн, там стоянка, там ждать. И отдельно — карандашом, его рукой: «Любань не трогать. Она не наша». Я это прочёл дважды и положил в планшет.

До Глуска шли два с половиной часа. Тридцать пять километров — это на своей площадке полчаса, а колонной, с пропусками, с проверками, с двумя остановками, когда Дед выходил смотреть воду и говорил «сухой» с таким видом, будто это его личная заслуга, — это два с половиной. Я понял за это утро, что колонна — это не четыре машины, которые едут. Это четыре машины, которые едут с той скоростью, с какой едет самая медленная из них, и останавливаются там, где останавливает дорога, а не ты.

Глуск мы прошли не останавливаясь. Я смотрел в окно и мало что запомнил: сгоревшие дома по одной стороне улицы и целые по другой, как бывает; людей — немного, старуху с ведром, мальчишек у сгоревшей немецкой машины; мост через реку, узкий, деревянный, с двумя сапёрами по краям, которые пропускали по одной машине и смотрели на колёса; регулировщицу на площади с флажками, которая показала нам налево так, будто мы тут ездили всю жизнь. Город, который взяли вчера. Вчера на точке об этом сказали, а теперь я ехал по

нему, и он был мокрый после ночного дождя, и пахло гарью и мокрой известью, и это было совершенно не то, что число.

За Глуском дорога пошла на запад, и вот там мы встали.

* * *

Встали мы не сразу — сначала пошли медленнее, потом совсем медленно, потом впереди, за поворотом, замигали чьи-то тормозные огни, и Артист сбросил, и мы встали за санитарной машиной, а за нами встал Князь, а за Князем всё остальное.

Я вылез.

Вот здесь я должен рассказать честно, потому что рассказываю всё по порядку, и потому что это была моя ошибка, маленькая, но моя. Я вылез и пошёл вперёд, вдоль колонны, — не нашей, чужой: перед нами стояло ещё четыре машины, санитарки, полуторки, одна «эмка», — и шёл я быстро, и думал я, что впереди сломалась головная. Кто-то встал, у кого-то закипело, кто-то сел на мост, — и колонна стоит. Это первое, о чём думает человек с моей работы, когда видит стоящую колонну: кто-то встал. И я шёл вперёд с этим в голове и уже прикидывал: если это грузовик, то трос у нас в первом ЗИСе; если легковая — можно и руками; если что-то тяжёлое — то это моё, это как раз моё, и я это сделаю, и...

Я дошёл до головы и увидел не сломанную машину.

Я увидел проезд. Дорога впереди сужалась — с обеих сторон её обжимали воронки, одна большая, с водой, и остатки взорванной насыпи, — и в этот проезд, в одну машину шириной, с той стороны, навстречу нам, шла колонна. Своя. Порожние грузовики, потом орудия на прицепе, потом ещё грузовики. Шла медленно, по одной, и у проезда стоял регулировщик — сержант, немолодой, с флажками, с лицом человека, который сегодня уже всё слышал, — и рядом с ним лейтенант с повязкой на рукаве, и они пропускали встречных, и наши стояли, и это было правильно, потому что проезд один, а колонны две.

Никто не сломался. Дорога была занята.

Я стоял, и мне было неловко за то, что я шёл сюда с тросом в голове. Не перед кем-то — перед собой.

— Товарищ лейтенант, — сказал я. — Долго?

Лейтенант посмотрел на меня, на мои погоны, на колонну за моей спиной.

— Пока пройдут, — сказал он. — Двадцать машин. Потом ваши. Минут сорок. Вы который по счёту?

— Пятый. То есть первая моя — пятая.

— Значит, минут пятьдесят.

— Ясно, — сказал я. — Спасибо.

Он посмотрел на меня чуть внимательнее — видимо, ждал, что я буду спорить. Не знаю, сколько человек до меня подходило к нему за это утро с «а нельзя ли». Я не стал. Я не имел на это права, и я это понимал, и — что важнее — мне и не хотелось. Дорога была его. Я умел вытаскивать машины, а не командовать дорогами.

Я пошёл назад к своим, и по пути мне навстречу шёл Дед, тоже быстро, и тоже с лицом человека, который думает про трос.

— Что там? — спросил он.

— Ничего. Встречных пропускают. Проезд один.

— А. — Он остановился, посмотрел вперёд, кивнул. — Я думал, кто-то встал.

— Я тоже думал.

— Ну, — сказал Дед, — значит, оба дураки. — И пошёл обратно к своему радиатору, и по спине его было видно, что он доволен: не тем, что никто не сломался, а тем, что у него есть время ещё раз посмотреть шов.

* * *

А у регулировщика, чуть в стороне, у обочины, стоял мотоцикл.

Я узнал его раньше, чем увидел человека, — по тому, как он стоял: не брошен, а поставлен, с коляской к дороге, чтобы сразу тронуться. А потом увидел и её. Анна стояла у мотоцикла и разговаривала с солдатом — молодым, с полевой сумкой через плечо и винтовкой, — и по тому, как она говорила, а он слушал, было ясно, что он получает задачу. Она что-то показала ему на планшете, он кивнул, она закрыла планшет и посмотрела на дорогу — на проезд, на встречную колонну, — и лицо у неё стало таким, каким бывает у людей, которые считают время и понимают, что его не хватает.

Я подошёл.

— Лейтенант Веденеева.

Она обернулась. Узнала — сразу, я это видел, — и не удивилась, что тоже было видно.

— Старший лейтенант Ракитин, — сказала она. — Тот самый, с рукой. Вы тоже здесь стоите?

— Пятые в очереди.

— Тогда вам ждать, — сказала она. — А у меня времени ещё меньше, я не могу тут ждать. — Она кивнула на солдата. — Свяжной. С донесением в наш пункт, вперёд по этой дороге, километров пятнадцать. Пешком — три часа. Попутка — полчаса, но попуток нет: всё стоит. Я его тут оставлю ждать, а сама — в другую сторону, у меня ещё две точки. Он дождётся — но когда, не знаю.

Она сказала это не жалуясь — просто изложила задачу, как излагают человеку, который, может быть, поможет, а может, нет. И я сразу увидел, чем помочь, — увидел так, как вижу всегда, разом: у меня четыре машины, одна из них — «Опель», лёгкий, быстрый; дорога вперёд — наша, на пятнадцать километров точно; отправить «Опель» с связным сейчас, вне колонны, он доведёт и вернётся, а мы за это время как раз пройдем проезд, и...

— Я отправлю машину, — сказал я. — Отдельно. «Опель», он быстрый. Довезёт и догонит нас.

Она посмотрела на меня. Потом — через моё плечо, на нашу колонну, на первый ЗИС с Артистом, на его кузов.

— А зачем отдельно? — спросила она.

— Что?

— У вас головная машина — вон, ЗИС. Она идёт туда же. По той же дороге. Мимо нашего пункта — он у самой дороги, там сворачивать не надо. У неё в кузове — я вижу отсюда — четыре человека и место ещё на десять. Зачем гонять «Опель» отдельно, вне колонны, туда и обратно, если ЗИС и так идёт мимо и у него есть место?

Я открыл рот. И закрыл.

Она была права. Она была так права, что мне стало смешно: я стоял и предлагал ей отдельный рейс — красивый, быстрый, с догоном, — а она смотрела на мой кузов и видела в нём пустое место. Я в той жизни ругал своих ребят именно за это: за то, что гоняют машину отдельно, когда рядом стоит попутная. Я это знал двадцать лет. И вот стоял и не видел.

— Вы правы, — сказал я.

— Я знаю, — сказала она без всякого торжества. — Я просто смотрю на кузов, а вы — на «Опель». Вам «Опель» больше нравится.

— Мне «Опель» больше нравится, — согласился я, и она засмеялась. Коротко, по-настоящему — и я подумал, что вот сейчас она первый раз смеётся при мне, и что мне бы хотелось, чтобы не последний.

— Так возьмёте?

— Возьму. В кузов. Довезём до пункта, высадим, не сворачивая. — Я повернулся к связному. — Боец. Со мной. Первая машина, кузов. Как увидишь свой пункт — стучи в кабину, встанем.

— Есть, — сказал связной, и посмотрел на Анну, и она кивнула ему, и он пошёл к нашему ЗИСу.

— Спасибо, — сказала она.

— Это вам спасибо. За кузов.

— За кузов вы бы и сами догадались. Минуты через две.

— Через три, — сказал я честно.

— Через три, — согласилась она и, кажется, хотела сказать ещё что-то, но посмотрела на дорогу, на проезд, где встречная колонна уже редела, и вместо этого сказала: — Мне ехать. Две точки. Если ваша стоянка — на пилораме, то наш пункт связи — там же рядом. Так что дорога у нас общая.

— Общая, — сказал я.

Она села в коляску — не за руль, за рулём был её водитель, ефрейтор, который всё это время стоял и делал вид, что смотрит на колонну, — и мотоцикл затрещал и ушёл назад, в сторону Глузка, и я стоял и смотрел ему вслед дольше, чем нужно, и Артист из кабины сказал негромко:

— Товарищ старший лейтенант. Регулировщик машет.

Регулировщик махал. Встречные прошли. Наша очередь.

Связного мы довезли, как и сказали: пятнадцать километров, пункт у дороги — изба с антенной и часовым, — Артист встал, не сворачивая, связной спрыгнул, отдал часовому бумагу, обернулся, махнул нам и пошёл в избу. Всё. Он не остался с нами, не попросился в кузов дальше, не стал членом группы — он сделал своё дело, и мы сделали своё, и это заняло у нас четыре минуты и ни капли бензина сверх того, что мы и так сжигали.

— Она права была, — сказал Артист, трогаясь. — Про кузов.

— Она мне это уже сказала. Сама.

— Я бы тоже «Опель» послал, — сказал он. — Если честно.

— Потому что тебе «Опель» больше нравится?

— Потому что красиво, — сказал Артист. — Отдельный рейс, догон. Кузов — не красиво. Кузов — правильно. — Он помолчал. — Она красивая, да?

— Семён.

— Я как водитель спрашиваю, — сказал Артист. — Мне за дорогой смотреть, я не вижу.

— Смотри за дорогой, — сказал я, и он засмеялся, и смотрел за дорогой, и больше про это не говорил, и я был ему за это благодарен: не потому, что скрывал, а потому, что не хотел, чтобы это стало номером.

* * *

Пилорама была ровно тем, что обещали: пилорамой. Длинный навес на столбах, под ним рама с пилой, давно не работавшей, и вокруг — штабеля досок, серых от дождей, и опилки, и запах смолы, и большой утоптаный двор, куда наши четыре машины встали так, как я хотел: кругом, носами наружу, будка в середине. Двор был на отшибе, километрах в двенадцати от Любани, на ответвлении дороги, и здесь стояли не одни мы: у навеса — палатка какого-то тылового хозяйства, и у ворот — пост, и связь с автомобильной службой была через тех же посыльных, только теперь до точки было дальше.

Любань была впереди, слева, и она была не наша. Я это знал не из своей школьной памяти — я это знал от лейтенанта с повязкой: «прямо — не ходить, там ещё стреляют». И от посыльного Чумакова: «Любань не трогать».

И вот тут, через час после того, как мы встали, Фрол привёл ко мне человека.

Это был сержант — сапёр, судя по петлицам и по рукам, чёрным от земли, — из тех, что вчера проходили тут с дорожной командой и стояли теперь у навеса, ожидая своих. Фрол вёл его так, как ведут человека, который что-то знает: чуть впереди себя, не касаясь, но и не отпуская.

— Расскажи, — сказал ему Фрол.

Сапёр рассказал. Вчера, ближе к вечеру, они проверяли ответвление — вот это, в сторону леса, что за пилорамой, — на предмет мин, и прошли по нему километра четыре, до бокового двора: усадьба не усадьба, хутор, с сараем и загоном, у самой опушки. И там стоял тягач. Немецкий. «Большой такой, с гусеницами сзади и колёсами спереди, знаете, у них такие, что пушки таскают». Стоял у сарая. Возле него были люди — трое или четверо, немцы, в комбинезонах, копались.

— Копались? — спросил я. — В нём?

— В нём. Капот открыт был, один под ним. Другие — рядом, что-то таскали.

— Стрелял кто-нибудь?

— Нет. Мы их не трогали — нам не велено, у нас дорога. Они нас, по-моему, не видели: мы из леса смотрели. Доложили своим, нам сказали — не наша задача, идите дальше. Мы и пошли.

— Когда это было?

— Вчера. Часов в семь вечера.

— Тягач — двигался? При вас — трогался, ехал?

— Нет. Стоял. Всё время стоял.

Я посмотрел на Фрола. Фрол смотрел на сапёра.

— Дорога до двора, — сказал Фрол. — Вы её прошли. Мины?

— Не нашли. Но мы шли по колее, а не по обочинам. По колее — чисто.

— Лес за двором?

— Не ходили. Не наша задача.

— Люди — куда могли уйти?

— В лес. Больше некуда: дорога — к нам, за двором — лес и болото.

Вот и всё, что он знал. Он сказал честно, и место показал, и время, и я поблагодарил его, и Фрол его отпустил, и мы остались стоять вдвоём, и я уже знал, что сейчас скажу, и Фрол уже знал, что я скажу, и первым сказал он:

— Не сейчас.

— Фёдор.

— Не сейчас, Алексей Палыч. Вчера в семь вечера там стоял тягач и четыре немца. Сейчас — половина третьего дня. Прошло девятнадцать часов. За девятнадцать часов они могли его починить и уехать. Могли бросить и уйти в лес. Могли остаться и ждать своих, и свои могли прийти — я не знаю, кто у них там за лесом. Сапёры прошли по колее, значит, по колее — чисто. По обочине — не знаю. Двор — я не видел. Лес за двором — никто не ходил. Это четыре километра, — он показал рукой на ответвление, — и я по ним поеду. Но не сейчас и не всеми. Сначала — посмотреть.

— Я не говорил «всеми».

— Ты ещё ничего не говорил. Я тебя знаю четвёртый день.

Я засмеялся. Я действительно хотел ехать сейчас: у меня перед глазами стоял тягач — тот, о котором я думал вчера ночью, обходя точку, — стоял у сарая, с открытым капотом, и до него было четыре километра, и это было так близко, что у меня чесались руки.

— Что нужно, чтобы посмотреть? — спросил я.

— Двое. Пешком. По колее, как сапёры. Час туда, полчаса там, час обратно. Если он стоит — я вернусь и скажу, как стоит. Если нет — значит, нет.

— Кто?

— Я и тот, с глазами.

— А если он там стоит, а ты не вернёшься за два с половиной часа?

— Тогда, — сказал Фрол, — через три часа поедешь ты. С Исаевым. И тогда уже — всеми. Но это если. Обычно я возвращаюсь.

И тут подошёл Профессор. Он слушал — он всегда оказывался там, где что-то говорилось, — и теперь подошёл со своим листком, тем, вчерашним, и сказал:

— Можно одно?

— Говори.

— Тягач у ремонтников — это не просто тягач. Это то, чем они тащат сломанное. Если он их — из той же конторы, что будка и «Опель», — то он там не сам по себе. При нём или что-то было, что он тянул, или он ждал, что потянет. Сапёр сказал: «таскали». Что-то рядом. Я не знаю, что. Но если Фрол пойдёт посмотреть — пусть смотрит не только тягач. Пусть смотрит, что вокруг.

— Хорошо сказано, — сказал Фрол. — Посмотрю.

— И ещё, — сказал Профессор, — про время. Сапёр сказал «часов в семь». Я его переспросил, пока вы говорили: он сказал, что солнце было ещё высоко и что они успели до темноты вернуться сюда. Значит, не позже семи. Может, раньше. Это к тому, что прошло не девятнадцать часов, а, может, двадцать. Больше времени — больше могло случиться.

— Спасибо, — сказал Фрол серьёзно. — Двадцать.

И пошёл за тем, с глазами.

* * *

Он вернулся через два часа десять минут, и я знаю это потому, что нашёл на точке у тылового хозяйства человека с часами и спросил у него время, когда Фрол ушёл, и когда пришёл.

— Стоит, — сказал Фрол.

Он сел на подножку первого ЗИСа, снял пилотку и вытер лицо, и было видно, что он шёл быстро. Тот, с глазами, сел рядом на землю.

— Стоит у сарая, как сапёр сказал. Капот открыт. Гусеницы целые, колёса целые. Немцев — трое, не четверо. Ходят вокруг, один под капотом, двое таскают — из сарая к тягачу, ящики. Похоже, снимают с него всё, что можно унести, — не чинят, а раздевают. Или чинят и заодно раздевают, я не механик. Оружие — у двоих винтовки за спиной, у третьего не видел. Двор — открытый, сарай, загон, за загонем опушка. Лес за двором — я прошёл вдоль опушки метров триста: тихо, следов свежих нет, дороги дальше нет. Колея до двора — чистая, мы прошли. По обочине — не ходили. — Он помолчал. — Что вокруг — Профессор был прав. У сарая, под навесом, стоит что-то на колёсах. Прицеп, платформа — низкая, широкая. Пустая. И рядом — ещё одна машина, легковая, разбитая, без колёс, снятая. Это, по-моему, и есть то, что он тянул: они на нём тащили эту легковую, легковая рассыпалась, они её бросили, и тут у них встал тягач. Или наоборот. Не знаю. Стоит — знаю.

— Доступно? — спросил я.

— Доступно. Четыре километра, колея чистая, трое немцев, которые заняты своим и не ждут. Если идти — то сегодня, до вечера, потому что завтра их там может не быть — они его раздевают, значит, собираются бросать. Не всеми: восемь, как в тот раз, и одна машина, чтобы людей довезти и — если тягач наш — съездить за будкой. Остальные — здесь. Стоянка наша, посты свои, я договорился.

— «Если тягач наш», — повторил Дед.

Он подошёл, пока Фрол говорил, и стоял, и слушал, и теперь смотрел на Фрола так, будто тот сказал что-то очень важное и очень неправильное.

— Что не так? — спросил Фрол.

— Всё так. Только ты сказал «если тягач наш» так, как будто он будет ездить. А он стоит с открытым капотом, и его раздевают. Я не знаю эту машину. Я про неё слышал: что она большая, что мотор у неё большой, что тянет она столько, что нашим и не снилось. Слышал. Не видел. Не трогал. Что у неё внутри и почему она встала — я тебе скажу, когда постою рядом с открытым капотом столько, сколько мне надо. Не раньше. — Он посмотрел на меня. — Алексей Палыч, я тебе честно: если он на ходу — это лучшее, что у нас будет. Тягач — это то, о чём мы вчера

говорили: он вытащит всё, что мы найдём. Он и ЗИС вытащит, и «Опель», и что угодно. Но «если». Я не обещаю. Я обещаю посмотреть.

— Больше и не надо, — сказал я.

— Надо, — сказал Дед. — Надо, чтоб он ездил. Но это не от меня зависит.

Дальше всё пошло так, как идёт, когда люди знают своё дело.

Фрол собрал восьмерых бойцов — себя, Исаева и шестерых стрелков, включая расчёт ДП, — и они уже проверяли оружие. Мы с Дедом, Устиновым и Профессором шли с ними; Селиванов вёз нас на «Опеле». Дед взял двоих ремонтников — старшего, медленного, и щуплого — и повёл их к будке отбирать, что брать с собой, если тягач окажется «наш»: не всю будку, а то, что нужно для первого взгляда, ящик и лампу. Селиванов в это время сидел за рулём «Опеля» и подавал его к бочкам тылового хозяйства — Суров спал: он стоял в ночном охранении на точке, и я велел ему спать, а не спорить, и Селиванов сел на его место так, как садятся на чужое место люди, которые понимают, что оно чужое: ничего не переставляя. «Опель» надо было заправить и вывести к воротам, и он это делал.

Я пошёл к Князю.

— Василий. Основной парк — здесь. Ты старший, при тебе водители и механики. Посты — свои, тыловые, но ты на них не надейся: свои двое у машин, круглосуточно. Мы — на «Опеле», четыре километра. Если тягач стоит и мы его берём — я пришлю кого-нибудь пешком, час ходу, и тогда ты отправляешь будку с ремонтниками и её водителем. Не раньше. Если через четыре часа никого нет — не ехать. Ждать. Послать на точку, к дежурному, сказать: Ракитин ушёл на боковой двор в четырёх километрах, не вернулся. Пусть решают они. Не ты.

— Понял, — сказал Князь. — А если он ездит?

— Тогда, — сказал я, — у тебя завтра будет во дворе на одну машину больше. Большую.

— Большую, — повторил Князь, и я увидел, как он представил.

Я стоял у ворот пилорамы, и «Опель» уже стоял рядом, заправленный, с Селивановым за рулём, и Фрол грузил людей, и Дед носил ящик, и во дворе, за штабелями досок, стояли наши три машины кругом, носами наружу, и Князь ходил между ними, как ходят по дому, — и я думал, что вот так дорога и выбирает добычу: не ты идёшь искать тягач, а тягач стоит в четырёх километрах от того места, где тебе велели стоять, и сапёр проходит мимо, и рассказывает, и всё.

Ты только должен быть готов, когда рассказывают. И иметь машину, чтобы доехать. И человека, который скажет «не сейчас», — и другого, который скажет «стоит».

Глава 9. «Тяжёлая покупка за немецкий счёт»

Сапёр не соврал, и Фрол не соврал, и всё-таки двор оказался не таким, как рассказывали, — и я теперь думаю, что так бывает всегда: рассказ — это то, что человек видел, а двор — это то, что в нём есть.

Мы оставили «Опель» в километре, в кустах, носом на выезд, с Селивановым при нём, и прошли остальное пешком по колее, как ходили сапёры. Дед шёл в середине, с ящиком, который нёс сам и никому не давал, и я шёл рядом с ним; за нами — Устинов с сумкой и Профессор. Я видел, как он смотрит под ноги и одновременно вперёд, туда, где за поворотом должен был быть двор, и как у него от этого двоения лицо делается почти детским.

Двор открылся с опушки: сарай, загон из жердей, изба с провалившейся крышей, навес — и под навесом низкая платформа на колёсах, та самая, и рядом что-то легковое, разбитое, на боку, без колёс. А перед сараем стоял он.

Я его узнал сразу, хотя видел до этого только на картинках в той жизни: полугусеничный, с колёсами спереди и гусеницами сзади, открытый, длинный, с рядами сидений, как автобус без крыши, с высокой решёткой радиатора и с тем особенным немецким тяжёлым изяществом, которое я всегда, честно говоря, уважал, глядя на их технику, и не стыжусь. Восьмитонный тягач. Не восемь тонн весом — восьмитонного класса, как называют по тому, что он тянет; я

это знал так же, как знал, что «Опель» — трёхтонка. Он стоял с открытым капотом — створки подняты, — и возле него никого не было.

Никого. Ни у капота, ни у сарая, ни под навесом.

— Фрол сказал — трое, — прошептал Дед.

— Фрол видел троих, — сказал я. — Два часа назад.

Фрол лежал впереди и смотрел. Долго. Потом сказал, не оборачиваясь, так тихо, что мы едва слышали:

— Один — в сарае. На чердаке. Слуховое окно, видите — тень. Двое — в избе, у окна, я одного видел. Третий... четвёртый? Не знаю. Они не работают. Они ждут. Они нас слышали или видели с опушки, — или просто ждут. Сапёр сказал «копались». Копались — днём. Сейчас — сидят.

— Что делаем?

— Двор — открытый. Через двор к тягачу — тридцать метров под окном избы и под чердаком. Так не пойдём. — Он думал вслух, и я понял, что он думает не для меня, а для себя, а мне достаётся то, что слышно. — Изба — слева, сарай — справа, тягач — между ними, ближе к сараю. Значит, сначала — сарай. По чердаку — ДП, сразу, как начнём, чтобы тот с окна не работал. Исаев — с двумя — вдоль загона к избе, с тыла, там окон нет, я смотрел, стена глухая. Я — с двумя — к сараю, через двор, коротко, пока ДП по чердаку. Как сарай наш — тягач наш, потому что он у сарая, и из избы в него стрелять — это стрелять в свою машину. Не будут. Они её ждут забрать.

— А если будут?

— Тогда, Алексей Палыч, — сказал Фрол, — ты получишь тягач с дырками. Я не могу обещать целый. Я могу обещать, что сделаю так, чтоб им было не до него.

— Делай.

— И ещё, — сказал он. — Если они побегут в лес — они побегут. Я за ними не пойду. Двор я возьму, тягач я возьму, а за тремя немцами по лесу с восьмью людьми я гоняться не буду, там болото и не наш лес. Ты это понимаешь?

— Мне нужна машина, — сказал я. — Не они.

Фрол кивнул и стал расставлять людей.

Деда он поставил здесь. На опушке, за сосной, с ящиком. Сказал: «Григорий, ты сидишь. Ты не идёшь. Ты идёшь, когда я крикну твоё имя, а не раньше, и не когда стихнет, а когда крикну. Стихнуть может и потому, что кто-то перезаряжает». Дед сказал: «Понял», — и сел, и поставил ящик рядом, и положил на него руку, и я подумал, что так, наверное, сидят в приёмной у врача.

* * *

Это было быстро, и это было не так, как во дворе с сараем.

ДП ударил первым — по чердаку, по слуховому окну, длинно, — и оттуда не ответили; то ли попали, то ли тот, на чердаке, лёг. Фрол с двумя пошёл через двор — не побежал, пошёл, быстро, пригнувшись, вдоль сарая, под его стеной, где из избы было не видно, — и дошёл, и они втроём вошли в сарай через ворота, и оттуда через секунду — крик, немецкий, и выстрел, один, и ещё крик, и потом Фрол высунулся из ворот и махнул: наш.

Из избы стреляли. Двое — по сараю, по воротам, по Фролу; по тягачу — нет, Фрол был прав, они в него не стреляли, он стоял между ними и сараем, и пули шли выше, в брёвна. Исаев с двумя стрелками обошёл избу с тыла — с глухой стены — и дальше я слышал, а не видел: удар в дверь, крик, ещё выстрелы, потом голос Исаева, ровный, по-русски: «Руки! Руки!» — и тишина.

А потом из-за избы, с той стороны, что к лесу, выскочили двое — и побежали. Через загон, через жерди, в опушку, в лес, — не оглядываясь, бросив винтовки или без винтовок, я

не разглядел. Один из людей Исаева выстрелил вслед, Исаев крикнул: «Не надо! Стой!» — и тот остановился, и двое ушли в лес, и лес их принял, и всё.

— Пусть, — сказал я вслух, хотя меня никто не спрашивал. — Пусть.

— Григорий! — крикнул Фрол.

Дед встал. Взял ящик. И пошёл — не побежал, пошёл, — через двор, мимо избы, из которой Исаев выводил одного с поднятыми руками, мимо сарая, из которого двое Фрола вытаскивали другого, раненого, и Устинов уже шёл к нему, — прямо к тягачу. Дошёл. Поставил ящик на землю. И положил руку на крыло — на высокое, гнутое, серое крыло над передним колесом — так, как кладут руку на бок большого животного, чтобы оно тебя почувствовало.

И стоял так секунд десять, не открывая ящика.

Я подошёл.

— Ну, — сказал я.

— Не «ну», — сказал Дед. — Дай мне посмотреть.

* * *

Смотрел он час. Я не преувеличиваю: час — я потом спросил у человека с часами. За этот час Фрол расставил людей по двору и по опушке, ДП переехал на чердак сарая — на тот самый, откуда стреляли, только теперь стволом в лес, — пленных, двоих, посадили в избу под одного стрелка, раненого — в ногу, навывлет — Устинов перевязал и сказал, что дойдёт. Прицеп под навесом оказался пустым. Легковая — без колёс, без мотора, снятая до рамы: это её они тащили, это она рассыпалась, это с неё, видимо, и снимали всё, что можно, пока ждали. Сарай — пустой, с соломой, с двумя ящиками патронов к винтовкам, которые мы записали и не тронули. Всё это я видел, обходя двор, и всё это было не главное.

Главное стояло с открытым капотом, и над ним стоял Дед, и я не подходил, потому что он сказал «дай посмотреть».

Пока он смотрел, Профессор говорил с пленными. Не допрашивал — говорил: сел в избе напротив того, что был цел, и спрашивал по-немецки негромко, и тот отвечал, сначала коротко, потом длиннее, и Профессор переводил мне, отделяя, как всегда, что сказано, от того, что он думает.

— Говорит: их оставили при машине. Четверых. Колонна ушла позавчера, ждать не могла, а бросать тягач им было велено только в крайнем случае. Сказали: пришлём за вами. Когда — не сказали. Они ждали. Чистили, что могли, снимали, что унести, если не пришлют. — Профессор помолчал. — Это он говорит. А думаю я вот что: если им сказали «пришлём», то кто-то может прийти. Не сегодня, так завтра. Не за ними — за машиной. Она им нужна, иначе бы не оставляли людей.

— Кто пришлёт — говорит?

— Говорит: не знает. «Своя колонна». Какая — не знает или не говорит. Я думаю — не знает: он рядовой, ему сказали сидеть, он сидел.

— Хеннинг?

— Этого слова он не произносил, и я его не подсказывал. — Профессор посмотрел на меня. — Я мог бы спросить прямо. Не стал. Если спросить — он либо соврёт, либо скажет «да» на любое имя, лишь бы отстали. Пусть лучше не знает, что мы знаем.

— Правильно, — сказал я, и Профессор кивнул и пошёл обратно в избу — не допрашивать, а, как он сказал, «посидеть, вдруг ещё что скажет».

Дед подошёл ко мне сам. Вытер руки — они были в чём-то рыжем, — сел на подножку тягача, высокую, и сказал:

— Скажу, что есть. Потом — что могу. Потом — чего не могу. Не перебивай.

— Не перебиваю.

— Мотор — цел. Я провернул — ходит, не заклинил, не стучит. Масло есть, чистое. Вода есть. Ходовая — колёса, гусеницы, катки — целые, я обошёл, ничего не висит, ничего не

порвано. Коробка — не знаю, не заводил, но рычаги ходят. Лебёдка сзади — есть, трос на ней есть. Это машина, Алексей Палыч. Это не битая машина. Это машина, которая встала.

— Почему встала?

— Вот. — Он поднял руку, и я увидел, что рыжее на ней — ржавчина. — Топливо. Они лили в него что попало — или не они, а кто-то до них, — и в баке вода и ржавчина. Вот что из топлива отстоялось, — рыжая грязь и вода. Насос, наверное, тоже. Карбюратор — тоже. Он не встал оттого, что сломался. Он встал оттого, что ему дали грязь, и грязь дошла до мотора, и мотор перестал её есть. Немцы это поняли. Они начали чистить — отстойник снят, я видел, они его снимали, — и не кончили. Или кончили и поняли, что этого мало. И ещё, — он показал куда-то в глубину, под капот, — трубка. Топливная. Тонкая, от бака к насосу. У неё на штуцере трещина. Течёт. Я думаю, они её подтягивали, перетянули, и она треснула. Вот две беды: грязь во всей системе и трубка.

— Что можешь?

— Могу почистить. Всё: бак, трубки, отстойник, насос, карбюратор. Слить, промыть, продуть, собрать. Могу поменять трубку — у меня в будке есть медная, подходящего размера, я вчера видел, и есть чем развальцевать. Могу дать ему чистое топливо — наше, из бочек, не то, что у него в баке. И тогда он поедет. Я почти уверен. Не совсем — насос я внутри не видел, и если у него внутри что-то, чего я не могу сделать без запчастей, — то не поедет. Но я думаю — поедет.

— Сколько?

— Не сегодня. — Он сказал это твёрдо. — Не сегодня, Алексей Палыч, и не проси. Чистить систему — это не полоску припаять. Это разобрать, промыть, посмотреть на свет, собрать, попробовать, опять разобрать, если не так. Это день. С хорошим светом, с чистым бензином, с руками — день. Если что-то — два. Сегодня — начать. Завтра — попробовать.

— А чего не можешь?

— Не могу его отсюда увезти. — Он посмотрел на меня прямо. — Ты сейчас думаешь про трос. Я вижу. Ты думаешь: зацепить «Опелем», или двумя, ЗИСом и «Опелем», и оттащить на пилораму, и там чинить спокойно. Так вот: нет. Это восьмитонный тягач. Он — это ты знаешь лучше меня — гораздо тяжелее порожнего «Опеля», и он на гусеницах, и без мотора у него гусеницы — это два якоря. Два грузовика его с места не сдвинут по этой колее. А если сдвинут — то на первой же горке он их утащит за собой в кювет. Его не тянут грузовиками. Его тянут такими же, как он. У нас такого нет. Значит — он стоит здесь. Где встал.

Я молчал. Я знал, что он прав, знал раньше, чем он сказал, — я это видел, ещё когда шёл к нему через двор: гусеницы, вес, колея с горкой, — и всё равно, пока он не сказал, у меня внутри жила эта картинка с тросом. Теперь она умерла.

— Значит, — сказал я медленно, — чинить — здесь.

— Здесь.

— Здесь — это четыре километра от пилорамы, у леса, который никто не чесал, с двумя немцами, которые только что в него ушли и знают дорогу, и с двором, в котором стреляли час назад.

— Да.

— И чинить — это привезти сюда будку. Потому что без будки — без верстака, без трубки, без лампы, без ящиков — ты его не почистишь.

— Не почишу, — сказал Дед. — Я это могу сделать на коленях, при свечке, как тридцать лет делал. Но тогда — не день, а три. И не «почти уверен», а «посмотрим». Будка — это день и «почти». Без будки — три и «посмотрим».

Вот оно и было. Выбор — настоящий, из тех, что я знал по той жизни, когда стоишь у фуры в кювете и понимаешь, что вытащить её можно только краном, а кран — единственный,

и он сейчас на другом заказе, и если ты снимаешь его оттуда и гонишь сюда, то ты ставишь на эту фуру всё.

Будка была моим лучшим выигрышем. Не «Опель» — «Опель» был первым, и это было прекрасно, но «Опель» — грузовик, грузовики бывают. Будка была одна. Мастерская на колёсах, за которой мы ездили тридцать километров и которую Дед только вчера разложил по полкам. Она стояла сейчас на пилораме, в четырёх километрах, во дворе с постами, в кругу своих машин, и ей ничего не грозило. А здесь, у леса, ей грозило всё. Один ночной налёт — и не будет ни будки, ни тягача, ни, может быть, Деда.

Или — не привозить. Оставить тягач тут. Записать, доложить, уйти на пилораму. И кто-нибудь когда-нибудь его заберёт — или не заберёт, или заберут те двое из леса, когда придёт их помощь, — а мы будем дальше ездить на двух ЗИСах и одном «Опеле» и смотреть на то, что тяжелее трёх тонн, и вздыхать.

— Фрол, — сказал я.

Он подошёл. Он, кажется, всё слышал — он всегда всё слышал.

— Если будка здесь — на ночь. Что нужно, чтобы её удержать?

Фрол посмотрел на двор. На опушку. На сарай с чердаком.

— Всех, — сказал он. — Не восьмерых — всех. Двадцать четыре человека, ДП на чердаке, посты на опушке, машины — кругом, как на пилораме, носами наружу, будка — в середине, у тягача. Тогда — удержу. Если придут те двое с десятком — удержу точно. Если придут с полусотней — тогда я тебе скажу: «бросаем», и мы бросаем всё, что не на колёсах, садимся и уходим по колее на пилораму. Тягач — бросаем. Будку — нет, будка на колёсах. Вот это — граница. До неё — работаем. За ней — уходим. Ты это принимаешь?

— Принимаю.

— Тогда я не против, — сказал Фрол. — Тягач хороший. Я на нём тоже хочу.

Дед посмотрел на него с благодарностью.

— И ещё, — сказал я. — Я сам поеду за будкой. Не пошлю — поеду.

— Зачем? — спросил Фрол. — Пошли кого-нибудь, Князь пришлёт.

— Затем, — сказал я, — что я её сюда ставлю. Я. Не Князь и не ты. Если ставлю — я и привезу. Чтобы всё видели, чья ставка.

Фрол помолчал.

— Ладно, — сказал он. — Это по-честному.

* * *

Я поехал на «Опеле» с Селивановым, и четыре километра до пилорамы мы прошли за десять минут, и я всю дорогу молчал, и Селиванов молчал тоже, и это было хорошее молчание, из тех, что бывают между людьми, которые едут за чем-то важным.

Князь встретил у ворот. Не спросил ничего — посмотрел на моё лицо и сказал: «Ездит?» — «Нет. Но будет». — «Будка?» — «Будка».

Собирались быстро. Не потому, что я торопил, — потому что все уже поняли, когда увидели, как я вылезая один, без тягача и без Деда, но с лицом человека, который не проиграл. Будка — водитель за руль, ремонтники в кузов, ящики. И бензин — чистый, потому что Дед сказал «чистый», а в наших бочках был наш, проверенный, но его было ровно столько, сколько было выделено на перегон и обратно, и тратить его на промывку чужого бака я не имел права.

Это сделал Князь. Я видел, как он это делал, и расскажу, потому что это стоит рассказа.

Он пошёл к тыловому хозяйству — к их старшине, такому же, как он, только постарше и с усами, — и не попросил. Он сначала спросил, как у них с водой, потому что заметил, что колодец у пилорамы засыпан, и сказал, что у нас в «Опеле» есть ведро и трос, и что до ручья триста метров, и что наши ребята всё равно туда ходят. Потом спросил, не надо ли им чего подтянуть — «у нас механик, вон, за час любую течь прижмёт», — и старшина с усами сказал, что у них полуторка второй день чихает. Потом — только потом — Князь сказал, что нам нужен

бочонок бензина, чистого, на промывку, под расписку, с возвратом, «из наших же трофейных, как возьмём, а возьмём — вон, видите, сколько у нас уже стоит». Старшина посмотрел на будку, на «Опель», на Князя. И дал. И щуплый за полчаса прижал их полуторку, и Князь вернулся с бочонком и с таким лицом, будто ему его подарили на день рождения.

— Под расписку, — сказал он мне. — С возвратом. Я не выпрашивал. Я обменял.

— На что?

— На то, что мы и так бы сделали, — сказал Князь. — Это лучший обмен, Алексей Палыч. Когда отдаёшь то, что и так бы отдал.

Первый ЗИС повёл Артист, с нашими механиками и частью инструмента; второй — Князь, с хозяйством. Селиванов — за рулём «Опеля», а Суров, проснувшийся, сел рядом с ним и сказал: «Я сам», — и Селиванов сказал: «Знаю. Но ты спал, а я ехал. Досиди до двора, потом твоя». И Суров досидел, и это было, по-моему, самое длинное, что он сказал за эти дни.

Тыловому хозяйству я сказал, где мы. Дежурному у навеса — записал: «Ракитин, группа, боковой двор четыре километра по ответвлению, вернёмся». Он посмотрел на будку, на ЗИСы, на людей, и сказал: «Все?» — «Все». — «А если что?» — «Если что — вы услышите. Четыре километра». Он кивнул и записал.

И мы пошли. Четыре машины по колее, той самой, сапёрской, — медленно, потому что колея была лесная, и потому что будку я велел вести так, будто в ней стекло. Я ехал в её кабине, рядом с водителем, — впервые за три дня не в ЗИСе с Артистом, а тут, в высокой кабине, откуда было видно дорогу иначе, — и смотрел на колею, на горку, о которой говорил Дед, на кусты, где стоял «Опель», и думал, что вот сейчас я везу через лес самую дорогую вещь, которая у меня есть, чтобы поставить её у самой дорогой вещи, которой у меня пока нет.

— Тяжёлая, — сказал водитель, когда мы прошли горку. Он сказал это первым за всю дорогу, и вообще, кажется, впервые сказал мне что-то, кроме «есть».

— Будка?

— Будка. Не по весу — по тому, как идёт. Груз высоко, полки, ящики. На горке чувствуешь: её ведёт. Не как ЗИС. ЗИС — он низкий, он прёт. А эта — как шкаф везёшь.

— Справишься?

— Справлюсь. — Он помолчал и добавил то, что, видимо, хотел сказать с самого начала: — Я её вчера полдня водил по точке. Селиванов показывал. Я думал — ну, «Опель», как «Опель». А она — не как. Она своя. У неё всё внутри, и это внутри едет с тобой. — Он ещё помолчал. — Я в неё, товарищ старший лейтенант, дырок не хочу.

— Я тоже, — сказал я. — Поэтому и везу сам.

Двор открылся из-за поворота, и я увидел двор, который Фрол разведал сегодня, — только теперь это был наш двор: стрелки на опушке, ДП на чердаке, Устинов у избы, и посреди двора, у сарая, тягач с открытым капотом, серый, огромный, и возле него Дед, который стоял и смотрел не на нас — на будку. На то, как она входит в ворота.

— Сюда, — сказал он водителю, показывая рукой. — Задом. К нему. Вот сюда, где твёрдо. Не на траву — на утоптанное. Ближе. Ещё. Стой.

Будка встала задом к тягачу, в трёх шагах, на утопанной земле у сарая, и водитель заглушил, и Дед открыл заднюю дверь, и опустил борт-верстак, и он лёг ровно — не на траву, на твёрдое, как он и хотел, — и вот они стояли рядом: тягач, который не ездил, и мастерская, которая приехала его чинить.

Остальные машины Фрол поставил так, как сказал: кругом, носами наружу, ЗИСы — к воротам, «Опель» — к загону, и между ними — люди, и я обошёл всё это перед тем, как подойти к Деду, и подумал, что вот такого двора у меня в той жизни не было никогда: три грузовика, мастерская, тягач и двадцать четыре человека в лесу, и всё это — за четыре дня.

* * *

Работать Дед начал сразу, и первое, что он сделал, — это назначил людей.

— Старший — ко мне. Щуплый — ко мне. Третий ремонтник — на будку, подавать. Ты, — это водителю, тому, третьему из шестёрки, который до сих пор ходил без руля и помогал, — ко мне. Не подавать — смотреть. Ты на нём поедешь. Не завтра — когда я скажу. Но если ты его сейчас не увидишь изнутри, ты на нём не поедешь никогда, потому что он тебя не слушает. Стой тут и смотри, куда я лезу и что я трогаю. Спрашивай. Не молчи.

— Есть, — сказал водитель и встал так, чтобы видеть.

И началось.

Я расскажу коротко, потому что это делали руками, а я стоял рядом. Первым Дед показал водителю слитое топливо: рыжая жижа, вода на дне. Покачал ёмкость, дал ей снова отстояться и сказал: «Вот. Вот это он и пил». Потом — трубку. Ту, треснувшую. Дед снял её, посмотрел на штуцер на свет, показал водителю: «Видишь? Трещина. Перетянули. Запомни: этот штуцер — не тянуть, как на ЗИСе. Он тоньше. Он немецкий, он аккуратный. С ним — аккуратно», — и пошёл в будку, и вылез с куском медной трубки, и щуплый уже держал развальцовку, и они вдвоём за полчаса сделали новую — отрезали, развальцевали, примерили, сняли, подправили, поставили. И затянули. Аккуратно.

Водитель — тот, третий, будущий — стоял и смотрел, как было велено, и молчал, и Дед раза два покосился на него, и наконец водитель спросил:

— Товарищ техник-лейтенант. А зачем он такой длинный? Кузов. Сиденья. Он же тягач. Ему бы лебёдку и всё.

— Он пушку возит, — сказал Дед, не отрываясь от штуцера. — И расчёт к пушке. Здесь на двенадцать человек места, с водителем. Вот и сиденья. А нам он будет возить тебя и то, что мы к нему прицепим. — Он затянул, посмотрел на просвет. — Хороший вопрос. Спрашивай ещё.

— А если он пушку возит — он быстрый?

— Не знаю. Заведём — узнаешь. Ты первый и узнаешь.

Водитель ничего не ответил, но встал ближе.

А Профессор в это время сидел в кабине тягача — то есть не в кабине, у него не было кабины, а на водительском месте, за большим рулём, — и читал щиток. Там, на приборах, на рычагах, на табличках, были надписи, и Профессор читал их вслух, по-русски, для водителя, который вылез из-под капота и стоял на подножке рядом:

— Это — давление масла. Это — вода. Вот это, с надписью, — не трогать без причины, я так понимаю, это к лебёдке. Вот тут — табличка: «перед пуском — проверить...» — и дальше список, я переведу целиком, спишу. А вот это, — он показал на рычаг сбоку, — я не знаю. Написано слово, которое я знаю, но не в этом смысле. Григорий, что это?

Дед подошёл, посмотрел.

— Это, — сказал он с удовольствием, — переключение. Дорога или тяга. На дороге — одно, под грузом — другое. Ты слово знаешь, а я — рычаг. Вместе — знаем, что он делает.

— Вместе, — согласился Профессор и записал.

— Одна беда — всё, — сказал Дед, вытирая руки. — Трубка стоит. Течь не будет. Это я знаю.

— А вторая?

— А вторая — вот. — Он показал на бак, на насос, на снятый карбюратор, лежащий на верстаке на чистой ветоши, разобранный на части. — Вторая — это завтра. Сегодня — сливаем бак, промываем, что можем, и раскладываем на свет. Завтра, при солнце, — собираем и пробуем. Не раньше. И, Алексей Палыч, я тебе скажу честно: сегодня он не заведётся, и не проси, и сам не лезь. Он разобран.

— Не лезу.

— Это я не тебе. Это я ему. — Дед кивнул на разобранный мотор.

Смену он назначил сам: старший ремонтник — до темноты, потом спать; шуплый — с ним, а ночью, с третьим, на слив и промывку; сам — «сколько надо». Фрол назначил посты и наблюдение — четыре часа, смена, — и Исаев ходил между постами, и Князь устроил еду, и всё это делалось вокруг тягача, как вокруг печки, и я смотрел на это и видел, что мы — двор. Не колонна, не группа, а двор, в котором есть всё, что нужно, чтобы завтра машина поехала.

А потом было то, что я, наверное, запомнил из этого дня лучше всего.

Дед сидел на подножке тягача — на высокой, металлической, — с кружкой, которую ему принёс Князь, и смотрел на мотор. Просто смотрел. Работа на сегодня была кончена, части лежали на верстаке, накрытые ветошью, и он сидел и смотрел в открытый капот, как смотрят на реку.

— Ты посмотри, — сказал он. Не мне — всем, кто был рядом: водителю, шуплому, Артисту, который подошёл с кружкой, Профессору. — Ты посмотри, как у них сделано. Вот трубка идёт — она не просто идёт, она закреплена, чтобы не тряслась. Вот к креплению подлезть можно — ключ вошёл, руку не ободрал. Вот лебёдка — я её сзади посмотрел — у неё трос уложен, виток к витку, как нитки на катушке. Это не потому, что немцы такие. Это потому, что кто-то сел и подумал: как это будет чинить человек в поле? И сделал так, чтобы было удобно. — Он помолчал. — Я не люблю, когда хвалят чужое. Но эта машина — я ей должен сказать. Она сделана для того, кто её чинит.

— Григорий, — сказал Артист. — Ты влюбился.

— Не мели, — сказал Дед.

— Ты сидишь на её подножке с кружкой и говоришь ей комплименты. Я в бригаде видел, как это выглядит. Это выглядит вот так.

Все засмеялись. Дед — тоже, и не стал отпираться, а только сказал: «Ну, влюбился. А ты попробуй в такую не влюбись», — и допил, и встал, и накрыл карбюратор на верстаке ещё одним куском ветоши, поверх первого, — просто так, как укрывают.

Перед темнотой пленных перевели из избы в сарай, в дальний угол; охрану поручили одному из свободных водителей. Бумагу на передачу своим Профессор уже приготовил.

Стемнело. Двор притих. На чердаке лежал ДП, на опушке стояли посты, и Фрол ходил между ними, и я ходил за ним, и мы не говорили, потому что говорить было не о чем: всё было сказано днём, и граница была проведена, и теперь оставалось ждать, что принесёт ночь.

Тягач стоял с открытым капотом, и будка стояла в трёх шагах от него, с прикрытой дверью, и между ними на досках лежал накрытый инструмент. Две большие вещи рядом. Одна ездит, другая — нет. Пока.

Я поставил на это всё, что у меня было. Я это понимал совершенно ясно — и, знаете, мне было хорошо. Не спокойно — хорошо. Так бывает, когда ты сделал ставку, которую нельзя было не сделать, и теперь она сделана, и ты можешь просто стоять и ждать.

Глава 10. «За мастерскую отвечаем»

Перед тем как рассказать про ночь, я расскажу про двор, потому что ночью его не было видно, а знать его надо.

Двор был вытянутый с севера на юг, и по длинной восточной стороне стоял сарай — брёвна, ворота посередине, чердак со слуховым окном на север. Тягач стоял у сарая, поперёк, задом к стене, носом во двор, — так его оставили немцы, и так он и остался, потому что двигать его было нечем. Будку водитель поставил по слову Деда: вдоль стены сарая, носом на юг, южнее тягача, вплотную к стене, задом к его борту, — и между задом будки, бортом тягача и стеной образовался карман шагов в пять шириной. Это был рабочий угол. Там стоял верстак — опущенный борт будки, — там лежали на досках ключи, там висела на гвозде лампа, и оттуда был один выход: мимо носа тягача, во двор.

Один. Я это заметил ещё днём, пока Дед возился с трубкой, — заметил так, как замечаю на любой площадке, где стоит кран: откуда его выдёргивать, если надо выдернуть за минуту. У

меня в той жизни было правило, и я его вбивал в каждого нового: техника стоит так, чтобы у неё был второй выход. Всегда. Не потому, что случится, — потому что если случится, думать будет некогда.

И я днём посмотрел и увидел второй выход. Не из кармана — для будки. Западнее её, между ней и серединой двора, лежала та самая утоптанная площадка, твёрдая, где мы разложили доски; будка могла сдать вперёд и вправо, на эту площадку, на одну длину кузова, и встать параллельно стене, в четырёх метрах от неё. Тогда между её бортом и стеной сарая получился бы коридор — от кармана на юг, к загону, где стояли наши ЗИСы и где Фрол поставил людей. Коридор, закрытый с запада кузовом будки, с востока стеной, с севера тягачом. Не броня — доски и железо, — но за ним не видно, а в темноте это половина дела.

Я это увидел, отметил и забыл, как отмечают и забывают запасной выход. Но водителю будки сказал: «Если что — вперёд и вправо, на площадку, одну длину, встать вдоль стены. Запомни». Он посмотрел на площадку, кивнул и сказал: «Запомнил». И всё.

В сарай из рабочего угла вела узкая служебная дверь; другая, в северном торце, выходила за двор. Пока будка стояла вплотную, до первой можно было добраться только через открытое место перед тягачом.

Дальше двор был такой: изба — на западной стороне, напротив сарая, с провалившейся крышей и двумя окнами во двор; загон из жердей — на юге, и за ним опушка; ворота — в юго-западном углу, к колее; и за избой и за северной стороной — лес. Наши ЗИСы стояли у загона, носами на юг; «Опель» — у ворот. ДП — на чердаке сарая, стволом на север. Посты — на опушке, три, и один у ворот. Двадцать четыре человека, и все они спали и работали по очереди, потому что Фрол сказал: «Кто не спит ночью — тот утром не стреляет», — и я это принял без спора.

Дед со старшим ремонтником работал до темноты — и не хотел ложиться. Я это увидел по тому, как он в сумерках снял лампу с гвоздя, зажёл и повесил обратно, и полез к баку, и я подошёл.

— Григорий. Что можно сделать ночью?

— Всё, — сказал он, не оборачиваясь.

— Что можно сделать ночью так, чтобы утром не переделывать?

Он остановился. Это был честный вопрос, и он это понял, и повернулся.

— Слить бак — можно. Промыть трубки — можно, это на ощупь и на слух: льёшь и слушаешь. Отстойник — почистить можно. — Он подумал. — Собрать — нельзя. Карбюратор — нельзя, там жиклёры, их надо на свет. Насос — нельзя. Заводить — нельзя. Значит, ночью — слить, промыть, почистить. Утром — собрать и попробовать.

— Кому?

— Мне.

— Ты работал с обеда. До этого — ночь на старой точке, ты там сидел с щуплым, я видел. Ты в семь утра будешь собирать карбюратор с жиклёрами, которые надо на свет, — руками, которые не спали двое суток?

Дед посмотрел на свои руки. Потом на меня.

— Щуплый, — сказал он. — И этот, молчаливый, из новых. Сливать и промывать — они могут. Я им покажу, что и как, и лягу. Старший — тоже ляжет, он завтра со мной собирать. — Он помолчал. — Ты правильно спросил. Я бы сидел до утра.

— И уронил бы жиклёр, — сказал я. — Человек, который двое суток не спал, роняет жиклёр. Это я не по механике знаю. По людям.

Дед хмыкнул.

— Показываю и ложусь.

Он показал — полчаса, при лампе, щуплому и молчаливому: как сливать, куда, как промывать, как слушать, — и лёг в будке, на полу между полками, на ветоши, и старший лёг у

ЗИСа, и двое остались у бака при лампе: не чинить, а сливать и промывать, потому что это можно делать и без солнца, а собирать — нельзя. Водитель будки спал в кабине. Я лёг в кузове «Опеля» и проспал два часа, и это были хорошие два часа, и я их потом вспоминал.

Меня разбудил Фрол.

* * *

Он не тряс — тронул за плечо, и я проснулся сразу, потому что научился этому за эти дни.

— Тихо, — сказал он. — Слушай.

Я слушал. Ночь. Ветер в соснах. Где-то далеко, на западе, редко бухало — привычно, как всё эти дни. И — ближе, с севера, из леса, — ничего. То есть — тишина, но не та. Не было птиц. Ночью птицы тоже говорят, я это узнал за эти ночи, — а тут молчали.

— Пост на северной опушке, — сказал Фрол шёпотом. — Слышал шаги. Не одного. Потом — тихо. Потом — с запада, от избы, — ветка. Сухая. Кто-то наступил.

— Те двое?

— Те двое дорогу знают. Они привели. Сколько привели — не знаю.

Он говорил ровно, без спешки, и по этому я понял, что он уже всё решил, и ждал только меня.

— Посты — в двор, к машинам, тихо. Лес — не держать, там мы никого не увидим, а нас увидят. Двор — держать. Исаев — ворота и запад, у избы. Я — юг, у загона, и север, вдоль сарая. ДП — как стоит. Мастерская — работу прекратить, лампу погасить, людям лечь, где стоят. Ты — со мной.

— Дед?

— Дед спит в будке. Пусть спит. Разбужу — полезет к тягачу.

Я пошёл в карман — предупредить. Щуплый и молчаливый стояли у верстака под лампой, с трубками в руках, и я сказал: «Лампу — гасить. Лечь — здесь, между будкой и стеной. Не выходить. Ждать». Щуплый погасил. Стало темно так, что я не видел его лица. Молчаливый спросил — первый раз за два дня я услышал его голос: «Долго?» — «Не знаю». — «Понял».

И я пошёл к Фролу.

Немцы начали минут через десять.

Начали они не с выстрелов. Начали с ракеты — белой, над северной опушкой, — и в её свете я увидел двор так, как не видел днём: белый, плоский, с чёрными тенями от машин, и в нём — никого, потому что все уже лежали. И увидел на опушке фигуры. Несколько. Они шли — не бежали, шли, — вдоль избы, пригнувшись, и одна из них залегла, и я понял, что это пулемёт.

Ракета погасла. И стало громко.

Пулемёт заработал от северной опушки — по чердаку, по слуховому окну, по тому месту, где стоял ДП, — и ДП ответил, и с запада, от избы, ударили винтовки, и Исаев ответил оттуда, и Фрол рядом со мной сказал, не крича: «Пошли. Двор хотят. Через загон и от избы. По машинам не бьют — берегут», — и я понял, что он прав: пули шли по чердаку, по воротам, по загону, но не по тягачу и не по будке. Они пришли за своим.

Исаев у ворот работал сам, и я слышал его через двор — не голос, а то, как двигались его люди: один перебежал от «Опеля» к столбу ворот, второй — к избе, ближе, чем я бы решился, и оттуда, из-под самого окна, ударил по тем, кто был внутри, и в избе замолчали. Исаев не кричал. Он, видимо, показывал руками, и его понимали, и это было его дело, и он его делал.

Так продолжалось, наверное, минут пять. Я лежал у заднего колеса первого ЗИСа, рядом с Фролом, и стрелял два раза — по вспышкам у избы, не знаю, попал ли, — и слышал, как Фрол командует: коротко, по именам, кому куда, — и как Исаев отвечает от ворот, и как ДП на чердаке работает — экономно, короткими, — и как молчат винтовки в загоне, потому что там Фрол велел ждать.

А потом с севера, из-за сарая, вдоль его стены, ударил второй пулемёт.

Вот этого мы не ждали. Они обошли сарай с севера — там, где чердак не видел, потому что слуховое окно смотрело в лес, а не вниз, вдоль стены, — и поставили пулемёт у северного угла сарая, и он бил вдоль стены на юг. Вдоль всей стены. Мимо тягача. Мимо носа тягача. Через тот единственный выход из кармана, где лежали двое.

— Карман, — сказал я.

— Вижу, — сказал Фрол.

Он видел. Он видел ещё и то, что я понял только через секунду: пулемёт у северного угла отрезал не только карман. Он отрезал его от нас. Люди Фрола лежали у загона, на юге, и у ворот, на юго-западе; ДП — на чердаке; а между ними и северным углом лежал двор, и по двору теперь били с двух сторон: от избы — с запада, и вдоль стены — с севера. Фрол не мог перевести людей от загона к сараю, не пересекая простреливаемое место. Исаев не мог послать от ворот людей к сараю. Каждый сидел там, где сидел, и это было неправильно, потому что бой — это когда люди двигаются, а тут никто не мог.

И двое в кармане — тоже.

— Будка, — сказал я.

Фрол посмотрел на меня.

— Что — будка?

— Сдать её на площадку. Вперёд и вправо, одну длину, вдоль стены. Тогда между ней и стеной — коридор. От кармана — сюда, к загону. Не через двор. За кузовом.

— Кузов — доски.

— Доски. Но за ними не видно. От избы закроем. А с севера — тягач. У стены за ним можно пройти, если отодвинуть будку.

Фрол думал секунды две. Это было долго для него.

— Водитель?

— В кабине. Спит или лежит.

— Один не поедешь. Пулемёт с угла — по кабине не бьёт, пока не видит движения. Как двинешься — увидит. — Он повернулся. — Так. Я даю тебе полминуты. ДП — по северной опушке, чтоб оттуда не помогли. Мои от загона — по углу, залпом. Полминуты он будет лежать. За полминуты — одну длину. Не больше. Потом — сам. Понял?

— Понял.

— Пошёл, когда ДП начнёт. Не раньше.

Я пополз к будке.

* * *

Это было метров сорок. Вдоль загона, потом вдоль южного края двора, потом — к стене сарая, в тень, потом вдоль стены на север, к кабине будки. Я полз и думал не о пулемёте, а о том, проснулся ли водитель. Если спит — придётся будить, а будить — это секунды, а секунд у меня было тридцать.

Он не спал. Он лежал поперёк сиденья, ниже стекла, и когда я открыл дверцу и влез, он сказал сразу, шёпотом:

— Вперёд и вправо?

— Вперёд и вправо. Одну длину. Как ДП начнёт.

— Понял.

Мы лежали в кабине и ждали. Пулемёт с угла бил вдоль стены, и я слышал, как пули идут над крышей — не по нам, по краю рабочего угла и по воротам; будка стояла в тени сарая, и её пока не трогали. У избы стреляли. У загона молчали. ДП молчал.

И потом ДП начал.

Он начал длинно — не короткими, как весь бой, а длинной очередью по северной опушке, — и в ту же секунду от загона ударили винтовки, все разом, залпом, по северному углу сарая, и пулемёт с угла — я слышал — захлебнулся и замолчал.

— Пошёл, — сказал я.

Водитель завёл. Шестёрка схватила сразу — он, видимо, всё это время лежал, положив руку на стартер, — и он включил первую и дал газ, и будка пошла: вперёд, вдоль стены, и вправо, на площадку, — тяжело, с креном, потому что полки, но пошла. Когда корма отошла от тягача и вдоль стены открылся проход, я сказал: «Стой», — и он встал, и заглушил, и мы оба легли.

Пулемёт с угла ожил. Он дал по нам — по кузову, я слышал, как пули бьют в борт, в доски, и как одна прошла насквозь и звякнула внутри о полку, — и стекло в моей дверце лопнуло и осыпалось мне на спину. Но будка стояла. Стояла там, где я хотел: в четырёх метрах от стены сарая, параллельно ей, от тягача до середины двора, и между её бортом и стеной был теперь коридор — тёмный, узкий, прикрытый со стороны угла тягачом, а от избы — кузовом.

— Целый? — спросил водитель.

— Целый. Ты?

— Целый. Дверцу вашу — жалко.

— Потом, — сказал я. Водитель выбрался в дверцу со стороны стены; я перелез через его место и вылез следом, в коридор между кузовом и сараем.

И крикнул в карман:

— Сюда! Вдоль стены! За будкой!

Щуплый выполз первым. Он выполз, увидел коридор, понял и пошёл — пригнувшись, вдоль стены, мимо меня, на юг, к загону, и я слышал, как там его приняли. Молчаливый — не выполз.

Я подождал. Три секунды. Пять.

— Эй! — крикнул я. — Второй! Сюда!

Тишина. В кармане было темно, лампа погашена, и оттуда не было ни звука, и я подумал: попали. Пулемёт бил вдоль стены, мимо носа тягача, через выход, и он лежал у выхода, и...

Я пошёл обратно. В карман. Это было несколько шагов по коридору, потом — в карман, за борт тягача. Старый выход, перед его носом, по-прежнему простреливался; теперь мне туда не надо было. По будке били, и дерево пропускало пули, и я шёл, держась ближе к стене. Я это знал, и я это сделал, потому что не мог не сделать: я привёл сюда этих людей, и я поставил их в этот карман, и я сейчас пойду и посмотрю, что с ним.

Он был живой. Он лежал в самом углу, между стеной и задом тягача, лицом вниз, руками закрыв голову, и не двигался, и когда я его тронул, он вздрогнул так, будто я его ударил.

— Живой?

— Живой, — сказал он в землю.

— Ранен?

— Нет.

— Тогда вставай. Идём. Вдоль стены, за мной, пригнувшись. Не бежать.

— Я не могу.

Он сказал это просто, без истерики, — как констатируют. Он не мог. Не от раны — от того, что тело не слушалось. Я это видел в той жизни: человек, впервые оказавшийся под тем, что валит с ног, лежит и не может встать не потому, что трус, а потому, что ноги не его. Это проходит. Но проходит не сразу, а сразу у нас не было.

— Можешь, — сказал я. — Я тебя держу. Встаёшь на колени. Потом — на ноги. Потом — за мной. Я впереди. В меня — первого. Пошли.

Я взял его за ремень сзади и поднял. Он встал — на колени, потом на ноги, шатаясь, — и я развернул его к коридору, и мы пошли: я впереди, он за мной, моя рука на его ремне, — мимо кормы будки, и пуля прошла где-то рядом, я не знаю где, я не смотрел, — и несколько шагов по коридору, между кузовом и стеной, в темноте, и он шёл, и держался за мой ремень, и в конце коридора нас приняли руки — Фрола, кажется, — и втянули за загон, и мы легли.

— Все, — сказал я.

— Все, — сказал Фрол. — Теперь моя работа.

* * *

Его работа заняла ещё минут двадцать, и я в ней почти не участвовал.

Коридор дал ему то, что он хотел: движение. Он провёл двух стрелков от загона вдоль стены к служебной двери сарая. Через сарай они добрались до северной двери и ударили по пулемёту с той стороны, откуда их не ждали, — и я слышал, как он там стреляет, и потом стало тихо на северном углу, и Фрол вернулся, и сказал: «Угол наш», — и, когда угол замолчал, Исаев смог послать людей от ворот к сараю, и бой стал тем, чем должен быть: наши двигались, немцы — нет.

Они попробовали войти. Один раз — через ворота, где были два ЗИСа и «Опель», и они, видимо, думали, что кабины их закроют, потому что вошли между машинами, — и кабины их не закрыли, потому что кабины — это железо в миллиметр и стекло, и Исаев с тремя стреляли по ним через эти кабины, и они легли, и один из них остался лежать, а остальные ушли за ворота. Второй раз — от избы, к загону, — и это был уже не штурм, а попытка, и Фрол её пресёк, не дав ей начаться.

А потом они ушли. Так, как приходят и уходят в лесу ночью: была стрельба — и не стало. Ракета, ещё одна, над западной опушкой, зелёная, — и тишина. И в тишине — птицы. Не сразу, но вернулись.

Фрол ждал ещё полчаса, не снимая людей. Потом сказал: «Ушли. Не все, кто пришёл, — кого-то унесли. Но ушли», — и только тогда мы с Устиновым пошли по двору.

Устинов шёл первым, с сумкой, и я за ним, и мы обходили каждого: имя, целый, ранен? Двадцать четыре. Целых — двадцать четыре. У одного стрелка Исаева — рукав, распоротый пулей от плеча до локтя, и под рукавом — ничего, кожа. У молчаливого — руки, дрожали так, что он не мог держать флягу, и Устинов подержал ему флягу и сказал: «Это пройдёт. Это у всех. Это не болезнь». У водителя будки — порез на щеке от стекла, и Устинов заклеил. Всё. Двадцать четыре, и все на ногах.

Я сел на подножку «Опеля» и обнаружил, что у меня тоже дрожат руки, и дал им дрожать.

Молчаливый подошёл ко мне минут через десять. Он уже держал флягу сам. Он стоял передо мной в темноте — начинало сереть, и я видел его лицо, серое, молодое, — и не знал, что сказать, и я тоже не знал, и мы помолчали.

— Вы вернулись, — сказал он наконец.

— Вернулся.

— Я слышал, как вы крикнули. Второй раз. Я хотел ответить. Не мог.

— Я знаю.

— Вы могли не идти. Тот, первый, вышел. Вы могли...

— Не мог, — сказал я. — Я вас туда поставил. Обоих. Я и вывожу. Это не героизм. Это порядок.

Он подумал. Потом кивнул — не «понял», а так, как кивают, когда что-то решили про человека.

— Я запомню, — сказал он. И пошёл к будке. И это было всё, и больше мы об этом не говорили — ни в эту ночь, ни потом, — и я думаю, что правильно.

А Селиванов — я это видел краем глаза — стоял в стороне с двумя новыми водителями, и они смотрели на меня, и потом посмотрели друг на друга, и один из них что-то сказал, коротко, и Селиванов кивнул. Потом подошёл. Не к подножке — остановился в двух шагах, как останавливаются, когда не уверены, что можно.

— Товарищ старший лейтенант. Разрешите спросить.

— Спрашивай.

— Вы всегда так? За последним?

Я подумал.

— Нет, — сказал я честно. — Только когда сам поставил. Я его туда поставил — в карман. Я и вывожу. Если бы его поставил Фрол — выводил бы Фрол.

Селиванов кивнул — так же, как молчаливый, — и сказал: «Понятно», — и пошёл к своим, и я слышал, как он им сказал: «Только когда сам поставил», — и они замолчали, и я думаю, что это было про то, куда они попали. И что, кажется, не жалеют.

* * *

Дед проснулся от стрельбы, разумеется, — и всю ночь просидел в будке, потому что Фрол ему велел, и он, к моему удивлению, послушался. Теперь, когда стало можно, он вылез и пошёл не к людям — к верстаку.

То есть к тому месту, где был верстак. Будка стояла теперь в четырёх метрах от стены, и карман был не карман, а просто угол между тягачом и стеной, и в нём на досках лежало то, что ночью бросили щуплый с молчаливым: трубки, ветошь, ключи. Лампа висела на гвозде, не разбитая. Карбюратор — на верстаке будки, то есть на опущенном борту, и он уехал вместе с будкой, накрытый ветошью, и Дед первым делом полез к нему, откинул ветошь и пересчитал.

— Всё? — спросил я.

— Всё, — сказал он. — Одной гайки нет. Маленькой. Найдётся, я знаю, куда она укатилась. — Он посмотрел на борт будки, на дырки в досках — три, я насчитал, — и на полку внутри, где одна пуля прошла насквозь и ушла в противоположную стенку. — Ты её двигал?

— Двигал.

— Под пулемётом?

— Под ним.

Дед помолчал.

— Правильно, — сказал он. — Она на колёсах. Она для того и на колёсах. — И, помолчав ещё: — Три дырки в досках — это доски. Полка — это полка. Мотор — целый, я слышал, как он завёлся. Всё правильно.

— Что теперь?

Он посмотрел на тягач. На бак, слитый ночью наполовину. На трубки, промытые и не промытые. На карбюратор в частях.

— Теперь — то, что и было. Ночью мы слили и промыли половину. Утром, при свете, — вторую половину, и собирать, и смотреть. Это — сегодня. — Он потёр лицо. — А вот бензин. Я тебе вчера сказал — чистый. Бочонок, что Князь добыл, — его хватит промыть. Залить — не хватит. Ему в бак надо много, он не «Опель». Значит, нужен подвоз. С нашей точки, по расписке, как положено. Пока не привезут — я его соберу, проверю, заведу на том, что есть, и он у меня заработает на десять минут. Поедет — нет. Это два разных дела: заработать и поехать.

— Значит, стоим здесь.

— Стоим здесь. Тягач — не поедет, будка — при нём, я — при них. А ты — езжай куда надо, только оставь мне охрану, потому что ночью я понял, что она нужна.

— Оставляю.

Куда надо — это выяснилось через час, когда уже рассвело и Князь варил чай, и в ворота вошёл посыльный. Не наш — с дорожного поста, ближайшего своего, что стоял у пилорамы на ответвлении; парень с винтовкой, запыхавшийся, четыре километра бегом. Он слышал ночью стрельбу, и его послали узнать, что тут, — и он узнал, и записал, — и ещё сказал то, зачем, оказывается, шёл:

— Товарищ старший лейтенант. У нас на посту с вечера — донесение с той стороны, с боковой дороги, дальше вас. Километров шесть по ней. Там, в дорожном кармане, видели своих. Наших. С грузовиком — немецким, вроде вашего, — и человек с ними, с перевязанной рукой, вот тут. — Он показал на предплечье. — Сколько их, кто такие, что там, — не знаю.

Видел проезжий, вчера. Сказал: сидят, ждут, к нам выйти не могут — дорога между ними и нами не чистая. Нам передали, а нам к вам ближе, чем к своим. Вот.

Свои. С немецким грузовиком. В шести километрах по той же боковой дороге, за не чистым участком, с раненым.

Я посмотрел на Фрола. Фрол уже смотрел на меня.

— Не все, — сказал он.

— Мастерская стоит, тягач стоит, Дед работает, — сказал я. — Охрана — здесь: Исаев со свободными водителями, Князь со вторым ЗИСом. Я, ты, Устинов, Профессор — если там немецкий грузовик, там будут бумаги, — ЗИС с Артистом и «Опель» с Суровым, и стрелки, кого возмёшь. ДП — с тобой: если там стреляют, он нужнее на дороге, чем во дворе. Шесть километров. Посмотреть, помочь, вернуться.

— Так, — сказал Фрол. — Через час.

— Через час.

Дед уже стоял у тягача с ключом. Щуплый рядом. Молчаливый — тоже рядом, и держал ветошь, и руки у него не дрожали. Будка стояла в четырёх метрах от стены, с тремя дырками в борту и разбитым стеклом в дверце, и Князь подошёл к ней, посмотрел на дырки, потрогал пальцем и сказал: «Заделаем. Досочкой. Ничего», — и по голосу было ясно, что для него это не «ничего», а очень даже «чего», и что заделает он это сегодня же.

Двадцать четыре человека. Четыре машины и тягач. Ночь кончилась, и всё это стояло на месте.

Я поставил на это всё, что у меня было, и ночь это проверила, и оно устояло. Не потому, что мне повезло, — потому что был коридор, и был водитель, который лежал, положив руку на стартер, и был Фрол, который дал полминуты, и ДП, который эти полминуты держал. Я только помог переставить будку на одну длину.

Но я это сделал сам. И знаете, этого мне было достаточно.

Глава 11. «Восемь на обочине»

Шесть километров по боковой дороге за двором с тягачом — это была уже не наша дорога, и это чувствовалось по тому, как ехал Артист.

Он ехал медленно. Не потому, что колея была плохая, — колея была обычная, лесная, две борозды и горб, — а потому, что он смотрел не на колею, а по сторонам, и я смотрел по сторонам, и Фрол в кузове стоял, держась за кабину, и смотрел вверх неё. За нами шёл «Опель» с Суровым, с ДП и его двумя номерами в кузове, с Устиновым и Профессором и тремя стрелками, и Суров держал дистанцию так, что если бы мы встали, он встал бы не ближе пятидесяти метров. Сапёры по этой дороге не ходили. Посыльный с поста сказал: «не чистая», — и это значило ровно то, что значило: никто не знает.

Колосов, Мелехин, Дрозд — этих имён я тогда ещё не знал. Я знал: свои, с немецким грузовиком, с раненым, в шести километрах, в дорожном кармане, выйти не могут. Всё.

Карман мы нашли по стрельбе.

Не по бою — по одиночным. Впереди, за поворотом, раз в минуту-две, редко, лениво, кто-то стрелял, и стрелял из леса, и я это понял раньше, чем увидел, — по тому, как звук шёл: из глубины, глухо, а не с дороги. Артист встал, не дожидаясь. Фрол прыгнул и пошёл вперёд пешком, один, и вернулся через десять минут, и сказал:

— Вижу. Карман — впереди, метров триста, справа от дороги, в низине, с кустами. В нём — грузовик, «Опель», бортовой, серый, и люди. Наши: я видел пилотки и слышал, как ругаются. Ругаются по-нашему. — Он помолчал. — Из кармана на дорогу — один выезд, вон там, где дорога делает поворот и идёт открытым местом метров восемьдесят, между низиной и опушкой. Опушка — слева, лес, и оттуда стреляют. Не по нам — по выезду. Как кто-то в кармане высунется к выезду — выстрел. Они там сидят и держат выезд, а те сидят в кармане и не могут выехать. Сколько в лесу — не знаю. Стреляют один-два. Может, больше молчат.

— Пешком в карман пройти можно?

— Можно. Низом, по кустам, не по дороге. Я прошёл до половины — дальше меня бы увидели свои, а они нервные.

— Идём, — сказал я.

* * *

Первое, что я увидел, подойдя к карману низом, через кусты, — это ствол винтовки. Не в лицо — в сторону, на дорогу, но ствол, и за ним — человека, который лежал за камнем и смотрел на меня так, как смотрят, когда не знают, стрелять или нет.

— Свои, — сказал я. Не крикнул — сказал. — Ремонтная группа, автомобильный отдел армии. Старший лейтенант Ракитин. Кто старший?

Человек за камнем не опустил винтовку. Он повернул голову и сказал куда-то назад, вниз: «Товарищ сержант. Тут старший лейтенант. Говорит — свои». И из низины, из-за кустов, поднялся другой — невысокий, плотный, с лицом, которое за трое суток без сна стало похоже на кирпич, с сержантскими лычками и с ППШ, — и посмотрел на меня. Потом на Фрола за мной. Потом снова на меня, на погоны, на планшет.

— Сержант Мелехин, — сказал он. — Николай. Старший здесь я. Нас восемь. — Он не сказал «товарищ старший лейтенант». Пока не сказал. — Откуда вы?

— С бокового двора, в шести километрах. Там наш ремонтный узел. Дорожный пост передал: свои в кармане, с грузовиком, с раненым. Мы приехали посмотреть и помочь выйти. Две машины, двенадцать человек, пулемёт.

Мелехин смотрел на меня ещё секунды три. Я его понимал: со вчерашнего дня в кармане под лесом, из которого стреляют, — и вдруг из кустов старший лейтенант с чужой части и говорит «помочь». Он проверял не погоны — то, что за ними.

— Пулемёт — какой?

— ДП.

— Хорошо, — сказал он, и что-то в его лице отпустило. — У нас нет. — И добавил, теперь уже как положено: — Товарищ старший лейтенант. Разрешите доложить обстановку?

— Докладывай.

Он доложил. Коротко, по делу, и я слушал и одновременно смотрел на то, что было за ним, в низине: грузовик — «Опель», точно такой, как наш, серый, бортовой, с тентом, стоящий в самом низком месте, за кустами, носом к выезду; людей — семерых, кроме Мелехина: одни лежали по краю кармана, лицом к опушке, другие — у машины, и один сидел у колеса с перевязанной рукой, и рядом с ним — ещё один, молодой, совсем, в замасленной пилотке, который, я понял сразу, был водитель, потому что сидел так, как сидят водители у своей машины.

— Восемь, — повторил он. — Я, водитель Дрозд, шесть стрелков. Стрелковая часть, не ваша, — он назвал её, и я запомнил для бумаги, — наступали здесь, отстали при отходе соседей, три дня назад. Шли лесом, на восток, к своим. Вчера вышли на эту дорогу. На дороге — вот он. — Он кивнул назад, на «Опель». — Стоял. Мотор работал. Немцев — никого: ушли пешком, я думаю, что-то у них случилось, они бросили и ушли, не подожгли, не успели или не захотели. Дрозд сел. Поехала. Мы — в кузов, поехали к своим. Доехали досюда. Тут — из леса. — Он показал подбородком на опушку. — По выезду. Мы — в низину, отстрелялись, замолчали. Потом — как кто к выезду — снова. Вторые сутки.

— Сколько их?

— Не знаю. Стреляют один-два. Может, больше. Мы не ходили смотреть — нас восемь, без пулемёта, с раненым.

— Раненый — как?

— Колосов. Стрелок. Вчера пуля ударила в валун рядом с ним, осколком — по руке. Предплечье. Распухло, кожа содрана. Кость, по-моему, целая. Идти может. Бежать — плохо.

— Почему не ушли лесом? Бросить машину — и к своим.

Мелехин посмотрел на меня. Это был правильный вопрос, и он это знал, и знал, что ответ у него есть.

— Можно было. С Колосовым лесом — медленно, но можно. — Он помолчал. — Товарищ старший лейтенант. Мы её взяли. Сами. Она была ничья, стояла с мотором, и Дрозд сел, и она поехала. Со вчерашнего дня мы её держим. Она наша. Мы её не бросим. — И посмотрел на меня так, будто ждал, что я сейчас скажу «бросить», и уже знал, что ответит.

— Не бросим, — сказал я. — Она ваша. Вы её взяли, вы её и выведете. Мы — прикроем. Мой человек — вот, Фрол, старший сержант Буров, — он с вашими прикрытием поставит. Дальше — как выедем — все к нам, на двор, там мастерская, там медик посмотрит вашего, там связь. А там уже — что скажет ваше и наше начальство. Я вас не забираю. Я вам помогаю выйти. Так ясно?

Мелехин помолчал. Потом кивнул — медленно, и я увидел, что он это не просто принял, а взвесил и принял.

— Ясно, — сказал он. — Спасибо, товарищ старший лейтенант. — И повернулся к своим, и сказал уже другим голосом, своим: — Слышали? Выходим. С машиной.

И у машины кто-то сказал «ну наконец-то», и водитель у колеса поднял голову и посмотрел на свой «Опель» так, как смотрел Суров на свой в первый день.

* * *

Дальше говорили не со мной.

Фрол подошёл к Мелехину так, как подходят к человеку, который знает место: не «где тут у вас», а «покажи». И Мелехин показал. Они легли вдвоём у края кармана, за камнями, и Мелехин показывал рукой: вон оттуда, от той сосны, стреляли вчера; вон оттуда, левее, — сегодня утром; ближе к дороге — ни разу, там, наверное, открыто и им не подойти; выезд — вон, восемьдесят метров, и на нём — воронка, малая, слева, объехать можно, Дрозд объезжал, когда заезжали. Фрол слушал, смотрел, спрашивал: «Сколько выстрелов за час?» — «Три, четыре». — «Один стреляет или разные?» — «По звуку — два. Может, один, с двух мест». — «Ночью?» — «Ночью — нет. Они не суются. Они ждут, когда мы высунемся».

— Значит, их мало, — сказал Фрол. — Двое, трое. Отстали, сидят, боятся сами. Держат выезд, потому что могут. Ладно. — Он повернулся к своим. — ДП — сюда, на край, стволом на ту сосну и левее. Как машина пойдёт — по опушке, весь диск, длинно, чтоб они лежали. Трое — вдоль дороги, по кустам, ближе к выезду, стрелять по вспышкам. — И Мелехину: — Твои — где сидят, там и сидят. Свой край держат. Как машина пройдёт — твои идут за ней, по двое, бегом, через открытое, к нашим машинам за поворотом. Ты — последний. Считаешь.

— Мои пойдут по двое, — сказал Мелехин. — Только я скажу, кто с кем. Я их знаю.

— Скажи, — согласился Фрол. — Твои — твои.

Это было всё. Два человека, которые час назад друг друга не знали, распределили работу за пять минут, и ни один не спросил другого, умеет ли он воевать. Я стоял в стороне и слушал и думал, что у Фрола это, оказывается, тоже есть — вот это уважение к человеку, который держит своё место, — и что я это увижу ещё не раз.

А я пошёл к машине. К «Опелю» и к водителю.

Его звали Андрей Дрозд, ему был двадцать один год, и он стоял у своего грузовика, положив ладонь на крыло, — я уже знал этот жест, я его видел у Деда, у Князя, у Сурова, — и смотрел на выезд.

— Пройдёшь? — спросил я.

— Пройду. Я заезжал — пройду и выеду. Воронка слева, беру правее, потом ровно. Восемьдесят метров — это секунд пятнадцать на второй. Если не глохнуть.

— Не заглохнешь?

— Не заглохну, — сказал Дрозд просто. — Она заводится с полоборота. Она вообще... — он посмотрел на меня, проверяя, можно ли, — она хорошая, товарищ старший лейтенант. Я на ЗИСе два года. Она — не ЗИС. У неё передача входит — как в масло.

— Знаю, — сказал я. — У нас такая же. Две.

Он посмотрел на меня с недоверием, потом с интересом, и я подумал, что вот сейчас, у этого кармана, под лесом, из которого стреляют, началось то, что закончится вечером спором о сцеплении, — и не ошибся.

— Что в кузове? — спросил я.

— Ящики. Немецкие. Мы не открывали — некогда было. Штук десять. Тяжёлые.

— Значит, людей в кузов — не всех. Ты, Колосов в кабине, ещё двое в кузове, на ящиках, — и всё. Остальные — пешком, за машиной, к нашим. Не грузить полный кузов людьми поверх ящиков: ты выйдешь на второй с грузом и с людьми — тебя на восьмидесяти метрах либо повесит на воронке, либо ты будешь ползти, а ползти там нельзя.

— Правильно, — сказал Дрозд, и я услышал, что он это уже прикинул сам. — Двое сверху. Не больше.

Устинов в это время сидел у колеса с Колосовым. Он размотал повязку, посмотрел, потрогал — Колосов зашипел, — согнул руку, разогнул, пощупал кость от локтя до кисти и сказал:

— Ушиб. Ссадина. Кость целая. Перелома нет, пули нет. Опухло — потому что не лечили. Заживёт. — И, замотав обратно, чистым: — Работать можешь. Стрелять — не сегодня: правая, ей больно, промахнёшься и разозлишься. Ходить — можешь. Бегать — не надо. Понял?

— Понял, — сказал Колосов. Ему было двадцать два, я узнал это позже, и лицо у него было обиженное — не на рану, на «бегать не надо».

— В кабину, — сказал я. — Рядом с Дроздом. Пошли.

И сам его поднял — под здоровую руку, — и довёл до кабины, и открыл дверцу, и помог влезть, потому что с одной рукой на высокую подножку «Опеля» лезть неудобно, я это знал по себе. Он влез. Сел. Посмотрел на меня сверху вниз и сказал: «Спасибо, товарищ старший лейтенант», — и я сказал: «Держись за что-нибудь. Дрозд поедет быстро», — и Дрозд сказал: «Не быстро. Ровно», — и закрыл свою дверцу.

* * *

Это было коротко, и я расскажу коротко.

ДП начал по опушке — длинно, на весь диск, по той сосне и левее, — и трое Фрола вдоль дороги ударили по тому же месту, и из леса ответили — раз, два, — и замолчали, потому что когда по тебе бьёт пулемёт, ты лежишь. Дрозд тронул. «Опель» вышел из низины на выезд — на вторую, ровно, как он и сказал, — взял правее воронки, прошёл её, выровнялся и пошёл открытым местом, восемьдесят метров, серый, с тентом, с двумя людьми, вжавшимися в ящики, — и я стоял у поворота, там, где кончалось открытое и начинались наши машины, и считал: десять секунд, двенадцать, — и он прошёл, и вышел за поворот, и я махнул ему: дальше, дальше, не вставать, — потому что если бы он встал сразу за поворотом, он перекрыл бы дорогу тем, кто шёл за ним, и Артисту с Суrowым, которые стояли за ним и должны были пропустить его вперёд.

Артист это понял без меня. Он сдал свой ЗИС назад, на обочину, освободив колею, и Суrow сдал «Опель», и Дрозд прошёл между ними и встал впереди, и дорога осталась свободной.

Люди пошли по двое. Первые двое — бегом, через открытое, пригнувшись; из леса не стреляли — ДП ещё работал. Второй парой шёл Мелехин с последним стрелком, и он шёл не бегом — шёл, быстро, но шёл, оглядываясь на карман, и, дойдя до поворота, повернулся и поднял руку. Раскрытую ладонь. И держал.

Все. Никого не осталось.

Фрол снял ДП с края последним. Трое вдоль дороги отошли. Из леса не стреляли. Никто за ними не пошёл: Фрол сказал: «Их там двое, они сейчас уползут, и пусть уползают», — и я сказал: «Пусть», — и мы сели и поехали. Три машины: «Опель» Дрозда впереди; Фрол сел к нему в кузов показывать дорогу; за ним ЗИС с Артистом и людьми Мелехина в кузове; замыкающим — Суров с ДП стволом назад.

Обратно шесть километров шли быстрее, чем туда, потому что дорогу теперь знали, и потому что за нами никто не гнался. Люди Мелехина сидели в кузове ЗИСа так, как сидят люди, которые со вчерашнего дня не сидели спокойно: не разговаривая, откинувшись на борт, с закрытыми глазами. Один спал. Один смотрел на лес и, кажется, не верил, что оттуда не стреляют. Артист вёл и не говорил ничего — он это умел, когда надо было.

Всё это заняло, наверное, минут двадцать, включая то, как Мелехин стоял с поднятой рукой. Восемь человек и грузовик, которые со вчерашнего дня не могли выехать из кармана, выехали из него за двадцать минут. Не потому, что мы такие. Потому что у нас был пулемёт, а у них — нет; и потому, что они со вчерашнего дня держали карман и машину, а не бросили, и нам было к кому ехать.

Я это сказал Мелехину в кузове ЗИСа, где мы оба сидели, потому что в кабинах было занято. Сказал просто: «Вы держали. Мы приехали. Пополам». Он посмотрел на меня и, кажется, вспомнил что-то — может быть, кого-то, кто тоже так делил, — и сказал: «Пополам, товарищ старший лейтенант», — и больше в дороге мы не разговаривали.

* * *

Во дворе нас ждали, и это было видно с колеи: Исаев стоял у ворот, и за ним — Князь, и за Князем — Дед, который, я думаю, вышел не нас встречать, а посмотреть, что за машина, потому что он увидел серый «Опель» впереди и уже не смотрел ни на что другое.

Мы въехали. Три машины, и во дворе стало тесно: два ЗИСа, два «Опеля», будка, тягач. Дрозд поставил свой там, где показал Князь, — у загона, рядом с нашим «Опелем», серое к серому, — и заглушил, и вылез, и остался стоять у крыла, потому что к машине уже шёл Дед.

Дед обошёл её. Молча. Как обходил первый «Опель» на дороге четыре дня назад, только теперь он знал, куда смотреть. Открыл капот — створки, — сунулся, посмотрел, послушал, как остывает. Пнул заднее колесо. Присел у рессор. Заглянул в кузов — на ящики, на которые пока никто не смотрел, потому что это была не наша добыча и до слова Мелехина её не открывали. Вылез. И сказал — не Дрозду, мне, как докладывают:

— Такая же. Шесть цилиндров, три и шесть. Масло — есть, вода — есть, резина — хуже нашей, но ходит. Ремень — надо бы посмотреть, я слышал свист, когда вы въезжали. Это не сейчас. Это — предварительно. Целиком буду смотреть, когда тягач соберу. — И Дрозду, наконец: — Ты на ней сколько?

— Со вчерашнего дня.

— Как заводится?

— С полоборота.

— Врёшь, — сказал Дед благодушно. — С полоборота они не заводятся. С оборота — да.

— С полоборота, — сказал Дрозд твёрдо. — Товарищ техник-лейтенант. Я на ЗИСе два года. Я знаю, что такое с оборота. Эта — с полоборота. Я вам покажу.

— Покажешь, — сказал Дед. — Вечером. Сейчас — тягач.

И ушёл, и Дрозд остался стоять у машины с таким лицом, будто ему не поверили в чём-то важном, и тут к нему подошёл Артист.

Я это видел и остался посмотреть, потому что уже успел узнать Артиста.

— Слушай, — сказал Артист. — Дрозд, да? Андрей. Слушай, Андрей, я тебе скажу как водитель водителю. — Он кивнул на наш «Опель». — Вон наша. Гаврила на ней. Он тебе скажет: лучше её нет. Так вот: я на ней десять шагов проехал в первый день. Десять. И я тебе скажу: она поёт. Ты понимаешь? Поёт. Наш ЗИС — он кашляет. А эта — как скрипка.

— Ваша — как скрипка, — сказал Дрозд. — А моя — нет.

Артист остановился. Он готовил подводку — я видел, — он собирался рассказать про скрипача из бригады, — и его сбили на первой фразе.

— Как — нет?

— Моя не поёт. — Дрозд положил ладонь на крыло. — Она не поёт, товарищ ефрейтор. Она молчит. Она едет так, что её не слышно. Ваша, может, и поёт. Я не слышал. А моя — молчит. И это лучше. Потому что когда машина поёт — она тебе что-то говорит. А когда молчит — значит, ей нечего сказать, всё хорошо. Я два года на ЗИСе слушал, что он мне говорит. Он мне говорил: «масло», «вода», «ремень», «сцепление», он всё время говорил. А эта — села, поехала, и она молчит. Со вчерашнего дня в кармане, под лесом, — а она молчит. Вот это — машина.

Артист смотрел на него. И — вот за что я люблю Артиста — не стал спорить. Он повернулся к людям Мелехина, которые стояли рядом, и к нашим, которые подошли, и сказал, показывая на Дрозда:

— Вот. Вы слышали? Я говорю — поёт, а он говорит — молчит, и это лучше. Человек со вчерашнего дня из кармана не мог выехать, а у него — машина, которой нечего сказать. — И Дрозду: — Андрей. Ты прав. Я про свою — не знаю, молчит она или поёт. Я на ней десять шагов проехал. Ты на своей — со вчерашнего дня. Твоя. Расскажи ещё.

И Дрозд рассказал — про сцепление, которое «входит как в масло», про то, как она берёт горку, про то, как он в первый вечер сидел в её кабине и не мог понять, почему так тихо, и проверял, не заглох ли, — и люди Мелехина смеялись, потому что они это видели, и наши смеялись, потому что узнавали, и Суров подошёл и стоял, и слушал, и раз сказал: «Молчит, да. Моя тоже», — и это было больше, чем он говорил за неделю кому-нибудь, кроме своей машины.

А Мелехин в это время сидел у будки с Профессором и со мной и говорил то, ради чего Профессор ехал.

Он говорил осторожно, как человек, который знает, что его слова могут превратиться в чей-то приказ, и не хочет, чтобы приказ вышел из того, чего он не видел.

— Утром двадцать восьмого, — сказал он. — Вчера. Мы шли лесом вдоль дороги — той, что западнее Глуска, на запад. Дорогу не выходили, шли по опушке. И по дороге шли немцы. Машины. Грузовики — штук пять, шесть, я не считал, они шли не сразу, а по две-три. С закрытыми кузовами — не с тентом, а как у вашей будки, с будками. И в кузовах — я видел, когда задняя дверь была открыта, — ящики. Много. Шли на запад. Не спеша, как свои. Куда — не знаю. Мы отошли в лес, потому что нас было восемь и без пулемёта.

— Сколько всего? — спросил Профессор. — Всей колонны?

— Не знаю. Я видел, как прошли пять или шесть. Может, до них шли ещё, может, после. Мы час лежали. За час — эти. Потом ушли.

— Охрана?

— Не видел. Может, была в кузовах.

— Надписи на бортах? Номера? Что-нибудь?

Мелехин подумал.

— Надписи были. Белые, на серых бортах. Что написано — я не читаю по-ихнему. Помню, что были.

— Спасибо, — сказал Профессор. — Это — что видели. Больше не надо.

И записал. И посмотрел на меня, и я знал, что он думает: пять-шесть грузовиков с будками и ящиками, на запад, утром двадцать восьмого, по дороге западнее Глуска. Не сама база — она бы шла не пятью машинами. Но кусок. Кусок того, что свозили и увозили. Ещё один след — не адрес, но направление, и то же самое, что на бумагах: на запад.

— Пётр, — сказал я. — Это к тому листку. Отдельно. «Видел Мелехин, двадцать восьмого, утром».

— Уже, — сказал он.

Ящики в кузове Дрозда так и стояли закрытыми. Это надо сказать отдельно, потому что Князь ходил вокруг «Опеля» Мелехина трижды, и на третий раз не выдержал и подошёл ко мне.

— Алексей Палыч. Десять ящиков. Немецких. Тяжёлых. Я не говорю — открыть. Я говорю — посмотреть. Хоть на маркировку. Мало ли — там бочки с бензином, а мы тут бензина ждём.

— Не наши ящики, Василий.

— Я знаю, что не наши. Я к тому, что если там бензин — он, может, и их, но стоит-то он у нас во дворе.

Я пошёл к Мелехину. Мелехин выслушал, посмотрел на Князя, на ящики, на меня, и сказал:

— Мы не открывали, потому что некогда было. Не потому, что нельзя. Пусть посмотрит. При мне.

Князь посмотрел — при Мелехине, при Дрозде, при мне. Открыл один: ящик оказался с какими-то железными деталями в промасленной бумаге, аккуратно уложенными, — Дед потом сказал, что это запчасти, но к чему — надо разбираться. Второй — то же. Третий — не открыли: Мелехин сказал «хватит», и Князь закрыл, и сказал: «Не бензин. Жалко. Но — запчасти. Тоже дело», — и по его лицу было видно, что он это уже записал куда-то к себе и будет помнить, чьё оно и где стоит.

А потом я написал две бумаги. Первую — на пост, на пилораму, посыльному, для дежурного, для автомобильного отдела: сержант Мелехин и семь человек, такой-то части, отставшие, вышли к группе Ракитина, с трофейной машиной, один с лёгким ушибом; прошу установить принадлежность и распорядиться. Вторую — то же самое, но короче, — Мелехину в руки, чтобы у него была своя. Он прочёл, кивнул, сложил и спрятал.

— Пока ответа нет, — сказал я ему, — вы — здесь. Под общей охраной. Едите с нами, спите с нами, посты — ваши и наши вместе, Фрол распределит. Машина — ваша, ящики — ваши, пока ваше начальство не скажет иначе. Я вас не зачисляю: не имею права, и вы бы мне не поверили, если бы я зачислил.

— Не поверил бы, — согласился Мелехин.

— Вот. Значит — ждём. День, два. Посыльный ходит.

Он кивнул. И помолчал, и сказал то, что, видимо, хотел сказать с кармана: — Товарищ старший лейтенант. Мои — они хорошие. Просто устали. И машину эту они взяли — сами. Вы это, пожалуйста, в бумаге... вы написали?

— Написал. «С трофейной машиной». Вашей.

— Спасибо, — сказал Мелехин.

К полудню во дворе было тридцать два человека. По службе — двадцать четыре и восемь, две части, две бумаги. По двору — тридцать два: у одного костра, у одного котла, — Князь сварил на всех, не спрашивая, чьи, — и Колосов сидел с перевязанной рукой у будки и смотрел, как Дед ставит на место карбюратор тягача, и Дед раз сказал ему: «Поддай ветошь, левой, левой», — и Колосов подал, и было видно, что ему это важнее, чем «бегать не надо».

Тягач ещё не заводили. Дед закончил сборку и сказал: «Всё стоит. Чистый бензин привезут — попробуем. Пока проверю, не забыли ли чего после ночи». И вернулся к машине.

А Дрозд и Артист всё ещё спорили у загона — тихо, чтобы не мешать, — о том, должна ли машина петь или молчать, и к ним подошёл Профессор и сказал, что это, вообще-то, разные вещи: молчит она потому, что исправна, а поёт — потому, что водителю нравится, и одно не

отменяет другого, — и Дрозд сказал: «Вот!», и Артист сказал: «Вот!», и оба, кажется, решили, что выиграли.

Глава 12. «Люди к машинам»

Бензин привезли после полудня, и я до сих пор помню, как он приехал: полуторка с двумя бочками, с тем же усатым старшиной с пилорамы на подножке, и старшина, спрыгнув, первым делом нашёл глазами Князя и сказал: «Под расписку. С возвратом. Из ваших немецких», — и Князь сказал: «Как договаривались», — и они пожали друг другу руки, как люди, у которых всё в порядке с бумагами.

Две бочки. Чистого, своего, из бочек автомобильной службы, по заявке, которую я написал накануне и которую посыльный унёс на пилораму, а оттуда — дальше, и вот она вернулась бензином. Это и есть связь, когда нет радио: бумага уходит, бензин приходит, между ними — ночь и утро, два человека с ногами.

Дед ждал этого бензина, как ждут поезда. Он стоял у тягача с раннего утра — всё уже было собрано: бак промыт и сух, трубки на месте, топливопроводы чистые, карбюратор с ежедневной гайкой, — и не хватало одного: того, что залить. Наш из бочонка ушёл на промывку, до капли. И вот бочки скатили с полуторки, и Дед подошёл к первой, открыл, понюхал, посмотрел на свет в кружке и сказал: «Чистый», — таким голосом, каким говорят «жив».

Дальше я не мешал. Я только сделал то, что умею: убрал лишних. Князь с утра хотел взять щуплого — «на час, досочку в борт будки поставить», — и я сказал: нет, досочка подождёт, тягач — нет. Селиванов со свободным водителем будки сидели без дела, и я отправил их к Исаеву, на посты, сменить тех, кто стоял ночь, чтобы у Деда никто не стоял над душой. Мелехин со своими держал загон и ворота, как только что держал, — я его об этом не просил, он сам. Двор притих, и в этой тишине у тягача работали четверо: Дед, старший ремонтник, щуплый и водитель — тот, третий из шестёрки, который со вчерашнего дня стоял и смотрел, а теперь стоял и подавал, и по нему было видно, что он уже знает, где что.

Заливали ведром, через воронку с тряпкой. Дед лил сам, медленно, и проверял, не сочится ли из соединений. Проверенную порцию топлива в кружке оставил рядом — вода на дне больше не собиралась. Потом он сказал: «Всё. Теперь — заводить», — и вот тут я подошёл, потому что не мог не подойти.

Перед этим был список. Профессор перевёл его вчера с таблички на щитке — «перед пуском проверить» — и переписал на листок, и теперь стоял с этим листком у тягача и читал по пунктам, а Дед отвечал:

- Масло.
- Есть.
- Вода.
- Есть.
- Топливо в баке.
- Двадцать минут как есть.
- Кран топлива открыт.
- Открыт.

— Дальше — слово, которое я перевёл как «замок», но это, по-моему, не замок. — Профессор нахмурился. — Что-то, что должно быть «снято» или «отпущено» перед пуском. Григорий, у него есть что-нибудь, что надо снять?

Дед посмотрел на щиток. На рычаги. На педали. Потом на Профессора.

— Стояночный, — сказал он. — Тормоз. Перед движением отпустить. Сейчас держим. — И засмеялся. — «Замок». Правильно: если не отпустишь — он с места не сойдёт, как на замке.

— Значит, я перевёл верно, — сказал Профессор с достоинством. — Просто не знал, что это называется.

— Про замок — верно, — сказал Дед. — Только это уже к выезду.

У тягача было два пуска — Профессор перевёл табличку ещё вчера: от батареи и от руки, инерционный, когда раскручиваешь маховик рукояткой, а потом сцепляешь. Батарея за время стоянки ослабла — Дед проверил, сказал: «Слабая. Крутить будет, схватить — нет». Значит — рукой.

Крутил старший ремонтник — плотный, медленный, с руками, которые я узнаю в любой толпе. Он вставил рукоятку сбоку, взялся двумя руками и стал крутить — сначала тяжело, потом легче, потом быстро, — и маховик внутри завыл, набирая, тонко, всё выше, и Дед стоял у мотора с рукой на рычаге и слушал этот вой, как слушают, когда вода в чайнике вот-вот, — и сказал: «Давай!» — и старший отпустил, а Дед сцепил.

Мотор кашлянул. Раз. Провернулся тяжело, с выхлопом, чёрным, — и ещё раз, — и потом схватил.

Не сразу ровно. Сначала — рывками, с провалами, будто он вспоминал, как это делается; потом — ровнее; потом Дед что-то тронул на карбюраторе, и мотор пошёл — ровно, низко, густо, совсем не так, как шестёрка «Опеля», а как большой зверь, который проснулся и ещё не решил, вставать ли. Шесть цилиндров, только большие. Дым из выхлопа посветлел, потом стал прозрачным. Дед стоял, наклонившись к топливной трубке, и смотрел, и потом выпрямился, и посмотрел на трубку, на ту, новую, медную, и провёл по штуцеру пальцем, и посмотрел на палец.

— Сухой, — сказал он.

И — я это видел — не удержался. Он засмеялся. Не в усы, как обычно, — засмеялся вслух, откинув голову, и хлопнул ладонью по крылу тягача, по тому самому, на которое клал руку в первый день, и сказал:

— Пошёл! Слышишь, как пошёл? Это — не ЗИС. Это... — и не нашёл слова, и махнул рукой, и стоял и слушал.

Все стояли и слушали. Со всего двора — от загона, от ворот, от будки — люди повернулись на этот звук, как поворачиваются на звук, которого ждали. Мелехин у ворот. Артист у ЗИСа. Князь с уса­тым старшиной у бочек. Колосов у будки — здоровой рукой держась за борт. Никто не подошёл — Дед бы не пустил, — но все смотрели.

Дед дал ему поработать минут десять. Слушал. Подходил к мотору. Трогал трубку. Потом заглушил — и в тишине сказал водителю:

— Теперь ты.

* * *

Водитель — я так и буду его называть, потому что имени его в этой истории пока не было и потому что «водитель тягача» уже звучало как имя, — сел на место. Не полез, а сел: он знал, куда ставить ногу, где держаться, потому что вчера и сегодня стоял рядом и смотрел. Дед встал на подножку с другой стороны, держась за борт, и говорил ему — негромко, только ему, но я стоял близко и слышал:

— Рычаг — ты знаешь, который. Профессор писал. Дорога — тяга. Сейчас — дорога. Сцепление — тяжёлое, не как на ЗИСе, дави до полу и отпускай медленно, он тебя не простит, если бросишь. Передач — не считай, первая — вот, дальше не надо. Тормоза проверь без спешки, он тяжёлый, ему надо место встать. При повороте руль и гусеницы работают вместе — тут не один передок поворачивает. Резко не крути, сначала почувствуй машину. Понял?

— Понял.

— Заводи. От батареи — попробуй. Если не схватит — скажешь, покрутим.

Водитель нажал. Стартер завыл — слабо, — провернул, ещё раз, — и мотор схватил. Сам. Дед сказал: «О!» — с настоящим удивлением, — и стало ясно, что батарея не так уж и села, или что мотор, раз проснувшись, уже не хотел засыпать.

— Первая. Тихо. Вперёд на длину. Стой.

Тягач тронулся. Я это видел, и я расскажу, потому что это стоило видеть: тяжёлая, длинная, серая машина, которую мы нашли вчера неподвижной у сарая с открытым капотом, и которую мы не могли сдвинуть ни одним, ни двумя грузовиками, — качнулась, взяла и пошла. Своими колёсами, своими гусеницами, ровно, тяжело, без рывка, — на длину, и встала.

— Назад. На длину. Стой.

Пошла назад. Встала.

— Направо, полкруга, к загону. Не спеши. Смотри, куда идёшь.

Водитель повернул плавно, как было сказано, — и тягач пошёл дугой, гусеницы оставили на земле два широких следа, и он вышел к загону, и встал, и водитель заглушил, и стало тихо, и он сидел за большим рулём и смотрел вперёд, и я подумал, что вот сейчас я видел это уже в третий раз за неделю: как человек кладёт руки на руль своей машины. Только теперь машина была такая, что руки на руле выглядели маленькими.

Дед спрыгнул с подножки. Подошёл ко мне. И сказал — не как докладывают, а как делятся:

— Ходит. Мотор ровный, тяга есть, тормоза берут, руль слушается. Течи нет. — Он помолчал. — Что проверено: топливо — чистое, до последней трубки. Мотор — работает и не стучит. Ход — вперёд, назад, поворот. Что не проверено: под грузом. Лебёдка. Дальний ход — он у меня десять минут работал, а не десять часов. Насос — я его чистил, но внутри не был, если у него там что-то своё — я узнаю на двадцатом километре, а не сейчас. — Он посмотрел на тягач. — Это не новый тягач, Алексей Палыч. Это тягач, который ходит. Я его допускаю — к короткому. Потянуть порожнюю машину по твёрдому — да. Тащить восемь тонн по болоту — нет, я его не знаю ещё. Так и записывай.

— Так и запишу, — сказал я. — Григорий. Спасибо.

— Не мне, — сказал Дед. — Мне — за трубку. За остальное — вот им. — Он кивнул на старшего, на шуплого, на водителя. — Они крутили, они мыли, они на свет смотрели. Я показывал.

— Ты показывал так, что они сделали, — сказал я. — Это и есть.

Дед не ответил. Но пошёл к будке с таким лицом, какое у него было в первый день, когда мы взяли «Опель», — только теперь это лицо не пряталось.

* * *

Связной пришёл в третьем часу, и это был тот же парень с дорожного поста, что утром прибежал с вестью о кармане, — только теперь он не бежал, а шёл, и в руках у него была бумага.

Бумага была короткая. Я её прочёл при Мелехине — позвал его сразу, потому что это была его бумага больше, чем моя, — и перескажу так, как понял, потому что читать её вслух целиком было незачем.

Автомобильный отдел, майор Чумаков: принадлежность сержанта Мелехина и семи военнослужащих такой-то части установлена; по согласованию с командованием этой части, ввиду обстановки и невозможности возвращения в её расположение в ближайшие дни, восемь военнослужащих назначаются сопровождающими ремонтно-эвакуационной группы Ракитина до особого распоряжения, с постановкой на довольствие при группе; рядовой Колосов — по медицинской оценке, к боевой работе временно не привлекать; трофейный грузовик, удержанный названными военнослужащими, принять в пользование группы с сохранением водителя; численность группы считать тридцать два.

Всё. Полстраницы. Подпись, печать, число.

Я дочитал и посмотрел на Мелехина. Он ждал.

— Значит, так, — сказал я. — Вы — с нами. По бумаге, от вашего начальства и от нашего, не по моему желанию и не по вашему. До особого распоряжения. Едите, спите, воюете — с нами. Ты — старший над своими, как был. Дрозд — за своим рулём, машина ваша переходит группе, но ведёт её он. Колосов — не в бою, пока Устинов не скажет. Тридцать два. Так ясно?

— Ясно, — сказал Мелехин. И помолчал. И сказал: — Товарищ старший лейтенант. Я бы и сам попросился. После кармана. Я хотел сказать ещё в кармане и не сказал, потому что — как это? Сам себе часть не выбираешь. А теперь — бумага. Это правильно. Так лучше. — Он посмотрел на бумагу ещё раз. — Одно только. Тут написано «сопровождающие». Это как — охрана? Или как?

— Это как скажем мы с Фролом, — сказал я. — Вместе. Ты, он и я. Не охрана при ремонтниках и не ремонтники при охране. Мы — одно. Ты сам увидишь, что тут как.

— Увижу, — сказал Мелехин, и пошёл к своим, и я слышал, как он им сказал: «С ними. По бумаге. Тридцать два», — и как кто-то из его стрелков сказал: «А кормить будут?» — и как Князь, оказавшийся, разумеется, рядом, ответил: «Уже кормят. Ты за нашим котлом уже сидел?» — и стрелок сказал: «Так это — один раз», — и все засмеялись, и это, по-моему, и было зачисление.

Колосов услышал про себя от Мелехина и пришёл ко мне сам — с рукой на перевязи, с лицом, на котором было написано, что он сейчас будет спорить.

— Товарищ старший лейтенант. «К боевой работе не привлекать». Это что — я теперь при кухне?

— Это ты теперь — как Устинов скажет.

— Устинов сказал — не стрелять правой. Я левой могу.

—левой ты промахнёшься, — сказал Устинов, который, конечно, стоял рядом, — и разозлишься, и станешь стрелять правой, и распухнет ещё больше, и тогда ты у меня не неделю просидишь, а две. Я тебе это утром говорил.

Колосов открыл рот.

— Савелий, — сказал я. — Ты утром подавал Деду ветошь левой. Он тебя сегодня опять позовёт. Это — работа. Не кухня. Тягач ездит, потому что ему подали, что нужно, когда нужно. Ты это видел?

— Видел, — сказал Колосов неохотно.

— Вот. Неделю подаёшь. Потом Устинов посмотрит.

Он ушёл к будке — не довольный, но и не обиженный, — и Дед, увидев его, сказал: «А, левый. Иди сюда, держи», — и Колосов пошёл держать.

Усатый старшина перед отъездом принял двоих пленных и подготовленную Профессором бумагу. Устинов ещё раз посмотрел перевязку раненого; обоих посадили в полуторку, и старшина увёз их к своему дорожному посту. В наших тридцати двух они не числились.

Связного я накормил и отправил обратно с распиской и с одним листком — тем, что Профессор переписал: «Видел Мелехин, 28-го утром, западнее Глуска, пять-шесть грузовиков с закрытыми кузовами и ящиками, на запад». Для майора. Пусть лежит у него рядом с остальным.

* * *

А потом Фрол и Мелехин поспорили, и я это слушал с большим удовольствием.

Спорили они о том, как идти. Четыре километра до пилорамы, по лесной колее, шесть машин — четыре грузовика, будка и тягач, который ходит, но не проверен, — и тридцать два человека. Фрол хотел так, как ходил всегда: люди в машинах, ДП в замыкающей, посты сняты, колонна идёт. Мелехин сказал: нет.

— Дорога — лесная, — сказал он. — Четыре километра. Мы сегодня по такой шли шесть — на машинах, а до этого нас с опушки со вчерашнего дня держали. Я бы пустил вперёд людей. Пешком. Четверых, по двое с каждой стороны колее, по опушке, метров на двести впереди головной. Они видят лес, машины — нет. Если что — они скажут раньше, чем колонна въедет.

— Пешком — это медленно, — сказал Фрол. — Четыре километра пешком по опушке — час. Колонна за ними — час. Мы теряем полчаса.

— Мы теряем полчаса, — согласился Мелехин, — и не теряем машину. Моих — четверо. Они лес знают: они три дня по нему шли. Они увидят.

Фрол посмотрел на него. Он думал — я видел, как он думает, — и думал не о том, прав ли Мелехин, а о том, что Мелехин прав, и как это сказать.

— Ладно, — сказал он. — Твои — вперёд. Четверо. По двое. Двести метров. — И — вот за что я его люблю — тут же: — А я тебе скажу, как я это сделаю лучше. Твои идут — а ДП я ставлю не в замыкающую. Я его ставлю на тягач. Он высокий, он открытый, с него видно поверх кустов, и он идёт вторым, сразу за головной. Если твои увидят и крикнут — ДП уже там, наверху, и ему не надо слезать с кузова и бежать вперёд. Он видит всё, что видят твои, только с высоты.

Мелехин посмотрел на тягач. На высокий открытый кузов с рядами сидений. И — я это видел — впервые при мне улыбнулся так открыто.

— Хорошо, — сказал он. — Это хорошо. Так и сделаем.

— Только твои — не бегом, — сказал Фрол. — Идут — так идут. Если побегут — колонна за ними не успеет, и они оторвутся.

— Мои не бегут, — сказал Мелехин. — Мои ходят.

— Вот и посмотрим, — сказал Фрол, и они пожали друг другу руки, — а это, я уже знал, было у Фрола знаком не мира, а заключённого пари.

Селиванов в это время делал то, что делал с самого прихода: подменял. Дед забрал водителя тягача на последнюю проверку — «пусть ещё раз заведёт, при мне, от батареи», — и будка осталась без Селиванова, который сидел в ней при новом водителе как наставник, и Селиванов пересел в ЗИС к Князю, потому что Князь пошёл считать хлеб, а ЗИС надо было подать к воротам. Он сел. Подал. Вылез. Пошёл к Деду — держать рукоятку, пока водитель заводит. Я его видел в трёх местах за полчаса, и ни разу он не выглядел человеком, которому нечего делать. Он выглядел человеком, который нужен везде понемногу, — и это, я думаю, было честно, потому что бронетранспортёра у нас не было, и когда он будет, Селиванов будет к нему готов, а пока — вот так.

* * *

Проба была короткой.

Дед сказал: «Порожнюю. По твёрдому. Пятьдесят метров», — и порожняя нашлась сразу: «Опель» Мелехина, то есть теперь наш, с Дроздом за рулём, потому что ящики из него на время пробы выгрузили у будки — Дед велел: «Сложить рядом, посмотрю, что там». Перед выходом груз предстояло вернуть в тот же кузов. Трос взяли наш, тот, с двора, старый, целый, — прицепили за крюк тягача и за раму «Опеля», Дрозд сел за руль, водитель сел за руль тягача, Дед встал сбоку с поднятой рукой, — и я, признаться, стоял и смотрел на эту руку, потому что это была моя работа, а не его, и он это знал, и делал её так, как делал бы я. Не хуже.

— Тихо. Первая. Пошёл.

Тягач тронулся. Трос натянулся, зазвенел, — и «Опель» пошёл за ним. Просто пошёл. Порожний, на нейтрالي, — и тягач его повёз так, будто за ним ничего не было: ровно, не сбавляя, не буксуя, по твёрдой утопанной земле двора, от сарая до ворот, пятьдесят метров, и Дед сказал «стой», и водитель встал, и «Опель» встал за ним, и Дрозд из кабины показал большой палец.

— Она даже на тросе молчит, — сказал Дрозд, вылезая. Не мне — Артисту, который, конечно, стоял и смотрел.

— На тросе она и должна молчать, — сказал Артист. — Она же не едет. Её везут.

— Ваша бы на тросе пела.

— Моя бы на тросе спросила, куда её везут, — сказал Артист, — и я бы ей ответил. — Он посмотрел на тягач. — А вот этот — этот не поёт и не молчит. Этот ворчит. Слышали? Он всё время ворчит. Как Григорий.

— Я не ворчу, — сказал Дед, сматывая трос.

— Ты сейчас ворчишь.

— Я объясняю.

— Вот и он объясняет, — сказал Артист, и все, кто стоял рядом, засмеялись, и Дед тоже, и сказал: «Ладно. Ворчит. Хорошая машина, если ворчит: значит, ей есть что сказать, и она говорит, а не молчит, как некоторые, до последнего», — и посмотрел на «Опель» Дрозда, и Дрозд сказал: «Моя молчит, потому что у неё всё хорошо!» — и спор пошёл на второй круг, и я его не слушал, потому что мне было не до него.

Вот и всё. Пятьдесят метров. Но я стоял и видел не пятьдесят метров.

Я видел то, что было вчера: этот тягач у сарая с открытым капотом, и Деда, который сказал «его не тянут грузовиками», и себя, который стоял и выбирал — бросить или привезти будку. И видел то, что было сейчас: он ходит. Он тянет. Он вытащит ЗИС из кювета. Он вытащит «Опель». Он вытащит то, что тяжелее трёх тонн, что лежало на всех обочинах от точки до пилюрамы и на что я смотрел все эти дни и вздыхал. Не всё — Дед сказал «по твёрдому», и я это записал. Но — многое.

— Ну, — сказал Фрол рядом. — Кто его взял?

— Ты, — сказал я. — Двор — твой.

— Двор — мой. А что он ездит — чей?

— Деда.

— А что будка тут стояла и он его чинил?

— Мой, — сказал я.

— Вот, — сказал Фрол удовлетворённо. — На троих. Только я тебе скажу: «ездит» — это больше, чем «взял». Взять я мог и битый.

— А привезти будку под пулемёт?

— Это — да, — согласился Фрол. — Это тоже. Ладно. На троих. — И, помолчав: — Я на нём поеду. С ДП. Сегодня. Ты не против?

— Не против, — сказал я. — Ты сам это придумал.

Князь ушёл вперёд на час раньше — на втором ЗИСе, с Селивановым за рулём и двумя стрелками, — «приготовить», как он сказал, и я не спрашивал что. Я знал что: место, кипятик, чтобы люди приехали не в пустой двор, а во двор, где их ждут; и ещё — пересчитать. Хлеб, консервы, воду, бензин в бочках на пилюраме, — потому что нас стало тридцать два, а выдавали на двадцать четыре, и Князь это считал не «как-нибудь», а на бумаге, и с этой бумагой собирался идти к тыловому хозяйству, к усатому старшине, — и я был уверен, что вернётся не с пустыми руками, и не потому, что он волшебник, а потому, что у него всегда было что предложить взамен.

Мы вышли в четвёртом часу.

Впереди — четверо Мелехина, по двое с каждой стороны колеи, на двести метров, пешком, шагом, не бегом. За ними — первый ЗИС с Артистом, головной, я с ним. За ним — тягач: водитель за рулём, Дед рядом, слушая мотор, и в открытом кузове, на сиденьях, — Фрол с ДП, поставленным на борт, и двое стрелков, и с высоты тягача Фрол видел то, что видели четверо впереди, и я видел в зеркало, как он смотрит. За тягачом — будка, с новым водителем, целая, с тремя дырками в борту, которые Князь так и не заделал, потому что я не дал ему щуплого. За ней — «Опель» Сурова, с людьми. Замыкающим — «Опель» Дрозда, с Колосовым в кабине и закреплёнными ящиками в кузове; Мелехин шёл с последними из своего пешего охранения.

Пять машин на колее, шестая уже ушла с Князем. Вместе — тридцать два человека. Четыре километра лесной дороги.

Я сидел рядом с Артистом и смотрел в зеркало на то, как они идут за нами — тягач, будка, «Опель», «Опель», — и думал, что четыре дня назад я лежал на песке у дороги с полутора грузовиками, и что вот сейчас за мной по лесной дороге идёт то, что в той жизни называлось

бы «парком», а здесь пока никак не называлось, и что я, кажется, впервые за неделю не знаю, чего мне хотеть дальше, — потому что всё, чего я хотел эту неделю, ехало у меня в зеркале.

Это, разумеется, было неправдой. Я это понял через минуту, когда впереди, на опушке, один из четверых Мелехина поднял руку — не «стой», а «вижу», — и колонна сбавила, и Фрол на тягаче встал за ДП, и через минуту тот же человек махнул: «свои, пост», — и мы пошли дальше. Я хотел дальше. Я хотел базу. Я хотел майора Хеннинга, который вёл её на запад по таким же дорогам. Но это было — дальше. А сейчас в зеркале ехал тягач, и Фрол сидел на нём с ДП, и я видел, что он доволен, и Дед рядом с водителем не смотрел на дорогу — слушал.

На пилораму пришли в пятом часу. Князь стоял у ворот. За ним — накат из жердей, накрытый брезентом, чайник, и усатый старшина, который, увидев тягач, снял пилотку, — не по уставу, а как снимают перед тем, чего не ждали.

— Тридцать два, — сказал мне Князь. — Место есть. Кипяток есть. Хлеб — на сегодня и завтра, с их складом договорился, дальше — заявка, я написал, вы подпишете. Бензин на следующий перегон согласован, в их бочках отложили. — Он помолчал и добавил, глядя на тягач: — А вот сапог — пять пар — по-прежнему нет. Я просто напоминаю. Не прошу. Напоминаю.

— Я помню, — сказал я.

— Я знаю, что помните, — сказал Князь. — Я на всякий случай.

У ворот же, пока машины входили, Фрол спрыгнул с тягача и подошёл к Мелехину, который стоял и ждал своих четверых, шедших последними, — и я подошёл послушать, потому что знал, зачем он подошёл.

— Ну, — сказал Фрол. — Твои увидели пост первыми.

— Первыми, — согласился Мелехин.

— За полминуты до меня. Я с тягача его тоже видел, только они махнули раньше.

— Они шли впереди. Они и должны раньше.

— Должны, — сказал Фрол. — Значит, ты выиграл. — И — это надо было слышать — сказал он это с удовольствием, как говорят о хорошем ударе противника в игре, которая всё равно нравится. — Только я тебе скажу: если бы там были не свои, а те, из леса, — мои с тягача ударили бы раньше, чем твои успели лечь. Так что твои — увидели, а мои — стреляют. Пополам.

— У вас всё пополам, — сказал Мелехин, который, видимо, уже успел наслушаться за день.

— У нас всё честно, — поправил Фрол. — Пополам — это когда честно.

Тягач въехал во двор пилорамы последним, потому что Дед велел ему идти медленно на въезде, и встал между штабелями досок, и водитель заглушил, и Дед вылез, обошёл его, осмотрел мотор, посмотрел на трубку, вытер руки и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Четыре километра. Сухой.

И пошёл к чайнику. И это было, я думаю, самое длинное слово, которое он этой машине сказал за день.

Глава 13. «Сапоги и публика»

Снабжение пришло к пилораме в шестом часу вечера, и я узнал об этом раньше всех, потому что Князь, увидев машину на дороге, не побежал к ней — он побежал ко мне.

— Наша, — сказал он. — Автоотдел. По заявке. Я вижу по тому, как едет.

Я не знал, как можно видеть заявку по тому, как едет машина, но он оказался прав: полуторка, наша, армейская, с сопровождающим, с бумагой, и в бумаге — то, что я просил три дня назад в палатке у Чумакова и потом ещё два раза в записках с посыльными: патроны — винтовочные и к ПППШ, отдельно, в разных ящиках, как положено; масло; две бочки бензина; и — я это прочёл дважды, как читал когда-то строчку про ящики на дворе, — обувь, шесть пар, по ведомости, под расписку.

Шесть. Я просил пять. Кто-то там, в отделе, накинул одну — или ошибся, или подумал, что раз просят пять, то нужно шесть. Я не спрашивал.

Князь взял ведомость так, как берут документ на дом. И началось.

Он не раздал сапоги. Он их подбирал. Это разные вещи, и я это понял, глядя, как он это делает: выстроил на брезенте шесть пар, и не по размеру, а так, как они лежали в мешке, и позвал — не всех, а тех, кого записал ещё на точке, четыре дня назад, и с тех пор носил в голове: второго номера с проволокой; стрелка с разошедшимся ботинком; механика с голенищами двух цветов; Сурова, у которого ботинки не разошлись, но подошва стёрлась так, что он ходил, как по льду; и ещё одного стрелка, которого я по-прежнему узнавал только в лицо, — и по тому, как они подошли, было ясно, что Князь про них знал.

— Меряем, — сказал он. — Не «берём» — меряем. Мне не нужно, чтобы вы взяли сапоги. Мне нужно, чтобы вы в них ходили.

Второй номер сел на землю и снял свой — с проволокой, — и я увидел, что у него под портянкой, и не буду про это рассказывать. Он взял первую пару — Князь подал — и надел, и встал, и прошёл десять шагов, и Князь смотрел не на сапоги, а на то, как он идёт.

— Велики, — сказал Князь.

— Нормально, — сказал второй номер.

— Велики. Ты в них пятку тянешь. Снимай. Вот эти.

Вторые сели. Второй номер прошёл десять шагов и обратно и остановился, и лицо у него стало такое, будто он вспомнил что-то давно забытое: как это — идти и не думать про ноги.

— Эти, — сказал он.

— Эти, — согласился Князь. — Следующий.

С механиком вышла заминка: ему подошла пара, которую уже примерил стрелок и сказал «мои», — и Князь посмотрел на обоих, посмотрел на оставшиеся, и сказал стрелку: «Тебе вот эти, они на полразмера больше, ты в них с двумя портянками, у тебя нога зимняя», — и стрелок примерил, и они действительно сели лучше, и Князь ничего по этому поводу не сказал, а только кивнул. Он не был доволен собой. Он был доволен тем, что сели.

Суров получил свою пару последним, потому что ждал, — он всегда ждал, — и надел, и не стал ходить: сел на подножку «Опеля» и посмотрел на свои ноги в сапогах, и посмотрел долго, и сказал: «Спасибо, товарищ старшина», — и Князь сказал: «Не мне. Командир обещал — командир добился», — и Суров посмотрел на меня и кивнул, и я кивнул в ответ, и это было всё, что мы по этому поводу сказали, и, по-моему, достаточно.

Шестая пара осталась. Князь посмотрел на неё, посмотрел на людей, посмотрел на меня.

— Колосову, — сказал он. — У него левый сапог на честном слове. Я видел, когда он из кабины вылез.

— Он не наш был, когда ты заявку писал.

— Он теперь наш, — сказал Князь. — А сапог — вот он. Лишний. Я его не выпрашивал, его дали. Кому-то же он нужен.

Колосов получил шестую пару, и смотрел на неё здоровой рукой — то есть держал в здоровой руке, — так, будто ему дали не сапоги, а бумагу о зачислении, вторую.

На обороте бумаги нашёлся ещё один ответ на заявку: автомобильный отдел принял на расход группы одолженное нам горючее — и первый бочонок на промывку, и две бочки, привезённые к тягачу. Тыловому хозяйству его возмещали по своей линии снабжения. Князь сходил с сопровождающим к усатому старшине, показал отметку и вернулся со старой распиской, перечёркнутой крест-накрест.

— А вы говорили — из немецких, — напомнил я.

— Немецкие пока опаздывают, — сказал Князь. — Свои успели. Долга нет.

Он сунул расписку мне, чтобы я тоже видел, и только после этого взялся за ящики.

Патроны Князь с Исаевым пересчитали за десять минут, при мне, вслух, и записали, и я расписался. Винтовочные — отдельно. КППШ — отдельно. Немецкие, что остались от того пулемёта, — нет, тех уже не было, они ушли с пулемётом. Бензин — в наши бочки, под навес, к тем, что стояли. Масло — Деду. Всё. Это заняло меньше времени, чем сапоги, и правильно: патроны — они либо есть, либо нет, а сапоги надо, чтобы сели.

— Пять пар, — сказал мне Князь, когда всё кончилось. Не радостно — как закрывают строчку. — Вы сказали «пока не дадут». Дали.

— Дали.

— Я запомнил тогда. Теперь — тоже запомню.

И пошёл к своему столу, потому что у него в этот вечер была вторая работа.

* * *

Вторую попытку они готовили с обеда.

Я это видел, но не мешал. Князь ещё на пилораме, до выхода к тягачу, о чём-то договорился с усаатым старшиной, а сегодня, вернувшись, договорился о чём-то ещё, и результат стоял на столе: не каша и консервы, а настоящий суп — из своих продуктов, с их кухни, потому что кухня у тылового хозяйства была, а у нас нет, и Князь за неё платил работой щуплого над их полуторкой и ещё чем-то, чего я не спрашивал. Хлеб. Сахар к чаю — кусковой, по два куса, разложенный Князем на брезенте так ровно, что Профессор, увидев, сказал: «Это — не стол. Это — ведомость». Лампа — та же, с гвоздя будки, выпрошенная у Деда «на вечер, честно, на весь вечер». Ящики кругом. И — вот это было новое — Князь поставил в середину, на накат, пустую бочку, вверх дном, накрытую куском брезента, и на бочку — чайник, чтобы чайник был не с краю, а посередине, у всех перед глазами, и чтобы за ним не надо было тянуться.

— Это — стол, — сказал он мне, когда я подошёл. — Вы посмотрите. Человек сидит — у него перед глазами чай. Хлеб — рядом. Свет — сверху. Он никуда не тянется. Ему хорошо. Вот это — вечер.

— А рассказ?

— Рассказ — Семён. — Князь посмотрел в сторону ЗИСа, где Артист сидел на подножке и — я это видел — репетировал: не вслух, но губами. — Он говорит, у него есть про механика. Специально. Чтобы Деду было интересно. Я не спрашивал какая. Я — стол. Он — рассказ. Как тогда.

— И условие — как тогда?

— Как тогда: пока не встал последний.

Дед пришёл сам, и это опять надо отметить: сам. Он вытер руки, посмотрел на тягач — тягач стоял между штабелями, с закрытым капотом, и Дед на него посмотрел так, как смотрят на человека, которого оставляют одного на вечер, — и пошёл к столу, и сел, и ему налили, и он ел суп, и сказал «хорош», и посмотрел на сахар, и взял один кусок из двух, и второй оставил, и Князь это заметил и, по-моему, чуть не заплакал.

Тридцать два человека вокруг стола — не все сразу, посты стояли, — но тридцать. Мелехинские сидели вместе, своим кругом, но в общем круге. Новые водители — рядом с Селивановым. Колосов — рядом с Дедом, левой рукой держа кружку.

И Артист начал.

Он начал так, как начинал всегда: издалека. Про то, как в тридцать девятом их бригада ездила по району на грузовике — не на подводах уже, на полуторке, которую дал райком, — и полуторка была старая, и водитель у неё был такой, который считал, что машина — это как лошадь: её надо любить, а чинить — это оскорбление. И вот у этой полуторки — Артист говорил, и все уже улыбались, потому что знали, что будет смешно, — у этой полуторки застучал мотор. И водитель сказал: это она устала. И поехали дальше. Стучит. Водитель: это дорога. Стучит громче. Водитель: это груз. И вот они приехали в село, и там был механик из МТС, и водитель его не подпустил, потому что «она сама», — и они уехали, и стук стал таким, что

бригада в кузове не слышала, как сама поёт, — и тогда актриса, которая играла всех героинь, сказала водителю: «Или ты её покажешь механику, или я выйду и пойду пешком, и ты будешь объяснять райкому, куда делась героиня». И водитель сдался. И механик открыл капот, и посмотрел, и сказал...

— Стой, — сказал Дед.

Артист остановился. Не потому, что растерялся, — потому, что Дед сказал это так, как говорят «стой» водителю.

— Что «стой»?

— Стучал — как? — спросил Дед. — Ты скажи, как стучал. Глухо, звонко, на холостых, под нагрузкой?

— Григорий, это рассказ.

— Я понимаю, что рассказ. Я спрашиваю, как стучал. Потому что если он стучал звонко и на холостых — это клапан, и механик его за десять минут отрегулирует, и всё, и нечего было ехать три дня. А если глухо и под нагрузкой — это коренной, и тогда твой водитель — не дурак, а преступник, потому что он три дня ехал на коренном, и мотор надо было выбрасывать.

— Он стучал... — Артист посмотрел на Деда, и я увидел, что он выбирает, — как... ну как стучат.

— Так не стучат, — сказал Дед. — Стучат либо так, либо так.

— Глухо, — сказал Фрол с другой стороны стола. — Я думаю, глухо. Раз три дня, значит, коренной.

— Если коренной, он бы три дня не проехал, — сказал старший ремонтник, плотный, который за эти два дня, кажется, сказал десять слов. — Он бы на второй день встал.

— Смотря как ехать, — сказал Дед. — Если на второй, без нагрузки, — мог.

— С бригадой в кузове — какая без нагрузки?

— Значит, клапан.

— Значит, три дня зря.

— Вот я и говорю!

Я сидел и смотрел, и не вмешивался, потому что это было прекрасно. Артист стоял со своей полуторкой на середине рассказа, а вокруг стола шёл разбор: клапан или коренной, три дня или два, и в этом разборе участвовали уже человек десять — Дед, Фрол, старший ремонтник, щуплый, Селиванов, Дрозд, который сказал, что у него на ЗИСе так стучало и это был не клапан и не коренной, а шатун, и Дед сказал: «Шатун — это ты бы на первый день узнал», — и Дрозд сказал: «Я и узнал на первый», — и все засмеялись, а Артист стоял.

Князь сидел у чайника и смотрел на Деда, который спорил, и ел, и не собирался вставать, — и лицо у Князя было счастливое. Он выиграл. Он это знал: человек сидит за его столом, у него перед глазами чай, и он спорит, и ему хорошо, и он никуда не уходит.

А Артист — я это видел — понял другое. Он понял, что публика слушает. Только не его. Она слушала Деда, и старшего ремонтника, и Дрозда, и спорила про клапан, и никто уже не хотел знать, что сказал механик из МТС, потому что каждый за столом уже сказал это сам.

Он сел. Не обиженно — задумчиво. Взял кружку. И, по-моему, впервые за неделю слушал, а не ждал своей очереди.

* * *

И тогда Дед рассказал своё.

Он не собирался — это было видно. Он спорил про коренной, и кто-то из мелехинских спросил: «А у вас так бывало, товарищ техник-лейтенант, чтобы три дня стук искали?» — и Дед сказал: «Три? Бывало и пять», — и стало тихо, потому что все поняли, что сейчас будет.

— Тридцать пятый год, — сказал Дед. — Автобаза. Я — второй год как механик, и есть у меня напарник, Кузьма, старше меня на двадцать лет, и он мне не напарник, а учитель, только мы этого оба не говорим. И приходит машина. Легковая. Начальника базы. И начальник гово-

рит: стучит. Стучит — где? Спереди. Едешь — стучит. Стоишь — не стучит. Ну, мы её взяли. День — снимали переднюю подвеску: рессоры, амортизаторы, всё. Собрали. Стучит. Второй день — мотор: подвеска мотора, крепления, выхлоп. Стучит. Третий день — Кузьма говорит: коробка. Сняли коробку. Это, товарищи, коробка на легковой, вдвоём, без подъёмника, в тридцать пятом году. Собрали. Стучит. Четвёртый день — начальник приходит и стоит, и смотрит, и говорит: «Шестаков, если завтра будет стучать — ты у меня будешь на этой машине ездить, а я — ходить пешком, чтобы все видели». И уходит. И Кузьма садится на ящик — вот как я сейчас — и говорит: «Гриша. Мы четыре дня снимали то, что стучит. Давай снимем то, что не стучит». И я не понял. А он встал, открыл дверцу, залез в кабину, открыл бардачок — и вынимает оттуда гаечный ключ. Большой. Начальник его туда положил месяц назад и забыл. Едешь — он катается. Стоишь — лежит.

Стол лежал. Не смеялся — лежал. Фрол бил ладонью по колену. Мелехин, который до этого сидел с лицом-кирпичом, смеялся так, что вытирал глаза. Профессор смеялся тонко и повторял: «Снимем то, что не стучит! Снимем то, что не стучит!» — и Дед сидел и смотрел на них с тем удовольствием, с которым, я думаю, никогда не смотрел на мотор.

— И что начальник? — спросил Артист. Не как рассказчик — как слушатель.

— Начальник, — сказал Дед, — взял ключ. Посмотрел. И сказал: «Это не мой». И ушёл. И мы с Кузьмой ещё год потом, как что-нибудь искали, друг другу говорили: «Это не мой». — Он помолчал. — Кузьма в сорок первом остался на базе, когда мы уходили. Так что ключ этот я ему припоминаю уже один.

И это он сказал тоже спокойно — не разряжая, не сгущая, как говорят о том, что было, — и стол принял это так же: не замолчал испуганно, а замолчал по-человечески, на секунду, и потом кто-то сказал «да», и разговор пошёл дальше, про Кузьму, про базу, про то, у кого какой был учитель, — и Дед в нём участвовал, и спрашивал, и слушал.

А потом суп кончился, и чай кончился, и сахар, — и Князь стал убирать. Не всё — чайник, миски, — и Дед посмотрел на это, встал, потянулся, сказал: «Ну, спасибо, Василий. Хорошо посидели», — и пошёл. Спать. К будке, где у него было место между полками. Довольный. Сытый. Рассказавший своё. Не оглядываясь.

Артист вскочил.

— Григорий! Постой! Я же... у меня же продолжение! Механик из МТС! Я не досказал!

— Завтра доскажешь, — сказал Дед из темноты. — Я тебе скажу, чем кончилось: клапан. — И ушёл.

Артист стоял.

— Он ушёл, — сказал он.

— Он ушёл после ужина, — сказал Князь. — Ужин кончился — он ушёл. Досидел до конца.

— До конца чего? Я не начал!

— Ты начал. Тебя перебили. Это не считается.

— Как это не считается?!

— Стоп, — сказал Фрол. — Условие. Пётр, какое было условие?

Профессор поставил кружку.

— Условие было: пока не встал последний. — Он посмотрел на стол. Все сидели. — Последний не встал. Значит, по условию — Дед ушёл раньше, и вечер не удался. — Он поднял палец. — Но. Вы не договорились, что такое «вечер». Стол или рассказ. Григорий досидел до конца стола: Василий убрал чайник — Григорий встал. По столу — Василий выиграл. Рассказ — не состоялся: Семён начал, его перебили, и перебил его — Дед. Значит, по рассказу судить нечего. Нет рассказа.

— Есть рассказ! — сказал Артист. — Про ключ! Он рассказал!

— Он, — сказал Профессор, — а не ты. Условие было — что Дед останется, а не что Дед расскажет.

Стало тихо. Потом Фрол засмеялся — громко, с удовольствием:

— Вот! Вот это судья! Вы его звали, чтоб он слушал, а он вам сам рассказал и ушёл спать!

И кто выиграл?

— Дед, — сказал Мелехин неожиданно.

Все повернулись.

— Дед выиграл, — сказал Мелехин. — Он поел, он рассказал, он поспорил, он спать пошёл довольный. Я бы на его месте тоже так.

— Он не участник! — сказал Артист. — Он — гость!

— Гость и выиграл, — сказал Мелехин. — У нас на посту так всегда было.

И это было, по-моему, окончательно, потому что Князь засмеялся, и Артист засмеялся, и они посмотрели друг на друга, и Князь сказал: «Третий раз. Я стол сделаю ещё лучше», — и Артист сказал: «А я не буду рассказывать про механику. Я буду рассказывать про то, в чём он не разбирается», — и Профессор спросил: «А в чём он не разбирается?» — и они задумались, и не нашли, и это была последняя шутка вечера, потому что в этот момент на дороге затрещал мотоцикл.

* * *

Она приехала не к нам. Я это понял сразу: мотоцикл прошёл мимо ворот пилорамы, к палатке тылового хозяйства, и там встал, и она вошла в палатку, и была там минут десять. По службе. Её пункт связи стоял рядом — я знал это с проезда, — и тыловое хозяйство было ей по дороге, и что она там делала, я не спрашивал. А потом мотоцикл не уехал. Он проехал сто метров — и встал у наших ворот.

— Гости, — сказал Князь, и голос у него изменился. — Стол!

— Ты его убрал.

— Я его сейчас поставлю!

И поставил. Я не преувеличиваю: за две минуты, пока она шла от ворот, — чайник обратно на бочку, лампа выше, ящик — чистый, с брезентом, — гостю. Артист успел причесться. Фрол — нет, но встал. Профессор снял и надел пилотку.

Она подошла — в пыли, в тех же сапогах, с планшетом, — и остановилась у стола, и посмотрела на всё это: на лампу, на чайник на бочке, на ящик с брезентом, на двадцать лиц, — и сказала:

— Я на пять минут. Мне сказали, что здесь стоит группа Ракитина с тягачом. Я хотела посмотреть на тягач.

— Тягач — вон, — сказал я. — Между штабелями.

— Вижу, — сказала она, посмотрев. — Большой. — И села на ящик, и Князь налил ей чаю, и она сказала «спасибо» так, что Князь отошёл к чайнику с таким лицом, будто это ему сделали подарок.

Мы говорили при всех. Я это подчёркиваю, потому что это было правильно: не в стороне, не у мотоцикла, а за столом, среди своих, и все слушали, и никто не делал вид, что не слушает. Она рассказала — коротко — что связь у её полка теперь есть: связной, которого мы довели, довёз; пункт работает; майор Чумаков сдержал слово, и посыльный от него пришёл к условленному сроку, как обещал. Работа сделана. Она ехала сейчас с последней точки к своим и завтра ехать никуда не должна была — впервые за неделю.

— Впервые за неделю, — повторил я.

— Да, — сказала она. И посмотрела на меня. — А вы?

— А мы — как скажут. Завтра, наверное, тоже куда-то. Но сегодня — вот. — Я кивнул на стол. — У нас сегодня, лейтенант, был вечер. Двое хозяев спорили, кто выиграл, а выиграл гость, который ушёл спать.

— Расскажите, — сказала она.

И я рассказал — про Деда, про ключ в бардачке, про условие, — и она смеялась, по-настоящему, и Артист, который сидел через ящик, добавлял, и Профессор поправлял, и Фрол сказал: «Товарищ лейтенант, а вы бы кому присудили?» — и она подумала и сказала: «Тому, кто убрал чайник», — и Князь у чайника сделал такое лицо, что Фрол захохотал.

А потом она посмотрела на меня и сказала — при всех, но мне:

— Вы обещали рассказать про руку. Тот самый, с рукой. Я до сих пор не знаю, что это было.

— Долго, — сказал я.

— У меня завтра свободный день. Первый.

— У меня — нет.

— Тогда — когда будет. — Она сказала это просто, без кокетства, как говорят о вещи, которую собираются сделать. — Будет же?

— Будет, — сказал я. — Я не знаю когда. Но будет.

— Хорошо, — сказала она, и допила чай, и встала, и сказала Князю: «Спасибо. Хороший стол», — и Князь, кажется, перестал дышать, — и пошла к мотоциклу, и я пошёл проводить, и у мотоцикла она сказала мне уже не при всех, тихо:

— Я не знаю, что у вас будет дальше. Но я хотела бы, чтобы вы рассказали. Не про руку. Вообще.

— Расскажу, — сказал я. — Когда будет свободный вечер.

— У вас не бывает свободных вечеров.

— Будет, — сказал я. — Один. Я его найду.

Она засмеялась — коротко, как тогда, у проезда, — и села в коляску, и мотоцикл ушёл, и я стоял у ворот и смотрел ему вслед, и знал, что за спиной, у стола, двадцать человек смотрят на меня, и не оборачивался, чтобы не видеть, какое у Артиста лицо.

Но я знал какое.

Посыльный пришёл через полчаса. Тот же парень с дорожного поста — он, кажется, теперь считал нас своими, — с бумагой от Чумакова, короткой: завтра утром выйти от пилорамы к дороге на Слуцк; после открытия дорожного коридора — сопровождать своё горючее, бочки, переданные автомобильной службой, к передовым ремонтникам у Слуцка; точка передачи — двор у дороги на восточном подходе; ждать открытия у выхода, не идти через Любань, пока не скажут.

Я прочёл, и вечер кончился так, как кончаются вечера, после которых есть работа: не обрывом, а переходом.

— Василий, — сказал я. — Второй ЗИС — под бочки. Твой, ты повезёшь. Утром грузим. Суров — «Опель» пустой, место оставить: если по дороге придётся перегружать — чтобы было куда. Фрол — люди, посты, выход в шесть. Дед — тягач идёт с нами, ты с ним. Мелехин — твои вперёд, как сегодня. Спать.

— Спать, — сказал Фрол. — Наконец-то кто-то сказал.

И они пошли, и стол убрали окончательно, и лампа вернулась на гвоздь, и я обошёл пилораму — четыре грузовика, будка, тягач, тридцать два человека в новых сапогах, то есть шестеро в новых, а остальные в своих, — и подумал, что вот это, наверное, и есть то, ради чего вся неделя: не машины. Вечер, после которого люди идут спать в хороших сапогах, и знают, что завтра в шесть, и не боятся этого.

И один свободный вечер, который я обещал найти. Где-то он был. Я его ещё не видел. Но я уже знал, что он мне нужен, а это, как показывала эта неделя, было полдела.

Глава 14. «Горючее должно приехать»

Бочки нам передали в шесть утра, у ворот пилорамы, и я принимал их так, как в той жизни принимал чужой груз на площадку: по счёту, по таре, по бумаге.

Десять бочек. Закрытых, с пробками на ключ, опломбированных сургучом по краю, — автомобильная служба армии передавала своё горючее своим же передовым ремонтникам, и мы были не хозяева этого бензина, а те, кто его везёт. Это надо было понимать ясно, и я это сказал вслух, при всех, у ворот: «Не наше. Довезти. Сдать по счёту. Пломбы не трогать». Князь кивнул так, будто я оскорбил его самым предположением, что можно иначе.

Грузили на второй ЗИС. На его ЗИС. Это было решено вчера, и это было правильно: Г-02 после ремонта ходил ровно, у него был кузов с высокими бортами, куда бочки становились в два ряда и не ёрзали, и у него был Князь, который, я это уже знал, не даст ни одной бочке качнуться. Десять бочек — полторы с лишним тонны вместе с тарой; Дед посмотрел на рессоры, когда поставили последнюю, и сказал: «Сядет, но повезёт». В кабину к Князю — никого: место пассажира было под сопровождающего, но сопровождающего служба не дала, дала бумагу, и я положил бумагу Князю в планшет.

А «Опель» Сурова я оставил пустым.

Это надо объяснить, потому что Князь спросил, и спросил справедливо: зачем гонять порожний грузовик, если можно взять на него людей и разгрузить остальные? Я ответил так, как ответил бы своему диспетчеру: если мы везём груз, у нас должна быть машина, куда его можно переложить. Не потому, что я знаю, что случится. Потому, что я не знаю. У меня на площадке всегда стоял один пустой борт — под то, что сломается по дороге. Он стоял двадцать лет, и раз в месяц оказывался нужен, и в этот раз окупал остальные двадцать девять дней.

— Понял, — сказал Князь. — Запасной кузов.

— Запасной кузов.

— Тогда пусть Гаврила едет за мной. Если что — рядом.

— За тобой.

Куда мы везём — это я знал из бумаги, и это было просто: во двор у дороги на восточном подходе к Слуцку, километрах в десяти от города, где стояли наши передовые ремонтники, — те, что шли за наступлением и чинили на ходу то, что можно починить на ходу. У них, как было написано, стояли машины: обслуженные, готовые, ждущие заправки. Как тот ЗИС у бочек в первое утро, только там он был один, а тут их было — не написано сколько. Много. И бензина у них не было, потому что тот, что должен был прийти, не пришёл: дорога. И вот теперь дорога открывалась, и мы везли.

Я это сказал Князю тоже: не «везём бензин», а «везём бензин, потому что там стоят машины, которые без него не поедут». Князь посмотрел на бочки другими глазами. Он и так их берёт, но теперь он их берёт для кого-то.

Выходили в семь. Впереди — четверо мелехинских, пешком, до большака. За ними — ЗИС Артиста, я с ним. Тягач — Фрол с ДП в кузове, водитель, Дед рядом. Второй ЗИС — Князь, с бочками. Будка. «Опель» Сурова — пустой, с двумя стрелками в кузове, чтоб не совсем пустой. Замыкающий — «Опель» Дрозда, с Мелехиным и его людьми.

До большака — четыре километра. До открытия дороги — неизвестно сколько.

* * *

Ждали мы у выхода на большак, на съезде, где стоял регулировщик, — три часа.

Я не буду рассказывать про эти три часа подробно, потому что в них ничего не было, кроме ожидания, и это, как я понял за эту неделю, — половина любой военной дороги. Любань была впереди, слева, и с утра там стреляли — не сильно, но слышно, — а потом стало тише, а потом по большаку пошли на запад машины, много, и регулировщик получил что-то по своей связи и сказал: «Любань — наша. Коридор открыт до Слуцка. Слуцк — не мой участок, там спросите». И это было всё, что мы получили: не сводку, не карту, — регулировщика, который сказал «открыт».

Я знал из той жизни общий ход наступления: наши шли на запад, быстро. И всё равно стоял три часа у съезда и не ехал. Знать, чем кончилась большая операция, — не то же самое,

что знать, простреливается ли улица, по которой ты поедешь через час. Эту улицу проверяли люди регулировщика.

Через Любань мы прошли не останавливаясь, как через Глуск, и она была такая же: сгоревшее и целое вперемежку, люди, мост, регулировщица. Я не буду её описывать. Я её почти не видел — я смотрел в зеркало на бочки.

За Любанью дорога пошла на запад, к Слуцку, — открытая, с полями по сторонам, с перелесками, — и километров десять мы прошли хорошо: колонной, с дистанцией, с Фролом на тягаче, который видел поверх кустов. И позже, уже на подходе к ремонтному двору, у перелеска, где дорога делала поворот и подходила к нему вплотную, — стреляли.

Не по нам сначала. По машине впереди — не нашей, чужой, санитарной, которая шла перед нами метрах в трёхстах, — и она встала, и из перелеска ударили ещё, и я увидел, как санитарка сдаёт назад, криво, и как из неё выскакивают люди.

— Стоп! — крикнул я Артисту, и он встал, и колонна за нами встала, растянувшись на дороге между полем и перелеском, и это было самое плохое, что могло быть: шесть машин на открытой дороге и стрельба из леса в трёхстах метрах.

Фрол уже командовал. Я слышал его с тягача: «ДП — по опушке! Мелехин — твои с машины, вправо, полем, в обход! Исаев — левым краем, к санитарке, прикрыть!» — и тягач пошёл вперёд, к перелеску, потому что ДП на нём был выше всех и видел лучше всех, а водитель, я видел, вёл его так, как Дед учил: ровно, не дёргая. Люди Мелехина уже бежали полем, справа, пригнувшись, обходя перелесок с тыла. Исаев с тремя — слева, к санитарке, откуда ещё стреляли по нам, теперь уже по нам.

А я думал о бочках.

Это надо сказать честно. Я не думал о немцах в перелеске, не думал о санитарке, не думал даже о людях Мелехина, которые бежали полем, — это было дело Фрола, и он его делал. Я думал о десяти бочках на втором ЗИСе, который стоял на открытой дороге третьим в колонне, и о том, что одна пуля в бочку — это не взрыв, я это знал, закрытая бочка от одного попадания не обязана взорваться, — но это дырка, и это течь, и это на дороге под огнём.

— Князь! — крикнул я, выскочив из кабины. — Назад! За поворот! Уводи с дороги!

Он услышал. Он сдал назад — ЗИС с бочками, — и развернуться на дороге было негде, и он сделал единственное, что можно было: ушёл с дороги. Вправо, на обочину, за бугор, где перелесок его не видел, — и обочина была мягкая. Я это увидел, когда было поздно: не песок — торф, чёрный, с травой сверху, который держит ногу и не держит колесо. Задние колёса ЗИСа вошли в него по ступицу. Мотор взревел, колёса провернулись, ЗИС осел — и встал. Целый. С мотором. С бочками. С Князем за рулём, который смотрел на меня через стекло с таким лицом, какое бывает у человека, когда он сделал именно то, что ему сказали, и это оказалось не то.

— Стой! — крикнул я ему. — Глуши! Не дёргай!

Он заглушил. И это было правильно, потому что то, что было дальше, делал не он.

* * *

Дальше было десять минут, которые я расскажу коротко, потому что видел их со стороны.

Тягач подошёл к перелеску на сто метров и встал, и ДП с него ударил по опушке — длинно, — и из перелеска ответили, и пули пошли по тягачу, по его открытому кузову, и Фрол — я видел — лёг за борт, и ДП замолчал, перезаряжая, и снова ударил. В это время люди Мелехина вышли перелеску в тыл — я их не видел, я слышал: выстрелы с той стороны, короткие, потом крики, немецкие, потом — ППШ, — и из перелеска побежали. К дороге — не к нам, а через дорогу, на другую сторону, в поле, к дальнему лесу, — человек шесть, — и Исаев от санитарки ударил по ним, и двое упали, и остальные бежали, и Фрол с тягача крикнул: «Не гнаться! Стоять!» — и никто не гнался.

Всё. Перелесок был чист. Мелехин вышел из него с двумя своими и с одним немцем, которого вёл перед собой, и махнул Фролу рукой — той же, что у кармана: раскрытой ладонью, — и Фрол махнул в ответ.

Санитарка стояла на дороге с разбитым стеклом, и её водитель, живой, уже ругался, и Устинов уже был там — не у нас, у них, потому что у них лежал раненый, — и это тоже было правильно.

Я подошёл к Фролу, когда тягач вернулся на дорогу. Он спрыгнул с кузова — и я увидел, что на тягаче с одного борта побиты сиденья, и что Фрол цел, и водитель цел, и ДП цел, и Дед, который всё это время сидел в кабине рядом с водителем и — я это узнал позже — говорил ему «ровно, ровно, не дёргай, ровно», — тоже цел.

— Шестеро было, — сказал Фрол. — Может, семь. Отставшие. Сидели у дороги, стреляли по всему, что едет. Двое лежат, один — у Мелехина, остальные ушли в поле. Мелехинские зашли им в спину как надо — я и не видел, как они прошли. Хорошие ребята. — Он посмотрел на тягач. — А эта штука — ты видел? Она стоит, по ней бьют, а он с неё работает, как с крыши. Я на ней теперь всегда.

— Фёдор, — сказал я. — Это был бой.

— Это был перелесок, — сказал Фрол. — Бой будет. Но да. — И, помолчав, — и вот тут я увидел, что он доволен так, как не был доволен ни у повозки, ни во дворе с сараем: — Хорошо вышло. Правда хорошо. Мелехин — с тыла, я — с тягача, Исаев — санитарку прикрыл. Как по книжке.

— Теперь посмотри на второй ЗИС, — сказал я.

Он посмотрел. И перестал улыбаться.

* * *

Дед уже был там. Он стоял у заднего колеса Г-02, по щиколотку в торфе, и смотрел на колесо так, как смотрят на человека, который сделал глупость, — не на Князя, на колесо.

— Ну? — сказал я, подходя.

— Не «ну», — сказал Дед. — Ты сейчас скажешь: цепляем тягачом и дёргаем. Я тебя знаю неделю.

— Скажу.

— Не дёргаем. — Он показал на колёса. — Он сидит по ступицу. В торфе. С десятью бочками в кузове. Тягач его выдернет — может быть. Он у меня тянет, я вчера видел, он порожний «Опель» повёз, как санки. Но гружёный ЗИС из торфа — это не порожний «Опель». Это — рывок. А в рывке у меня: во-первых, рама ЗИСа, которая старая; во-вторых, крюк, который я не проверял; в-третьих, трос, который наш, старый, с двора, и который на рывке лопнет и кому-нибудь в лицо; в-четвёртых, — он поднял голову, — тягач. Который у меня работает со вчерашнего дня. Я его под нагрузку не ставил. Я не знаю, что у него будет с насосом, когда он упрётся в засевший ЗИС. Может — ничего. Может — то, что я чистил, вернётся. И тогда у нас на дороге под перелеском будут стоять два: ЗИС в торфе и тягач с заглохшим мотором.

— Что предлагаешь?

— Разгрузить. Не всё — половину. Пять бочек — долой, на землю, на доски, на что угодно. Тогда он полегчает, и тягач его выведет не рывком, а тягой — медленно, по доскам, по колее, которую я сейчас накопаю под колёса. Это час. С разгрузкой — полтора. — Он посмотрел на меня. — Ты хочешь быстрее. Я знаю. Но быстрее — это либо трос в лицо, либо тягач мёртвый. А час — это час.

Я стоял и думал, и думал недолго.

Пять бочек — долой. На землю, на доски. Полтора часа. Потом — обратно в ЗИС, и ехать. Это то, что предлагал Дед, и это было правильно с точки зрения Деда, потому что Дед думал о том, как вытащить ЗИС. А я думал о том, куда едут бочки.

Бочки ехали к ремонтникам, у которых стояли машины. Стояли и ждали. Каждый час, что они стоят, — это час, что где-то не приехал чей-то бензин, чьи-то снаряды, чей-то хлеб. Полтора часа — это полтора часа. А в двухстах метрах от торфа, на дороге, стоял «Опель» Сурова. Пустой. С местом, которое я вчера вечером отказался занимать людьми, потому что — «запасной кузов».

— Григорий, — сказал я. — Разгружаем не на землю.

— А куда?

— На «Опель». Пять бочек — на «Опель», к Сурову. И он их везёт. Сейчас. В тот двор — до него километров восемь. Он приедет туда через полчаса, и там начнут заправлять. А мы тут вытаскиваем ЗИС с оставшимися пятью, и Князь привезёт их следом. Не полтора часа для всех десяти. Полчаса для пяти и полтора — для остальных.

Дед посмотрел на меня. На «Опель». На бочки.

— Запасной кузов, — сказал он.

— Запасной кузов.

— Я утром думал: зачем он его порожним гонит. — Дед покачал головой. — Ладно. Твоё. Только тягач — к ЗИСу, а не к «Опелю». Я его на две работы сразу не дам.

— Тягач — к ЗИСу. «Опель» — своим ходом, он не в торфе.

— Тогда — грузы, — сказал Дед и пошёл копать.

И я грузил.

Это надо сказать, потому что это было моё, и потому что я это сделал сам, руками, — не командовал, а делал. Пять бочек из кузова ЗИСа, сидящего в торфе, на землю — по доскам, на которых стояли, — и от него, через двадцать метров мягкого, на дорогу, к «Опелю», и в кузов «Опеля». Бочка с бензином — это двести литров, это полтора центнера с тарой, и её не несут: её катят. Катить по торфу нельзя — тонет. Катить по доскам — можно, если доски лежат, и мы их положили: Князь, я, двое стрелков Исаева, Селиванов, который, как всегда, оказался рядом. Один толкает, двое направляют, один впереди перекладывает доски. Пять бочек, двадцать метров, полчаса. Я толкал третью и четвёртую, и на четвёртой мы с Селивановым не удержали её на стыке досок, и она ушла с доски в торф на четверть, и мы её вытаскивали втроём, и Князь при этом говорил «пломбу, пломбу не заденьте», а не «бочку», — и это про него всё.

В «Опель» ставили с досок — двое снизу, двое сверху, — и Суров стоял у борта и говорил: «Левее. Сюда. К борту, чтоб не каталась», — и бочки вставали, пять, в два ряда, ближе к переднему борту, и Суров проверил каждую рукой, качается ли, и сказал: «Не качаются».

— Гаврила, — сказал я. — Восемь километров. Двор у дороги, справа, с воротами, ты его увидишь — там машины стоят. Сдать по счёту, пять, пломбы целые, бумага — вот. — Я отдал ему бумагу Князя, потому что Князю она была сейчас нужнее в моих руках, чем в его. — С тобой — Исаев и трое. Не гнать. Не сворачивать. Приехал — сдал — жди нас.

— Есть.

— И скажи им, что остальные пять — через два часа.

— Скажу.

Он сел. Исаев с тремя — в кузов, к бочкам. «Опель» тронулся — ровно, как Суров всегда трогался, — и пошёл на запад, к Слуцку, к двору с машинами, и я стоял на дороге, чёрный от торфа по колено, и смотрел ему вслед, и знал, что не увижу, как его там примут. Это было моё решение, и его выполнял другой, и увидит результат другой, — и это, я понял, тоже часть работы. Не самая приятная. Но часть.

Князь стоял рядом.

— Пять — уехали, — сказал он. Не обиженно — как констатируют.

— Пять уехали. Пять — твои.

— Мои, — сказал Князь. — Но первую благодарность получит Гаврила.

— Получит.

— Он её заслужил, — сказал Князь честно. — Только я хочу, чтоб все знали: везли — мои десять. Гаврила довёз пять. Это разное.

— Все знают, Василий.

— Я для ведомости, — сказал Князь и пошёл к своему ЗИСу, сидящему в торфе с пятью бочками, и стал помогать Деду копать.

* * *

Тягач сделал свою работу в четвёртом часу, и я расскажу, как он её сделал, потому что это было красиво.

Дед с водителем полчаса готовили: копали под колёсами ЗИСа канавки, клали в них доски — те самые, из-за которых Артист спорил на дворе, — ставили тягач на твёрдое, на дорогу, носом от ЗИСа, цепляли трос — наш, уже проверенный, без повреждённых прядей, — и Дед проверил крюк на ЗИСе, и сказал «держит», и проверил, как лежит трос, и сказал «прямо», и встал сбоку с поднятой рукой.

— Тяга, — сказал он водителю. — Не дорога — тяга. Рычаг. Первая. И медленно. Он не должен дёрнуть. Он должен потянуть. Если почувствуешь рывок — стой.

— Понял.

— Василий — за рулём, на нейтрالي, руль прямо. Не газовать. Как пойдёт — держи прямо.

— Понял, — сказал Князь из кабины.

— Пошёл.

Тягач тронулся. Трос лёг, натянулся — без звона, ровно, — и я видел, как задние колёса ЗИСа, вросшие в торф, качнулись, и торф вокруг них вспучился, и потом — медленно, как выходит из грязи сапог, — колёса пошли. На доски. По доскам. И ЗИС с пятью бочками пошёл за тягачом — не рывком, тягой, — на дорогу, метр, два, три, — и Дед сказал «стой», и водитель встал, и ЗИС стоял на твёрдом, на дороге, целый, и Князь за рулём сидел и держал руль прямо, как ему сказали, и не отпускал, хотя всё уже кончилось.

— Ну вот, — сказал Дед. Без торжества — как ставят точку. — Тягой. Не рывком. — И полез под ЗИС.

Он лежал под ним минут десять. Вылез. Обошёл. Заглянул под капот, завёл — Князь завёл, — послушал.

— Целый, — сказал он. — Мотор — как был. Ходовая — как была. Рессоры — просели, но с бочками и должны. Ничего не оторвано, ничего не гнuto. Он просто сел. Теперь — не сидит. Езжай, Василий. Только не по обочинам.

— Я по обочине по приказу поехал, — сказал Князь.

— Знаю, — сказал Дед. — Приказ был правильный. Обочина — нет. — И мне: — Тягач — тоже целый. Насос не подвёл. Я слушал. Он тянул гружёный ЗИС из торфа и не чихнул. Я его теперь знаю больше, чем утром.

Дальше — восемь километров. Князь с пятью бочками — впереди, я у него в кабине, потому что бумаги у него больше не было, а у меня было слово, которое я дал: «Не бросаем». Остальные — за нами. Пленного — Мелехин вёл в кузове «Опеля» Дрозда, и Профессор сидел с ним и, как всегда, не допрашивал, а говорил; во дворе его сдали техник-лейтенанту под расписку, и он ушёл в тыл с одной из тех машин, что мы заправили.

Двор мы увидели с дороги — справа, с воротами, как я говорил Сурову, — и первое, что я увидел, въезжая, было не то, что я ждал.

Я ждал пять бочек. Стоящих у ворот, ждущих нас.

А увидел — машины. Заправленные. То есть — выезжающие. Из ворот, нам навстречу, шли два грузовика, ЗИС и полуторка, с водителями за рулём, и водители посмотрели на нас так, как смотрят на тех, кому обязаны, и один из них поднял руку. А во дворе — ещё три, и у

одной как раз заканчивали: воронка, ведро, и человек с ведомостью, и наш «Опель» у стены, и Суров на подножке, и Исаев с тремя у бочек, которых было уже не пять, а три: две ушли в баки.

Я вылез, и ко мне подошёл человек с ведомостью — техник-лейтенант, лет тридцати пяти, худой, с лицом, серым от того же, от чего серели все лица на этой дороге, — и сказал:

— Вы — Ракитин? Ваш водитель сказал: остальные через два часа. Вы — за полтора. — Он посмотрел на второй ЗИС, на бочки в его кузове. — Пять?

— Пять. Пломбы целые.

— Спасибо. — Он сказал это без всякого выражения и потому, наверное, по-настоящему. — У меня стояло семь машин. Обслуженных, готовых, с сухими баками. Второй день. Ваши пять бочек пришли — я две отправил сразу, три сейчас заправляю. Ваши остальные пять — это ещё две и запас. Семь машин, товарищ старший лейтенант. Они сегодня поедут туда, где их ждали позавчера.

— Не мои, — сказал я. — Служба передала. Мы довезли.

— Довезли, — согласился он. — Ваш водитель сказал: под перелеском стреляли, ЗИС сел, вы перегрузили. Это — довезли.

Я обернулся. За мной стояли — вся колонна уже въехала, — Фрол у тягача, Мелехин у «Опеля», Дед, который, разумеется, уже смотрел на чужие машины во дворе так, будто ему их сейчас дадут чинить.

— Товарищ техник-лейтенант, — сказал я. — Раз довезли — то скажу, кто. Под перелеском стреляли — это старший сержант Буров, вон он, с пулемётом на тягаче, и сержант Мелехин, с людьми, с тыла. Они перелесок взяли. Пока они его брали — ЗИС сел. Что не сгорело и не потекло — это старшина Князев, который увёл бочки с дороги. Что первые пять пришли раньше остальных — это рядовой Суров, который их вёз. Что ЗИС вышел из торфа — это техник-лейтенант Шестаков и водитель тягача. Что я тут стою — это потому, что они всё это сделали. Так и запишите, если записываете.

Техник-лейтенант посмотрел на Фрола. Фрол стоял у тягача, широко расставив ноги, с ПППШ на ремне, и на лице у него было то, чего я ещё не видел: он смущался. Не сильно — Фрол вообще не умел сильно, — но смущался, и это было видно, и он это знал, и от этого смущался ещё больше.

— Старший сержант, — сказал техник-лейтенант. — Спасибо. Мои семь машин — это ваш перелесок.

— Не мой, — сказал Фрол. — Мелехинские с тыла зашли. Я только с тягача. — И, помолчав, потому что не мог не сказать: — Но с тягача — хорошо зашло. Это да.

Люди во дворе засмеялись — их ремонтники, наши, — и техник-лейтенант тоже, и пошёл к своим бочкам, и Князь пошёл за ним со своими пятью, и я слышал, как он говорит: «Пломбы — вот, смотрите, все десять, я их вам по счёту...» — и понял, что у Князя всё в порядке, и что первую благодарность получил Гаврила, а последнюю — всё равно Князь, потому что он умел её взять.

* * *

Немецкое движение нам рассказал их ремонтник, и рассказал случайно.

Это был немолодой сержант из ремонтников техник-лейтенанта, который стоял у наших «Опелей» и смотрел на них так, как смотрят на знакомых, и Профессор, проходивший мимо, остановился, потому что заметил взгляд. Они разговорились — про «Опель», про то, где брали, — и сержант сказал, что видел таких сегодня утром. Несколько. Шли.

Профессор позвал меня.

— Скажите ещё раз, — попросил он сержанта. — Что видели. Только то, что видели.

— Утром, — сказал сержант. — Часов в семь. Нас с полуторкой посылали в объезд, севернее города, за нашими, — там наши обходили, и мы стояли на бугре у объезда, ждали. С бугра западная дорога видна, та, что от города на запад уходит, километра на три. И видел:

по ней — машины. Немецкие. Грузовики с будками — как вот ваша, только несколько. Штук пять. И ещё что-то, я не разобрал, далеко. Шли на запад. Не к городу — от города. Уходили.

— Точно от? — спросил Профессор.

— Точно. Я на бугре стоял полчаса. Они шли и ушли. Никто к городу не подходил.

— Куда — видели?

— Нет. Дорога за холм уходит. Ушли за холм.

— Что в них — видели?

— Будки. Ящики — не видел, далеко. Будки видел.

— Спасибо, — сказал Профессор. — Это — что видели.

Сержант ушёл. Профессор посмотрел на меня.

— Вот теперь я скажу, что думаю, — сказал он. — По бумагам с будки — помните, я говорил, две точки на запад по нашему направлению, где они брали горючее, — одна из этих точек должна быть западнее Слуцка. Стоянка. Я думал: если они сворачивают сеть и свозят в одно место, то, может быть, свозят туда. К той стоянке. И мы бы её нашли и посмотрели. А сержант видел — от города. На запад. Куда дальше — не видел. — Он помолчал. — Может, они идут к той стоянке. А может, стоянка уже пустая, и они её прошли. Либо это не они, а другие. Либо стоянка — не там. Я не знаю. Я знаю, что старый след — на стоянку — надо проверить. Не потому, что там что-то есть. Потому что если там ничего нет — это тоже след.

— Пустой двор тоже говорит, — сказал я.

— Да, — сказал Профессор. — Если его правильно спросить.

Западнее Слуцка. Через Слуцк. Я посмотрел на техник-лейтенанта, который считал бочки, и спросил у него: Слуцк — проезд? Он сказал: с обеда — да; регулирование стоит; коридор через город открыт для своих; западная окраина — час назад подтвердили. Не «весь город наш», а «коридор открыт», — и это было то, что мне нужно, и это было не число из школьного знания, а час назад и регулировщик.

— Фёдор, — сказал я. — Западнее Слуцка, километров шесть, — стоянка. Немецкая. Была. По бумагам. Надо посмотреть. Сегодня, до вечера, пока свет.

— Не всеми? — спросил Фрол.

— Всеми. Бочки сданы, дело сделано, а этот двор — не наш, у техник-лейтенанта своя работа и своё место, нам тут на ночь не стоять. Идём через Слуцк, по коридору, всем парком. Мелехинские — вперёд, как они умеют. Смотрим стоянку: если пустая — там и встанем на ночь, двор есть, посты поставим. Если не пустая — тогда ты скажешь, что дальше.

— Тогда — не всеми, — сказал Фрол. — Тогда колонна встанет, не доезжая, а вперёд пойду я с мелехинскими. Договорились?

— Договорились.

— Через час, — сказал Фрол.

— Через час.

Во дворе техник-лейтенанта выезжала последняя из семи машин. Водитель посмотрел на наши «Опели», на тягач, на людей, и поднял руку, и уехал. Семь машин. Они сегодня поедут туда, где их ждали позавчера, — сказал техник-лейтенант, и я это запомнил, потому что это было лучшее, что я слышал за день.

Мы ничего не взяли. Парк — тот же: четыре грузовика, будка, тягач. Тридцать два человека, все целые. Десять бочек — не наших — приняли в чужом дворе: часть бензина уже ушла в машины, остальное осталось ремонтникам, и это было нашей работой, и она была сделана.

А в шести километрах западнее города стоял пустой двор, который надо было правильно спросить.

Глава 15. «Пустой двор тоже говорит»

Слуцк мы прошли к вечеру, и я запомнил из него не улицы, а то, что стояло на улицах.

Город взяли сегодня — с утра, потом коридор, потом окраины, — и по нему уже шло всё, что идёт по взятому городу в первые часы: сапёры с щупами вдоль домов, регулировщики на каждом перекрёстке, колонна с орудиями, которой мы уступили дорогу и стояли двадцать минут, санитарные машины навстречу, связисты с катушкой, тянущие провод по тротуару, — и всё это двигалось, мешало друг другу и всё-таки шло, как идёт большое хозяйство, у которого одна дорога и тысяча дел. Я сидел рядом с Артистом, и на перекрёстке, где мы стояли, регулировщица показала нам «стой», потом — «жди», потом — «пошёл», и Артист сказал: «Вот она — наша хозяйка», — и я подумал, что он прав: этот город сегодня брали не мы, и брали его те, кто сейчас ехал навстречу с орудиями, а мы по нему просто проезжали, в очередь, как все.

На одном из перекрёстков, пока стояли, к тягачу подошёл сапёр — немолодой, с щупом на плече — и долго смотрел на него снизу вверх, на гусеницы, на побитые сиденья после перелеска, потом на Фрола с ДП, потом спросил: «Ваш?» — «Наш». — «С боем?» — «С ремонтом», — сказал Фрол, и сапёр не понял, и Дед из кабины объяснил: «Стоял, не ездил. Теперь ездит», — и сапёр кивнул так, будто это объясняло всё, и сказал: «Западнее, за городом, по обочинам не ходите. Мы там ещё не были», — и пошёл дальше со своим щупом. Это было единственное, что нам сказали в Служке лично, и это было полезнее любой сводки.

И ещё я запомнил старуху. Она стояла у ворот целого дома — целого, среди сгоревших, — и смотрела на колонну: на ЗИСы, на «Опели», на будку, на тягач, — и когда тягач проходил мимо, она перекрестила его. Не нас — его. Артист это видел и сказал: «Ну вот. Теперь он точно поедет», — и Дед в кабине тягача, я потом узнал, промолчал, и это тоже было ответом.

За городом дорога пошла на запад, и километров через шесть, справа, за полем, показалось то, что мы искали.

Я скажу сразу, что я увидел, потому что это важно для того, что было дальше: я увидел базу.

То есть — я увидел то, что было похоже на базу. Двор — большой, огороженный, с тремя длинными сараями и навесом, — и на дворе, видные с дороги, — предметы. Бочки. Несколько, стоящих в ряд у сарая, серых, немецких. Кузов — не машина, а кузов, снятый, с будкой, как у нашей мастерской, только больше, стоящий на брёвнах у навеса, с открытой задней дверью. Столбы с обрывками провода. Что-то железное под навесом, длинное, с колёсами, — станок? прицеп? Отсюда не разобрать. И надпись — белая, на воротах сарая, служебная, немецкая, такая же по виду, как та, что Профессор читал на будке с холма.

— Стой, — сказал я Артисту.

Колонна встала, не доезжая, на дороге, как договаривались. Фрол с тягача прыгнул, посмотрел на двор — долго, как смотрел на всё, — и сказал: «Мелехинские — по полю, кругом. Я — к воротам. Ждите», — и ушёл, и они ушли, и мы ждали двадцать минут, и я сидел в кабине и смотрел на этот двор, на бочки, на кузов с открытой дверью, на надпись, — и во мне поднималось то, что я знал за собой: желание сказать «нашли».

Я его не сказал. Я его думал. Я сидел и думал: вот она. Вот стоянка, про которую Профессор говорил с первого дня: точка, где они брали горючее, — бочки; куда свозили — кузов; их надпись — их. Сержант из ремонтников видел, как утром машины уходили от города на запад, — значит, ушли, значит, двор пустой, — и всё, что здесь стоит, теперь наше. Кузов с будкой — вторая мастерская. Станок под навесом, если это станок. Бочки, если в них что-то есть. Я это всё уже считал, как считаю груз на площадке, и уже видел, как Дед заходит в этот кузов и что у него будет за лицо.

Фрол вернулся и сказал: «Пусто. Никого. Следы колёс — вчерашние, дождём прибитые, не меньше пяти машин, ушли западным выездом. Мелехинские обошли — за двором поле, за полем кусты, в кустах никого. Двор — заходите», — и мы заехали, и я вылез первым, и пошёл к кузову, и Дед пошёл за мной, и я видел, что он идёт быстрее меня.

* * *

Кузов был мастерский. Настоящий: полки, верстак вдоль стены, кронштейны, крючья под инструмент, окно, дверь. Больше нашей будки в полтора раза. Я вошёл, и Дед вошёл за мной, и мы стояли, и он молчал, и я ждал, что он скажет то, что сказал на холме над первым двором: «верстак, который не качается».

Он не сказал. Он подошёл к верстаку, на котором лежала одна вещь — единственная вещь на всём верстаке, — и взял её.

Дрель. Ручная, с рукояткой, с шестернёй, — та самая, какая была у нас в будке, только больше. Он взял её, повернул, посмотрел на конец, где должен быть патрон — та часть, что держит сверло, — и показал мне. Молча.

Патрона не было. Был голый вал, с резьбой, чистый, — патрон сняли. Не отломали — сняли, аккуратно, ключом.

— Ну, дрель, — сказал я. — Одна. Может, патрон на ней и не стоял. Может, хлам.

— Может, — сказал Дед. И положил дрель обратно. И пошёл вдоль полок.

Вот тут я увидел то, что он увидел раньше меня, — потому что он смотрел не на то, что есть, а на то, чего нет.

На кронштейнах вдоль стены — там, где должны висеть ключи, — ключей не было. Ни одного. Кронштейны были, крючья были, и на каждом — светлое пятно на грязной стене, там, где висело. На полках — те же светлые пятна: прямоугольники, чистые, среди пыли и грязи, — там, где стояли ящики. Не один и не два — по всей полке, ровно, один за другим, как стояли. Под верстаком — пустые скобы, где крепился большой ящик, и на полу — чистый квадрат. Лампа переносная — нет, только крюк. Тиски — нет, только четыре дырки в верстаке от болтов.

— Смотри, — сказал Дед. Он не злился — он показывал. — Дрель — одна. Дрель — это может быть хлам, ты прав. Но вот это, — он провёл рукой по кронштейнам, — это не хлам. Это — сняли. Всё, что можно снять и унести, — сняли. По порядку. Не в спешке, не как во дворе с сараем, где напильники бросили на бревно, — а по порядку: ключ за ключом, ящик за ящиком, тиски открутили, лампу сняли с крюка. Оставили — что? Дрель без патрона. Потому что дрель без патрона — не инструмент. Кузов — потому что кузов не унесёшь. Бочки — я их посмотрю, но я тебе скажу, что в них.

— Что?

— Ничего. Или вода. Или то, что в тягаче было, — грязь. Полные бочки они бы увезли.

Я стоял в пустом кузове, который две минуты назад считал второй мастерской, и слушал, и во мне то, что поднималось, — «нашли», — опускалось. Не с досадой. Со странным, я бы сказал, уважением.

— Это не брошено, — сказал я. — Это вывезено.

— Вывезено, — сказал Дед. — Тем, кто знал, что вывозить. Механиком, не солдатом. Солдат бы взял дрель, потому что она красивая, и бросил бы тиски, потому что тяжёлые. А этот — взял тиски, потому что тиски нужны, и оставил дрель, потому что без патрона она — железка. — Он ещё раз обвёл кузов глазами. — Хороший механик. Жалко, что не наш.

Профессор в это время стоял у ворот сарая и читал надпись. Он читал её так же, как читал с холма, — прищурившись, шевеля губами, — и когда мы вышли из кузова, сказал, не оборачиваясь:

— Их. Та же контора. Те же буквы и номер, что на будке и в накладных с первого «Опеля». — Он опустил руку. — Это — их точка. Была. Из тех двух, что в бумагах. Я не гадаю — я читаю.

— Значит, след был правильный, — сказал я.

— Правильный, — сказал Профессор. — Просто мы пришли по нему на день позже, чем они ушли. След — не ошибка. Ошибка — думать, что в конце следа что-то ждёт.

Снаружи Фрол уже был у западной стороны двора — там, где двор кончался и должен был быть выезд, дальше, на запад, — и когда мы вышли, он подошёл.

— Выезд на запад — вон, — сказал он. — Между канавой и изгородью. Узко: одна машина, и то с краю. За изгородью — что? Не вижу. Дорога уходит в кусты, за кустами — не знаю. Мелехинские прошли по полю до кустов: до кустов чисто, дальше не ходили, я не велел. — Он посмотрел на меня. — Если ты хочешь ехать дальше на запад, по их следу, — этим выездом я колонну не поведу. Не потому, что там кто-то сидит. Я не знаю, сидит или нет. Потому что я не вижу, куда он ведёт. Узко, канава, изгородь, кусты. Хочешь — пойдём пешком, посмотрим, что за кустами. Час. Не хочешь — мы туда не едем.

— Не хочу, — сказал я.

Фрол посмотрел на меня с некоторым удивлением.

— Не хочу, — повторил я. — Потому что ехать туда незачем. Где там база — неизвестно. Здесь её нет — Дед показал. А след колёс, что уходит на запад через узкий выезд, — это след того, кто её вывез, и он ушёл вчера, и куда — мы не знаем. Ехать за ним по кустам вслепую — это не найти базу. Это потерять машину.

— Вот это правильно, — сказал Фрол. — Я боялся, ты скажешь «поедем».

— Я хотел сказать, — признался я. — Пять минут назад. Когда с дороги смотрел. Я уже считал, что нам достанется.

— Я видел, — сказал Фрол. — У тебя было лицо, как у Деда над тягачом.

— Было, — сказал я, и мы оба засмеялись, и это было хорошо: не потому, что я ошибся, а потому, что вовремя перестал.

* * *

Мелехина я нашёл у бочек — он стоял и смотрел, как Князь их простукивает, и Князь стучал по каждой и говорил «пустая», «пустая», «вода», «пустая», и Дед сказал «я же говорил», и Князь ответил «я проверяю, а не спорю».

— Николай, — сказал я. — Ещё раз про двадцать восьмое. При Профессоре.

Профессор подошёл с листком — с тем, где он записал Мелехина ещё во дворе с тягачом, — и Мелехин повторил. Он повторил почти слово в слово, и я это отметил: не потому, что заучил, а потому, что говорил только то, что видел, а это не меняется от пересказа. Утро двадцать восьмого. Дорога западнее Глуска, на запад. Лес, опушка, они лежат. По дороге — грузовики, с закрытыми кузовами, будками; в открытую дверь одного — ящики. Пять или шесть, по две-три. Час. Потом ушли.

— А вот теперь один вопрос, — сказал Профессор. — Вы видели начало или конец? То есть — когда вы легли, они уже шли? Или пошли при вас?

Мелехин подумал.

— Уже шли. Когда мы вышли к опушке — первые две уже проходили. Мы легли. Потом — ещё. Потом — ничего. Мы ждали ещё полчаса, потом ушли.

— Значит, до вас — могли быть ещё.

— Могли.

— И после — нет, полчаса. Но через час — могли.

— Могли, — сказал Мелехин. — Я видел час.

— Спасибо, — сказал Профессор. — Это важно. — И повернулся ко мне. — Теперь — что я думаю, отдельно. У нас есть три вещи. Бумаги с будки: точки, где они брали горячее и куда свозили, — две на запад по нашему направлению, одна из них — вот эта, я почти уверен, надпись на воротах — их. Мелехин: двадцать восьмого утром, западнее Глуска, пять-шесть машин с будками, на запад, — он видел час, до и после могло быть ещё. Сержант у ремонтников: сегодня утром, западнее Слуцка, пять машин с будками, на запад, от города. — Он поднял палец. — Вот что я не буду говорить: что это одни и те же пять машин. От Глуска до Слуцка два дня, и это могли быть те же — а могли быть другие. У них не одна пятёрка с будками, у них,

по бумагам, была сеть. Я не знаю, одна это колонна или две. Что я скажу: и те, и другие шли на запад. Обе точки, что в бумагах, они уже прошли: Глуск — прошли, эта — прошли, вывезли. Значит, свозят они не сюда. Дальше. На запад. Куда — не написано нигде, и никто не видел.

— Дальше на запад, — повторил я.

— Дальше — это Несвиж, Барановичи, — сказал Профессор. — Но это я не говорю. Это я на карте смотрю. Говорить — нечего.

— Пока нечего, — сказал я.

Я огляделся. Двор был занят: люди — наши, мелехинские, новые — ходили между сараями и смотрели, что осталось, и кое-кто уже что-то нёс: моток провода, какой-то бак, доски. Щуплый вынес из сарая коробку с чем-то и нёс её к будке, и старший ремонтник разглядывал под навесом то длинное, с колёсами, — это оказался не станок, а разобранный прицеп, колёса лежали рядом с рамой, — и Артист сидел на бочке и наблюдал за всем этим с видом человека, который ждёт, когда можно будет рассказать, как это выглядело.

— Стоп, — сказал я. Не громко — но услышали все. — Всё, что несёте, — кладите назад. Не потому, что нельзя, — потому, что незачем. Это — не наше и не нужно нам. У нас есть будка, и в ней — всё, что нам нужно, полное, своё, из двора с ящиками. Мы за этим не ездили. Что тут осталось — придут те, кто собирает имущество, запишут, увезут. Их работа. Наша — свежий след, и его здесь нет. Он уехал вчера, на запад, и я не собираюсь искать его в коробке с проводом.

Щуплый поставил коробку. Старший ремонтник отошёл от рамы, — с сожалением, я видел, но отошёл. Артист сказал: «Я и не брал», — и Князь, стоявший у пустых бочек, сказал: «А я и не собирался», — и все посмотрели на него, и он добавил: «Я проверял».

Я посмотрел на пустой кузов, на пустые кронштейны, на бочки, на след колёс, уходящий через узкий выезд в кусты, — и подумал о человеке, который это сделал. Не о Хеннинге — я не знал, он ли; о механике, который снял тиски и оставил дрель. Это была хорошая, умелая работа. Они не бежали. Они уходили — и забирали с собой то, что делает мастерскую мастерской, и оставляли то, что делает её похожей на мастерскую. И если так уходили здесь — так уходили и там, куда они свозили всё. Значит, там, в конце, будет не свалка, а хозяйство. Собранное. Работающее. Стоящее того, чтобы за ним ехать.

— Григорий, — сказал я. — Если бы ты уходил и мог взять только то, что унесёшь, — ты бы взял что?

— То же, что он, — сказал Дед, не задумываясь. — Ключи, измерительный, тиски, лампу. Дрель — если с патроном.

— Значит, у них там, куда всё свозят, — ключи, измерительный, тиски и лампы. Со всех точек. Собранные.

— Значит, — сказал Дед, и глаза у него стали такие, какие бывали над тягачом. — И станки, если станки были. Станок — не унесёшь, но на грузовике увезёшь, если грузовик есть. У них есть.

— Вот это, — сказал я, — и есть база. Не двор с надписью. То, куда всё это едет.

— Я это и говорил, — сказал Профессор. — Только я говорил «не знаю куда».

— И не знаем, — сказал я. — Пока.

* * *

Стоять на ночь решили здесь.

Двор был большой, огороженный, с сараями, где можно укрыть машины от дождя, если пойдёт, и с выездами, которые Фрол мог закрыть двумя постами и ДП, — и до Слуцка шесть километров, до своих, и дорога проверена, и это было лучше, чем искать другое место в темноте. Фрол расставил людей, Князь устроил еду, Дед загнал будку под навес и первым делом снял с её борта доску, которой Князь накануне всё-таки заделал дырки от пуль, посмотрел на дырки, покачал головой и поставил обратно.

И за едой, разумеется, заговорили про двор.

Начал, как всегда, Артист — но не с байки, а с вопроса:

— Григорий. Вот скажи как механик. Дрель без патрона. Её же можно починить? Патрон — это же не мотор. Найти патрон, накрутить...

— Можно, — сказал Дед.

— Так почему не взять?

— Потому что патрон к ней — немецкий, с их резьбой, и я его не найду, а точить мне не на чем. А если найду — у меня будет дрель. Одна. У меня в будке — две, обе с патронами. Зачем мне третья, к которой я месяц буду искать патрон?

— Ну, про запас.

— Семён, — сказал Дед, и в голосе у него появилось то, чего я ждал весь вечер, — обида. Не на Артиста — на двор. — Ты понимаешь, что они сделали? Они оставили мне дрель. Мне. Механику. Как... — он поискал слово, — как собаке кость. Вот, мол, тебе, приедешь — обрадуешься, покрутишь, повертишь, и полдня потеряешь, пока поймёшь, что патрона нет. Это не брошено. Это оставлено. Чтобы я взял. Это — приманка.

— Это ты так думаешь, — сказал Профессор осторожно. — Что специально.

— Я так думаю, — согласился Дед. — Я не знаю. Может, он просто не стал брать без патрона. Но я тебе скажу как мастер: если бы я хотел, чтобы тот, кто придёт после меня, обрадовался и потерял день, — я бы оставил ему ровно это. Дрель. На верстаке. Одну. На видном месте.

— И бочки в ряд у ворот, — сказал Фрол. — Чтобы с дороги видно.

— И кузов с открытой дверью, — сказал Князь.

— И надпись, — сказал Профессор.

Они посмотрели друг на друга.

— Ну, приманка, — сказал Фрол. — Или нет. Какая разница? Мы не клюнули.

— Я клюнул, — сказал я.

Все повернулись.

— Я клюнул, — повторил я. — С дороги. Я увидел бочки, кузов, надпись — и посчитал, что нам достанется. За пять минут посчитал всё: и кузов, и станок, которого нет, и что Дед скажет. Я уже видел, как мы это грузим. Потом Дед взял дрель.

— И что? — спросил Артист.

— И то, что я перестал считать. — Я пожал плечами. — Вот и всё. Клюнул, и перестал. Это не подвиг. Это Дед с дрелью и Фрол с выездом.

— Ты сам перестал, — сказал Дед. — Я только показал.

— Это я уже говорил, — заметил Фрол. — У первого двора. Про «погоди».

— Ты говорил — я повторяю, — сказал Дед. — Потому что правда. Он останавливается. Не сразу — но останавливается. Я таких командиров видел, которые не останавливаются. — И, помолчав, потому что не мог не сказать: — А дрель всё-таки жалко. Хорошая была дрель. Была бы.

Стол засмеялся, и Дед тоже, и обида ушла — не совсем, но ушла в то место, куда у него уходило всё, что не касалось мотора.

— А у нас на посту, — сказал Мелехин, — было так. Стояли мы в одной деревне, и немцы, отходя, оставили в хате на столе патефон. Хороший. С пластинками. Ребята обрадовались — патефон! — а старшина наш говорит: не трогать. Полдня не трогали. Потом сапёры пришли, посмотрели — ничего под ним, обычный патефон. Просто бросили. — Он помолчал. — Так что приманка или нет — это потом узнаёшь. А сначала — не трогать. Это правильно было, товарищ старший лейтенант, что вы сказали «кладите назад». Не из-за мин. Из-за того, что не трогать — всегда правильно, пока не знаешь.

— И что патефон? — спросил Артист.

— Играл, — сказал Мелехин. — Две недели. Потом пластинки кончились — те, что были, все выучили наизусть. Старшина сказал: «Вот теперь это точно приманка», — и отдал в санбат.

— Вот это рассказ, — сказал Артист с уважением. — Николай. Ты садись ближе. У нас тут по вечерам — вот такое.

— Я заметил, — сказал Мелехин и сел ближе.

Колосов, сидевший у будки, спросил у Деда — левой рукой держа кружку, — можно ли ему завтра попробовать ключом, не только подавать, и Дед сказал: «Левой — можно. Тонкое — нет», — и Колосов сказал: «Тонкое я и правой не умею», — и Дед посмотрел на него внимательно и сказал: «Научу. Не завтра», — и это, по-моему, было главное, что Колосов услышал за день.

— Вот что мне нравится, — сказал Артист, глядя на пустые бочки у ворот, серые в сумерках. — Мы приехали на пустой двор — и нам хорошо. Другие бы приехали на пустой двор и сидели бы, как на похоронах. А у нас — стол, Князь, дрель без патрона, и командир говорит «я клюнул». Я это запомню. Это будет рассказ.

— Это не будет рассказ, — сказал Князь. — Это будет стол.

— Это будет и то и другое, — сказал Профессор, — если вы, наконец, договоритесь, где кончается одно и начинается другое.

И это было, по-моему, лучшее, что можно было сказать о нашем вечере на пустом дворе.

Я отошёл к будке — писать. Связи здесь не было: ни своего пункта, ни поста автомобильной службы, — ближайший действующий свой узел был у западной окраины Слуцка, километрах в пяти назад по той же дороге, и туда надо было ехать, и ехать — сегодня, пока светло, потому что июньский вечер длинный, а завтра утром мы отсюда, скорее всего, уйдём. Донесение для Чумакова я писал при лампе на верстаке будки, и писал так, как Профессор учил меня, сам того не зная: отдельно — что видели, отдельно — что думаем.

Видели: стоянка западнее Слуцка, шесть километров, по бумагам — их точка; пуста; переносное имущество вывезено систематически, оставлен кузов без оборудования и пустые бочки; след колёс на запад через узкий выезд, вчерашний; у ремонтного двора восточнее Слуцка сержант видел утром пять машин с будками, уходящих на запад от города; сержант Мелехин видел двадцать восьмого утром западнее Глуска пять-шесть таких же, на запад.

Думаем: свозят дальше на запад, за обе известные точки; куда — не знаем; нужно свежее местное наблюдение впереди, на западном направлении, своих частей, которые идут первыми.

Не думаем — но пишу, потому что спросят: приманка ли. Не знаем. Дед считает, что похоже. Я считаю, что неважно: пустой двор — это пустой двор.

Я перечитал. Это было честно, и это было мало, и это было всё, что у нас было.

Везти — сейчас. Кому — я решил тут же: сам. На ЗИСе с Артистом, с Профессором, потому что на узле могут быть люди, которые что-то видели, а Профессор умеет отделять «видел» от «слышал» лучше меня, и с двумя стрелками. Пять километров туда, пять обратно, по дороге, которую мы прошли три часа назад. Фрол — здесь, с парком и людьми. Бумага уйдёт, и, может быть, что-нибудь вернётся: не бензин на этот раз, а слово. Свежее. От тех, кто видел.

Я сложил листок и убрал в планшет, и погасил лампу, и вышел из будки, и пошёл искать Артиста.

Люди укладывались во дворе, где вчера ещё кто-то снимал тиски с верстака. Шесть машин стояли под навесом и у сараев. Парк не вырос — и это было правильно: нам нечего было здесь взять, и мы ничего не взяли. Мы взяли только то, что стоило взять: что база — не здесь, что она собрана, что она едет на запад и что за ней едут люди, которые умеют уходить.

И что искать её надо не по бочкам у ворот. По людям, которые видели, как она едет.

Глава 16. «Связь через людей»

Профессор прочёл моё донесение дважды, при лампе, и на второй раз взял карандаш.

— Одно слово, — сказал он. — Вот тут: «приманка ли — не знаем». Я бы убрал. Не потому, что неправда. Потому что майор прочтёт «приманка» и будет думать про приманку, а не про то, что двор пустой и след на запад. Слово занимает место, а места в донесении мало.

— Дед обидится.

— Дед не читает донесений майору, — сказал Профессор. — А если прочтёт — я ему объясню, что это я вычеркнул, и он обидится на меня, а мне это не страшно.

Я вычеркнул. Осталось три строчки «видели» и две «думаем», и это было ровно столько, сколько узел связи передаст без ошибок, а майор прочтёт, не откладывая.

— И ещё, — сказал Профессор. — Вот тут, в «думаем»: «свозят дальше на запад». Я бы добавил: «по обеим известным точкам прошли». Не потому, что это новое, — потому, что майор не был ни на первой точке, ни на этой. Он видел бумагу. Он должен понять, что бумага кончилась. Что след из бумаги — весь. Дальше — только люди.

— «Дальше — только люди», — повторил я. — Так и напиши.

— Так не пишут в донесениях.

— Напиши так, как пишут. Но чтобы он понял это.

Профессор подумал и написал: «Обе точки из документов пройдены противником; дальнейшее направление документами не подтверждается; требуется свежее наблюдение». Это было то же самое, только по-казённому, и это было правильно.

Дед, когда я сказал ему, что еду, не поднял головы от рессоры второго ЗИСа.

— Езжай. Я тут. — Потом всё-таки поднял. — Ты только не обещай там никому ничего от моего имени. Ни про тягач, ни про будку. Я знаю, ты любишь обещать.

— Не буду.

— Будешь. Но я предупредил, — сказал Дед, и это было почти слово в слово то, что Фрол сказал мне на холме над первым двором, и я подумал, что эти двое, кажется, уже обсуждали меня между собой, и что это, в общем, хорошо.

— Едем, — сказал я.

Ехали на первом ЗИСе — Артист за рулём, я рядом, в кузове Профессор и двое стрелков, которых назначил Фрол: тот, с хорошими глазами, и второй, из мелехинских, потому что Фрол сказал: «Пусть привыкают ездить с нашими». Фрол остался во дворе с парком и людьми, и я видел, как он расставляет посты на ночь, и знал, что к нашему возвращению двор будет таким, каким мы его оставили. Дед — с машинами, как и сказал.

Пять километров назад, к Слуцку, по той же дороге, по которой мы три часа назад ехали сюда, — только теперь она шла на восток, к городу, и солнце было за спиной, и поле по сторонам лежало жёлтое, и на нём, далеко, кто-то шёл — свои, по одному, вдоль опушки, — и я подумал, что этот день начался с бочек у пилорамы и вот уже кончается, а я всё ещё еду.

— Устали, товарищ старший лейтенант? — спросил Артист.

— Нет.

— Я тоже нет. Это, я вам скажу, странно. Я за день проехал столько, сколько в бригаде за неделю, и перелесок этот, и торф, и Слуцк, — и не устал. — Он подумал. — Наверное, потому, что каждый раз было — куда. Устаёшь, когда некуда.

— Наверное, — сказал я.

* * *

Их мы увидели через два километра, у столба.

Столб был телефонный, старый, с новыми проводами — я видел, как связисты в городе тянули катушку, и вот, значит, дотянули, — и у столба стояли двое: связист с катушкой на спине, аппаратом и винтовкой, и она. Без мотоцикла. В тех же сапогах, с тем же планшетом, с полевой сумкой, — стояла и смотрела на дорогу так, как смотрят люди, которые ждут попутной и не уверены, что она будет.

— Стой, — сказал я Артисту, и он уже тормозил.

Она подошла к кабине сама. Не обрадовалась — узнала, и это было видно, и не показала, и это тоже было видно.

— Старший лейтенант Ракитин. Вы всё время оказываетесь на моей дороге.

— Дорога одна, товарищ лейтенант. На ней все оказываются.

— Это правда, — сказала она. — Тогда так. У меня — вот. — Она тронула сумку. — Донесение моего начальника на узел: участок проводной связи восстановлен, вот от того столба до вот этого, мы его сегодня прошли пешком, весь, с проверкой. Узел — у западной окраины, три километра отсюда. Мне туда — сдать и получить ответный пакет, начальник ждёт его к ночи. Транспорта у меня нет: мотоцикл — на другой задаче, с водителем, вернётся утром. Мы шли пешком по линии, и до узла дойдём пешком за час, и обратно — за час, и это будет полночь. — Она посмотрела на кузов. — А вы едете туда же.

— Туда же.

— Тогда у меня вопрос: у вас есть два места? Мне и связисту, до узла. Обратно — не надо, обратно от узла я найду, у них там ходят машины к нашим. До узла — час пешком или десять минут у вас. Я не прошу. Я спрашиваю.

— Есть, — сказал я. — Два места. В кузове, потому что в кабине одно, и оно моё. Профессор подвинется.

— Профессор подвинется, — подтвердил Профессор из кузова.

— Хорошо, — сказала она. И связисту: — В кузов. Катушку — к борту, чтоб не каталась. — И полезла сама, через борт, как лезут люди, которые лазают через борта каждый день, и связист за ней, и Артист тронул, и я сидел в кабине и слышал через заднее стекло, как Профессор говорит: «Садитесь сюда, тут ящик, он не скользит», — и как она говорит «спасибо», и как связист, молодой, спрашивает у стрелка с глазами: «А вы — те, что с тягачом?» — и стрелок отвечает: «Мы», — с такой гордостью, будто тягач — его.

Три километра — это десять минут, и я не оборачивался, потому что оборачиваться было незачем и потому что мне этого хотелось.

Зато я слушал. Я опустил дверное стекло, а говорили в кузове не тихо — на ходу тихо не говорят.

— Двенадцать километров, — говорила она Профессору. — От штаба до этого столба. Пешком, вдоль линии, с проверкой на каждом столбе. Связист лезет, я снизу держу аппарат, он кричит «есть», я записываю. Столб за столбом. Это — восстановленный участок. Это — то, что я везу.

— Весь участок пешком — это работа, — сказал Профессор.

— Это работа. Но не моя. Моя — довести бумагу о том, что она сделана, чтобы штаб знал, что линия есть, и не посылал связных пешком. — Она помолчала. — Вот вы ищете машины. А я ищу, чтобы люди не ходили пешком там, где можно позвонить.

— Это одно и то же, — сказал Профессор. — Мы тоже ищем, чтобы не ходили пешком. Только у нас — колёса, а у вас — провод.

— Похоже, — согласилась она, и я слышал, что ей это понравилось.

А потом связист спросил у стрелка с глазами, правда ли, что тягач восьмитонный, и стрелок сказал «правда», и связист спросил, а тянет ли он восемь тонн, и стрелок, подумав, сказал: «Не знаю. Дед не давал. Дед сказал — по твёрдому и порожний», — и Профессор сказал: «Восьмитонный — это класс, а не вес. Это не его собственный вес и не обещание вытащить восемь тонн из любой ямы. Дед смотрит по месту», — и связист сказал: «А-а», — и стрелок сказал: «Вот и я так же сказал», — и она засмеялась, и я в кабине тоже, и Артист посмотрел на меня и ничего не сказал.

Узел был — дом. Обычный дом на западной окраине, целый, с проводами, сходящимися к окну, с двумя машинами у ворот, с часовым и с тем особенным движением людей вокруг, которое бывает там, где сходятся провода: кто-то входит с бумагой, кто-то выходит с бумагой,

кто-то курит у крыльца и ждёт. Мы встали у ворот. Она спрыгнула первой, и связист за ней, и она сказала мне: «Спасибо. Десять минут — это час», — и пошла в дом, и я пошёл за ней, потому что мне тоже было в дом, и это было не потому, что я шёл за ней.

Внутри был дежурный — капитан, немолодой, с телефонной трубкой в руке и с лицом человека, который сегодня слышал всё, — и она доложила первой, потому что вошла первой, и отдала пакет, и капитан посмотрел, расписался, сказал: «Ответный — через полчаса, ждите», — и повернулся ко мне.

Я доложил. Отдал донесение. Сказал, кому: майору Чумакову, автомобильный отдел армии, по его линии.

Капитан прочёл — быстро, глазами, — и посмотрел на меня.

— Автоотдел? Ракитин? Это про вас говорили — с тягачом?

— Про нас.

— Приму, — сказал он. — Передам по линии, к ночи уйдёт. Когда майор получит — не скажу: у него своя линия, я на неё кладу, дальше — не моё. Получит — вы узнаете от него, не от меня.

— Понял.

— И вот что. — Он положил донесение на стол. — Никаких сведений я вам сверх этого не дам. Не потому, что жалко. Потому что у меня их нет: я узел, я передаю, я не знаю, что где. Если вам нужно что-то знать — это к вашему майору, по вашей линии. Ясно?

— Ясно, — сказал я. И это было правильно, и я на это не обиделся: узел есть узел. Он передаёт.

Пока капитан читал, в доме звонил телефон — не один, три, на столе, и капитан брал трубки по очереди и говорил в них коротко, по-разному: одной — «принял», другой — «повтори», третьей — «нет, это не ко мне», — и между трубками читал моё донесение, и я подумал, что вот так оно и устроено: не «штаб знает всё», а человек с тремя трубками, который кладёт мою бумагу поверх чужой и говорит «к ночи уйдёт». Связь через людей. Я это знал по той жизни — у меня был диспетчер, и он был точно такой, только трубка одна, — и всё равно каждый раз удивлялся.

Мы вышли на крыльцо — я и она — и стояли, и ждали: она — своего пакета, я — того, чтобы дежурный расписался в приёме и отдал мне корешок. И вот тут к нам подошёл человек, которого я не ждал.

* * *

Это был старик. Не совсем старик — лет шестидесяти, — в фартуке, с руками, которые я узнаю в любой толпе, только эти были не по железу, а по дереву: колёсный мастер, из тех, что делают и чинят тележные колёса, — и он жил, как выяснилось, через дорогу от узла, и весь день смотрел на то, как у дома с проводами ходят военные, и слушал, о чём они говорят, — и услышал, как связист с катушкой в кузове нашего ЗИСа спросил про тягач, и как стрелок ответил, и как кто-то сказал «немецкие машины ищут», — и подошёл.

Он подошёл не ко мне — к Профессору, который вылез из кузова размять ноги и стоял у ворот. Старик посмотрел на него, на его погоны, и спросил: «Вы — немецкие машины ищете? Которые с ящиками?» — и Профессор сказал: «Ищем», — и старик сказал: «Я видел», — и Профессор, не оборачиваясь, позвал меня.

Я подошёл. Анна — тоже, и стояла чуть в стороне, и слушала, и я это заметил и не возражал: это было не секретное, это был старик, который что-то видел.

— Расскажите, — сказал Профессор. — Что видели. Когда. Где.

Старик рассказал. Он говорил медленно, по-местному, с оборотами, которых я не буду воспроизводить, но смысл был такой. Сегодня на рассвете — «ещё до солнца, я корову выгонял», — на дороге, что от города на запад, у самого выезда, где его мастерская, стояли две машины. Немецкие. «Закрытые, как будки, не с бортами». Возле них — люди. Не солдаты —

то есть солдаты, но не с винтовками: в рабочей одежде, замасленной, «как у нашего кузнеца», — человек шесть. Они грузили. Что грузили — ящики, длинные, тяжёлые, «по двое несли», из сарая рядом, где, старик знал, немцы что-то держали последнюю неделю, а что — он не заглядывал. Погрузили — минут за двадцать, — сели и поехали. На запад. По дороге. «Не быстро, как гружёные».

— Сколько ящиков? — спросил Профессор.

— Не считал. Десять? Больше? Много. Сарай выгребли.

— Люди — в какой одежде? Точно рабочей?

— Точно. Я на руки смотрел — руки чёрные. И один — с ключом за поясом, большим, я такой видел у трактористов до войны. Не солдат. Мастеровой.

— Машины — какие? Номера, надписи?

Старик пожал плечами.

— Машины как машины. Серые. С будками. Я по машинам не понимаю — я по колёсам. Колёса у них хорошие, я это заметил. Больше ничего.

— Куда поехали — видели?

— На запад, по дороге. За поворотом — не видно. Дорога там на Несвиж идёт.

— Вы видели, что на Несвиж? Или дорога туда идёт?

Старик посмотрел на него.

— Дорога туда идёт, — сказал он честно. — А куда они доехали — я не видел. Я корову выгонял.

— Спасибо, — сказал Профессор. — Это — что видели. Теперь — что слышали. Вы что-нибудь слышали — от людей, от солдат — про эти машины?

— Слышал, — сказал старик охотно. — Говорят, у них там, у Несвижа, вся база стоит. Целый завод на колёсах. Так солдат один говорил, утром, у узла.

— Какой солдат?

— Проходил. Не знаю какой.

— Он это видел или ему рассказали?

Старик задумался.

— Ему, наверное, рассказали, — сказал он. — Он говорил «говорят».

— Вот, — сказал Профессор, и повернулся ко мне. — Видел: две машины с будками, шесть человек в рабочей одежде, ящики из сарая, на рассвете, на выезде из города, поехали на запад по дороге, которая идёт на Несвиж. Слышал: «говорят, у Несвижа вся база». Первое — в донесение. Второе — нет.

— Почему нет? — спросил старик, чуть обиженно.

— Потому что вы это не видели, — сказал Профессор мягко. — А то, что видели, — важнее. Вы видели, как мастеровые грузят ящики и уезжают. Это никто, кроме вас, не видел. А «говорят, у Несвижа» — это говорят все. Это ничего не стоит. Ваше — стоит.

Старик подумал и, кажется, остался доволен.

— Ключ у него за поясом был, — сказал он. — Это я точно видел. Большой.

— Это тоже запишу, — сказал Профессор, и записал.

Я стоял и думал о том, что старик увидел то, что мы искали два дня, — не базу, а то, как она едет: не колонной с охраной, а вот так — две машины, шесть мастеровых, ящики из сарая, на рассвете, пока город ещё не наш. Не бежали — грузили. Двадцать минут. И на запад, по дороге, которая идёт на Несвиж, — и это не значило, что они в Несвиже, но значило, что они едут в ту сторону, и что сегодня они грузились здесь. На прежних точках тоже забрали переносное имущество. Одни ли и те же это были люди — мы ещё не знали; но следовало проверить, не свозят ли они свои ящики вместе.

— Пётр, — сказал я. — Допиши в донесение. Время, место, направление. И «мастеровые».

— Уже, — сказал Профессор, и пошёл в дом, к капитану, дописывать.

Анна стояла рядом и смотрела на старика, который уходил через дорогу к своей мастерской, и сказала:

— Он вам сам подошёл.

— Сам.

— Это редко. Обычно людей надо спрашивать. А он услышал и подошёл. — Она помолчала. — У вас, наверное, так часто. Люди подходят.

— Часто, — сказал я. — Потому что мы всё время что-то ищем, и это видно.

— Это видно, — согласилась она.

* * *

Её пакет вышел раньше моего корешка, и она могла уйти — у ворот стояла машина, что шла к её полку, и её ждали, — и она не ушла. Она стояла на крыльце, с пакетом в сумке, и ждала, пока Профессор допишет, а капитан распишется, и я это видел, и понимал, что она ждёт не корешка.

— Двенадцать километров пешком, — сказал я, пока ждали. — Я слышал, вы рассказывали Профессору.

— Двенадцать, — подтвердила она. — Последние три, до узла, вы мне сэкономили. — Она помолчала. — Это хороший день. У меня. Линия есть. Штаб завтра будет звонить, а не посылать людей. Я это сделала не одна — связисты тянули, я только проверяла, — но проверила я, и бумага — моя. Я это говорю не для того, чтобы вы оценили. Я говорю, потому что вы весь день делали своё, и я хочу, чтобы вы знали: я тоже.

— Я знаю, — сказал я. — Я вас в первый раз увидел за делом. В палатке. Вы у майора добились «до восьми утра». Я тогда подумал: вот человек, который умеет спрашивать.

— А потом подумали?

— А потом подумал другое, — сказал я честно. — Но сначала — это.

— Сначала — это, — повторила она. — Хорошо. Мне это важно. Что сначала.

— Товарищ старший лейтенант, — сказала она, когда Профессор вышел, и капитан вышел, и я получил свою бумажку, и всё было кончено. — Я вчера сказала: когда будет свободный вечер. Вы сказали: найдёте. Я хочу знать точнее. Не когда. Что должно случиться, чтобы он был.

Я подумал. Я мог сказать «не знаю», и это была бы правда. Но она спрашивала не про «когда», а про «что», и на это ответ был.

— Мы ищем базу, — сказал я. — Немецкую, ремонтную, на колёсах. Мы её найдём — я не знаю когда, но найдём, потому что она едет, а мы едем за ней. Когда найдём — её будут брать. Не мы одни — но мы. И когда возьмут — вот тогда. Не раньше. Раньше я не смогу: я буду думать про неё, а не про вечер, и вам это не понравится.

— Не понравится, — согласилась она.

— Значит — после. После дела. Как только оно кончится и как только ваша служба позволит. Не «когда-нибудь». После этого дела.

Она посмотрела на меня. Долго — так, как смотрела в первый раз в палатке у Чумакова, оценивающе, только теперь оценивала не то, придётся ли иметь дело, а что-то другое.

— После дела, — сказала она. — Хорошо. Это я понимаю. Это — не «когда-нибудь». — Она помолчала. — А если дело затянется?

— Тогда затянется. Но не отменится.

— Не отменится, — повторила она. И вдруг улыбнулась — не коротко, как обычно, а по-настоящему. — Знаете, что мне нравится? Что вы не сказали «через три дня в шесть вечера». Вы бы могли. У вас лицо такое, что вы могли. Вы бы сказали «в шесть», и я бы пришла, а у вас в шесть был бы тягач, и вы бы стояли с рукой.

— Мог, — признался я. — Я хотел. Я уже считал: сколько до Несвижа, сколько там, сколько обратно...

— Не надо считать. — Она сказала это просто. — Я не хочу, чтобы вы считали. Я хочу, чтобы вы пришли, когда сможете, и рассказали. Про руку. Про тягач. Про то, что будет. Всё. У меня будет вечер — я его найду. У вас будет — вы найдёте. Договорились?

— Договорились.

— Это не клятва, — сказала она. — Я не люблю клятв. Это — договорённость. Как с майором: до восьми утра — здесь. После дела — встреча.

— Как с майором, — сказал я, и она засмеялась, и я тоже, и связист у машины посмотрел на нас с любопытством, и мы оба это заметили и не стали делать вид, что не заметили.

— Мне ехать, — сказала она. — Пакет. Начальник ждёт к ночи. — Она посмотрела на ЗИС, на Артиста в кабине, на Профессора, который делал вид, что читает свои записи при свете из окна. — У вас хорошие люди. Ваш сержант со стариком — это было хорошо. Он его не обидел и взял, что нужно.

— Он умеет.

— Я вижу. — Она протянула руку. — До встречи. После дела.

— После дела.

Я пожал руку — сухую, крепкую, с мозолью на ладони от планшетного ремня, — и она пошла к машине, и связист за ней с катушкой, и они сели, и машина ушла к её полку, на восток, в темнеющий город, — и я стоял на крыльце узла и смотрел вслед, и в этот раз не думал о том, кто на меня смотрит.

Смотрел, впрочем, Артист. И Профессор. И оба стрелка. Я это знал, не оборачиваясь.

— Товарищ старший лейтенант, — сказал Артист, когда я сел в кабину. — Я как водитель...

— Семён.

— Я как водитель говорю: мне за дорогой смотреть. Я ничего не видел. — Он тронул. — Но если бы видел — я бы сказал, что это была хорошая сцена. Без слов лишних. Я такие в бригаде любил.

— Смотри за дорогой.

— Смотрю, — сказал Артист. И смотрел, и молчал, и молчал так, что было слышно, как ему хочется говорить, и как он не говорит, и это была самая большая любезность, какую он мог мне оказать.

Пять километров назад, к нашему двору, в темноте, с одной фарой, — и Профессор в кузове убрал записи, когда кончился свет из окон узла, и стрелок с глазами дважды сказал «стой» — и оба раза это была наша же машина, шедшая навстречу к городу, — и в двенадцатом часу мы въехали в ворота пустого немецкого двора, и Фрол вышел из темноты и сказал: «Пятеро?» — «Пятеро». — «Передали?» — «Передали. Узел принял, майору уйдёт к ночи. И ещё старик подошёл. Две машины с будками, шесть мастеровых, ящики, на рассвете, на запад». — «Куда?» — «По дороге на Несвиж. Куда доехали — не видел». — «Ну хоть куда-то», — сказал Фрол.

— И ещё, — сказал я.

— Что?

— Ничего. Потом.

— Потом так потом, — сказал Фрол, и я слышал, что он усмехается, и понял, что Артист ему всё расскажет ещё до того, как я дойду до будки, и что это, в общем, ничего.

Двор спал. Посты стояли. Шесть машин — под навесом, у сараев; среди них и тягач, который перекрестила старуха. Тридцать два человека — все, потому что мы вернулись впятером, и никого не оставили ни на узле, ни у столба, и утром никто никого не будет ждать.

Донесение приняли. Капитан обещал отправить его по своей линии к майору — через людей, которых я не увижу. Когда оно дойдёт до Чумакова, я пока не знал. И в нём было то, что мы знали: пустой двор, след на запад, мастеровые с ящиками на рассвете. И не было того, чего не знали: где.

Но было одно, чего в донесении не было, и что я знал точно: после дела. Не «когда-нибудь». После этого. Она это сказала — и я сказал. И это было не клятва, а договорённость, как с майором.

Я лёг в кузове «Опеля» и заснул раньше, чем успел подумать, сколько километров до Несвижа. Хотя, конечно, успел.

Глава 17. «Тягач имеет право первым»

Утром первого июля нас никто не ждал, и это, как выяснилось, было хорошо: когда тебя не ждут, ты приезжаешь тогда, когда нужен.

Мы вышли из пустого немецкого двора в семь, на запад, по дороге, которая, как сказал старик, идёт на Несвиж, — и по которой, как сказал регулировщик у выезда, «можно до восемнадцатого километра, дальше — спросите». Восемнадцатый километр — это был проезд у канавы, с боковым двором, и о нём регулировщик сказал только: «там стоят». Мы поняли это через час, когда увидели, что там стоят.

Стояли — свои. Колонна: полуторки, ЗИСы, две санитарные машины, орудие на прицепе, — машин пятнадцать, растянувшихся по дороге перед тем местом, где дорога сужалась. Сужалась она между дорожной канавой — глубокой, с водой, справа — и изгородью бокового двора слева: жерди, столбы, за ними сарай и что-то ещё, — и в этом узком месте, наискось, стоял грузовик. Немецкий. «Опель», бортовой, порожний, серый, — я узнал его с двухсот метров, как узнают уже знакомого, — и стоял он так, что ни справа, ни слева его было не объехать: справа канава, слева изгородь, а сам он — носом чуть к канаве, задом к изгороди, и переднее правое колесо стояло на самом краю над водой.

Возле него работали. Человек десять — толкали. Ещё двое стояли у полуторки, зацепленной к нему тросом, и полуторка редела и не тянула. И один, с повязкой на рукаве, стоял в стороне, смотрел на всё это и, судя по лицу, стоял так давно.

— Стой, — сказал я Артисту. — Дальше не лезем. Встаём в хвост.

Колонна за нами встала. Я вылез и пошёл вперёд, вдоль чужих машин, к человеку с повязкой, — и на этот раз шёл не с тросом в голове. С тягачом.

* * *

Человек с повязкой оказался старшим лейтенантом дорожной службы, и первое, что он мне сказал, было не «здравствуйте».

— Если вы тоже хотите объяснить, как его толкать, — сказал он, — то я это слышал шесть раз.

— Не хочу, — сказал я. — Я хочу спросить, чего вам не хватает.

Он посмотрел на меня внимательнее. На погоны, на планшет, на колонну за моей спиной, — и, видимо, увидел в хвосте нашей колонны то, что нельзя не увидеть.

— Это ваше? — спросил он. — С гусеницами?

— Наше. Тягач. На ходу.

— Тогда мне не хватает его, — сказал он просто. — Немец стоит тут с ночи. Бросили. Порожний, не заводится, я смотрел — стартер крутит, не схватывает, и чёрт с ним. Колёса крутятся, руль ходит, тормоза — есть. Его можно откатить. Но десять человек его не откатывают: он тяжёлый и стоит наискось, в горку. Полуторка не тянет: она его дёрнула — и он передним колесом ушёл к канаве, и теперь, если дёрнуть ещё, — он в канаву носом, и тогда его не вытащит никто, и проезд закрыт до вечера. Я послал за тягачом к своим — час назад. Своих тягачей ближе двадцати километров нет. — Он помолчал. — У меня пятнадцать машин стоят. За ними — ещё. Санитарные — две. В них — люди.

— Понял, — сказал я. — Куда его убрать?

Он показал — не задумываясь, потому что думал об этом час.

— Туда. — В боковой двор, за изгородь, где были ворота, шагах в тридцати назад по дороге. — Там место. Откатить назад, вдоль дороги, и завести в ворота. Там он никому не мешает, там его сборщики потом заберут — это не моё, это их. Мне нужно, чтобы дорога была пустая.

— Тридцать шагов назад и в ворота, — повторил я. — Тягач это сделает. Не я — механик посмотрит и скажет, как. Вам — держать колонну: чтобы никто не тронулся, пока идёт работа. Если кто-то полезет объезжать — он либо в канаве, либо под тросом.

— Колонну держу я, — сказал старший лейтенант. — Это моё.

— Ваше, — согласился я. — Проезд ваш. Тягач наш. Работа — общая.

Он посмотрел на меня ещё раз, и что-то в его лице сдвинулось: он, видимо, ждал, что я сейчас начну распоряжаться его дорогой, как распоряжались те шестеро, что объясняли, как толкать.

— Общая, — сказал он. — Давайте.

Я пошёл назад к нашим. Фрол уже стоял у тягача и смотрел не на «Опель» — на лес за канавой, на боковой двор, на дорогу впереди. Он спросил только: «Стреляют?» — «Нет. С ночи тихо, их старший говорит». — «Тогда я с их охраной договорюсь, кто где». И пошёл к чужой колонне, к их людям с винтовками, и я видел, как он им что-то показывает рукой: туда, туда, и они кивают.

Дед вылез из кабины тягача сам. Он всё видел с дороги, и по нему было видно, что он уже думает.

— Григорий. Порожний «Опель», не заводится, колёса крутятся, руль ходит, тормоза есть. Стоит наискось, переднее правое над канавой. Убрать назад, тридцать шагов, и в ворота во двор. Полуторка его дёрнула — и он поехал к канаве.

— Полуторка его дёрнула, — повторил Дед с тем выражением, с каким он говорил про людей, которые ездят с течью в радиаторе. — Ну да. Дёрнула. Пойдём посмотрим.

* * *

Смотрел он с людьми — с их людьми, теми десятью, что толкали, — потому что они стояли рядом и знали, как он ехал и как встал. Дед спрашивал коротко: «Кто дёргал? Как цепляли? За что? Он пошёл сразу или постоял?» — и они отвечали, и он кивал, и лез под передок, и смотрел на колесо над канавой, и на землю под ним, и на землю сзади, куда его надо было откатить.

Потом подошёл к нам — ко мне и к старшему лейтенанту с повязкой, — и сказал обоим, потому что понимал, кому это надо:

— Колёса — свободные, проверили. Руль — ходит, и это главное: его надо не тащить, а вести. Тормоза — есть, значит, будет кому его держать, когда он пойдёт. Земля сзади — твёрдая, укатанная, дорога. Земля под передним правым — край, мягкий, и колесо на самом краю. Если тянуть его назад прямо — он пойдёт, и переднее правое сойдёт с края назад, на твёрдое, и всё. Если тянуть его вбок или вперёд — он в канаве. Значит — назад, прямо, и с тем, кто сидит за рулём и держит его прямо, а потом выворачивает в ворота.

— Он не заводится, — сказал старший лейтенант.

— Ему и не надо. Он на нейтрالي, за рулём — человек, тягач тянет, человек рулит и тормозит. Так его и уберём. — Дед посмотрел на меня. — Трос — наш, с лебёдки, осмотренный. Цеплять — за раму сзади, не за крюк, крюк я не знаю. Тягач — на дороге, за ним, задом к нему, метров десять, на твёрдом. Тянуть — на первой, тягой, не рывком. Дёргать — нельзя. Кто дёрнет — тот его и достаёт из канавы.

— Кто за рулём «Опеля»? — спросил я.

— Тот, кто знает, где у него тормоз, — сказал Дед. — Ваш кто-нибудь. Гаврила. Он на таком же ездит.

Суров услышал своё имя издалека — он всегда слышал — и подошёл, и Дед сказал ему, что и как, и Суров кивнул и полез в чужую кабину, и сел, и я видел, как он потрогал руль, педали, рычаг — и поставил на нейтраль, — и положил руки на руль, и сказал в открытую дверцу: «Готов».

Тягач подошёл задом. Водитель — наш водитель тягача, третий из шестёрки, — вёл его так, как учил Дед: ровно, повернул — жди, — и встал в десяти метрах от «Опеля», на дороге, на твёрдом, и заглушил, и Дед с щуплым размотали трос с лебёдки и зацепили за раму «Опеля» сзади, и Дед проверил, и сказал: «Держит».

И вот тут произошло то, за чем я следил с самого начала.

Колонна стояла. Пятнадцать машин, час, в жаре, — и водители, конечно, вылезли, и смотрели, и один из них — с полуторки, той самой, что дёргала, — решил, что раз работают, то сейчас откроется, и полез в кабину, и завёл, и тронулся. Вперёд, к проезду, чтобы быть первым. Он бы подъехал вплотную к тягачу, к тросу, к «Опелю», — и если бы кто-то ещё за ним, — и тягач бы не смог сдать, если бы понадобилось, и «Опель» некуда было бы откатывать, потому что тридцать шагов назад стояла бы его полуторка.

— Стой! — крикнул старший лейтенант с повязкой раньше, чем я успел открыть рот, и побежал к полуторке, и встал перед ней, и полуторка встала. — Назад! Все — назад, на пятьдесят метров! Пока я не скажу — никто не трогается! Кто тронется — будет стоять последним!

Полуторка сдала назад. Остальные — тоже. Старший лейтенант стоял посреди дороги с повязкой на рукаве и смотрел на них так, что никто больше не трогался.

— Спасибо, — сказал я ему, когда он вернулся.

— Это моё, — сказал он. — Я же сказал.

— Я помню. Я говорю спасибо.

Он кивнул — коротко, как кивают люди, которым давно никто не говорил спасибо за то, что они делают своё.

— Готово? — спросил Дед.

— Готово, — сказал Суров из кабины «Опеля».

— Тяга. Первая. Медленно, — сказал Дед водителю тягача и отошёл далеко в сторону от троса, туда, откуда видел и водителя, и переднее колесо у канавы, и поднял руку. — Пошёл.

Тягач тронулся. Трос лёг и натянулся — ровно, без звона, как в торфе, — и «Опель» качнулся, и переднее правое колесо сошло с края — назад, на твёрдое, — и весь «Опель» пошёл назад, по дороге, и Суров держал руль прямо, и тягач тянул, ровно, тягой, не рывком, и я стоял и считал шаги: десять, двадцать, — и Дед сказал «стой», и тягач встал, и «Опель» встал, и стоял на дороге, ровно, всеми четырьмя на твёрдом, в тридцати шагах от проезда, напротив ворот двора.

— Теперь — в ворота, — сказал Дед. — Тягач — вперёд, чуть влево, дугой, к воротам, медленно. Гаврила — выворачивай за ним, следи, чтоб зад не зацепил столб.

Это было труднее — задом в ворота на тросе, — но это делали двое, которые умели: водитель тягача вёл дугу, Суров выворачивал, и «Опель» вошёл в ворота, кормой вперёд, между столбами, в ладони от левого, и встал во дворе, и Суров затянул тормоз, и вылез, и трос отцепили.

Дорога была пустая.

Старший лейтенант с повязкой посмотрел на неё — на пустую дорогу между канавой и изгородью — так, как, наверное, смотрят на дверь, которую час не могли открыть. Потом повернулся к колонне и махнул: пошли.

И они пошли.

* * *

Я стоял у изгороди и смотрел, как они идут, и это было, наверное, самое простое зрелище за всю неделю — и одно из тех, что я помню лучше всего.

Полуторки. ЗИСы. Санитарная машина — первая, старший лейтенант пустил её первой, и правильно, — потом вторая. Орудие на прицепе. Ещё полуторки. Они шли по проезду, по одной, медленно, между канавой и изгородью, и водители смотрели на тягач, стоящий у ворот двора, — на него смотрели все, каждый, проезжая, — и один поднял руку, и другой, и третий кивнул, и с санитарной машины кто-то что-то крикнул, я не расслышал, но по интонации это было «спасибо».

Пятнадцать машин. За ними — ещё, из-за поворота, те, что подошли за час. Двадцать. Больше. Они шли, и шли, и я стоял и думал, что вот это — то, о чём я думал ещё в первую ночь, на точке, обходя два ЗИСа с открытым капотом: что на дорогах лежит много такого, что тяжелее трёх тонн, и что грузовиком это не взять. Не взять. А тягачом — вот, за двадцать минут, и двадцать машин прошли туда, где их ждали.

Тягач, который стоял у сарая с открытым капотом. Будка, которую я поставил рядом с ним под пулемёт. Дед, который сказал «его не тянут грузовиками» и был прав. Водитель, который ждал, пока закончат ремонт. Бензин из двух бочек под расписку. Всё это — ради вот этого: двадцать чужих машин прошли узкое место.

— Ну, — сказал Фрол, оказавшийся рядом. — Кто его убрал?

— Ты сегодня не участвовал.

— Я охрану держал. Это не считается?

— Считается. Но убрали — Дед, водитель и Гаврила.

— И ты. Ты с их старшим договорился.

— Это не работа.

— Это работа, — сказал Фрол. — Я видел, как он на тебя смотрел сначала. И как потом. Это работа. — Он помолчал. — Ладно. На четверых. Я — нет.

— Ты — нет, — согласился я, и он засмеялся, и это было честно.

Наши пошли последними. Старший лейтенант с повязкой пропустил своих и повернулся к нам, и показал: ваша очередь, — и Артист повёл ЗИС в проезд, и за ним тягач, и будка, и «Опели», — и, проезжая мимо старшего лейтенанта, я высунулся и сказал: «Проезд ваш», — и он сказал: «Тягач ваш», — и мы оба, кажется, были довольны тем, как это прозвучало.

За проездом, метрах в трёхстах, была стоянка — не двор, просто широкое место у дороги, где старший лейтенант велел нам встать, «потому что дальше — спросите, а спрашивать сейчас не у кого: коридор до вечера», — и мы встали.

И тут Князь сделал то, что делал всегда, только на этот раз он сделал это раньше, чем кто-нибудь успел сказать «молодцы».

Он не ставил стол. Он взял ведро — наше, то, с которым я в первый день ходил к кювету, — сходил к воде, набрал, и поставил его у тягача, на подножку, вместе с кружкой. И рядом — котелок, с тем, что осталось от утра, — хлеб, консервы, — и сказал: «Механики — сюда. Водитель — сюда. Гаврила — сюда. Сначала пить, потом всё остальное». И они пришли — Дед, щуплый, водитель тягача, Суров, — и сели у тягача, в его тени, потому что была жара, и пили из ведра, и ели, и никто им ничего не говорил. Никаких речей. Ведро, кружка, тень, хлеб.

— Правильно, Василий, — сказал Фрол, глядя на это. — Сначала — пить.

— Потом — стол, — сказал Князь. — Вечером. Если будем стоять.

Дед сидел на подножке с кружкой и смотрел на дорогу, по которой ушли двадцать машин, и лицо у него было такое, какое бывает у человека, который сделал то, что давно хотел сделать, и увидел, что это сделано.

— Ты видел, как он его вёл? — спросил он меня. Не про Сурова — про водителя тягача, который сидел рядом и делал вид, что не слышит. — Дугой, в ворота, задом, на тросе, с чужой

машиной сзади. Это, Алексей Палыч, не «поехал». Это — работа. Я ему на пробах говорил «повернул — жди», и он ждал. Сегодня — сам. Я не подсказывал.

— Подсказывали, — сказал водитель, не поднимая головы.

— Что я подсказывал?

— «Чуть влево, дугой».

— Это не подсказка. Это указание, куда. А как — сам.

— Сам, — согласился водитель, и покраснел, и допил кружку, и налил ещё, и это было первое, что он сказал при мне не по делу, и я подумал, что вот сейчас, у ведра, человек получил свою машину окончательно — не по бумаге, а по тому, как на него посмотрел Дед.

— А Гаврила, — сказал Дед, — сидел в чужой машине без мотора, на тресе, и держал её прямо. Знаешь, сколько людей на его месте дёрнули бы руль? Все. Он — нет.

— Она такая же, как моя, — сказал Суров. — Только не заводится. Я знал, где у неё что.

— Вот и я говорю, — сказал Дед, и это, кажется, было высшей похвалой, на которую он был способен.

* * *

Очевидец пришёл сам — как старик у узла. Это, я заметил, становилось правилом: когда у тебя стоит тягач, к тебе подходят.

Это был водитель одной из тех машин, что прошли проезд, — с полуторки, замыкающей; он встал за нами на той же стоянке, потому что «коридор до вечера», и подошёл к тягачу, и стоял и смотрел, как смотрели все, а потом сказал Селиванову, который сидел у ведра:

— У немцев, за тем двором, — он мотнул головой назад, туда, где мы оставили «Опель», — ещё один стоит. Не такой. С бронёй.

Селиванов поднял голову. Я это видел и подошёл.

— Что стоит?

— Броневик. Немецкий. Полугусеничный, как ваш, только с бронёй, закрытый по бокам, сверху открытый. Знаете, такие, что пехоту возят. Стоит в том дворе — не в том, куда вы «Опель» загнали, а в соседнем, за сараем, дальше от дороги. Я его видел, когда мы стояли: я ходил за сарай по нужде и видел. Стоит. Никого рядом.

— Когда?

— Час назад. Пока стояли.

— Стоит — как? Целый? Разбитый?

— Целый вроде. Не горелый. Колёса на месте, гусеницы на месте. Внутрь не заглядывал — я не дурак, мало ли что там. Стоит и стоит.

— Люди? Немцы?

— Никого. Двор пустой. Собака была, убежала.

— Дорога к нему?

— От ворот, где ваш «Опель», — через двор, за сарай, там второй двор, и он там. Метров сто. По двору проехать можно — я видел, там колея.

Я посмотрел на Селиванова. Он молчал. Он смотрел на водителя полуторки, и лицо у него было такое, какое, я думаю, было у меня, когда я с дороги увидел бочки у ворот пустого двора, — только он молчал, и я это отметил.

— Егор, — сказал я. — Это то, что ты водил?

— Похоже, — сказал Селиванов. — По описанию — похоже. Полугусеничный, броня по бортам, открытый верх, для пехоты. Я такой водил. — Он помолчал. — Но я его не видел. Я не знаю, тот ли. И не знаю, ездит ли. Тот, что я водил, — ездил. Этот — стоит во дворе, и никто не знает почему. Может, бросили, потому что горючее кончилось. Может, потому что мотор. Может, потому что гусеница слетела, а её с дороги не видно. Я по названию не скажу, товарищ старший лейтенант. Я скажу, когда посмотрю. И то не сразу.

Мне это понравилось так же, как понравилось в первый день, когда он сказал «я не говорю, что есть». Человек, который водил такую машину, хотел её больше всех — я это видел, — и говорил «не знаю».

— Николай, — сказал я Мелехину. — Двор — сто метров от ворот, за сараем. Час назад пусто, водитель видел сам. Колея по двору. Твои четверо — пешком, посмотреть: двор, сарай, что за ним, есть ли кто. Не трогать, не подходить вплотную. Посмотреть и вернуться. Фрол — с ними, если хочешь.

— Хочу, — сказал Фрол.

— Дед — ждать. Не идти.

— Я и не иду, — сказал Дед с подножки. — Я пью. — И, помолчав: — А потом пойду.

— После Фрола, — сказал я.

— Егор, — сказал я Селиванову. — Ты — тоже потом. После Фрола. Ты его увидишь первым из нас — из тех, кто понимает. Но первым — не ты.

— Понял, — сказал Селиванов. И сел обратно к ведру. И я видел, что ему трудно сидеть.

Водителю полуторки я сказал спасибо, и он пожал плечами и пошёл к своей машине, и по спине его было видно, что он не понимает, за что: он сходил за сарай по нужде и увидел броневи́к. С ним это случалось, наверное, не в первый раз за войну. Он не знал, что для нас это — не броневи́к. Это — ещё одна вещь, которая стоит во дворе с открытым капотом, и которую грузовиком не взять, и которую мы теперь можем взять.

Двадцать машин прошли проезд. Дорога была пустая. Тягач стоял у ведра, и Дед пил из кружки, и водитель тягача сидел рядом, красный, с чужой похвалой в ушах. Парк — тот же: четыре грузовика, будка, тягач. Мы ничего не взяли. Мы убрали один «Опель» с дороги и оставили его сборщикам.

А в ста метрах от ворот, за сараем, стояло что-то с бронёй, о чём знал водитель полуторки, ходивший по нужде, и о чём теперь знали мы.

Фрол с мелехинскими ушли к воротам. Я смотрел им вслед и думал о том, что дорога, по которой мы шли за базой, всё время подсовывала нам что-то по пути: грузовик, будку, тягач, теперь — вот это. Не базу. Но каждая из этих вещей была шагом к ней: без «Опеля» не было бы ящиков, без ящиков — будки, без будки — тягача, без тягача — этого проезда. А без этого проезда мы не встали бы здесь, и водитель полуторки не пошёл бы за сарай.

Дорога выбирала. Мы только должны были быть готовы, когда она выбирает. И иметь тягач, который имеет право первым.

Глава 18. «Броня без хозяина»

Фрол взял двор раньше, чем я туда дошёл, и взял его так, как берут пустое: тихо, по углам, с мелехинскими на изгороди и с ДП, который он на этот раз снял с тягача и положил на крышу сарая, потому что «отсюда весь двор и лес за ним».

Шли мы туда вчетвером — я, Дед с ящиком, Селиванов и шуплый, — через первый двор, мимо порожнего «Опеля», которого утром поставили у стены, за сарай, по колее, о которой говорил водитель полуторки. Колея была — две борозды, гусеничные, широкие, вдавленные в утопанную землю, и по ним Дед шёл, глядя вниз, и раз сказал: «Сюда заезжал сам. Не тащили. Своим ходом», — и я подумал, что он читает землю так же, как Фрол читает лес.

Второй двор был меньше первого: изба с заколоченным окном, сарай, навес, — и у сарая, на утопанной площадке, следы того, что здесь стояли люди: чёрное пятно костра, консервные банки, обрывок газеты, немецкой, и — Дед на это посмотрел первым — тёмное пятно на земле у стены сарая, растёкшееся, с зелёным отливом.

— Вода, — сказал он. — Из радиатора. Тут он и встал.

— Никого, — сказал Фрол, когда я подошёл. — Изба, сарай, навес — пусто. Следы от машины идут к дороге. Экипаж, я думаю, ушёл пешком; сколько их было и когда — по этим следам не скажу. На подходах мои. Двор проверили, смотри.

Я посмотрел.

Он стоял у стены сарая, носом к выезду, — так же, как стоял тягач в первом дворе, и я подумал, что немцы, видимо, всегда ставят так, чтобы уезжать, и не всегда уезжают. Полугусеничный. Колёса спереди, гусеницы сзади — как у тягача, — но не тягач: ниже, короче, и весь в броне: серые, угловатые, скошенные листы по бортам, наклонённые, как у лодки, с открытым верхом, с дверцами сзади, с броневым носом, за которым прятался мотор, и с щелями для водителя, узкими, как глаза прищуренного человека. На носу, над бронёй, — пулемёт. На щите. Один. Сзади, на такой же стойке, — ничего: пустая стойка, стальная, с зажимом.

Бронетранспортёр. Для пехоты. Я его знал по картинкам из той жизни так же, как знал тягач, — и, как с тягачом, картинка не готовила к тому, как он стоит: тяжело, низко, с тем же серым немецким изяществом, которое я уважал и не стыжусь.

И я — я это скажу честно — увидел его целиком. За две секунды. Я увидел, как он идёт впереди колонны с пулемётом на щите, как Фрол сидит в нём с людьми, как он проходит там, где ЗИС не пройдёт, — и остановился. Сам. Раньше, чем Фрол сказал «погоди», раньше, чем Дед взял дрель. Я это отметил, потому что это было новое: я остановился до того, как меня остановили.

— Григорий, — сказал я. — Смотри ты. Я подожду.

Дед посмотрел на меня с некоторым удивлением. Потом кивнул и пошёл к машине с ящиком.

* * *

Вокруг него работали — не ждали, работали, — и каждый своё.

Исаев, с двумя стрелками, — у пулемёта на носу. Он влез на броню — осторожно, по колесу, по борту, — и наклонился к пулемёту на щите, и я видел, как его руки пошли по нему: лента, затвор, ствол, зажим, — так же, как на подножке «Опеля» неделю назад, только теперь не отвлекаясь. Профессор — у кормовых дверей: он их открыл — они открывались наружу, две створки, — и заглянул внутрь, и сказал: «Бумаги. Не много. Планшет и что-то в ящике», — и не полез, потому что Дед сказал «никому внутрь, пока я не посмотрел». Селиванов — у водительской щели: он стоял и смотрел в неё снаружи, не трогая, и по его лицу было видно, что он смотрит не на щель, а на то, что за ней, и что оно ему знакомо.

Князь пришёл минут через пять — не остался в первом дворе, не выдержал, — и встал в стороне, у изгороди, и смотрел на броню так, как смотрел на всё, что могло оказаться полезным: не с восторгом, а с прикидкой. И сказал мне, не подходя:

— Это сколько человек возит?

— Не знаю. Десять, наверное.

— Десять, — повторил Князь. — Значит, десять — за бортами. От ветра прикроет. А от дождя брезент нужен, крыши-то нет. — И замолчал, и я понял, что он уже думает не про бой, а про то, как в ней будет ехать людям.

Дед начал с носа. Открыл капот — броневые створки над мотором, тяжёлые, на петлях, — и посмотрел на радиатор, и молчал, и потом сказал: «Ага», — так, как говорят, когда нашли то, что искали.

Он сунулся глубже в моторный отсек и был там долго. Потом обошёл машину. Присел у гусениц. Потрогал катки. Заглянул под днище с фонарём, который ему подал шуплый. Влез по колесу на борт, прыгнул внутрь — сам, первым, как обещал, — и там пробыл ещё минут десять, и мы слышали, как он там что-то двигает, стучит, проворачивает. Один раз он крикнул: «Егор! Подойди, покажешь мне, что у твоего было по-другому». Селиванов подошёл, дождался кивка и полез к нему. Я слышал изнутри: «Вот это знакомое?» — «Знакомое. А крепление здесь другое». — «Покажи». Они говорили негромко, Дед переспрашивал, и Селиванов отвечал с удовольствием: его наконец допустили к машине, которую он до сих пор разглядывал снаружи.

Профессор тем временем стоял у кормы и пытался разглядеть табличку внутри. «Егор, если надпись непонятная — позови». — «Я пока всё узнаю», — ответил Селиванов. — «Я на всякий случай. Вдруг вы что-то знали не так». — «Сначала сам посмотрю», — сказал Селиванов, и Профессор кивнул, оставив карандаш наготове.

Дед и Селиванов вылезли. Механик вытер руки, подошёл ко мне и заговорил, придерживая Егора за рукав, чтобы тот тоже слушал:

— Что есть. Радиатор — пробит. Небольшим осколком: дырка с палец, в трубках, я вижу, откуда текло. Патрубок — наружный, от радиатора к мотору, — разорван: то ли тем же осколком, то ли лопнул от жара, когда вода ушла. Вода вышла вся. Мотор — встал. — Он поднял палец. — Встал, не заклинил. Я провернул — ходит. Ровно, без заеданий. Значит, они его заглушили вовремя: увидели пар, встали, заглушили. Как Василий с ЗИСом. Пожара не было: ни копоти, ни гари, проводка целая. Масло есть. Бензин — есть, в баке, немного. Коробка — я потрогал рычаги, ходят, передачи входят. Руль — ходит. Тормоза — есть, педаль упругая. Гусеницы — целые, катки целые, ничего не порвано. — Он помолчал. — Это машина, которая встала от воды. Как тягач встал от бензина. Только у тягача было чистить, а тут — паять и менять.

— Паять — радиатор?

— Радиатор. Я паял ЗИСу — запаяю и этому. Дырка с палец — это не шов, это заплатка. Патрубок — заменить: у меня в будке есть шланги, подберу по размеру, поставлю на хомуты. Вода — залить. Потом — заводить и смотреть, не течёт ли ещё где, потому что осколок, который пробил радиатор, мог зацепить что-то, чего я не вижу. — Он посмотрел на Селиванова. — А ты что скажешь?

Селиванов — я ждал этого — не стал говорить, что машина хорошая. Он сказал:

— Управление — то. Я его посмотрел: руль, рычаги, педали. Приборы — те же, что я помню. Где что — знаю. Как заводить — знаю. Как обслуживать — что смотреть перед выездом, куда лить масло, как натягивать гусеницу — знаю, показывали, делал. — Он помолчал. — Что я не знаю: почему он встал. То есть — Григорий сказал почему, и я ему верю. Но я бы сам не сказал: я водитель, не механик. Я знаю, как на нём ехать. Я не знаю, как его чинить. И ещё не знаю: тот ли он, что я водил. Похож. Но там, внутри, может быть по-другому: другой год, другие мелочи. Я ещё проверю, когда сяду за руль. Не раньше.

— Сядешь, — сказал Дед. — Когда я скажу.

Селиванов кивнул, и это было всё.

Я стоял и смотрел на этих двоих — на механика, который сказал «паять и менять», и на водителя, который хотел ещё проверить управление с водительского места, — и думал, что вот у меня теперь есть машина, которая не едет, и два человека, которые знают, что с ней делать, и что ни один из них не сказал «завтра поедем».

А сзади сказали.

— Товарищи, — сказал Артист.

Он стоял у кормы, у открытых дверей, и смотрел внутрь — на сиденья вдоль бортов, на броню, на пустую стойку сзади, — и лицо у него было такое, какое я видел у него в кабине «Опеля» в первый день.

— Товарищи. Я вам скажу, что это. Это — не машина. Это — сцена. Вы видите? Вот сюда садятся люди. Вот сюда — командир, вперёд, к пулемёту. Вот сюда — водитель. И она едет — а по бокам броня, а сверху небо, и люди сидят и смотрят, как она едет, и на них смотрят с дороги. Григорий. Ты её починишь. Я знаю, ты починишь. И когда ты её починишь — первый круг. Первый. Мой. Я буду сидеть вот здесь, — он показал на переднее место, — и Егор поведёт, и мы поедем по дороге, и все увидят. Я это заслужил. Кто в первый день вывел «Опель»? Я. Кто...

— Семён, — сказал Дед. — Она не едет.

— Я знаю, что не едет! Я про потом!

— Потом — будет потом. Сейчас у неё дырка в радиаторе.
— Я про то, что когда дырки не будет...
— Тогда и поговорим, — сказал Дед и пошёл к будке за шлангами.
Артист остался стоять с открытым ртом. Он повернулся ко мне.
— Товарищ старший лейтенант. Вы слышали? Я же не сейчас. Я же про право.
— Слышал, — сказал я. — Про право — потом. Сейчас — вот что.

* * *

А сейчас был выбор, и он был простой, потому что я его уже делал — недавно, у сарая с тягачом.

Машина стояла во дворе, в ста метрах от ворот, с пробитым радиатором. Чинить её здесь — значит, тащить сюда будку, и лампу, и шланги, и ставить рабочее место в чужом дворе, вдали от дороги, вдали от нашей стоянки, — и Фрол держал бы этот двор, как держал тот. Можно. Мы так делали. Но в тот раз тягач нельзя было сдвинуть, а эту — можно. У неё целые колёса, гусеницы, руль, тормоза. Её можно везти.

И у нас было чем.

— Тягачом, — сказал я. — Через двор, в ворота, к дороге — сто метров — и в первый двор, где «Опель» стоит. Туда же — будку. Там — ворота, изгородь, дорога рядом, Фрол закроет двумя постами. Там и чинить. Не здесь.

— Сто метров, — сказал Дед. — По колее. Она тут есть, я видел, и она твёрдая: они по ней и заезжали. Тягач его повезёт: он легче тягача, и колёса свободные, и гусеницы не заклинены — я проверил, катки крутятся. Только — разгрузить. Внутри — ящики, железо, какое-то барахло, они его набили, как сарай. Всё — вон. Пустой он пойдёт, полный — я не хочу.

— Разгружаем.

— И ещё: в него — никто. Селиванов за рулём — рулить и тормозить, как Гаврила в «Опеле». Больше — никого. Это не поездка. Это буксировка. Кто полезет в кузов «прокатиться» — я его сам вытащу.

— Никто не полезет, — сказал я и посмотрел на Артиста.

— Я и не собирался, — сказал Артист с достоинством. — Я про потом.

Разгружали полчаса. Внутри было — как Дед сказал — как в сарае: ящики, длинные, с патронами, судя по весу и по тому, как Исаев на них посмотрел; какие-то канистры, пустые; свёрнутый брезент; лопаты; коробка с чем-то, что Профессор сразу забрал, — «бумаги, планшет, это мне»; и просто мусор — консервные банки, тряпки, обломок доски. Всё выносили через кормовые дверцы и складывали у стены сарая, отдельно: то, что Исаев отметил как «оружейное», — в одну кучу; бумаги — Профессору; остальное — Князю, который уже стоял рядом с таким видом, будто пересчитывает.

— Канистры — пустые, — сказал он мне тихо. — Все шесть. Я проверил. Не для бензина, для порядка. Лопаты — четыре, хорошие, с ручками. Брезент — целый, большой, накрыть можно две машины. Это я запишу как принятое — с бронёй пришло, с бронёй и числится, — а пользоваться будем. Банки и тряпки — в яму.

— Запиши.

— Уже, — сказал Князь, и по тому, как он сказал «уже», я понял, что записал ещё до того, как вынесли.

Фрол в это время делал то, чего я не просил, но что было нужно: проверял путь. Сто метров колеи между вторым двором и первым, ворота, проезд между сараями. Он прошёл их пешком, дважды, и вернулся, и сказал: «Чисто. Ворота вторые — узкие, тягач пройдёт, а вот эта штука с бронёй — впритирку, её надо вести ровно, иначе борт о столб. Скажи Егору». Я сказал Егору. Егор сказал: «Знаю. Я ширину помню. Пройдёт».

— Для порядка, — сказал я.

Тягач подошёл задом — водитель вёл его через двор по той же колее, и Дед шёл рядом и говорил «правее, ровно, стой», — и встал в десяти метрах от носа бронетранспортёра, на твёрдом, и трос с лебёдки зацепили за буксирные проушины на носу — Дед их нашёл сразу: «Вот они, для этого и сделаны, не то что крюк на «Опеле», — и Селиванов полез внутрь.

Он полез так, как лезут в свою машину: по колесу, через борт, вниз, на водительское место, — и сел, и я видел через открытый верх, как он положил руки на руль. Потом убрал. Потом потрогал рычаги — по очереди, называя их вслух, себе, негромко, и это было по-русски, но я понял, что он повторяет то, что ему когда-то показывали. Потом поставил на нейтраль. Потом нажал на педаль тормоза, отпустил, нажал ещё.

— Тормоза есть, — сказал он наверх. — Руль ходит. Нейтраль. Готов.

— Тяга, — сказал Дед водителю тягача. — Первая. Медленно. Он на гусеницах — он будет идти тяжелее «Опеля», не пугайся, это не заклинило, это гусеницы. Пошёл.

Я стоял сбоку — на этот раз не с поднятой рукой: рука была у Деда, и она была там по праву, — и смотрел.

Тягач тронулся. Трос лёг, натянулся. И бронетранспортёр — четыре тонны? пять? я не знал, я знал только, что он тяжелее, чем выглядит, — качнулся на своих гусеницах, и гусеницы пошли. Медленно. С тем особым звуком, который издают гусеницы на твёрдой земле: не лязг — шорох, тяжёлый, ровный. Он пошёл за тягачом. Носом вперёд, по колее, через двор, к воротам, — и Селиванов внутри держал руль прямо, и я видел его голову над бортом, а когда он сел ниже, уже не видел головы: Егор смотрел вперёд через водительскую щель, — и это было, наверное, самое медленное движение, какое я видел за эти дни, и одно из самых важных.

Сто метров. Через ворота второго двора, по проезду между сараями, в ворота первого, — водитель тягача вёл дугой, как в тот раз, повернул — ждал, — и в первом дворе, у стены, рядом с порожним «Опелем», которого мы утром убрали с дороги, бронетранспортёр встал. Селиванов затянул тормоз. Вылез. И постоял рядом с ним, положив ладонь на броню, — на скошенный серый лист над гусеницей, — так, как клали все, и я уже не удивлялся.

— Тот, — сказал он. — Тот самый. Я по сиденью понял. У него сиденье так же продавлено — не это, такое же. Их так делают. — И, помолчав: — Ездить будет. Когда Григорий скажет.

* * *

Будка въехала в первый двор через десять минут, и Дед поставил её так, как ставил у тягача: задом к бронетранспортёру, борт-верстак — к его носу, лампа — на гвоздь, доски — на землю. Рабочее место. Третье за неделю.

Он начал с радиатора. Снять его с бронетранспортёра оказалось сложнее, чем с ЗИСа: броневые створки, теснота, крепления, которых у ЗИСа не было, — и он снимал час, с шуплым и старшим ремонтником, и я не буду это описывать, потому что это делали руками. Радиатор вынесли на доски, положили, и Дед показал мне дырку: с палец, рваную, в медных трубках, с зелёным потёком вокруг, — и сказал: «Заплата. Не шов. Полдня. Патрубок — подберу сейчас». И полез в будку, и вылез с тремя шлангами разной толщины, и примерял их к разорванному куску, и один отложил, и сказал: «Этот. Подрежу, хомуты — есть». И шуплый уже подавал хомуты.

А в это время у стены сарая Исаев и Профессор разбирали то, что вынесли.

Они делали это по-разному, и это стоило посмотреть. Исаев — с оружием: он снял пулемёт с носовой стойки — сам, вдвоём со стрелком, — и разложил на брезенте, и разобрал, и собирал, и считал. Ленты — сколько. Патроны в ящиках — сколько. Ствол запасной — есть, в футляре, один. Принадлежности — есть. Второй пулемёт — нет: стойка есть, зажим есть, пулемёта нет, сняли и унесли. Он считал вслух, и я слышал: «Полторы тысячи. Пригодных. Наши к нему не подходят, его к нашим не подходят. Полторы тысячи — и всё. Это на один бой, если не беречь. На три — если беречь». Он не радовался и не жалел. Он считал.

Профессор — с бумагами. Планшет, коробка, несколько листов из-за сиденья. Он их разложил на другом брезенте, посмотрел, и сказал мне:

— Не много. Путёвка. Какие-то записи — не хозяйственные, другие: похоже на журнал, кто на нём ездил и куда, но коротко. Карта — обрывок, с пометками, я разберу. — Он поднял голову. — Вечером. При лампе. Сейчас я только скажу: это не то, что было в будке. Это — их, экипажа. Что они видели, куда ездили. Может быть, что-то. Может быть, ничего.

— Вечером, — сказал я.

Он сложил всё в планшет, и не стал читать стоя, и это было правильно.

Они разговаривали между собой — Исаев и Профессор — один раз, когда Исаев нашёл в одном из ящиков не патроны, а что-то другое: коробку с бумагами и инструкцией, с рисунками, — и позвал: «Пётр. Это к тебе или ко мне?» Профессор посмотрел.

— Это про пулемёт, — сказал он. — Наставление. Как разбирать, как чистить, как менять ствол. С картинками.

— Значит, ко мне, — сказал Исаев.

— Значит, к тебе. Но читать буду я. Ты не прочтёшь.

— Я по картинкам прочту, — сказал Исаев. — Я его руками читаю.

— Руками — твоё, — согласился Профессор. — Я тебе скажу, что написано под картинками. Вдруг там про то, чего руками не видно. Например, сколько выстрелов до смены ствола. Исаев подумал.

— Это скажи, — признал он. — Это руками не видно.

И они сели вдвоём над наставлением — один с пулемётом на коленях, другой с листком, — и Профессор читал, а Исаев показывал на пулемёте, где это, и раз сказал «а, вот оно что», и раз «это я и так знал», и они, кажется, были довольны друг другом так, как бывают довольны два человека, которые отвечают за разное и обнаружили, что это разное — об одном.

Радио в бронетранспортёре тоже было — Профессор это увидел первым, потому что радист, — но не всё: стойка, часть ящика, провода, — и он посмотрел и сказал: «Некомплект. Половины нет. Этим не свяжешься, это железо», — и не стал больше говорить, и я понял, что своей радиостанции у нас по-прежнему нет, и что этот ящик её не заменит.

И вот тогда — когда всё было разложено, и Дед паял, и Исаев считал, и Профессор сложил бумаги, — Артист вернулся к своему.

Он не подошёл ко мне. Он подошёл к бронетранспортёру, встал у его кормы, у открытых дверей, и сказал — громко, для всех:

— Я хочу, чтобы все слышали. Когда она поедет — а она поедет, Григорий сказал «полдня», — первый круг — мой. Не потому, что я командир. Не потому, что я механик. Потому что я — публика. Вот эта машина — она для того, чтобы на неё смотрели. И я — тот, кто знает, как на неё будут смотреть. Я сяду вперёд. Егор поведёт. Мы проедем по дороге, туда и обратно, и Фрол будет стоять с ДП, и Князь — у стола, и все увидят, что у нас есть. Это — первый круг. Это — праздник. Кто против?

— Я, — сказал Фрол.

— Почему?!

— Потому что первый круг — это проба. На пробе едет механик и водитель. Не публика.

— Проба — это Григория. Я — про круг после пробы.

— Тогда второй круг, — сказал Фрол. — Первый — проба.

— Второй — не праздник! Второй — это уже все катались!

— Я не катался, — сказал Суров.

— И я, — сказал Дрозд.

— Я вообще на ней хочу с пулемётом, — сказал Фрол. — Это моё место.

— А я — сзади, — сказал Князь. — Где брезент. Мне надо посмотреть, как в ней люди сидят, чтобы знать, что им подстелить.

— Я — за рулём, — сказал Селиванов. — Это не круг, это работа.

— Я — рядом с Егором, — сказал водитель тягача, — потому что тягач её тащил, и это справедливо.

— Так, — сказал Артист. — Стоп. Вы все хотите ехать. Я это понимаю. Но вы хотите ехать по делу: с пулемётом, за рулём, с брезентом. А я хочу ехать — просто. Чтобы было. Это разное. По делу — сколько угодно, после. Просто — первый. Григорий, скажи им.

Дед не поднял головы от радиатора.

— Первый — я с Егором. Проба. Полчаса. Если течёт — снимаю. Если не течёт — Егор проверяет: газ, тормоза, повороты. Ещё час. Потом — ещё раз смотрю. Потом — она принята. Потом — кто хочет. — Он всё-таки поднял голову. — Семён. Ты первый после приёмки. Обещаю. Но день приёмки пока не называю.

— А когда?

— Когда не будет течь.

Артист посмотрел на меня. Я стоял и — честно скажу — мне было смешно, и мне было его жалко, и оба чувства были настоящие.

— Семён, — сказал я. — Первый круг после приёмки — твой. При всех говорю. Ты получишь свой круг, Егор поведёт, все увидят. Это — обещание. Но приёмка — Деда, и он сказал: когда не будет течь. Не раньше. Если я тебя посажу в неё раньше и она закипит на дороге при всех — это будет не праздник. Это будет то, что ты сам рассказывал про полуторку с актрисой.

Артист помолчал.

— Клапан, — сказал он.

— Что?

— В той истории. Был клапан. Григорий угадал. — Он вздохнул. — Ладно. После приёмки. Первый. При всех. — И повернулся к людям. — Все слышали? Командир обещал. Первый — мой. Записали?

— Записали, — сказал Профессор. — Свидетель.

— Ты всегда свидетель.

— Это потому, что я всегда рядом, — сказал Профессор, и все засмеялись, и Артист тоже, и пошёл к своему ЗИСу, и по спине его было видно, что он уже репетирует, как будет сидеть впереди.

Я обошёл двор перед вечером. Первый двор, у дороги, за изгородью, с воротами, у которых Фрол поставил пост: порожний «Опель» у стены — не наш, сборщикам; бронетранспортёр рядом — наш, без радиатора; будка задом к нему, с лампой; тягач у ворот; ЗИСы и «Опели» — во дворе, кругом, носами наружу, как всегда. Семь машин. Одна не ходит. Тридцать два человека. Полторы тысячи чужих патронов на брезенте, пересчитанных Исаевым, и планшет с обрывком карты у Профессора, и подготовленная заплата на радиаторе, с которой Дед возился при лампе.

И обещание. Первый круг — Артисту, после приёмки. Не раньше. Но при всех.

Я думал о том, что неделю назад я стоял с рукой у повозки и хотел произвести впечатление, — а теперь стоял и смотрел, как Артист хочет того же, на бронетранспортёре, при всех, и понимал его так, как понимаешь себя. И что я ему это дам. Не сейчас. Когда не будет течь.

Глава 19. «Бумаги не умеют предсказывать»

Профессор позвал нас с Фролом к лампе в десятом часу, когда Дед ещё паял, и щуплый держал, и во дворе пахло горелой кислотой и оловом.

Он сидел на ящике у верстака будки, под лампой, с планшетом из бронетранспортёра на коленях, и бумаги лежали перед ним разложенные, как он всегда раскладывал: отдельно — то, что прочёл, отдельно — то, что не смог, отдельно — то, что важно. Важное лежало посе-

редине, и это был один листок. Небольшой, с обтрёпанным краем, исписанный карандашом, по-немецки, коротко.

— Сначала — что есть, — сказал он, как всегда. — Потом — что это значит. Потом — чего это не значит. Не перебивать, Фёдор.

— Я не перебиваю, — сказал Фрол.

— Ты уже перебил. — Профессор поднял листок. — Это записка. Хозяйственная. От тридцатого июня, вчера. Написана кем-то, кто распоряжается, — не Хеннингом, подписи его нет, подпись — сокращение, я не знаю чья. Написана для экипажа этой машины. — Он кивнул на бронетранспортёр в темноте за будкой. — Содержание: первого июля — то есть сегодня — отправить из прежней стоянки двух ремонтников с инструментальными ящиками к сбору по дороге на Несвиж. Всё. Три строчки.

— Прежняя стоянка — это наш пустой двор? — спросил я.

— Думаю, да. Там написано «прежняя». Наш двор — единственная «прежняя» стоянка, которую мы знаем. Но это я думаю.

— «Сбор по дороге на Несвиж» — это где?

— Не написано. Написано: «к сбору». Где сбор — экипаж, видимо, знал. Мы — нет.

— То есть, — сказал Фрол, — вот эта бумага говорит, что сегодня двое ремонтников с ящиками поехали к их сбору по несвижской дороге. И мы знаем, что вчера мастеровые с ящиками уехали от Слуцка по несвижской дороге, — старик видел. Может, они этим приказом только хвост подбирают? Значит, сбор — на несвижской дороге. Значит, база — там. Пётр, что тут ещё думать? Это же карта.

Профессор посмотрел на него — не с укором, с терпением, — и положил листок.

— Фёдор. Я тебе скажу, чего эта бумага не говорит. Первое: она говорит «отправить». Не «отправлены». Не «прибыли». Это распоряжение. Приказ на рейс. Приказ мог быть выполнен. Но старик видел вчерашнее движение: две машины, человек шесть. Сегодняшний рейс двух ремонтников он нам не подтвердил. Могли отправить не так, как велели, или в другое время. Мог не быть выполнен: экипаж бросил машину, ты сам видел — они ушли пешком; кто им теперь отдаст ящики? Второе: «сбор» — это не адрес. Это место, куда собираются. Оно на дороге на Несвиж — или у дороги, или за дорогой, или в самом Несвиже, или в десяти километрах не доезжая. Бумага говорит «по дороге на Несвиж», и это всё. Третье: «база» в бумаге не упомянута. Упомянуты двое ремонтников и ящики. Это — часть. Не вся. Мы не знаем, что ещё едет к этому сбору, и едет ли, и не уехало ли уже дальше.

— Значит, ничего не знаем, — сказал Фрол мрачно.

— Нет. — Профессор поднял палец. — Знаем. Знаем — направление. Точное: не «на запад», а «по дороге на Несвиж». Знаем — что там что-то собирают. Не «вывозят», а «собирают»: слово другое, я его проверил дважды. Знаем — что сегодня туда должны были поехать ещё двое с ящиками. Поехали ли — неизвестно. Это — новое. Вчера у нас было «на запад». Сегодня — «на Несвиж, к сбору». Это много. Это не всё. — Он помолчал. — Я понимаю, что вы оба хотели, чтобы я сейчас показал пальцем на карту и сказал: вот. Я бы тоже хотел. Но бумаги не умеют предсказывать. Они умеют только говорить, что кто-то кому-то велел. Что из этого вышло — надо смотреть.

Фрол помолчал. Потом сказал — и это было хорошо сказано:

— Ладно. Не карта. Но стрелка. Стрелка — уже что-то.

— Стрелка, — согласился Профессор. — Правильное слово.

* * *

Стрелку мы проверяли ещё час — не по бумаге, по людям.

Я это делал так, как в той жизни делал разбор аварии: по одному, каждому свидетелю, что видел, когда, откуда, — и складывал не выводы, а факты, и смотрел, что сходится, а что нет.

Сходилось вот что. Пустой двор в шести километрах западнее Слуцка: переносное имущество вывезено, систематически, по порядку, — это Дед видел руками. Старик у узла: на рассвете тридцатого, на выезде из Слуцка на запад, две машины с будками, шесть мастеровых, ящики из сарая, поехали по несвижской дороге, — видел сам, корову выгонял. Записка из бронетранспортёра: тридцатого велено первого отправить двух ремонтников с ящиками из прежней стоянки к сбору по несвижской дороге. Три вещи, из трёх источников, — и все три про одно: ремонтное имущество, с ящиками, от Слуцка, по дороге на Несвиж, к какому-то сбору.

Не сходилось — или не обязано было сходиться — одно, и это сказал сам Мелехин, когда я его спросил.

— Моё — это двадцать восьмое, — сказал он. — Утро. Западнее Глуска. Это — другая дорога. Это — за три дня и за семьдесят километров от здешнего. Я видел пять-шесть машин с будками, на запад. Может, это те же, что потом старик видел. Может, другие. У них, Пётр говорит, была сеть. Из сети могли ехать разные. Я не буду говорить, что те же. Я скажу: и те, и эти — на запад. Больше ничего.

— Спасибо, — сказал я. — Это и надо.

— Это я уже слышал от Петра, — сказал Мелехин с некоторым удовольствием. — «Что видели, а не что думаете». Я запомнил.

Фрол в это время ходил на дорожный пост — к старшему лейтенанту с повязкой, который стоял со своими людьми у проезда и, как выяснилось, имел свою связь: посыльные к узлу в Слуцке, дважды в сутки, ночью и утром. Фрол вернулся с двумя вещами. Первая: сквозного проезда дальше на запад ночью нет — коридор закрыт до утра, впереди работают свои, и никого не пускают, «ни колонной, ни одной машиной». Вторая: посыльный на узел уходит через час, и старший лейтенант согласен взять бумагу.

— Значит, — сказал Фрол, — вариант «поехать сейчас и посмотреть, что там на несвижской дороге» — отпадает. Не потому, что я не хочу. Потому что не пустят, и правильно: там свои работают, и ночью мы им будем мешать больше, чем немцы.

— Отпадает, — сказал я. — И «вся база уже в Несвиже» — тоже отпадает. Не потому, что не может быть. Потому что никто этого не видел. Старик слышал «говорят». Бумага говорит «к сбору по дороге». Дорога на Несвиж — длинная.

— Отпадает, — сказал Профессор. — Я это вычеркнул ещё до того, как вы сказали.

Бумагу для Чумакова мы написали втроём, при лампе, коротко, и я её перескажу, потому что это была лучшая бумага из всех, что мы до этого писали, — лучшая тем, что в ней было мало.

Видели: см. предыдущее донесение, пустой двор западнее Слуцка. Дополнительно: очевидец у слуцкого узла — на рассвете 30-го две машины с закрытыми кузовами, шесть человек в рабочей одежде, ящики, по дороге на Несвиж. Найдено в оставленном немецком бронетранспортёре у восемнадцатого километра: записка от 30-го — 1-го отправить двух ремонтников с инструментальными ящиками из прежней стоянки к сбору по дороге на Несвиж; подтверждения исполнения и адреса сбора нет.

Думаем: ремонтное имущество собирают в одном месте по дороге на Несвиж; где именно — неизвестно; нужно свежее наблюдение своих частей на этом направлении. Предположение «в самом Несвиже» — не подтверждено.

Отдельно: у нас бронетранспортёр, неисправный, в ремонте; тягач и мастерская исправны; 32 человека; стоим у проезда, ждём разрешения на движение.

Всё. Профессор переписал набело, я подписал, Фрол отнёс на пост — и я пошёл с ним, потому что хотел сам увидеть, кому это отдаю.

Старший лейтенант с повязкой сидел у своего костра с людьми и ел из котелка, и посыльный — молодой, с сумкой через плечо и велосипедом, настоящим, довоенным, с погнутым крылом — стоял рядом и ждал. Старший лейтенант взял нашу бумагу, посмотрел на адрес,

положил в сумку посыльного поверх своей и сказал: «На узел, капитану, для автоотдела. Вместе с моей». И посыльному: «Ехай». И тот сел на велосипед и поехал — по ночной дороге, в темноту, восемнадцать километров до Слуцка, с двумя бумагами в сумке, — и я стоял и смотрел ему вслед, и думал, что вот так и ходит связь на этой войне: на велосипеде с погнутом крылом.

— Он доедет, — сказал старший лейтенант, не оборачиваясь. — Он каждую ночь ездит. Дорога наша, посты стоят. К утру капитан прочтёт.

— Спасибо.

— Это моё, — сказал он, и я понял, что у него это тоже привычка, как у Фрола «я на всякий случай».

— Стрелка ушла, — сказал Фрол, вернувшись.

— Ушла.

— Теперь ждём, куда она укажет.

— Она уже указала, — сказал Профессор. — На Несвиж. Теперь ждём, что там.

* * *

А во дворе в это время спорили, и спор этот я помню лучше, чем бумагу.

Начался он у будки, где Дед паял, — потому что вокруг будки всегда кто-нибудь стоял, — и начался с того, что Артист, глядя на бронетранспортёр в темноте, сказал:

— Вы посмотрите, сколько у нас теперь стоит.

Он сказал это не мне — всем: Князю у котла, Фролу, вернувшемуся с поста, Мелехину, Сурову, Дрозду, новым, стрелкам. И все посмотрели. Двор был полный: два ЗИСа, два «Опеля», будка, тягач, броневик у стены с открытым капотом, порожний чужой «Опель» рядом, — и тридцать два человека между ними, у костра, у котла, у постов.

— Неделю назад, — сказал Артист, — у нас было два ЗИСа. Один кашлял. Восемнадцать человек. Я это помню, я на подножке курил. Сейчас — семь машин. Тридцать два человека. Броня. Тягач. Мастерская. Это уже не группа, товарищи. Группа — это когда десять человек и грузовик. Это — рота. Настоящая. И я вам скажу, как она называется.

— Как? — спросил Дрозд, который ещё не знал, что с Артистом так нельзя.

Артист не ответил сразу. Он повернулся — не к Дрозду, к водителю тягача, который сидел на своей подножке с кружкой и не участвовал, — и спросил его, как спрашивают у случайного человека в зале:

— Вот ты. Ты водишь тягач. Ты — в чём служишь? Скажи.

Водитель тягача подумал.

— В группе, — сказал он.

— В какой группе?

— В ремонтной. При автоотделе.

— Вот! — сказал Артист. — Вот так и говорят все. «В группе». А что ты скажешь дома, когда спросят: где служил? «В группе»? Кто это запомнит? Надо, чтобы было слово. Одно. Чтобы сказал — и все поняли.

— Я скажу: на тягаче, — сказал водитель.

— Это не название!

— Это моя машина, — сказал водитель и допил кружку, и Артист понял, что этого слушателя ему не взять, и повернулся к остальным.

— Трофейная, — сказал Артист. — Трофейная рота. Потому что всё, что у нас стоит, — трофей. Кроме двух ЗИСов. И нас.

Стало тихо. Потом Фрол засмеялся — громко, с удовольствием, откинувшись:

— Трофейная рота! Ну да! Половина людей — трофейные! Мелехинские — трофей? С кармана взяли!

— Мы сами вышли, — сказал Мелехин с достоинством.

— Вышли — к нам. Значит — трофей.

— Тогда и вы — трофей, — сказал Мелехин. — Мы вас у перелеска нашли.

— Стоп, — сказал Князь.

Все повернулись. Князь стоял у котла с половником и смотрел на Артиста с тем выражением, с каким смотрел на бочки в торфе.

— Рота, — сказал он. — Семён. Ты понимаешь, что такое рота? Рота — это сто человек. Сто. Это котёл на сто. Это хлеба — на сто. Это сапог — пар пятьдесят, потому что половина в сапогах, а половина нет. У меня котёл — на тридцать. Вот он. — Он поднял половник. — Я тридцать два кормлю в две закладки, а вы уже третью миску просите. Ты мне сто не говори. Ты мне сначала котёл найди.

— Василий, это же название!

— Название — это когда потом кормить. — Князь опустил половник. — Я не против. Пусть рота. Но чтобы каждый, кто скажет «рота», знал: у роты должен быть котёл. И повар. И склад. И это — я. Один. Так что, если рота, — мне нужен помощник. Из стрелков. Кто умеет чистить картошку.

— Я умею, — сказал Колосов от будки. — Лево́й.

— Вот, — сказал Князь. — Рота растёт.

Все засмеялись, и Артист тоже, но не сдался.

— Григорий! — крикнул он в будку. — Ты слышал? Мы — рота!

— Слышал, — сказал Дед из будки, не отрываясь. — Рота — это когда у меня три будки.

Пока одна.

— А что бы ты делал с тремя?

Дед высунулся. Лицо у него было в копоти, и в руках — паяльная лампа, потушенная.

— С тремя? — Он подумал, и по нему было видно, что думает всерьёз. — С тремя я бы одну поставил под моторы, одну — под ходовую, одну — под электрику. И в каждой — свой человек, и я бы ходил между ними и смотрел. И тогда бы у меня в очереди не стояли: ЗИС, «Опель», тягач, броневик, — а стояли бы три очереди, и каждая — короче. — Он посмотрел на бронетранспортёр. — Вот он бы у меня уже ездил. Сегодня. Потому что радиатор паял бы один, шланг ставил бы другой, а я бы сидел и командовал.

— Ты и так командуешь.

— Я и так паяю, — сказал Дед и спрятался обратно.

— Три будки — это уже не рота, — сказал Фрол. — Это батальон.

— По машинам мы уже батальон, — сказал Суров неожиданно. — Семь.

— Батальон — это пятьдесят машин.

— Тогда — взвод, — сказал Дрозд.

— Взвод — это тридцать человек, — сказал Профессор. — Нас тридцать два. Значит, по людям мы — взвод с двумя лишними. По машинам — рота, если считать, что рота — это когда машин больше, чем в группе. По будкам — как Дед сказал — треть роты. — Он помолчал. — Но «трофейный взвод» звучит хуже.

— Вот! — сказал Артист. — Вот! Пётр понял!

— Я понял, что тебе нужно слово, а не штат, — сказал Профессор. — Слово — «рота». Оно круглое. «Трофейная рота». Это — как «Дед»: не звание, а имя. Дед — не дед. Рота — не рота. Но все знают, о ком речь.

Стало тихо. И вот тут я понял, что это — всё. Что имя есть. Что его не я дал и не Артист — его дал этот разговор, в котором Князь считал котлы, Дед считал будки, Профессор считал взводы, а вышло — то, что вышло.

— Ну, — сказал Фрол и посмотрел на меня. — Товарищ командир трофейной роты. Ты что скажешь?

Я сказал то, что думал:

— Скажу, что в бумагах мы — временная ремонтно-эвакуационная группа при автомобильном отделе армии. Тридцать два человека по распоряжению. Это не изменится оттого, что Семён сказал «рота». Майор Чумаков нас ротой не назовёт, и правильно. — Я помолчал. — А между собой — как хотите. Мне нравится. «Трофейная рота» — это правда: всё, что стоит, — трофей, и мы это взяли, и никто, кроме нас, это так не назовёт. Только Василий прав: если рота — то котёл. И я не знаю, где его взять.

— Я знаю, — сказал Князь.

Все повернулись к нему.

— У дорожников. У старшего лейтенанта с повязкой. Они по этой дороге всё брошенное собирают — у них у поста целая куча по описи, я днём видел: бочки, колёса, рамы, — и котёл. Большой. Немецкий, походный, с крышкой. Он — по их описи, он не наш. Но если рота — я схожу и спрошу, можно ли принять во временное пользование, под расписку, с возвратом. Он скажет «нет» — значит, нет. Он скажет «да» — у роты будет котёл.

— Иди, — сказал я.

Князь пошёл. Через десять минут вернулся — с котлом. Большим, закопчённым, с крышкой, и с бумажкой, которую он держал так же, как ведомость на сапоги. Поставил у костра и сказал: «Под расписку. С возвратом, если спросят. Старший лейтенант сказал: «Берите, у меня и так всё на описи, одной строкой меньше». Вот — котёл. Рота».

И это было, по-моему, окончательно.

Артист сел на ящик и сказал: «Я хотел название. А получил котёл. Василий, ты всегда так?» — и Князь сказал: «Всегда. Название само приходит, когда есть чем кормить», — и Профессор сказал: «Свидетель», — и Дед из будки сказал: «Не мешайте паять», — и это была рота.

* * *

Перед ужином Устинов подошёл ко мне с Колосовым — то есть Колосов шёл сам, а Устинов рядом, — и сказал: «Рука. Опухоль сошла. Ссадина затянулась. Ещё три дня — и я ему разрешу правой. Пока — левой, как было». Колосов сказал: «Я картошку левой чищу. Князь взял». — «Вот и чисти», — сказал Устинов, и это было всё, что он сказал по медицине за вечер, и правильно.

Фрол же, пока Князь разливал, отвёл меня в сторону — на минуту, не больше, — и сказал:

— Завтра порядок такой. Мелехинские — вперёд, пешком, до выхода на большак, дальше — в машины, потому что тридцать километров пешком не пройдут. Головной — Артист. За ним Князь, за ним Дрозд с мелехинскими, за ним Гаврила. Будка — пятая. Тягач с броневином на тресе — замыкающий, потому что он самый медленный, и если он встанет — колонна не должна оказаться разрезанной посередине: пусть лучше хвост отстанет целиком, чем кто-то останется между. ДП — на тягаче, я с ним, с хвоста мне виден весь лес по обе стороны. Ты — в будке, при мастерской: если что-то встанет, встанет здесь, между Гаврилой и тягачом, и ты будешь на месте. Так?

— Так.

— Сигналы — как всегда: рука с тягача — «стой», две руки — «вперёд»; Артисту — по голосу, если слышно, или бегом. Указание с поста — на первом расширении дожидаться хвоста. Я его повторю всем водителям утром.

— И ещё: тридцать километров с броневином на тресе — это не шесть. Дед сказал «катится». Я хочу, чтобы Егор сидел в нём и держал, как Гаврила держал «Опель», всю дорогу. Без смены. Он выдержит?

— Спроси его.

— Спросил. Он сказал: «Тридцать? Это мало». — Фрол усмехнулся. — Ему нравится сидеть в нём. Даже на тресе.

Князь накормил тридцать два. Из нового котла — из того, немецкого, по описи, — потому что старый на тридцать два не хватал, а этот хватил с запасом, и Князь, разливая, каждому говорил: «Рота. Ешь», — и люди ели, и смеялись, и кто-то из мелехинских сказал: «А что, рота — это неплохо», — и Мелехин сказал: «Ешь, трофей», — и все опять засмеялись.

Распоряжение пришло под утро, в четвёртом часу, когда уже серело, — с посыльным старшего лейтенанта, тем же, что ночью увёз нашу бумагу на велосипеде: он вернулся с узла с пакетом для дорожной службы и с листком для нас, и старший лейтенант, не будя никого, разбудил меня. От Чумакова — не ответ на стрелку, ответ на что-то раньше, на первое донесение, на пустой двор: майор писал коротко, карандашом, — утром сбор в своей передовой точке, двенадцать километров восточнее Несвижа, у дороги, там будет его человек или он сам; идти после подтверждения проезда участка; точка своя, там стоят свои; не немецкая база, не двор Хеннинга, — своя стоянка, куда подтягивают тылы за наступлением.

Двенадцать километров восточнее Несвижа. По дороге на Несвиж. Туда же, куда указывала стрелка.

— Ну вот, — сказал Фрол, прочитав через моё плечо. — И спрашивать не надо. Майор сам туда едет.

— Не туда, — сказал Профессор. — На свою точку. По дороге. Это не сбор немцев. Это сбор наш.

— На той же дороге.

— На той же, — согласился Профессор. — Это хорошо. Но это не одно и то же.

— Я и не говорю, что одно, — сказал Фрол. — Я говорю, что стрелка и майор показывают в одну сторону. Мне этого хватает, чтобы ехать.

Мне тоже хватало. Утром — сбор. После подтверждения проезда — а проезд, сказал старший лейтенант с повязкой, откроют с рассветом, если ночью не переменится. Значит — марш. Семь машин, тридцать два человека; от нашего проезда на восемнадцатом километре до точки в двенадцати километрах восточнее Несвижа — километров тридцать, и я это посчитал, и пошёл к Деду.

Дед не спал — или уже не спал: он сидел на подножке будки с потушенной лампой и смотрел на радиатор бронетранспортёра, лежащий на досках. Заплата на нём была — я видел: блестящая, оловянная, с палец, — и рядом лежал шланг, подрезанный, с хомутами.

— Утром марш, — сказал я. — Тридцать километров. Что с ним?

— Заплата — есть. Одна. Я её положил, она держит, я проверил водой — сухая. Но одна — это не всё: осколок — он же не только дырку сделал, он трубки рядом помял, и я вижу ещё два места, где потеть будет. Их надо тоже. Это — ещё полдня при свете. Шланг — подобран, не поставлен: ставить надо на собранный радиатор, а он не собран. — Он посмотрел на меня. — Марш — прерывает. Я это знал, когда начинал. Не спорю. Что делаю: радиатор — в будку, на полку, закреплю, чтоб не бился. Шланг, хомуты — туда же. Бронетранспортёр — без радиатора, капот закроем, на буксир к тягачу, как вчера: Егор за рулём, тягач тянет. Тридцать километров на тропе по дороге — это можно, он катится. На точке — снова разложу и продолжу. Ещё день. Может, полтора.

— Первый круг — пока без срока.

— Без срока, — сказал Дед. — Семёну скажешь сам. Я ему уже говорил, он не слушает.

Я сказал Семёну — он уже вставал, потому что Князь уже гремел котлом. Семён вздохнул и сказал: «После приёмки. Я помню. Я только спрашиваю, когда приёмка». — «Когда не будет течь». — «Это я тоже помню», — и пошёл умываться, и мне было его жалко, и мне было смешно, и оба чувства опять были настоящие.

Я обошёл двор — уже светлый. Семь машин — шесть на ходу, одна на буксире. Радиатор на полке в будке, закреплённый. Тридцать два человека, вчера накормленные из ротного котла

и сегодня им же. Бумага ушла на узел, распоряжение пришло с узла, — и оба показывали в одну сторону: на Несвиж, по дороге, к чему-то, что там собирают, — не зная, где.

Стрелка. Не карта. Профессор был прав, и Фрол был прав, и мне хватало.

Трофейная рота. Я это слово попробовал про себя, как пробуют новую вещь, — и оно село. Не в бумагу — в бумагу оно не сядет никогда. В двор. В котёл. В то, как Князь говорит «ешь». Я в той жизни называл свою фирму по фамилии, потому что не придумал лучше. Здесь — придумали за меня, за один вечер, спором про котлы и будки, и это было лучше любого названия, которое я мог бы дать сам.

Глава 20. «Не отдавать своё добро»

Утром второго июля я впервые за неделю ехал не в кабине с Артистом, а в будке — рядом с её водителем, на высоком сиденье, откуда дорога видна иначе: ближе, и уже, и хуже. Я это выбрал сам, по слову Фрола, и Фрол был прав: если что-то встанет, встанет здесь.

Колонна шла так, как мы договорились накануне. Головной — ЗИС Артиста, с четырьмя мелехинскими в кузове, которые до большака шли пешком, а на большаке сели. За ним — ЗИС Князя с хозяйством и котлом. За ним — «Опель» Дрозда с Мелехиным и остальными его людьми. Четвёртым — «Опель» Сурова, с Исаевым и стрелками. Пятой — будка, с Дедом и ремонтниками в кузове, между полками, где на ветоши лежал закреплённый радиатор бронетранспортёра. Замыкающим — тягач с Фролом и ДП в открытом кузове и бронетранспортёром на тресе: серый, низкий, с закрытым капотом, с Селивановым за рулём, который держал руль тридцать километров и, как он сказал Фролу, считал, что это мало.

Перед выходом Фрол обошёл все кабины. Я слышал, что он говорил, — одно и то же, каждому, слово в слово: «Выемка или узкое место — не останавливаться, идти. Первое расширение — встать и ждать хвост. Рука с тягача — стой. Две — вперёд. Если стреляют — не останавливаться, идти до расширения, там разберёмся». Артист сказал: «Понял». Князь сказал: «Понял, я не останавливаюсь». Дрозд сказал: «А если впереди встанут?» — «Тогда стой за ними и жди меня». Суров кивнул. Водитель будки кивнул. Селиванов из бронетранспортёра сказал: «Я на тресе, я вообще не останавливаюсь, меня тянут», — и Фрол сказал: «Вот и держи», — и это была вся подготовка, и она была правильная: короткая и одна на всех.

Перед посадкой в кабину я заглянул в кузов будки. Дед сидел на ящике, положив руку на радиатор, — не потому, что радиатор мог упасть, он был закреплён, а потому, что Дед так сидел. Я спросил: «Держит?» — «Держит. Я его к полке привязал. Он у меня теперь как дитя», — и шуплый рядом засмеялся, и Дед сказал: «Не смейся, ты его паял», — и шуплый перестал.

Семь машин. Тридцать два человека. Дорога от восемнадцатого километра на запад, к точке майора в двенадцати восточнее Несвижа, — тридцать километров, — и Несвиж впереди был не наш. Я это знал не из школьного знания — из бумаги Чумакова: «после подтверждения проезда участка». Участок подтвердили утром, до поворота к назначенному сбору. Дальше — нет.

Первые двадцать километров прошли хорошо. Поле, перелески, две деревни, где на нас смотрели, регулировщик на развилке, который посмотрел на тягач с бронёй на тресе и сказал: «Ого», — как все. И на двадцать первом дорога вошла в лес.

Это надо описать, потому что дальше всё было про это место.

Лес был густой, старый, и дорога шла через него выемкой: не просекой, а именно выемкой, — она была прорезана в невысокой гряде, и по обе стороны от неё поднимались откосы, метра в два, поросшие кустами, а поверху — сосны. Узко: одна машина, впритирку, и разъехаться негде. Метров триста такого. Потом откосы расходились, и дорога выходила на расширение — то самое первое расширение, где нам велели дожидаться хвоста, — поляну, широкую, с твёрдой землёй, где колонна могла собраться.

Я видел, как ЗИС Артиста вошёл в выемку, а по мере движения из кабины будки открылся и выход, и подумал то, что думаю на любой площадке: если здесь что-то встанет,

объехать нельзя. Только назад. А назад — через триста метров выемки, с тягачом и бронёй на тросе в хвосте. И подумал ещё: ближайшее место, куда можно уйти, если встанем, — вон там, за выемкой, поляна, и до неё головные дойдут, а мы — нет.

— Здесь — не останавливаться, — сказал я водителю будки. — Что бы ни было — идти. До поляны.

— Понял, — сказал он.

Он не спросил, что «ни было». Он вёл.

* * *

Они ударили, когда первые три машины уже вышли на поляну.

Я это понял по звуку раньше, чем увидел: очередь — короткая, немецкая, с откоса справа, сверху, по колонне, — и сразу вторая, слева. Не по нам — по «Опелю» Сурова, впереди, в тридцати метрах: я видел, как у него от борта полетели щепки. И потом — по будке: пули ударили в крышу, по железу, звонко, и водитель втянул голову, но не остановился, и я ему за это благодарен до сих пор.

В кузове будки за моей спиной что-то грохнуло — это ремонтники легли, как их учил Фрол, между полками, на пол, — и двое стрелков, что ехали с ними, встали на колени у заднего борта и открыли его, и я слышал, как они стреляют — вверх, по правому откосу, по тому, чего я не видел. Водитель будки вёл. Он смотрел вперёд, в спину «Опелю», и не смотрел по сторонам, и я понял, что это единственно правильное, что можно делать в кабине с высоким грузом в узком месте: смотреть вперёд.

С хвоста ударил ДП. Фрол — с тягача, вверх, по правому откосу, длинно, — и очередь справа захлебнулась. В зеркало я видел его руку — одну, поднятую: «стой» — нет, не «стой», он держал ДП; это была не рука, это был ствол, поднятый вверх, к откосу, — и я понял, что сигналов не будет, что сигналы кончились, и что дальше каждый делает то, что видит. Слева — продолжали. С тягача крикнули — не разобрать что, — и потом я увидел в зеркало, как с тягача прыгают люди: двое, трое, в кусты, вверх по левому откосу, и Фрол за ними — нет, Фрол остался с ДП, я видел его за бортом.

Впереди «Опель» Сурова дёрнулся. Не вперёд — вбок. Я видел это в лобовое стекло будки, и я знаю, почему он это сделал, потому что сделал бы то же: с откоса справа ударили снова, по кабине, и Суров ушёл влево, к откосу, чтобы прижаться, — и прижался, и встал. Наискось. Носом к левому откосу, задом — поперёк дороги, у самого выхода из выемки, там, где откосы уже расходились, а земля ещё была узкая. Он перегородил дорогу. Не нарочно — так вышло: ушёл от огня и встал так, что мимо него было не пройти. Позади его кормы, справа, откос обрывался на несколько метров: там была укатанная боковая площадка. В неё можно было сдать назад, но из кабины Суров её не видел.

Будка встала за ним. Водитель встал, потому что ехать было некуда. За будкой — я видел в зеркало — тягач с бронёй на тросе тоже встал, и ДП с него работал по правому откосу, и по левому откосу, в кустах, стреляли наши, те трое, что спрыгнули.

И впереди, за выходом из выемки, на поляне, стояли три машины — Артист, Князь, Дрозд, — и я видел, как Артист высунулся из кабины и смотрит назад, и не видит: выход перегороден «Опелем», и что за ним — ему не видно. Только слышно.

Вот это и была картина, вся, разом, как я вижу их всегда: голова — на поляне, свободна, может уйти; хвост — в выемке, под двумя откосами, с мастерской, с тягачом, с бронёй на тросе, которая не едет сама; между ними — один «Опель», вставший поперёк, с целым мотором и с водителем, который из кабины не видит, куда ему сдавать, потому что сзади у него борт и тент, а по бокам откосы, и любое движение вслепую — либо в откос, либо в будку.

Если голова уйдёт — мы остаёмся. Мастерская, тягач, броня и двенадцать человек в выемке с немцами по откосам.

Если голова не уйдёт — она стоит на поляне под тем же огнём, и это не лучше.

Если «Опель» не сдвинется — не уйдёт никто.

* * *

Я не буду говорить, что думал долго. Я думал столько, сколько думают, — секунды, — и решил то, что решил бы на площадке, если бы там стреляли: не бросать ничего. Ни машину, ни людей, ни того, что на тропе. Всё, что стоит, — увезти. Для этого надо было три вещи, и я их сделал по порядку.

Первое — голова. Она должна была стоять. Не уходить с поляны, ждать хвост, как и было велено. Артист не видел, но слышал, — и я открыл дверцу будки, высунулся и крикнул — в выход из выемки, вперёд, мимо «Опеля», на поляну: «Семён! Стоять! Ждать!» — и не знал, услышал ли. Кричать ещё раз было некогда. Я повернулся к кузову будки, где сидели ремонтники и двое стрелков, и сказал ближайшему стрелку: «Бегом — к Артисту. Сказать: стоять на поляне, ждать хвост, не уходить. Бегом, вдоль откоса, пригнувшись». Он выпрыгнул и побежал — мимо «Опеля», по узкому, вперёд, — и я видел, как он пробежал выход и скрылся за «Опелем», и больше не смотрел.

Второе — будка. Я сказал водителю:

— Как «Опель» отойдёт — сразу вперёд. До поляны. Не ждать меня. Не ждать никого. Довёл — встал у своих, и стой. Понял?

— А вы?

— Я — к «Опелю». Я вернусь на тягаче или пешком. Твоё — будка. Довезти.

— Понял, — сказал он, и положил руки на руль, и я увидел, что он их не снимет.

Третье — «Опель».

Я вылез — с левой стороны, к откосу, где было хоть какое-то прикрытие, — и пошёл вперёд, к «Опелю», тридцать метров, пригнувшись, вдоль откоса, и по мне не стреляли: справа ДП Фрола заставил лечь тех, кто был наверху, а слева, в кустах, наши трое уже работали, и я слышал, как они там стреляют, и слышал ППШ, и слышал крик — немецкий, — и увидел, как наш стрелок поднялся над левым откосом. Справа по машинам тоже уже не били: ДП удерживал немцев за гребнем. Фрол дал мне короткое окно; я пошёл дальше, пока оно было.

Суров сидел в кабине. Он не вылез — он сидел, пригнувшись, за рулём, с работающим мотором, и когда я открыл его дверцу, он повернул голову, и лицо у него было не испуганное — злое.

— Мотор работает, — сказал он сразу. — Ходовая целая. Я встал, потому что справа били по кабине, и я ушёл влево. Встал криво. Сдать назад — не вижу. Сзади тент. Справа откос, слева откос, сзади будка. Я сдам — и либо в откос, либо в неё.

— Знаю, — сказал я. — Вылезай.

— Что?

— Вылезай. Я сяду. Ты — снаружи. Ты будешь меня вести. Как я вёл Артиста в первый день. Рукой.

Он посмотрел на меня. Секунду. Потом — я это увидел — понял, и не стал спрашивать «а вы умеете», потому что ответ был бы «да», и он это знал по тому, как я неделю сидел рядом с ним и смотрел на его руки.

— Задняя — тугая, — сказал он и показал ход рычага. — Вот так. Сцепление — до полу, оно у неё длинное. Газ — не давать, она пойдёт на холостых.

— Знаю. Видел.

— Я встану сзади слева, у заднего колеса. Смотрите в левое зеркало. Моя рука — ваш руль.

— Твоя рука — мой руль.

Я сел.

Вот это — я это скажу прямо — было то, чего я ждал неделю. Не потому, что мне не хватало руля. Потому что я неделю сидел рядом с людьми, которые водили, и вёл машины руками

снаружи, и это была моя работа, и я её любил, — но руль был их, всегда их, и я это принимал, потому что это было правильно. А сейчас руль был мой. Знакомый — я за неделю выучил эту кабину как свою: где рычаг, где педали, как тянет сцепление, как встаёт задняя. И это была не поездка. Это была работа: сдать назад пятнадцать метров вслепую, по руке снаружи, между двумя откосами, не задев будку, — и сделать это так, чтобы за мной прошло всё остальное.

Мотор работал. Я выжал сцепление — до полу, оно было длинное, — и включил заднюю, как показал Суров; тугая передача вошла. Посмотрел в левое зеркало. Суров стоял у заднего колеса, у откоса, и смотрел на меня в зеркало, и поднял руку.

— Пошёл, — сказал он. Не крикнул — сказал, и я услышал.

Где-то за правым откосом снова затрещало. Я втянул голову, но машины пока не обстреливали: наши держали гребень. Сейчас нужно было освободить проезд, пока они дают мне это сделать.

Я отпустил сцепление. Медленно. Она пошла — на холостых, назад, без газа, как он сказал, — и я вёл её по его руке: рука влево — я довернул влево, рука ровно — я держал, рука вверх — я встал. Ещё. Ещё. Корма шла назад, в сторону будки, а затем вправо, в разрыв откоса. Там была та самая площадка — твёрдая, свободная, — куда можно было убрать машину с дороги. Суров вёл меня туда. Рука вправо — я вывернул. Корма пошла вправо. Рука вверх — стой. Рука снова: пошёл. Ещё три метра. Стой.

— Всё! — крикнул Суров. — Стоите! Дорога свободна!

Я поставил на нейтраль. Затянул тормоз. И сидел секунду, положив руки на руль, — на чужой руль, на свой, — и слышал, как бьётся сердце, и как слева, на дороге, водитель будки уже дал газ.

Пятнадцать метров. Вслепую. По руке. Это был не подвиг. Это была работа, которую я умел, — и которую сделал сам, своими руками, в первый раз в этой жизни.

* * *

Будка прошла первой. Она вышла из выемки мимо меня — я видел её высокий борт с тремя свежими пробоинами, — и водитель не повернул головы, как я и велел, и она пошла на поляну, к трём машинам, которые стояли там, — стояли! Артист услышал, или стрелок добежал, — и встала за ними.

Потом — тягач с бронёй.

Это было то, ради чего всё, и я вылез из кабины, чтобы это видеть. Тягач шёл из выемки медленно, на первой, с Фролом за ДП в кузове, который бил по правому откосу короткими, — и за ним на тропе шёл бронетранспортёр, серый, низкий, с закрытым капотом, без радиатора, с Селивановым за рулём, который держал его прямо, как держал весь путь, — и они прошли мимо меня, мимо «Опея», стоящего на площадке, — тягач и то, что он тащил, — и вышли на поляну, и встали за будкой.

Всё. Хвост на поляне, а «Опель» рядом, на площадке. Все семь выбрались из теснины.

Я стоял у «Опея» и смотрел на это, и во мне было то, что было в первый день, когда чужой грузовик встал у своих: только теперь их было семь, и одна из них не ездил, и мы её всё равно увезли.

Фрол закончил бой сам, без меня. Я расскажу, как он это сделал, потому что видел конец.

Трое, что спрыгнули с тягача на левый откос, взяли его — в кустах, наверху, — и оттуда, сверху, ударили через дорогу по правому откосу, куда бил ДП снизу. Немцы на правом откосе оказались между двух огней — снизу и сбоку, — и пошли назад, в лес, вглубь, — и там, в глубине, у них, как потом выяснилось, стояла машина, на боковой тропе, на которой они приехали, — и Фрол это знал или угадал, потому что послал Исаева с тремя стрелками из «Опея» Сурова — вдоль правого откоса, поверху, за ними, не догонять, а «отрезать от тропы». И Исаев отрезал: они ударили по тропе с фланга, немцы к машине не пошли, ушли пешком, дальше в лес, — и Фрол крикнул: «Не гнаться! Стоять!» — и никто не гнался. Как всегда.

Дед всё это время сидел в будке. Не стрелял — ему было не из чего и незачем; не лез к бронетранспортёру — я это отметил: он сидел между полками, держал радиатор, чтобы не бился при движении, и когда будка встала на поляне, вылез и первым делом пошёл не к людям, а к бронетранспортёру, обошёл его, посмотрел на трос, на гусеницы, на капот, и сказал: «Целый. Ничего не задела», — и только потом посмотрел на людей.

Фрол подошёл, когда всё стихло, — с тягача, с ДП на плече, потный, довольный и злой одновременно, и это у него, я уже знал, было лучшее состояние.

— Их было человек десять, — сказал он. — Может, двенадцать. По обоим откосам, с пулемётом справа, с винтовками слева. Ждали колонну — не нас, любую: место такое, что всякий дурак его выберет. Они и выбрали. Слева я снял быстро: трое моих с тягача поверху, и левый откос их. Справа — пулемёт, его ДП прижал, а потом слева через дорогу добавили, и они пошли назад. Исаев — на тропу, отрезать. — Он помолчал. — Что я видел плохо: ты вылез из будки и пошёл к «Опелю». Пешком. Вдоль левого откоса. Правый ещё был за немцами, хотя по машинам они уже не били.

— Твои их прижали. Я потому и пошёл.

— Прижали. Я видел, как ты дождался. Но удержать их за гребнем навсегда мы не могли. — Фрол посмотрел на меня. — Я не спорю. Ты вывел «Опель», и всё прошло. Я говорю: я видел, и мне не понравилось. Всё.

— Понял.

— Ничего ты не понял, — сказал Фрол. — Но я сказал. — И, помолчав: — Хорошо вышло. Правда. Мелехин на поляне сразу поставил своих по краям, я и не просил. Голова стояла — Артист услышал, ещё до стрелка. Будка прошла. Тягач прошёл. Броня прошла. Никто не ушёл, никто не отстал. Как по книжке. Второй раз.

— Первый был у перелеска.

— Первый был у перелеска. Этот — второй. Я считаю.

Устинов пошёл по людям сам. Тридцать два: по кузовам, по кабинам, по постам, которые Фрол расставил на поляне, — и вернулся, и сказал: «Все. У одного мелехинского — ухо, задело, кровит, я заклеил. У Гаврилы — стекло, щека, порез, заклеил. Больше — никого». И это было всё, что он сказал, и я выдохнул.

Суров подошёл ко мне последним. Он не сказал ничего про то, как я вёл. Он посмотрел на «Опель», стоящий на площадке у выхода из выемки, — ровно, всеми четырьмя на твёрдом, — и сказал:

— Хорошо встал.

— Твоя рука.

— Моя рука — ваши ноги. Сцепление — вы. — Он помолчал. — Я бы так не сдал. Не потому, что не умею. Потому что не вижу. А вы — по руке. Я так не умею — по чужой руке. Я привык сам.

— Научишься, — сказал я. — Это просто. Надо верить руке.

— Вашей — верю, — сказал Суров и пошёл к своему «Опелю», и я подумал, что это самое длинное, что он мне сказал за эту неделю, и что это была оценка, и что я её принял.

А Артист — Артист вылез из ЗИСа, когда всё кончилось, посмотрел на бронетранспортёр на тропе за тягачом, серый, без радиатора, целый, — и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Мы её спасли. Она нас ещё ни разу не возила — а мы её спасли. — И, помолчав: — Значит, первый круг — тем более мой. Она мне теперь должна.

— После приёмки, — сказал Дед.

— Я помню.

* * *

Машины на тропе нашли через час, когда Фрол сказал «чисто».

Не раньше. Мы стояли на поляне час, с постами по откосам, с ДП на тягаче, и никто не ходил в лес за добычей, хотя Исаев сказал, что видел её с тропы: «грузовик, серый, с тентом, стоит». Фрол ждал, пока его люди пройдут оба откоса и тропу и вернуться. Потом сказал: «Чисто. Они ушли дальше. Машину бросили — им было не до неё». И тогда мы пошли.

«Опель». Третий. Бортовой, с тентом, серый, — такой же, как два наших, — стоящий на лесной тропе в двухстах метрах от выемки, носом к дороге, с ключом в замке. Они на нём приехали, поставили здесь, чтобы не видно с дороги, и пошли к откосам, а когда Исаев отрезал их от тропы — ушли пешком.

Дед его осмотрел, как осматривал всё: капот, масло, вода, резина, «ходит». Завёл — с полоборота, и Дрозд, стоявший рядом, сказал «вот!», и Дед сказал: «Это другая машина, не спорь», — и Дрозд сказал: «Все они с полоборота». Целый. Исправный.

— Кто поведёт? — спросил Фрол.

И это был не вопрос — ответ был один, и я его увидел раньше, чем Фрол спросил: второй водитель. Наш. Тот, что в первый день ехал в кузове, что вёл будку из двора с сараем и три дня потом снова ехал в кузове, потому что будку отдали новому, и ждал, и не говорил ни слова.

— Второй, — сказал я. — Наш. Иди сюда.

Он подошёл. Он не сказал «есть». Он посмотрел на «Опель» — на третий, на свой, — и потом на меня, и я увидел, что он это ждал всю эту неделю и ни разу не попросил.

— Твоя, — сказал я. — Совсем. Насовсем.

Он кивнул. Сел. Положил руки на руль. И — я это видел — не двинул их.

В кузове, под тентом, было то, что они везли и не успели забрать: ящики. Исаев открыл первый и сказал: «Патроны. Немецкие. К тому пулемёту». Второй — то же. Третий — то же. Он считал, вслух, как считал на подножке: «Тысяча. Пригодных. Значит, с теми полутора — две с половиной. Это уже — на три боя, если беречь». И Князь записал, и я расписался, и это был весь разговор о трофее.

— Что сохранили, — сказал Князь, закрывая тетрадь. — Семь машин — все. Мастерская — цела, радиатор на месте. Тягач — цел. Броня — цела. Люди — все. — Он посмотрел на новый «Опель». — Восемь. Пять грузовиков. Два ЗИСа и три «Опеля». Я вам скажу, что это значит: это значит, что у меня теперь есть на чём возить котёл отдельно от людей.

— Это главное, — сказал Фрол.

— Это главное, — согласился Князь, не заметив.

— И тысяча патронов, — сказал Исаев. — Не к нашему. К его. — Он кивнул на броню. — Когда Дед скажет.

— Когда я скажу, — сказал Дед.

Селиванов вылез из бронетранспортёра только на поляне, когда Дед сказал «целый». Он вылез так, как вылезает после долгой дороги за рулём машины, которая не едет сама: медленно, разгибаясь, — и постоял, держась за борт, и сказал мне:

— Двадцать один. Я считал по столбам. И выемка. Это уже немало.

— Не мало.

— Он шёл ровно, — сказал Селиванов. — Даже когда стреляли. Тягач тянул, я держал. Он не рыскал ни разу. — И, помолчав: — Он хочет ехать сам, товарищ старший лейтенант. Я это чувствую через руль. Ему надоело на тресе.

— Дед скажет когда.

— Я знаю. Я просто говорю, что он хочет.

На передовой сбор пришли в третьем часу. Своя точка — двор у дороги, в двенадцати километрах восточнее Несвижа, с палаткой, с бочками, с постом, с регулировщиком, — и там нас ждали: не майор, его человек, капитан из автоотдела, который посмотрел на восемь машин, входящих в ворота, — на два ЗИСа, три «Опеля», будку, тягач и бронетранспортёр на тресе,

— и сказал то, что говорили все: «Ого». И потом: «Майор будет завтра. Он сказал: ждать здесь. Он сказал: у него есть что вам передать».

Капитан из автоотдела — молодой, с быстрыми глазами, с планшетом — обошёл наш парк так, как обходят то, о чём слышали и во что не верили: два ЗИСа, три «Опеля», будка, тягач, броня. Остановился у брони. Спросил: «Ездит?» — «Нет. Радиатор». — «А будет?» — «Дед говорит — будет». — «Кто такой Дед?» — «Техник-лейтенант Шестаков». Капитан посмотрел на Деда, который уже снимал радиатор с полки, и сказал: «А. Про него майор тоже говорил», — и не сказал что, и пошёл к своей палатке, и оттуда вернулся с бумагой: «Стоянка — ваша, вон тот угол. Бочки — по ведомости, майор распорядился. Ждать его. Он будет завтра до полудня, если проезд». Я расписался. Князь взял ведомость на бочки с таким лицом, будто ему дали не бензин, а второй котёл.

Бронетранспортёр отцепили и поставили рядом с будкой, и Дед снял с полки радиатор и положил на доски, и сказал: «Продолжаю», — и продолжил.

Князь накормил всех к вечеру — из ротного котла, на тридцать два, с запасом, — и второй водитель ел, сидя на подножке своего «Опеля», не вылезая далеко от него, и Артист подошёл к нему с кружкой и сказал: «Ну? Поёт или молчит?» — и второй водитель подумал и сказал: «Не знаю. Я на ней ещё не ездил — только пригнал», — и Артист сказал: «Вот и не торопись. Послушай сначала», — и это было, по-моему, первое, что Артист сказал за эту неделю без подводки.

Восемь машин. Тридцать два человека. Две с половиной тысячи чужих патронов и один свой «Опель», за рулём которого второй водитель сидел и не снимал рук.

Я обошёл двор — я всегда обхожу — и остановился у «Опеля» Сурова, у того, что я вывел из выемки. Стекло в его дверце было разбито — той очередью, что заставила Сурова уйти влево, — и Суров уже заклеивал его фанеркой, и, увидев меня, сказал:

— Вы её вели. Пятнадцать метров. Я смотрел в зеркало — как вы держите. Вы её раньше водили?

— Такую — нет.

— А какую?

— Разные, — сказал я. — Давно.

Он кивнул — не «понял», а так, как кивал водитель тягача, когда Дед сказал «сам», — и вернулся к фанерке. И это было всё. Он не спросил, где. Он спросил, водил ли. Я сказал правду.

Это было не отдать. Ничего. Ни одну машину, даже ту, которая ещё не возила нас сама. Мы увезли всё, что стояло, — и ещё одну сверху. Я не знаю, как это называется у военных. У нас, на площадке, это называлось: не бросили ничего. И это была лучшая похвала, какую я знал.

Глава 21. «Первый круг на броне»

Дед позвал меня к будке в шестом часу вечера, и позвал не так, как звал обычно, — не «Алексей Палыч, глянь», — а по-казённому: «Товарищ старший лейтенант. Принимайте работу». И я понял, что это — приёмка, и пошёл, как ходят на приёмку: не глядеть, а принимать.

Радиатор стоял на месте. Не на досках — в бронетранспортёре, под бронёй, на своих креплениях, с патрубком — новым, из будки, чёрным, на двух хомутах, — и капот был открыт, и мотор работал. Уже работал: Дед завёл его до меня, минут за десять, и он стоял и работал, ровно, негромко, — шестёрка, но не та, что у «Опеля», другая, с другим голосом, — и Дед стоял рядом с ним с лампой в руке, потушенной, и щуплый рядом, и Селиванов — у водительской щели, снаружи, как в первый день.

— Докладываю, — сказал Дед, и это было первое «докладываю», которое я от него слышал. — Радиатор: три заплаты. Одна — там, где осколок, две — рядом, где трубки помяло и потело бы. Все три — проверены водой на досках, сухие. Поставлен на место, залит, при

работающем моторе — сухой. Смотри сам. — Он показал лампой, и я посмотрел: заплаты блестя, вокруг них было сухо, и на земле под радиатором было сухо. — Патрубок: подобран из будки, шланг, по размеру, подрезан, на хомутах. Держит. Мотор: работает десять минут, ровно, не греется сверх того, что положено, — я смотрел, вода стоит, не уходит. Ходовая, руль, тормоза — целы, я проверял вчера и сегодня, не менялось. — Он помолчал. — Что сделано: устранена течь. Что не сделано: всё остальное. Я не знаю эту машину. Я знаю, что у неё текло и что теперь не течёт. Что у неё внутри мотора, в коробке, в мостах — я не смотрел, у меня нет ни времени, ни повода. Она поедет. Как долго и как далеко — покажет дорога. Это — не заводская исправность. Это — исправленная поломка. Так и принимай.

— Так и принимаю, — сказал я. — Кто паял?

Дед посмотрел на щуплого.

— Две заплаты — его. Первую я положил ночью, он доделал соседние. Ровнее моей. Хомуты — тоже он. Я — лампу держал и говорил «ниже». — И вдруг, без перехода: — Хорошо положил. Правда хорошо. У меня так с третьего года получалось, а у тебя — со второй заплаты.

Щуплый ничего не сказал. Но он стоял так, как стоял на точке, когда Дед дал ему кусок трубки, — только теперь ещё прямее.

— Я тебе скажу, — сказал Дед ему, не мне, — почему я это говорю при командире. В тридцать седьмом у меня был ученик. Хороший. Руки — как у тебя. Я его хвалил — наедине. При людях — нет: думал, зазнается. Он через год ушёл на другую базу, и там его хвалили при людях, и он остался там. Я его потом встретил, спросил: чего ушёл? Он сказал: «Ты меня хвалил так, будто стыдился». — Дед помолчал. — Я не стыжусь. Твоя работа. При командире.

Щуплый посмотрел на него, и я увидел, что у него дрогнуло лицо, и он отвернулся к радиатору, и стал что-то поправлять на хомуте, чего поправлять не надо было.

— Егор, — сказал я.

Селиванов повернулся.

— Твоя. Проба. Как Дед скажет.

— Проба — так, — сказал Дед. — Мотор работает — заглушить, завести снова, от батареи, самому. Потом — проезд, короткий, по нашему участку: до ворот, за ворота, по дороге до столба и обратно. Вперёд, назад, поворот, стоп. Не быстро. Потом — открыть капот и смотреть. Если сухо — принята. Если нет — снимаю.

— Кто в машине?

— Егор — за рулём. Ты — командир, вперёд, рядом. Я — сзади, на лавке, слушать мотор. Он, — Дед кивнул на щуплого, — со мной, смотреть, что я скажу. Исаев — к пулемёту, потому что пулемёт стоит, и его на ходу тоже надо проверить, не стреляя: как держится, не бьётся ли. С Исаевым — помощник. Всё. Шесть. Больше — не надо, это проба, а не поездка.

— Фрол?

— Фрол — снаружи. С ДП. Дорога — наша, но не пустая.

Селиванов сел. Полез — по колесу, через борт, вниз, на своё место, — и сел, и положил руки на руль, и на этот раз не убрал. Заглушил мотор — Дед кивнул. Подождал. Нажал стартер.

Мотор схватил сразу. С поворота — Дрозд бы сказал, и Дрозд, стоявший в стороне, действительно сказал, и Дед сказал: «Помолчи», — и Дрозд замолчал, но с удовольствием.

— Принята к пробе, — сказал Дед. — Садимся.

* * *

Я сел вперёд. Рядом с Селивановым — на место, где у немцев сидел командир машины: справа от водителя, за своей щелью, под своим бронелистом, — и вот отсюда, изнутри, из-под брони, я увидел то, чего не видел снаружи, сколько ни смотрел: как это — сидеть в ней. Тесно. Низко. Впереди — щель, узкая, и в неё — дорога, кусок дороги, и всё; по сторонам — борта, наклонные, серые, и над ними — небо. Сзади, на лавках вдоль бортов, — Дед, щуплый, и у носовой стойки, стоя, держась за щит пулемёта, — Исаев с помощником. Шесть человек. И

место — ещё на четверых, не больше: я это посчитал сразу, по лавкам, и решил, что для нашей работы хватит. Десять. С водителем и командиром — не больше десяти. Не тридцать два.

— Пошёл, — сказал я.

Селиванов включил передачу — тихо, без стука, я это отметил, — и отпустил сцепление, и она пошла.

Как она пошла — это надо было чувствовать. Не как «Опель»: «Опель» идёт, как идёт грузовик, — качается, скрипит, борт стучит. Не как тягач: тягач идёт, как большой зверь, — тяжело, с раскачкой, с гусеничным шорохом. Эта — пошла ровно. Низко. Плотно. Гусеницы сзади — я их слышал — шли мягче, чем у тягача, потому что легче; колёса спереди — держали. Броня не гремела. Мотор — шёл ровно, и Дед сзади, я знал, слушал его так, как слушал всё.

До ворот — тридцать метров. Селиванов прошёл их на первой. За воротами — дорога, наша, пустая до столба, который был метрах в двухстах, и Фрол стоял у ворот с ДП и смотрел — не на нас, на дорогу. Селиванов дал вторую. Она пошла быстрее — ровнее, чем я ждал, — и я увидел в щель, как дорога идёт на меня, и подумал, что вот так они и ехали, те, кто в ней сидел до нас, — вот через эту щель, — и что теперь в неё смотрю я.

Исаев у стойки, впереди, держался за щит и смотрел не вперёд — на зажим, на то, как стойка ведёт себя на ходу: не бьётся ли, не люфтит ли, — и раз сказал через плечо: «Держит. Не гуляет», — и это было его дело, и он его делал.

Дед сзади молчал. Я обернулся — он сидел на лавке, закрыв глаза, и слушал. Не спал — слушал, как слушают музыку, которую знают: с закрытыми глазами, чтобы не мешало. Щуплый рядом смотрел на него и не смотрел на дорогу.

У столба — поворот. Селиванов повернул — не сразу, с той же паузой, что у тягача: «повернул — жди», — и она пошла по дуге, широкой, гусеницы легли, колёса вывернулись, и она развернулась на дороге, не съезжая на обочину, и пошла обратно. Дед сзади сказал: «Хорошо повернул». Селиванов не ответил.

Стоп — у ворот. Он нажал тормоз — ровно, не дёргая, — и она встала. Без рывка. И стояла, работая, и Дед сказал: «Глуши», — и он заглушил, и стало тихо, и я слышал, как тикает, остывая, мотор.

— Капот, — сказал Дед.

Открыли. Дед сунулся — с лампой, хотя было светло, потому что под капотом всегда темно, — и смотрел, и трогал, и молчал. Потом вылез.

— Сухой, — сказал он. — Заплаты — сухие. Патрубок — сухой, хомуты не сползли. Вода — стоит. Мотор — ровный, я слушал двести метров туда и двести обратно, ни провала, ни стука. — Он посмотрел на Селиванова. — Ты её вёл хорошо. Не дёргал. Поворот — правильный, ты ждал. Тормоз — ровный. — И мне: — Принята. К местной работе. Не к дальнему рейду — я её не знаю. К тому, что здесь: ехать, повернуть, встать, довезти десять человек по своей дороге. Дальше — посмотрим.

— Принята, — сказал я.

И тут Дед сделал то, что мне всегда нравилось: он засмеялся — не в усы, не коротко, — а так, как смеялся над тягачом, когда тот пошёл, — и хлопнул ладонью по броне, по скошенному листу, и сказал:

— Поехала! Ты видел, как она повернула? Как она встала? Это не машина, Алексей Палыч, это... — и не нашёл слова, и махнул рукой, и стоял и смотрел на неё, и щуплый стоял рядом и тоже смотрел, и я подумал, что вот они оба — механик и его помощник, — и что у них сегодня вечер, какого не устроит ни Князь, ни Артист, потому что этот вечер они сделали сами.

— Тягач, — сказал Фрол от ворот. — Тягач её больше не тянет?

— Не тянет, — сказал Дед. — Она сама.

— Значит, тягач — свободен.

— Свободен, — сказал Дед, и Фрол кивнул с таким видом, будто ему вернули что-то своё.

* * *

Стрельбу проверяли отдельно, и это было правильно: одно дело — ехать, другое — стрелять, и Фрол это разделил так же ясно, как Дед разделил «течёт» и «не течёт».

Место он выбрал сам — до пробы, после прибытия, пока Дед паял: за стоянкой, к северу, в стороне от дороги, была лощина с песчаным откосом, в котором никого не могло быть и куда никто не ходил, — и он поставил там двоих, чтобы никто не ходил и сейчас, и сказал: «Стрелять — туда, в откос. Пятьдесят патронов. Не больше. Одна лента, короткими. Исаев стреляет, помощник подаёт, Князь считает, я смотрю. Остальные — не ближе тридцати метров. Всё».

— Пятьдесят? — спросил Исаев. — Мало.

— Пятьдесят, — сказал Фрол. — У тебя две с половиной тысячи, и больше не будет. Наши к нему не подходят. Пятьдесят — чтобы знать, что он стреляет. Не чтобы настреляться.

— Знаю, — сказал Исаев. — Я спросил.

Бронетранспортёр подогнали к лощине — Селиванов, на первой, тридцать метров, — поставили носом к откосу, и Исаев встал к пулемёту на щите, и помощник — стрелок из Исаевских, тот, что стоял с ним на пробе, — рядом с лентой. Профессор стоял в стороне — Фрол его позвал «на всякий случай, вдруг там надпись». Профессор принёс то самое наставление: «Порядок проверки посмотреть? Здесь есть», — и Исаев сказал: «Знаю. Я по наставлению вчера с тобой читал», — и Профессор сказал: «Я на всякий случай», — и все, кто стоял в тридцати метрах, засмеялись, потому что это была уже общая присказка.

Помощник — тот стрелок, что стоял с Исаевым на пробе, молодой, из наших шести, — держал ленту так, как его вчера научил Исаев по наставлению, и Исаев перед первой очередью посмотрел на его руки и сказал: «Не тяни. Она сама пойдёт. Ты только направляй», — и помощник сказал «понял» и разжал пальцы.

Исаев стрелял короткими. Три, четыре, пять патронов, — пауза, — ещё. По откосу, в песок, где взлетали фонтанчики. Пулемёт работал — быстро, злее нашего ДП, с другим звуком, — и щит не бился, и стойка держала, и Исаев после каждой очереди чуть поводил стволом, проверяя ход, и помощник подавал ленту ровно. Князь ждал с тетрадью. Когда отстреляли отложенную ленту, Исаев прекратил огонь и помощник показал пустой конец. «Пятьдесят», — сказал Князь и записал расход.

Потом — осмотр. Исаев снял ленту, отвёл затвор, посмотрел в ствол, проверил, как крепится щит, как ходит стойка, — и сказал Фролу:

— Стреляет. Ровно, без задержек. Щит держит, не бьётся. Стойка — крепкая. Второго — нет, стойка сзади пустая, и это так и будет, пока не найдём, а не найдём. Патронов — было две с половиной тысячи, стало две четыреста пятьдесят. Хватит — если беречь — на три коротких боя. На один длинный. Дальше — пусто.

— Принял, — сказал Фрол. — Князь?

— Записано, — сказал Князь. — Две четыреста пятьдесят. Отдельно от наших. Немецкие — Исаеву, наши — как были.

— Пётр?

— Радио — нет, — сказал Профессор. — Я ещё раз посмотрел. Ящик есть, половины нет. Связи в ней нет и не будет. Это броня, а не радиостанция.

— Значит, — сказал Фрол, и я услышал, что он доволен, — у нас есть машина, которая ездит, везёт десять человек под бронёй и стреляет из одного пулемёта две тысячи четыреста пятьдесят раз. Не больше. Это я запомню. — Он повернулся ко мне. — Принята?

— Принята, — сказал я. — Егор — за рулём. Исаев — у пулемёта. Помощник — его. Больше в неё никого не назначаю: остальные места — по делу, когда будет дело.

— Одно место, — сказал Артист.

Все повернулись. Он стоял в тридцати метрах, где ему велели, и смотрел на бронетранспортёр так, как смотрел на «Опель» в первый день.

— Одно место, — повторил он. — Не по делу. По обещанию. Первый круг. После приёма. Приёмка — была?

— Была, — сказал Дед.

— Тогда — круг.

* * *

Круг был.

Я расскажу его целиком, потому что обещал, и потому что он того стоил, — хотя стоил он не того, чего ждал Артист.

Артист ждал вот чего — он мне это сказал сам, пока бронетранспортёр возвращался из лощины на стоянку: он сядет вперёд. На командирское место, рядом с Егором. Он будет сидеть, и над бортом будет видна его голова, и он будет ехать по дороге мимо стоянки, мимо всех, и все будут стоять и смотреть, и он будет — не махать, махать это глупо, — но он будет сидеть так, чтобы было видно, что это он. И Егор проедет медленно. И это будет — первый круг.

— Семён, — сказал я. — Командирское место — командира. Егор — водитель. Ты — пассажир. Пассажиры — сзади, на лавках.

— На лавках — не видно!

— На лавках — под бронёй. Это бронетранспортёр. Он для того, чтобы не было видно.

Артист посмотрел на меня так, будто я отнял у него сцену. Потом — на бронетранспортёр. На лавки вдоль бортов, низкие, узкие, за наклонными листами, из-за которых торчали только головы сидящих, да и то не у всех. Потом — на Селиванова, который сидел за рулём и смотрел вперёд через щель и не собирался никому ничего уступать.

— Егор, — сказал Артист. — Ты дашь мне порулить? Сто метров?

— Нет, — сказал Селиванов.

— Почему?

— Потому что ты на ней не ездил. Я — ездил. Это не «Опель». Ты сядешь, повернёшь — и она не повернёт, потому что ты не подождёшь. И мы — в канаве. При всех. — Он помолчал. — Я тебе не уступаю руль не потому, что жадный. Потому что это — моя работа. Сяду сзади я — и что я буду делать? Смотреть, как ты её роняешь?

Стало тихо. Артист стоял. И вот тут — за что я его люблю — он засмеялся. Не обиженно. По-настоящему, как смеялся над Суровым в первый день, когда тот сказал «вылезай, мне ехать».

— Ладно, — сказал он. — Ладно. Лавка. Сзади. Под бронёй. Первый круг — на лавке. — Он повернулся к людям, которые стояли кругом и уже смеялись. — Вы слышали? Мне обещали первый круг. Я его получу. На лавке, где меня не видно, за рулём Егор, впереди командир, у пулемёта Исаев, — и я буду сидеть между Дедом и шуплым, потому что они — «специалисты», — и ехать двести метров до столба. Это — праздник. Я так и запишу.

— Я запишу, — сказал Профессор. — Свидетель.

— Ты всегда свидетель!

— Это потому, что я не еду, — сказал Профессор. — Кто-то должен увидеть тебя с дороги.

Сели. Селиванов — за руль. Я — вперёд, потому что командирское. Исаев — к пулемёту, потому что пулемёт. Дед и шуплый — на лавки, потому что Дед сказал «я слушаю мотор» и это было правдой. Фрол — на лавку, потому что «моё место, я сказал». И Артист — на лавку, между Дедом и Фролом, и над бортом торчала его голова — рядом с другими, — и он сидел и смотрел вверх, на небо, и вздыхал.

— Пошёл, — сказал я.

Селиванов тронул. Она пошла — ровно, низко, как на пробе, — из ворот, на дорогу, к столбу. И на дороге, вдоль обочины, стояли люди. Все свободные от постов и работы: они вышли за ворота и встали вдоль дороги, потому что Князь сказал «выйти», а Мелехин сказал

«встать», и они стояли и смотрели, как она идёт. И над бортом — головы пассажиров, и одна из них — Артиста, — и он, я это видел через плечо, сначала сидел, потом приподнялся, потом сел на спинку лавки, выше, чтобы было видно, — и Дед сказал: «Сядь, упадёшь», — и он сел, — и Фрол сказал: «Он видел, что ты приподнялся. Все видели. Сиди», — и он сидел, и молчал, и лицо у него было такое, будто он получил ровно то, что хотел, и одновременно ровно не то.

Я смотрел на них через щель — на людей вдоль дороги — и видел лица. Мелехин — стоял, скрестив руки, и смотрел так, как смотрел на всё: проверяя. Колосов — с рукой на перевязи, рядом с Устиновым, и Устинов что-то ему сказал, и Колосов засмеялся. Дрозд — у своего «Опеля», и когда мы проходили мимо, он крикнул: «Молчит?» — и Селиванов, не поворачивая головы, крикнул в щель: «Ворчит!» — и Дрозд крикнул: «Значит, хорошая!» Суров — на подножке своего, с фанеркой в разбитом окне, — не крикнул ничего, только кивнул, когда мы прошли, и это был кивок водителя водителю. Второй водитель — у третьего «Опеля», за которым он сидел с обеда, — смотрел на нас так, как, наверное, смотрел бы на чужую свадьбу: с интересом, но у него была своя.

У столба Селиванов повернул. Люди вдоль дороги смотрели, как она разворачивается — широко, тяжело, красиво, — и кто-то сказал «ого», как говорили все, и Артист услышал, и приподнялся снова, и Дед сказал «сядь», — и она пошла обратно.

И тут Артист перестал искать глазами публику. Проследил за взглядами у дороги, посмотрел на передок, на гусеницы.

Люди вдоль дороги смотрели не на голову над бортом. Они смотрели на неё — на серую, низкую, плотную машину, которая ещё вчера стояла во дворе с пробитым радиатором, которую тащили на тросе тридцать километров, которую спасли из выемки под откосами, — и которая теперь идёт сама. Вот она, публика, которой он добивался. Настоящая. Только смотрела она не на него.

И он — вот за что я его люблю — сделал то, что делал всегда: уступил сцену. Он перестал приподниматься. Он сел, как все, на лавку, под броню, и когда мы проезжали мимо Князя, стоявшего у ворот с котлом, — Артист высунул из-за борта руку и показал Князю большой палец. Не на себя. На неё.

И Князь — я видел — кивнул.

У ворот — стоп. Селиванов затянул тормоз. Мотор работал.

— Круг, — сказал я. — Первый. Семёна. Все видели?

— Все видели, — сказал Мелехин от ворот.

— Обещание — выполнено?

— Выполнено, — сказал Артист с лавки. — Я его получил. На лавке, между Дедом и Фролом, за рулём Егор, — ровно так, как не хотел. И знаете что? — Он посмотрел на людей вдоль дороги, которые уже подходили к воротам. — Это было лучше. Потому что смотрели все, а я сидел внутри. Это, товарищи, редкий случай: публика есть, а тебя не видно, и тебе всё равно хорошо. Я это запомню. Это будет рассказ.

— Это будет стол, — сказал Князь.

— Это будет и то и другое, — сказал Профессор от ворот, — потому что вечер, кажется, начался.

Артист вылез. Спрыгнул с борта, как спрыгивают с подножки, легко, — и не сразу пошёл к ЗИСу. Он подошёл к водительской щели, снаружи, наклонился к ней и сказал Селиванову, который ещё сидел:

— Егор. Ты правильно не дал.

— Я знаю.

— Я бы уронил.

— Ты бы уронил, — согласился Селиванов. — Не потому, что плохой водитель. Потому что она не твоя. Твоя — вон, с крылом. Ты её не роняешь.

— Не роняю, — сказал Артист. — Два года. — И помолчал, и добавил: — Ты, когда будет время, покажи мне, как она поворачивает. Не поручить — посмотреть. Мне интересно, как это — «повернул и жди».

— Покажу, — сказал Селиванов. — Когда Дед разрешит.

— Дед разрешит, — сказал Дед с лавки. — Смотреть — можно. Трогать — нет.

Артист пошёл к своему ЗИСу, к первому, с помятым крылом, и постоял у него, и положил руку на крыло, и сказал ему что-то вполголоса, чего я не расслышал, но что, я думаю, было про то, что он вернулся. И полез в кабину. К своему рулю.

Селиванов заглушил. Вылез. Обошёл машину. Заглянул под открытый капот, проверил, не появились ли потёки. И сказал мне:

— Сухая. Ездит. Моя.

— Твоя, — сказал я. — Совсем.

Восемь машин. Все на ходу. Тридцать два человека. Одна лента — пятьдесят патронов — в песке в лощине, и две тысячи четыреста пятьдесят — у Исаева. Один круг — Артисту, на лавке, при всех.

Дед стоял у бронетранспортёра и смотрел на него, и не уходил, и Князь подошёл к нему с кружкой и сказал: «Григорий. Стол. Сегодня. Ты придёшь?» — и Дед сказал: «Приду. Мне сегодня нечего паять», — и это было, по-моему, первое, что он сказал за эту неделю с настоящим сожалением.

— Тогда — третья попытка? — спросил Князь Артиста, негромко, чтобы Дед не слышал.

Артист подумал. По-настоящему — я видел, как он думает, и это было не про рассказ.

— Нет, — сказал он. — Не сегодня. Сегодня — и так вечер: он сам пришёл, ему нечего паять, он будет сидеть и рассказывать про заплаты, и мы будем слушать. Это — его вечер, а не наш. Третью — когда будет что праздновать по-настоящему. Когда возьмём то, за чем едем. Тогда — стол, какого не было, и рассказ, какого не было, и он останется, потому что будет нечего чинить и нечего проверять. А сегодня — пусть просто сидит.

— Ты повзрослел, — сказал Князь.

— Я на лавке посидел, — сказал Артист. — Это меняет.

И это было всё, что можно было сказать о вечере второго июля, и было ещё светло, и Князь уже нёс котёл, и Дед сидел у бронетранспортёра с кружкой и рассказывал щуплому, водителю тягача и Колосову, как кладут вторую заплату, чтобы не отошла первая, — и они слушали, и никто его не перебивал.

Глава 22. «Разрешение на Хеннинга»

Через Несвиж мы шли третьего июля в десятом часу утра, и я запомнил из него больше, чем из Глуска и Слуцка вместе, — потому что впервые ехал через город не в кабине с Артистом, а в бронетранспортёре, на командирском месте, за своей щелью, и город через щель выглядел иначе: узко, кусками, близко.

Восемь машин. Головной — ЗИС Артиста, с мелехинскими в кузове; за ним — бронетранспортёр с Селивановым, Исаевым у пулемёта, мною и пятью стрелками на лавках, — Фрол настоял, чтобы броня шла второй, «чтобы видеть голову и чтобы её видели», и сам сел на тягач, который теперь шёл сам, свободный, без троса, — и это было для Фрола, я видел, отдельное удовольствие: сидеть на тягаче, который ничего не тащит. Потом — ЗИС Князя, «Опели» Дрозда, Сурова, второго водителя, будка. Замыкающий — тягач с Фролом и ДП.

Город взяли вчера. По нему шло то же, что по всем взятым городам: сапёры, регулировщики, колонны, связисты с катушками. Замок — старый, с башнями, над прудом, — стоял целый, и на его мосту стоял часовой, и наш бронетранспортёр он проводил глазами так, как провожали все, — а потом посмотрел на звезду, которую Князь вчера вечером нарисовал мелом на броне, на скошенном листе, большую, кривоватую, — и успокоился. Князь нарисо-

вал её сам, не спрашивая, — «чтобы свои не стрельнули», — и Дед сказал, что мел смоеется первым дождём, и Князь сказал: «Значит, нарисую снова», — и это было правильно.

Регулировщица на площади показала нам налево, на запад, и на выезде из города дорога пошла полями к нашему парку в шести километрах западнее, о котором Чумаков написал: «там будет место, там будет всё».

Место было. Большой двор — бывшее какое-то хозяйство, с длинными сараями, с навесами, с воротами, с колодцем, — и в нём уже стояли свои: машины автоотдела, бочки, палатки, посты, — и нам отвели угол: за вторым сараем, у стены, где восемь машин встали кругом, носами наружу, как всегда, с будкой в середине и с бронетранспортёром у ворот, потому что Фрол сказал «броня — к воротам, она для этого».

Я расставлял их сам — не потому, что водители не умели, а потому, что это была моя работа и мне её не хватало: кто где встанет, чтобы выезжать не разворачиваясь, куда тягач, чтобы тянуть любую, куда будка, чтобы Дед ходил от неё ко всем не дальше двадцати шагов. Полчаса. И когда все восемь встали, я обошёл их и подумал, что вот теперь это — парк. Не колонна, не двор, — парк, с местом, откуда мы будем уходить и куда вернёмся.

Чумаков был здесь. Его «виллис» стоял у палатки автоотдела, и он вышел, когда мы въезжали, и стоял, и смотрел на восемь машин, входящих в ворота, — на ЗИСы, на три «Опеля», на будку, на тягач, на броню со звездой, — и не сказал «ого». Он сказал — мне, когда я подошёл доложиться:

— Ракитин. Когда мы виделись, ты ещё просил починить ЗИС.

— Починили, товарищ майор. Больше не течёт.

— Вот и хорошо, — сказал он. — Иди. Через час — ко мне, с теми, кто нужен. Я тебе привёз то, что обещал. И ещё кое-что, чего не обещал.

* * *

Через час в палатке автоотдела нас было пятеро: Чумаков, я, Фрол, Дед и Профессор. Стол — ящик, накрытый картой, — и на карте я впервые увидел то, за чем мы ехали восемь дней, не как стрелку, а как место. Не точку — район: карандашный овал, километрах в двадцати с лишним юго-восточнее Барановичей, в лесу, между дорогой и речкой, — и в нём ничего, кроме леса и одной отметки: «лесничество».

— Сначала — ты, — сказал Чумаков. — Всё, что у тебя есть. По порядку. Я читал твои бумаги, но я хочу услышать.

Я рассказал. По порядку, как Профессор учил: что видели, что читали, что думаем.

Бумаги с первого «Опея»: точки ремонтной сети, сокращение подразделения. Бумаги с будки: выдача расходников двадцать пятого июня подвижной ремонтной группе майора Курта Хеннинга, следующее получение — на Любанском направлении. Двор с сараем под Глуском — их точка, взята. Пустой двор западнее Слуцка — их точка, брошена, переносное вывезено систематически. Старик у слуцкого узла: на рассвете тридцатого — две машины с будками, шесть мастеровых, ящики, на запад по несвижской дороге. Записка из бронетранспортёра: первого июля отправить двух ремонтников с ящиками из прежней стоянки к сбору по дороге на Несвиж. Сержант Мелехин: двадцать восьмого, западнее Глуска, пять-шесть машин с будками, на запад. Ремонтник на восточном подходе к Слуцку: утром тридцатого, западнее Слуцка, пять машин с будками, от города.

— Это — что видели и читали, — сказал я. — Теперь — что думаем. Они свозят ремонтное имущество в одно место. Не бросают — собирают: мастерские, инструмент, людей. Направление — на запад, по дороге на Несвиж и дальше. Место — не знаем. Готовы ли они уйти оттуда — не знаем. Хеннинг — имя получателя из одной записи, и то, что он ведёт эту группу, — предположение.

— Пётр, — сказал Чумаков. — Ты читал. Что скажешь?

Профессор сказал то, что говорил всегда, и я ждал этого:

— Товарищ майор. Всё, что я читал, — хозяйственное. Накладные, записки, путёвки. Ни одна бумага не говорит «база стоит там-то». Они говорят: выдать, отправить, получить, собрать. Направление — да, по дороге на Несвиж, и слово «сбор». Адреса — нет. Кто там сейчас — нет. Сколько машин — нет. И ещё: последняя бумага — от тридцатого. Сегодня третье. За три дня они могли собраться и уехать дальше, и всё, что я читал, будет про место, где их уже нет. — Он помолчал. — Я это говорю не потому, что не верю. Потому что вы спросили, что я читал. Читал — это. Остальное — надо смотреть.

Чумаков кивнул. И — это я заметил — не стал переспрашивать: он услышал границу и принял её как границу, а не как отговорку.

— Хорошо, — сказал он. — Теперь я. — Он положил палец на карандашный овал. — Твоя стрелка, Ракитин, — та, что ты мне прислал позавчера из-под Слуцка, — совпала. Не с картой. С людьми. Соседи, — он назвал стрелковое соединение, и я его запомнил и не буду называть, — стоят вот здесь, — палец лёг на дорогу восточнее овала, — и их разведчики три дня смотрят на этот лес. Они видели движение: машины с будками, по лесной дороге, к лесничеству. Не колонну — по две, по три. Туда — гружёные. Оттуда — порожние или совсем не оттуда. Они не заходили: у них своя задача, и лес — не их. Они доложили. Доклад лёг рядом с твоим. — Он посмотрел на меня. — Вот и весь секрет. Никто не знал, что искать. Ты сказал что. Они сказали где примерно. Я это соединил и понёс наверх.

— Примерно, — повторил я.

— Примерно, — подтвердил Чумаков. — Лесничество — на карте. Что там на самом деле, какой двор, сколько машин, где у них выезды, стоит ли она там вся или половина уже уехала, — этого не знает никто. Ни они, ни я, ни ты. Это надо смотреть. Своими глазами, вблизи. — И, помолчав: — Теперь вопрос. Простой. Допустим, ты её нашёл. Допустим, её взяли — не ты один, с соседями. Стоит во дворе база: мастерские, грузовики, ящики, люди. Как ты её оттуда вывезешь?

Стало тихо.

Я открыл рот — и закрыл. Потому что это был правильный вопрос, и потому что на него у меня был ответ, но не мой, и я это понял раньше, чем начал отвечать.

— Фёдор, — сказал я.

Фрол ответил сам. Он не ждал, что его спросят, — он это уже думал, я видел по его лицу, пока Чумаков говорил про лесничество.

— Товарищ майор. Открыть подход к базе — работа пехоты. Наша — взять двор и удерживать имущество, пока вывозят. Двор в лесу с одной дорогой — это значит: дорогу держать всё время, пока по ней идут машины туда и обратно. Посты на подходе. ДП — у нас один. Броня — одна, с одним пулемётом, две тысячи четыреста пятьдесят патронов. Тридцать два человека — из них половина водители и механики, которые в это время будут заняты машинами. Значит, охрана — человек пятнадцать. Пятнадцать на лесную дорогу и на двор — это мало. — Он посмотрел на карту. — Если соседи держат подход снаружи, а мы — двор и дорогу внутри, — тогда можно. Если снаружи никого — тогда нельзя, и я это говорю прямо.

— Без соседей — нельзя. Так и запишу, — сказал Чумаков. — Шестаков?

Дед сидел на ящике и смотрел на карту так, как смотрел на всё, чего не трогал руками: с недоверием.

— Товарищ майор. Что там стоит — я не знаю. Скажу, что могу. Тягач — один. Он тянет одну машину за раз, по твёрдому, — я его уже проверил в работе, и он меня ещё не подвёл, но я его не гоняю. Будка — одна, я в ней могу посмотреть машину, сказать, едет или нет, и подтянуть, что подтягивается. Если там стоят их «Опели» — они, скорее всего, ходят: они их не бросали, они на них ехали. Значит, вывозить — своим ходом. Не тянуть — вести. — Он помолчал. — А вести — некому. У меня водителей — сколько машин. Восемь. Если там десять

их машин на ходу — мне нужно десять водителей сверх моих. У меня их нет. И у Ракитина нет. Это не ремонт. Это люди.

Чумаков посмотрел на меня.

— Товарищ майор, — сказал я, — вот ответ на ваш вопрос, из трёх частей. Первая — Фрола: снаружи держат соседи, внутри держим мы; без соседей — не удержим. Вторая — Деда: их машины пойдут своим ходом, если на ходу, тягач возьмёт одну неисправную, не больше. Третья — моя: на каждую их машину нужен водитель, и у меня их нет. Значит — на вывоз нужны водители сверх группы. Столько, сколько там окажется машин. Сейчас я не знаю сколько. Узнаю — скажу число. И ещё: чтобы разведать, где она и какие выезды, нужно ходить пешком через соседей, и нужна связь оттуда сюда, потому что двадцать километров леса посыльный идёт полдня.

Чумаков смотрел на меня. Потом на Фрола. На Деда. На Профессора. И сказал:

— Вот это — ответ. Не «возьмём и вывезем». Три части и число, которого пока нет. — Он откинулся. — Я вам скажу, что я принёс. Слушайте.

* * *

Принёс он вот что, и я перескажу, потому что это было длинно, а суть — короткая.

Армия дала разрешение. Не мне — задаче: разведать и захватить предполагаемый ремонтный объект в установленном секторе, вот в этом овале, при местном продвижении соседней пехоты. Слово «при» Чумаков подчеркнул голосом: не «вместо», не «до», — при. Пехота решает свою задачу — у неё свой участок и своё направление, на Барановичи, — и в ходе этой задачи открывает подход к лесничеству. Мы — идём за ней. Не раньше. Совместная разведка: наши разведчики — через пост соседей, вот здесь, — палец на дорогу, — с их прикрытием, к лесу, посмотреть. Их командир батальона назначит связного, свои границы огня, рубеж, за который нас пропустят, и срок, до которого мы должны вывезти всё, что возьмём, потому что после этого срока он свой батальон оттуда уводит дальше.

— Срок — какой?

— Первоначально — утро седьмого, — сказал Чумаков. — Это их срок. Не немецкий — наш: к утру седьмого пехота планирует продвинуться так, что лесничество окажется у неё в тылу, и тогда мы входим. Если раньше — надо согласовывать через штаб, и это не я решаю. Если позже — то же самое. Седьмое, утро. Запомни.

— Седьмое, утро.

— Дальше. Усиление. — Он достал бумагу. — Четырнадцать человек. Лейтенант Руденко и тринадцать при нём: прикрытия, со своим оружием и снабжением, и в их числе — расчёт радиостанции, РБ-М, два человека. Приходят сегодня к вечеру, сюда, в парк. Это — твои люди на время задачи: Руденко ведёт свой участок под твоим общим заданием и согласует боевое с Буровым. Не Буров под ним и не он под Буровым: вместе. С радиостанцией — у тебя будет ближняя связь. Дальние донесения с поста соседей вези машиной, пока связисты не проверят путь.

Я посмотрел на Профессора. Профессор смотрел на Чумакова так, как смотрел на записку из бронетранспортёра.

— Снабжение — по заявке, — продолжал Чумаков. — Патроны — наши, винтовочные и к ППШ, — привезут с усилением. Горючее — здесь, в парке, по ведомости. Питание — на сорок шесть, с завтрашнего дня.

— Сорок шесть, — сказал я.

— Тридцать два и четырнадцать. Считать умеешь. — Он посмотрел на меня. — И последнее. Водители. То, что ты сказал, — «на каждую их машину водитель сверх группы». Это правильно, и я это запишу как следующую потребность: когда узнаешь число — сообщишь, и я запрошу армейских водителей на вывоз. Отдельно, на один рейс, не в группу. Сейчас их нет, и я их тебе не дам, потому что не знаю сколько. Найди базу — узнай число — я найду людей. Так?

— Так.

— Тогда — всё. — Он свернул карту. — Разведка — завтра, через соседей. Их связной будет здесь утром. Ты, Буров, Шестаков, Зорин — идёте смотреть. Парк — здесь. Усиление — принять. Срок — седьмое. Число водителей — жду. — И, помолчав, уже другим голосом: — Раkitин. Твой сержант сказал: «за три дня они могли уехать». Он прав. Могли. Тогда мы возьмём пустой двор, и это будет не первый пустой двор за эту войну. Но если не уехали — я хочу их целиком. Не грузовики. Мастерские. Ты понимаешь? Ремонтные средства за наступлением не поспевают, я тебе это говорил. Мне нужны их мастерские. Целые. С людьми, если получится, — они не поедут на нас работать, но они расскажут, как это устроено. С инструментом. Со всем.

— Понял, товарищ майор.

— Целиком, — повторил он и встал. — Мне сказали, вас в парке теперь ротой зовут. Трофейной.

— Между собой, товарищ майор. В бумагах — группа.

— Пусть в бумагах группа, — сказал Чумаков. — А между собой — рота. Только тогда и работайте как рота. Мне от роты нужна база. Целиком. Это моё пожелание. Хозяйственное.

— Роту кормить надо, — сказал Дед неожиданно.

Все повернулись.

— Товарищ майор, — сказал Дед, и я понял, что он не шутит. — Если вы хотите их мастерские целиком — то вам нужен не только я с будкой. Вам нужны люди, которые в них потом будут работать. У меня — три ремонтника и два механика. На одну будку. На пять таких мастерских понадобилось бы пятнадцать. Это я не прошу. Это я говорю, чтобы вы знали, что «целиком» — это не только увезти. Это ещё и посадить кого-то за верстак.

Чумаков посмотрел на него — долго, так же, как в первый день, — и сказал:

— Знаю. Это моя часть. Твоя — привезти. — И, помолчав: — Запишу, техник-лейтенант. Отдельной строкой.

И записал.

* * *

К своим я вернулся к обеду, и объяснял недолго, потому что рабочая часть была короткая: разведка — завтра, через соседей, пешком; усиление — четырнадцать, сегодня к вечеру сюда; срок — седьмое утро; парк — здесь, готовить; число водителей на вывоз — после разведки.

— Четырнадцать, — сказал Князь. — Сорок шесть. — Он не обрадовался — он считал. — Питание на сорок шесть — с завтрашнего дня, вы сказали. Это значит — заявка сегодня. Это значит — второй котёл, потому что ротный на тридцать два с запасом, а на сорок шесть — впритык. Это значит — место: где спать четырнадцати, я сейчас пойду смотреть сарай. И ещё: они приходят со своим снабжением — значит, у них свой старшина или кто-то за него, и я хочу с ним договориться сразу, кто что считает, чтобы не выходило, что мы оба считаем одно и то же, а третьего не считает никто.

— Договорись.

— Уже думаю, с чего начать. — Он помолчал. — Товарищ старший лейтенант. Бензин. Здесь, в парке, по ведомости, — это хорошо. Но на выезд — восемь машин, двадцать два километра туда, и обратно, и с тем, что возьмём, — это не ведомость, это заявка отдельная, на рейс. Я её напишу сегодня и вы подпишете сегодня, потому что если мы её напишем пятого, бензин привезут восьмого.

— Пиши.

— И патроны. Наши. Исаев сказал: у стрелков по две обоймы сверх. Это мало на лесную дорогу. С усилением привезут — хорошо. Но я хочу знать сколько, и я хочу, чтобы это было записано у меня, а не у их старшины.

— Запиши.

Князь ушёл к сараю — смотреть, где спать четырнадцати, — и по спине его было видно, что рост роты для него — это не радость, а работа, и что работа ему нравится.

Дед — Дед сказал своё у будки, коротко:

— Тягач — проверю. Полностью: масло, вода, топливо, лебёдка, — потому что если он там будет тянуть, я хочу знать, что он тянет. Будка — разложу так, чтобы можно было быстро собрать и быстро разложить снова: там, в лесу, я буду смотреть чужие машины, и мне нужен инструмент под рукой, а не на полках. Броня — Егор с Исаевым сами, я только гляну. ЗИСы, «Опели» — ремонтники, по одной, всё, что подтягивается. — Он посмотрел на меня. — Три дня. До седьмого — три полных дня. За три дня я могу подготовить всё, что у нас есть. Чужое — там.

— Три дня.

— И ещё. — Он помолчал. — Пятнадцать ремонтников, что я сказал майору, — это не шутка. Если мы привезём их мастерские, а работать в них будет некому — они будут стоять. Как тот кузов на пустом дворе. Ты это ему скажи ещё раз, когда будешь докладывать число. Не только водители. И ремонтники.

— Скажу.

Фрол и Профессор говорили между собой — я это слышал краем уха, идя от Деда к воротам: про радиостанцию. Профессор говорил: «РБ-М. Это наша. Я её знаю — по подготовке, не по работе. Два человека расчёт. Связь через двадцать километров леса заранее не обещаю. Она даст связь с ближайшим постом, с пехотой, если они на той же волне. Это уже много», — и Фрол говорил: «Мне и надо — с пехотой. Мне надо знать, что они у меня за спиной, а не гадать», — и Профессор говорил: «Тогда — да». И это был первый разговор о связи за восемь дней, в котором слово «связь» значило что-то, кроме велосипеда с погнутым крылом.

Я обошёл парк перед вечером. Восемь машин кругом, носами наружу; будка в середине, Дед в ней; броня у ворот со звездой, которую Князь подправил мелом после того, как прошёл дождь. Тридцать два человека. К вечеру ждём ещё четырнадцать.

И на карте у Чумакова — овал в лесу, с одним словом «лесничество», в двадцати шести километрах отсюда по дороге, за постом соседей, за лесом, куда мы завтра пойдём пешком смотреть, — есть ли там что-нибудь, или мы возьмём ещё один пустой двор.

Восемь дней назад у меня было два грузовика, один с течью, и я стоял с рукой у повозки. Сегодня у меня было разрешение. Не на грузовик. На Хеннинга — на человека, чьё имя Профессор прочёл в накладной на масло, и который где-то там, в лесу, собирал то, за чем мы ехали.

Не «взять». Найти. Потом — число. Потом — седьмое, утро.

Я ещё не знал, что там. Но впервые за восемь дней я знал, кого об этом спросить, и мне разрешили спросить.

Глава 23. «Сорок шесть»

Они приехали в седьмом часу вечера третьего июля на чужом ЗИСе, и первое, что я увидел, было не четырнадцать человек, а то, как они вылезали: по одному, с оружием, с мешками, с ящиками, которые передавали с борта на руки, — не спрыгивали кучей, а разгружались, и кто-то один командовал этим негромко и его слушали.

Этот один спрыгнул последним. Лейтенант — молодой, лет двадцати пяти, худой, с обветренным лицом, с планшетом и ППШ, — подошёл ко мне, доложил: «Лейтенант Руденко. Михаил. Тринадцать человек при мне. Прибыли в ваше распоряжение по назначению автомобильного отдела на время задачи», — и подал бумагу. Я прочёл. Всё сходилось: Руденко, тринадцать, из них — расчёт радиостанции, два человека, с имуществом и питанием; расчёт ручного пулемёта, два человека, с ДП; девять стрелков; оружие и боеприпасы — свои, по норме; снабжение — на трое суток, дальше — по общему довольствию.

— Ваша задача, — сказал я, — прикрытие группы на время операции. Ваш участок — как договоримся с Буровым. Общее — моё. Так по бумаге, так и будет.

— Так и понял, товарищ старший лейтенант, — сказал Руденко. — Разрешите вопрос?

— Спрашивайте.

— Кто у вас за боевое? Мне сказали — старший сержант. Я хочу с ним сразу, пока люди разгружаются. Чтобы к вечеру знать, кто где стоит, а не утром выяснять.

— Буров. Вот он.

Фрол подошёл. Они посмотрели друг на друга — лейтенант и старший сержант, — и я ждал, что будет, потому что знал Фрола чуть больше недели, а Руденко — две минуты.

— Старший сержант Буров, — сказал Фрол. — Фрол. Боевое — моё, с первого дня. Ваши тринадцать — ваши. Как ставить — договоримся. Но сначала — вопрос: ваши люди в лесу ходили?

— Ходили. Две недели по такому же.

— Тогда договоримся, — сказал Фрол. — Сейчас — разгружайтесь. Через полчаса — со мной, по стоянке, я покажу, где что, и вы скажете, что у вас как. Потом — вместе к командиру.

— Через полчаса, — сказал Руденко, и повернулся к своим, и сказал что-то коротко, и они пошли разгружаться дальше, — и я подумал, что вот оно, первое: два человека, которые могли бы сейчас выяснять, кто главное, — выяснили, кто где ходил, и разошлись по делу.

— И ещё, товарищ старший лейтенант, — сказал Руденко, не уходя. — Нам сказали: объект. Ремонтный. В лесу. Больше не сказали. Что я должен знать, чтобы ставить людей?

Я сказал ему то, что знал сам, — коротко, без бумаг: немецкая ремонтная база, подвижная, на колёсах, свозят в лесничество в двадцати шести километрах отсюда; точного места не знаем, завтра идём смотреть через соседей; срок — седьмое утро; наша работа — взять двор и удержать, пока вывозят; их — подходы, дорога, внешнее.

— Сколько там немцев?

— Не знаем.

— Сколько машин?

— Не знаем.

— Что знаем?

— Что они собирают мастерские. Что они умеют уходить. Что вчера они ещё там были, а завтра — посмотрим.

Руденко кивнул. Не разочарованно — так, как кивают, когда получили честный ответ.

— Понял. Тогда я ставлю людей на то, что знаю: дорога, лес, подход. Что узнаете — скажете.

— Скажу.

— Вода — колодец? Спать — сарай? Довольствие — ваш старшина?

— Всё так.

— Тогда — всё, — сказал он, и пошёл, и я смотрел ему вслед и думал, что за две минуты он спросил ровно то, что спросил бы я, и ничего сверх.

Их было тринадцать, и я не буду их описывать по одному — они были такие, какими бывают тринадцать человек, две недели ходившие по лесу: небритые, с прокопчёнными котелками на мешках, с оружием, которое держали, как держат своё. Двое с ДП — пулемётчик и второй номер — несли оружие и диски, придерживая ремни на плечах. Двое с ящиками на ремнях — радисты — шли осторожнее всех, и старший из них, я заметил, ни разу не поставил ящик на землю, пока не увидел, куда ставить. Девять стрелков — с винтовками, с одним ППШ у сержанта, — разгружались и смотрели по сторонам: на броню у ворот, на тягач, на будку, — и один сказал другому негромко: «Это они на ней ездят?» — и другой сказал: «Ездят, вон звезда».

Князь уже был при них. Он не ждал, пока разгрузятся, — он подошёл к их старшему по хозяйству, к сержанту с мешками, и сказал: «Сарай — второй, левая половина, я приготовил, солома свежая, вода — колодец, вон. Довольствие — с завтра на общее, сегодня — ваше, но котёл — мой, на всех, я варю. Ваше — ко мне в тетрадь, чтоб не считать дважды», — и сержант с мешками посмотрел на него так, как смотрят на человека, который всё уже решил, и сказал: «Понял», — и пошёл смотреть сарай.

ЗИС, который их привёз, разгрузился, развернулся во дворе и ушёл — к своей части, куда ему было велено, — и я проводил его глазами, как провожал полуторку с шестерыми неделю назад: с сожалением и без надежды.

Восемь машин. Сорок шесть человек.

* * *

Первое разногласие вышло у будки, и вышло из-за места.

Место у будки — на досках, у верстака, там, где лежал инструмент, — было своё: там спали ремонтники, там сидел Дед, там стояла лампа, и щуплый — я это знал — считал этот угол своим так же, как Суров считал своим «Опель». И вот к этому углу подошёл новый — радист, старший из двух, с ящиком станции на ремне, — и сказал, не спрашивая: «Здесь. Тут стена глухая, тут свет, тут ровно. Антенну — на сарай. Станцию — сюда, на ящик».

— Здесь — инструмент, — сказал щуплый.

— Инструмент подвинется.

— Инструмент не подвинется. Инструмент лежит так, чтобы Дед его видел от машины. Ты его подвинешь — он будет искать.

— Тогда куда мне? Мне нужен свет и стена.

— Не знаю. Не сюда.

Они стояли — щуплый и радист, — и это могло стать тем, чем становится обычно, если не остановить: два человека, которые спорят не о ящике, а о том, кто тут раньше. Я подошёл, но не успел сказать: Дед вылез из будки.

Он посмотрел на радиста. На ящик. На доски с инструментом. На стену.

— Тебе нужно что? — спросил он радиста. — Точно.

— Стена — чтобы антенну повесить и чтобы ветер не сдувал. Свет — вечером работать. Ровное — станцию поставить. Метр на метр.

— Метр на метр, — повторил Дед. — А тебе? — щуплому.

— Чтобы ключи лежали, где лежат. От первого до последнего. Чтобы вы видели.

— Ключи — вот. — Дед показал на доски. — Они лежат от стены до колеса. Три метра. У стены — лампа. — Он подумал. — Ключи сдвинем на метр от стены. К колесу. Я их и оттуда вижу. Лампа — останется, она на гвозде, а гвоздь — в будке, не в стене. У стены — метр — радисту. Свет ему — от той же лампы, она светит на два метра. Ветер — стена. — Он посмотрел на обоих. — Так?

Щуплый посмотрел на доски. На метр у стены. На лампу.

— Так, — сказал он неохотно.

— А ты — помоги ему сдвинуть, — сказал Дед радисту. — Раз ты просишь метр — ты его и освобождаешь. Не он.

Радист поставил ящик, подошёл к доскам и стал сдвигать их — вдвоём с щуплым, — и я видел, как он берётся: не кое-как, а держа доску ровно, чтобы ключи не съехали, — и как щуплый это заметил. Сдвинули. Проверили — Дед подошёл к будке, посмотрел от машины: видно. Радист поставил станцию у стены, на ящик, и она встала: метр на метр, у стены, под лампой.

— Вот, — сказал Дед. — И никто не подвинулся. Оба подвинулись. — И радисту, уже другим голосом, тем, каким говорил с щуплым про полоску: — Ты когда антенну будешь на

сарай тянуть — возьми у меня проволоку. Она у меня есть, медная, тонкая. Тебе на растяжку пойдёт.

— У меня своя.

— Своя — побереги. Моя — вот, — сказал Дед, и это было то, что он умел: не «добро пожаловать», а «возьми проволоку». И радист взял.

Мелехин подошёл к Руденко сам — я это видел от будки, — когда тот стоял у ворот и смотрел на свой участок. Подошёл, доложил — сержант лейтенанту, как положено, — и сказал что-то коротко, и Руденко ответил, и они постояли минуту, и Мелехин пошёл обратно. Я спросил его потом, о чём. Он сказал: «Спросил, из какой части. Он сказал. Я сказал, из какой мы. Оказалось — соседи были, под Бобруйском. Он их полк знает, я — его. Это всё». — «И что?» — «И то, что теперь я знаю, что он не с неба. И он знает, что я не с неба. В лесу это важно».

А Фрол с Руденко в это время ходили по стоянке, и я догнал их у ворот, где они остановились и, кажется, о чём-то спорили.

— ...у нас — рука, — говорил Фрол. — Одна — стой. Две — вперёд. Кулак — ложись. Я это всем поставил, и все знают.

— У нас — свисток, — говорил Руденко. — Один короткий — внимание. Два — вперёд. Длинный — назад. Рука — в лесу не видна.

— Свисток в лесу слышен немцу.

— Рука в лесу не видна и своим.

Они стояли и смотрели друг на друга, и я приготовился вмешаться, но Фрол сказал:

— Проверим.

— Как?

— Просто. Ваших четверо — на ту сторону двора, за сарай, чтобы не видели. Моих четверо — сюда. Я даю руку — считаем, кто увидел. Вы даёте свисток — считаем, кто услышал и кто понял. Что лучше — то и берём. На всех.

— Годится, — сказал Руденко.

И они это сделали. Я стоял и смотрел: четверо руденковских ушли за сарай, четверо мелехинских встали у ворот, и Фрол поднял руку — одну, — и мелехинские встали, а руденковские за сараем не увидели, конечно, и продолжали делать, что делали. Потом Руденко дал свисток — короткий, — и за сараем встали все четверо, и мелехинские у ворот тоже — потому что услышали, но не поняли, что «короткий — внимание», и один спросил: «Это что?»

— Вот, — сказал Фрол. — Твои услышали и поняли. Мои услышали и не поняли. Моё — мои увидели, твои — нет. Значит, надо одно.

— Свисток, — сказал Руденко. — Потому что слышно всем.

— Свисток — в лесу, — сказал Фрол. — Где не видно. На дороге, на дворе, где видно, — рука: она тише. Оба. Твои учат руку, мои учат свисток. Сегодня. До ужина.

— До ужина, — сказал Руденко. И — я это увидел — улыбнулся, впервые. — Я думал, вы будете спорить.

— Я и спорил, — сказал Фрол. — Я проверил и проиграл половину. Это — спор. — И повернулся ко мне. — Товарищ старший лейтенант. Сигналы — рука и свисток, оба, все учат. Участки: Руденко — внешний, подходы, дорога; я — внутренний, машины, двор. Мелехин — со мной. Исаев — броня. ДП — два: один мой, один его. Так?

— Так.

— Тогда — учить, — сказал Фрол, и они разошлись, и через час я слышал, как за сараем кто-то свистит, а у ворот кто-то говорит: «Кулак — это ложись, не «стой», кулак — ложись», — и это было сорок шесть человек, которые учились одному языку.

* * *

Радиостанцию разворачивали при мне, и я смотрел на это так, как смотрел на первый «Опель»: с уважением к вещи, которую не понимаю.

Ящик — не один: станция, питание, ещё что-то, — на ящике у стены, под лампой. Антенна — проволока, на растяжке, на крышу сарая, на ту самую медную проволоку Деда, которую радист всё-таки взял. Помощник подключал батарейный ящик — и радист сидел с наушниками, и Профессор стоял рядом.

Стоял — не сидел. Он это сказал сам, когда я подошёл: «Я могу помочь развернуть. Я это проходил, я знаю, что куда. Работать — не могу и не буду: это его станция, его позывной, его сеанс. Я — рядом, если он спросит. Он не спросит».

— Спрошу, — сказал радист, не оборачиваясь. — Если что-то не так с настройкой. Вы её знаете?

— Знаю.

— Тогда — рядом.

И Профессор стоял рядом, и я видел, как ему это нравится: не переводить, не читать чужие накладные, — а стоять при своём деле, при том, чему его учили, и быть нужным, даже если не спросят.

Пробный контакт был с пунктом автомобильной службы поблизости от парка: не с далёким штабом, не с постом соседей за двадцать два километра, — с людьми у своей дороги, у которых была своя станция и назначенный порядок. Радист вызвал. Подождал. Вызвал ещё. И потом сказал в микрофон что-то коротко, по порядку, и повернулся ко мне:

— Есть. Пункт отвечает. Слышимость хорошая. Для этой стоянки проверили. Порядок — по сеансам, время — назначено, позывные — получены от отдела, я их не выдумываю. — Он снял наушники. — Товарищ старший лейтенант. Я вам скажу сразу, чтобы потом не спрашивали. Отсюда до поста соседей — двадцать два километра. Там лес, и связь на таком пути без проверки я не обещаю. Что она даст: связь отсюда с их пунктом здесь, и — если мы её перевезём на пост соседей — связь оттуда с их пехотой, которая рядом, на той же волне. Не «всегда слышно штаб». Ближайший свой — да.

— Понял. Посыльный остаётся.

— Посыльный остаётся, — подтвердил радист. — Мы — не вместо него. Мы — сверх.

— Я бы сказал то же самое, — сказал Профессор. — Только длиннее.

Радист посмотрел на него и — впервые — усмехнулся.

— Тогда — первое, — сказал я. — Не проба. Работа. Передайте на пункт: усиление было, четырнадцать, по назначению; станция развёрнута; заявка на горючее на выезд подписана, у старшины; завтра — разведка через соседей, четверо, выход в шесть. Всё.

Радист надел наушники, вызвал, дождался, и передал — я слышал, как он это делает: не так, как я сказал, а так, как это говорят в станцию: короче, с порядком слов, которого я не знал, с цифрами, которые он повторил дважды. Потом снял наушники.

— Принято. Пункт подтвердил. — Он посмотрел на меня. — Первое донесение — четыре минуты. На велосипеде было бы — сколько?

— Сейчас — считанные минуты. А если пункт снимется дальше по дороге — придётся догонять.

— Вот, — сказал радист. И помощник рядом с ним, проверявший соединения питания, выдохнул и вытер руки о штаны, и я понял, что для него это тоже было первое: не проба, а работа, при новом командире, и что он её сделал.

Я стоял у стены, у станции, и думал о том, что у нас теперь есть связь. Не велосипед с погнутым крылом — то есть и он тоже, — но ещё и вот это: ящик, проволока на сарае, человек в наушниках, который говорит «есть». Восемь дней я писал бумаги и отдавал их людям с ногами. Теперь у меня было ещё и это. Не на всё. На ближайшее. И этого, как сказал радист, было сверх.

* * *

Ужин Князь варил на сорок шесть, из двух котлов — ротного и того, что нашёлся в парке по описи, — и накрывал, как всегда, не «поесть», а «сидеть»: накат, брезент, лампа, ящики кругом, — только круг теперь был шире, и в нём сидели люди, которых я не знал по именам и не собирался узнавать в этот вечер, — и это было правильно: имена приходят с делом, а не с миской.

И — я это видел с самого начала — Артист готовился.

Он готовился с той минуты, как их увидел. Он ходил вокруг новых, пока они разгружались, и смотрел, и слушал, и прикидывал, я это знал по его лицу: вот публика. Новая. Тринадцать человек, которые не слышали ни про лошадь Секретаря, ни про полуторку с актрисой, ни про механика из МТС, — и которым всё это можно рассказать заново, и они будут смеяться там, где наши уже не смеются, потому что знают конец. И он сел за стол так, чтобы новые были напротив, и выждал, пока они начнут есть, — и начал.

— Товарищи, — сказал он. — Вы попали в роту. Вам, наверное, уже сказали. Трофейная. Я вам расскажу, почему она так называется, и начну с первого дня, потому что первый день — это было...

И тут Князь принёс второй котёл.

Он принёс его к столу, поставил, снял крышку — и из котла пошёл пар, и запах, потому что Князь сегодня достал у парка не консервы, а мясо, настоящее, по ведомости на сорок шесть, — и тринадцать новых, которые три дня ехали на сухом, повернули головы. Все. Разом. К котлу.

Артист замолчал на середине фразы.

Он посмотрел на них — на тринадцать лиц, повёрнутых к котлу, — и я видел, как он это принял: сначала — за успех. За подводку. Он подумал, что они повернулись, потому что он сказал «первый день», и продолжил: «...это было утро, и у нас было два грузовика, один кашлял...» — и никто не повернулся обратно. Князь разливал. Миски шли по кругу. Новые брали и ели — молча, быстро, как едят после трёх дней сухого, — и смотрели в миски.

Артист понял. Я видел, как он понял: лицо у него стало таким, какое было на лавке бронетранспортёра, когда он сообразил, что смотрят не на него. Он закрыл рот. Посмотрел на Князя. Князь разливал и не смотрел на него, но угол рта у Князя был такой, что я понял: он знал. Он с самого начала знал, когда принесёт котёл.

— Василий, — сказал Артист негромко.

— Что? — сказал Князь, не поднимая головы.

— Ты специально.

— Я варил, — сказал Князь. — Мясо доходило. Оно дошло сейчас. Я его принёс сейчас. Если бы оно дошло через час — я бы принёс через час, и ты бы успел.

— Оно дошло ровно на «первый день».

— Значит, хорошее мясо, — сказал Князь и поставил половник.

И тут засмеялся Руденко.

Он сидел напротив, среди своих, ел, — и засмеялся, коротко, по-настоящему, и сказал:

— Вы это всегда так?

— Всегда, — сказал Фрол. — Один рассказывает, другой кормит. Это у нас вечер. Ты привыкнешь.

— Я уже привык, — сказал Руденко. — Я такое видел. У нас в роте был старшина, который...

И рассказал. Коротко — три минуты — про старшину, который умел накрыть стол так, что политрук забывал, зачем пришёл, — и это было смешно, и наши засмеялись, потому что узнали, и новые засмеялись, потому что знали этого старшину, — и Артист сидел, и слушал, и не перебивал, и когда Руденко кончил, сказал:

— Вот. Вот это — подводка. Он вас накормил, а потом рассказал. Я — наоборот. Я учусь.

— Учись, — сказал Князь. — Тебе полезно.

— Полезно, — не стал спорить Артист. — Но я вам скажу, товарищ лейтенант, что у вас старшина — это ещё не всё. У нас есть Дед. — Он посмотрел на будку, где Дед сидел с кружкой у своих ключей, сдвинутых на метр к колесу. — Мы два раза устраивали ему вечер. Два раза он уходил: один раз — к радиатору, другой — спать, после того как сам рассказал. Это — наша затея. Мы её ещё не выиграли.

— Что значит — выиграли? — спросил один из новых, молодой, с ложкой.

— Это значит — он останется до конца. Сам. Не потому что попросили.

— А зачем?

Артист открыл рот — и не нашёл, что ответить. Потому что «зачем» — это был правильный вопрос, и на него, я думаю, у него не было ответа, кроме одного, который он и сказал:

— Затем, что мы его любим. И хотим, чтобы ему было хорошо с нами так же, как с мотором.

Стало тихо. Не неловко — тихо. Новые посмотрели на будку, на Деда с кружкой, — и молодой с ложкой сказал: «А. Понятно», — и это было понятно, и Князь налил ему добавки.

— А у нас, — сказал пулемётчик из новых, второй номер, немолодой, — был такой. Не механик — повар. Его звали к столу — он не шёл. Говорил: «У меня каша». Мы ему: «Каша готова». Он: «Она доходит». Она доходила всегда. Он к столу так ни разу и не сел за два месяца. Ел у котла, стоя.

— И что? — спросил Артист.

— И ничего. Хороший был повар. — Пулемётчик пожал плечами. — Я к тому, что некоторых к столу не посадишь. Им у котла лучше. Может, вашему у мотора лучше.

— Может, — сказал Артист. И подумал. — Но мы попробуем ещё раз. В третий. Когда будет что праздновать.

— Тогда — да, — сказал пулемётчик. — На праздник и наш повар садился. Один раз. На Новый год.

— И как?

— Съел три миски и ушёл спать. Сказал: «Хорошо, но у меня каша».

Все засмеялись — и наши, и новые, — и Дед у будки поднял голову на смех и спросил у радиста: «Чего они?» — и радист сказал: «Про повара», — и Дед сказал: «А», — и вернулся к проволоке.

Колосов, сидевший у края с левой рукой на кружке, сказал новому, что сидел рядом: «Ты с рукой — правой стреляй, а левой — картошку. Я так с двадцать девятого», — и тот посмотрел на его перевязь и сказал: «А что с ней?» — «Осколком камня. Пройдёт. Устинов сказал — три дня». — «Кто такой Устинов?» — «Вон, — сказал Колосов, — который на тебя уже смотрит, потому что у тебя кашель». И новый перестал кашлять, а Устинов, действительно смотревший, сказал через стол: «Завтра подойдёшь», — и новый сказал: «Есть», — и это тоже было зачисление, только по-другому.

Дед у будки этого не слышал. Он сидел и говорил с радистом — про проволоку, про то, как её лучше натянуть, чтобы не гудела на ветру, — и радист слушал, и это тоже был вечер, только их.

Я обошёл стоянку перед сном — я всегда обхожу. Восемь машин. Сорок шесть человек, из них тринадцать во втором сарае, слева, на свежей соломе, которую Князь приготовил, не спросив. Два ДП. Один пулёмёт на броне, с двумя тысячами четырьмястами пятьюдесятью. Станция у стены, под лампой, с антенной на сарае, и радист спал рядом с ней, а помощник — на посту при ней, потому что «станцию не оставляют».

Завтра — разведка. Через соседей, пешком, к лесу, к лесничеству, — я, Фрол, Дед, Профессор, на ЗИСе с Артистом до поста, дальше ногами. Из сорока шести пятеро уезжают, остальные сорок один остаются здесь, с Руденко и Мелехиным, с Князем и котлом.

Я думал о том, что неделю назад у меня было восемнадцать человек, которых я знал по именам, не зная в лицо, — а теперь сорок шесть, из которых тринадцать я не знал ни по именам, ни в лицо, и знать пока не собирался. И что это было правильно. Потому что имена приходят с делом. А дело было завтра.

И ещё я думал, что Князь принёс котёл ровно на «первый день», и что это была лучшая шутка вечера, и что Артист её принял, — и что рота, в которой один рассказывает, а другой кормит, и оба знают, что делают, — это, наверное, и есть рота.

Глава 24. «Большая мастерская»

До поста соседей — двадцать два километра, и мы прошли их на первом ЗИСе за час с четвертью, потому что Артист вёл так, как вёл, когда знал, что везёт: не быстро, ровно, и на каждом посту — а их было три — останавливался раньше, чем поднимали руку.

В кабине ехали двое — Артист и я; в кузове — Фрол, Дед и Профессор. Ни стрелков, ни ДП, ни брони: это была не операция и не выезд — это была прогулка к чужому посту, за которым начиналось чужое дело, и я это понимал так же ясно, как понимал, что Руденко остался в парке с сорока одним человеком и семью машинами, и что это правильно. Дед взял с собой не ящик — бинокль. Один, из общего имущества, за которое отвечал Князь, — и держал его на коленях всю дорогу, как держал бы ящик.

По дороге Артист спросил — один раз, на втором посту, пока проверяли бумагу:

— Товарищ старший лейтенант. А если там ничего?

— Тогда — ничего.

— Девять дней — и ничего?

— Девять дней — и мы знаем, что там ничего. Это тоже знание. — Я помолчал. — Но Профессор говорит: они собирают. Собирают — это не бросили. Я думаю, там что-то есть.

— Я тоже думаю, — сказал Артист. — Иначе бы Дед бинокль не взял. Он его у Князя выпрашивал полчаса. Князь сказал: «По описи». Дед сказал: «Я тебе его верну с базой». — Он усмехнулся. — Князь отдал.

Пост соседей был — окоп, землянка, два пулемёта и лейтенант, которого предупредили. Он посмотрел на бумагу Чумакова, на нас, на ЗИС, и сказал: «Машина — здесь. Вы — с моим сержантом. Он вас поведёт, он вас и приведёт. Куда он скажет не ходить — не ходите. Это не ваш лес». — «Не наш», — сказал я, и он кивнул, и позвал сержанта.

Сержант был разведчик — из тех, кого узнаёшь по тому, как он стоит: не по стойке, а по тому, что он всё время чуть в стороне и смотрит не на тебя. Немолодой, спокойный, с ППШ и с биноклем, который у него был лучше нашего. Он сказал только:

— Четыре километра. Лесом, по нашей тропе. Идём тихо, не разговариваем. Я впереди, двое моих по бокам. На месте — я показываю, откуда смотреть. Дальше того места — нельзя. Спрашивать — шёпотом. Полтора часа туда, час там, полтора обратно. Всё.

— Всё, — сказал Фрол, и я увидел, что он этого сержанта принял сразу, как принял Мелехина у кармана: по тому, как тот сказал «нельзя».

Артист остался с ЗИСом у поста. Он не спросил, можно ли с нами, — он знал, что нельзя, и сел на подножку, и сказал мне: «Я буду здесь. Как в тот раз, у первого двора. Свои — «свои», чужие — стреляю», — и я сказал: «Свои», — и мы пошли.

* * *

Четыре километра лесом — это долго, если идёшь тихо, и я не буду про них рассказывать, кроме одного: сержант ни разу не оглянулся, и мы ни разу не отстали, и Дед с биноклем на груди шёл так, будто ему сорок восемь только по бумаге. Двое сержантовых шли по бокам — я их видел раз в пять минут, между стволами, — и шли так, что если бы я не знал, что они там, я бы не знал. Профессор шёл за мной и дышал, и раз наступил на сук, и сержант впереди остановился, не оборачиваясь, и стоял, пока Профессор не прошептал «простите», — и пошёл дальше, и больше Профессор на суки не наступал.

На середине пути сержант поднял руку, и мы легли, и лежали минут пять, и я не знал почему, и потом он встал и пошёл, и потом, на пригорке, сказал шёпотом: «Их дозор. Двое. Ходят по тропе раз в час. Мы их пропустили». Я их не видел и не слышал. Фрол — я это понял по его лицу — видел.

Место, откуда смотреть, было — пригорок в сосняке, за кустами, метрах в трёхстах от края леса, и за краем леса, внизу, лежало то, за чем мы ехали девять дней.

Я это увидел сначала целиком — так, как вижу площадку: что где стоит. Потом — по частям. Расскажу по частям, потому что целиком это было слишком.

Двор. Не двор — комплекс, как сказал бы я в той жизни: бывшее лесничество или лесное хозяйство, с постройками, с оградой из жердей и досок, с дорогой, подходящей к главным воротам с востока — от нас, — и с проездом внутри. Главный двор — большой, утоптаный, широкий, — и на нём стояли машины. Я считал, как считаю всегда: раз, два, три... девять. Девять «Опелей» — я их узнавал с трёхсот метров так же, как узнал бы свои, — серых, стоящих в два ряда у длинной постройки. Из девяти — пять с бортами и тентами; три — с будками, как наша, только одна побольше; и один — в стороне, у ограды, бортовой, с открытым капотом, возле которого никого не было. Длинная постройка — рабочая: с широкими воротами, с навесом вдоль стены, и под навесом — верстаки. Настоящие, на козлах и на ножках, в ряд, и на них — инструмент, разложенный, и у них — люди. В рабочей одежде. Человек десять. Они работали. Кто-то стоял у тисков. Кто-то нёс что-то от машины к верстаку. Кто-то лежал под «Опелем» с будкой. Работали — как работают, когда завтра тоже надо работать.

Было слышно. Не слова — звуки: молоток, редко, по железу; что-то тянули по земле; мотор, один, на холостых, потом заглох; голос — один, короткий, командный, — и Профессор рядом шевельнул губами и ничего не сказал: далеко. И ещё — я это отметил, как отмечаю на площадке, — не было спешки. Люди у верстаков ходили так, как ходят на работе: без беготни. Один курил у стены. Один сидел на ящике и что-то писал на колене. Это был не лагерь перед бегством. Это был цех в рабочий день.

Я поймал себя на том, что смотрю на него, как смотрел бы на чужую площадку в той жизни: где у них кран, где въезд, почему верстаки под навесом с юга, куда они ставят то, что уже сделано. И что мне это нравится. Не потому, что чужое, — потому, что правильно устроено. Тот, кто это ставил, знал, как работают.

— Смотри, — сказал Дед шёпотом, и в этом шёпоте было то, чего я не слышал у него ни над тягачом, ни над бронёй. — Смотри, как они его поставили. Верстаки — под навес, от дождя. Свет — с южной стороны. Машины — так, чтобы к любой подъехать. Это не стоянка. Это — цех. Они его развернули как цех.

— Я вижу.

— Ты видишь. А я — знаю. — Он смотрел в бинокль и говорил, не отрываясь. — Три будки. Одна — большая, похожа на мастерскую, как наша, только просторнее. Внутрь не заглянуть. Две — как наша. Пять бортовых — с ящиками, я вижу ящики под тентом, у одного тент откинут. Один — у ограды — стоит. Не работает. Капот открыт, никого. Значит, либо его чинят, либо бросили.

— Что в ящиках — видишь?

— Нет. Ящики. Тяжёлые — по тому, как их таскают. Может, металл.

— Мотор у того, у ограды, — какой?

— Не видно. Не проси. Я вижу капот. Что под ним — нет.

Профессор рядом смотрел не в бинокль — он смотрел в бинокль сержанта, который тот ему дал на минуту, — на надписи. На бортах, на будках, на воротах постройки.

— Их, — сказал он. — Та же контора. На двух будках — те же буквы, что на нашей. На бортовых — другие, но похожие: другая часть той же сети. Это — не одно подразделение. Это

— несколько, свезённых сюда. — Он опустил бинокль. — Что я слышал: ничего. Далеко. Что я прочёл: принадлежность. Что я думаю: это оно. Сбор. То самое.

— Не думай, — сказал Фрол. — Потом.

Он лежал рядом с сержантом, и они говорили — шёпотом, коротко, — и я слушал, потому что это было про доступ.

— Главные ворота — восточные, — говорил сержант. — К ним — дорога, вон, от нашего поста, четыре километра, вы по ней не шли, шли тропой, но она там. На дороге, метров за двести до ворот, — машина. Брошенная. Немецкий грузовик, бортовой, порожний, стоит наискось, поперёк, с разбитым передком, но на колёсах. Наполовину перекрывает. Пехота пройдёт. Ваш этот, с гусеницами, — пройдёт, обочиной. Грузовик с кузовом — нет. Надо убирать.

— Убрать — можно?

— Можно, если есть чем. У нас нечем. У вас — говорят, есть.

— Есть, — сказал Фрол. — Дальше.

— Дальше — ворота, главный двор. За главным двором — постройка, где верстаки. За постройкой — не видно отсюда: внутренний проезд, я его смотрел вчера с другой стороны, с юга: там ворота — не такие, как главные, а деревянные, двустворчатые, внутренние, между главным двором и вторым, маленьким, — и за ними второй двор, и в нём — изба и ещё что-то, и там ходят не рабочие. Там ходят в форме. Я думаю — начальство. Я не знаю.

— Второй двор — выезд?

— Есть. Вон там, — сержант показал рукой на юго-запад, за постройку, где лес подходил ближе, — не видно, но есть: узкий, в лес, на просёлок. Метров сто пятьдесят, двести от главного двора. Я по нему не ходил, я видел, как оттуда выезжала машина — вчера, одна, порожняя.

— Значит, два выхода, — сказал Фрол. — Главный — на восток, к нам. Задний — на юго-запад, в лес. И между ними — постройка и внутренние ворота.

— Два, — подтвердил сержант. — Третьего не видел. Может, и есть.

— Охрана? — спросил Фрол.

— Посты — у главных ворот, двое. У постройки — двое. По ограде — я видел троих за час, ходят. В избе на втором дворе — не знаю сколько. Пулемёт — один видел, у главных ворот, на мешках. Всего — я бы сказал, взвод. Тридцать, сорок. Не считая рабочих. Рабочие — с оружием у стены, как везде.

— Взвод, — повторил Фрол. — С пулемётом у ворот, с двумя дворами и с двумя выходами. — Он помолчал. — Это не двор с сараем. Это — работа.

— Не наша, — сказал сержант. — Наша — вот эта, — он кивнул назад, на восток, на свою дорогу, — довести вас досюда и обратно. Что вы с этим сделаете — ваше.

И вот тут я увидел, что Дед смотрит на двор не как на цель. Он лежал с биноклем, и лицо у него было такое, какое я видел у него в первом «Опеле», когда он сказал «мне уже интересно», — только теперь это было не «интересно». Это было — «хочу туда». Не взять — работать. Сесть за тот верстак под навесом, у тисков, и делать то, что делают те десять в рабочей одежде.

— Григорий, — сказал я шёпотом.

— Что?

— Ты на них смотришь как на приглашение.

— Я на них смотрю как на цех, — сказал Дед, не отрываясь. — Я такого цеха не видел с сорок первого. Это — не приглашение. Это — то, что я хочу привезти. Целиком. Как майор сказал. — Он опустил бинокль. — И я тебе скажу, что для этого надо. Девять машин. Одна стоит в стороне, с капотом, — может, неисправна. Из остальных я видел в движении одну, которую подавали к верстаку. Всем водителю нужен, если ходят. Семи внешних водителей я бы запросил сразу; потом уточним, сколько машин останется и что с ними. Под ту, у ограды, — тягач, если колёса и тормоза целы. Плюс — рабочих там десять, и они разбегутся, и никто мне не скажет, что где лежит. Плюс — ящики: их не бросишь, их надо грузить, а на это — руки.

— Он посмотрел на меня. — Ты просил число. Вот число: семь водителей. И два дня работы на месте, если её брать целиком. Не полдня. Два.

— Два дня там никто не даст.

— Тогда — не целиком, — сказал Дед просто. — Тогда — что успеем.

* * *

Смена началась через полчаса, и я её увидел раньше, чем понял.

Сначала — у верстаков. Один из рабочих — тот, что стоял у тисков, — кончил то, что делал, и не взял следующее. Он снял тиски. Открутил от верстака, поднял, понёс к будке, к большой, — и поставил внутрь. Потом вернулся и стал собирать с верстака инструмент — не в работу, а в ящик: ключ за ключом, по порядку, как в пустом дворе под Слуцком, только теперь я видел, как это делают, а не как это сделали.

— Смотри, — сказал Дед.

— Вижу.

— Он собирает. Не все — он один. Остальные работают. Но он — собирает. Это значит, что кто-то сказал ему: начинай. Не всем — ему. Значит, начали. Не уходят — начали.

Потом — канистры. Из-за постройки двое вынесли канистры — по две в руках, — и поставили в ряд у бортового с тентом. Восемь. Потом ещё четыре. И ушли за следующими. Дед сказал: «Горючее. Не на работу — на дорогу. На работу канистры не выставляют в ряд». И Фрол сказал: «Или на продажу», — и Дед сказал: «Не мели», — но без уверенности.

Потом — на втором дворе, за постройкой, там, где сержант видел «в форме», — мотоцикл. Я его услышал, потом увидел краем, между постройкой и оградой: въехал через задний выход, встал, с него слезли двое, и ушли в избу. Через десять минут один вышел, сел, уехал — обратно, в лес. Сержант сказал: «Второй за сегодня. Утром был один». Профессор сказал: «Связь. У них тоже посыльные». И это было, наверное, единственное, что нас с ними роднило.

Потом — машина. Один из бортовых — тот, у которого тент был откинут, — завёлся, я услышал через триста метров, и его перегнали: от верстаков — к главным воротам, носом на выезд, и поставили. И заглушили. И водитель вылез и пошёл обратно к верстакам.

— Носом на выезд, — сказал Фрол. — Как тягач стоял. Как броневик. Они всегда так ставят.

— Они ставят так, когда собираются, — сказал я. — Не завтра. Но собираются.

— Когда? — спросил сержант.

— Не знаю, — сказал я. — Один собирает, десять работают, одна машина носом на выезд. Это — начало. Не конец. Сколько от начала до конца — они знают, мы нет.

— Тогда — смотреть, — сказал сержант. — Мои будут смотреть. Каждый день. Что увидят — вам через пост.

— Завтра — ещё раз, — сказал Фрол. — Сами. Утром и днём. Чтобы видеть, что изменилось.

— Завтра — пожалуйста. Через меня.

Профессор смотрел на внутренние ворота — те, деревянные, двустворчатые, между главным двором и вторым, о которых говорил сержант, — их было видно с нашего пригорка краем: створки, тёмные, высокие, закрытые, и рядом с ними — постройка. Он спросил у сержанта, не открывались ли они при нём. Сержант сказал: открывались, вчера, для той порожней машины, что выезжала на задний выход, — и открывали со стороны главного двора, изнутри, двое, и потом закрыли.

— Значит, — сказал Профессор, — если стоять на главном дворе — их можно открыть. Если стоять на втором — нет. Или можно, но я не видел.

— Не видел, — сказал сержант. — Запор — с этой стороны, я видел засов.

— Это я запишу, — сказал Профессор. — Это не догадка. Это — видел.

Я лежал и смотрел, и складывал — так, как складываю на площадке, когда стою перед большим грузом и думаю, с какого конца его брать. Главный двор — девять машин, верстаки, рабочие, — к нему дорога с востока, с брошенным грузовиком наискось, который надо убрать тягачом, чтобы прошли большие кузова. Постройка. Внутренние ворота — деревянные, засов с нашей стороны. Второй двор — изба, «начальство», в форме. Задний выход — сто пятьдесят, двести метров, узкий, в лес. Взвод охраны, пулемёт у главных ворот.

И то, что мы будем делать, — уже было видно, как видно, откуда цеплять: не брать всё сразу. Брать главный двор — это Фрол с соседями. Убрать грузовик — это тягач с Дедом. Держать задний выход — это то, о чём я ещё не думал, но уже знал, что придётся: потому что если они уходят — они уходят туда, в лес, узким выездом, и всё, что мы возьмём на главном дворе, будет без тех, кто сидит в избе.

— Фёдор, — сказал я. — Второй выход.

— Вижу, — сказал Фрол. — Не сегодня.

— Не сегодня. Но я про него думаю.

— Думай. Я тоже.

Час прошёл. Сержант посмотрел на солнце и сказал: «Пора», — и мы поползли назад, и я оглянулся один раз — на двор, на верстаки под навесом, на серые будки, на человека, который собирал ключи в ящик, — и подумал, что вот это я и искал девять дней, и вот оно, и оно работает, и завтра, может быть, будет работать ещё, а послезавтра — нет.

* * *

Артист ждал у поста, на подножке, с ППШ на коленях, и когда мы вышли из леса, сказал «свой?» — и Фрол ответил, и он встал.

— Ну? — спросил он.

— Есть, — сказал я.

— Большая?

— Девять машин. Верстаки. Цех.

Артист посмотрел на Деда. Дед посмотрел на Артиста. И Дед сказал — коротко, без подводки, потому что подводка была не нужна:

— Семён. Это — то, ради чего мы ехали. Я такого не видел с сорок первого.

И Артист — я это увидел — не стал спрашивать дальше. Он кивнул, и полез в кабину, и завёл, и мы поехали.

Двадцать два километра обратно. Я ехал рядом с ним и молчал, и складывал доклад. Не для бумаги — для Чумакова, вслух, потому что он был в парке западнее Несвижа, и это был тот случай, когда посыльный — это я сам, и Г-01 — это моя связь.

Он был там. У палатки автоотдела, с «виллисом», — не уехал, ждал, — и я доложил ему стоя, у ЗИСа, не заходя в палатку, потому что Фрол и Дед стояли рядом, и это был их доклад тоже.

— Есть, — сказал я. — Лесничество. Два двора, главный и малый. На главном — девять «Опелей»: три с будками, одна большая; пять бортовых с ящиками; один у ограды с открытым капотом, стоит отдельно. Верстаки под навесом, десять рабочих, работают. Охрана — по оценке их сержанта, взвод, пулемёт у главных ворот. Выходы — два: главный, на восток, к посту соседей, и задний, на юго-запад, в лес, сто пятьдесят — двести метров от главного двора, узкий. Между дворами — внутренние ворота, деревянные, двустворчатые, засов со стороны главного двора. На дороге к главным воротам — брошенный грузовик, порожний, наискось, с разбитым передком, на колёсах, перекрывает половину: пехота и броня пройдут, грузовики — нет, надо убирать тягачом.

— Что делают?

— Работают. Но один начал собирать: снял тиски, укладывает инструмент. Одну машину перегнали к воротам носом на выезд. Начало. Не конец.

— Когда уйдут?

— Не знаю. Один собирает из десяти. Завтра посмотрим ещё раз — утром и днём.

Чумаков кивнул. Посмотрел на Фрола.

— Буров?

— Взвод и пулемёт у ворот — это не мы одни, товарищ майор. Это с соседями. Их — снаружи, по подходу и по дороге; мы — во двор, когда подход открыт. Задний выход — его надо закрыть, иначе всё, что в избе, уйдёт в лес. Кто закроет и как — я думаю. Пока — думаю.

— Шестаков?

— Одну видели в движении, про остальные пока не скажу. Семь водителей сверх наших прошу зарезервировать; точное распределение — после осмотра. Если та, у ограды, катится и тормозит, возьмём на тягач. Ящики — грузить, руки нужны. Целиком — два дня работы на месте. Полдня — что успеем. — Дед помолчал. — И я скажу, что это цех, товарищ майор. Не стоянка. Они его развернули, как разворачивают, чтобы работать месяц. И они его сворачивают. Я это видел по одному человеку с тисками.

— Зорин?

— Видел: их, несколько подразделений одной сети, свезены. Слышал: ничего, далеко. Думаю: это сбор. Не докажу.

Чумаков молчал. Он смотрел на нас четверых — и на Артиста в кабине, который делал вид, что не слушает, — и потом сказал:

— Семь водителей. Запрошу сегодня. Придут — не знаю когда, я это уже говорил. Срок — седьмое, утро, пока стоит: пехота свой участок не двигает раньше. Если то, что вы видели, уедет до седьмого, — это будет пустой двор, и мы возьмём пустой двор. Если нет — возьмём цех. — Он помолчал. — Завтра — смотреть. Оба раза. И — Ракитин — если завтра ты увидишь, что они уходят раньше, — ты мне это скажешь так же, как сказал сегодня: что видел, а не что боишься. И тогда я пойду в штаб, и, может быть, срок сдвинут. Может быть. Не обещаю.

— Понял.

— Иди. Люди ждут.

— Товарищ майор, — сказал я, когда он уже повернулся уходить. — Одно. Не для доклада. Дед сказал: они развернули цех, как разворачивают на месяц. И сворачивают. Я не знаю, сколько у них от начала до конца. Но я знаю, как это делается у нас, — на площадке, когда снимаешь базу: сначала убирают то, что не нужно сегодня, потом — то, что нужно завтра, и в последний день — то, без чего нельзя. Они начали с первого. Тиски — это первое. Когда начнут второе — будет видно. Когда третье — поздно.

— Это ты думаешь.

— Это я думаю. Я сказал «не для доклада».

— Хорошо, что сказал, — ответил Чумаков. — Завтра — посмотри, с чего они начнут утром. Если со второго — я пойду в штаб не послезавтра, а завтра. — И ушёл к «виллису», и я подумал, что вот это и есть «работать с инициативой»: он не сказал «не мели», он сказал «посмотри».

Люди ждали. Сорок один человек в парке — Руденко у ворот, Мелехин, Князь с котлом, Селиванов у брони, Исаев, Суров, Дрозд, второй водитель, — и все повернулись, когда ЗИС въехал, и я вылез, и сказал одно слово, которое они ждали девять дней и которое я, кажется, сам ждал дольше:

— Есть.

И потом, Руденко и Мелехину, коротко, то, что нужно для работы: два двора, два выхода, взвод, девять машин, грузовик поперёк дороги, срок — седьмое. И Князю — семь водителей запрошены, будет вывоз, готовь бензин на вывоз. И Селиванову — броня пройдёт грузовик обочиной, грузовики нет, готовься идти первой. И Исаеву — пулемёт у их ворот, один, на мешках.

— Семь водителей, — сказал Князь, записывая. — Это семь порций сверх, если они придут до вывоза, и семь мест в кузовах на обратный путь, если они поведут их машины, а не свои. И бензин на семь чужих машин с тем, что у них в баках, чего я не знаю. Я напишу «по факту». Майор поймёт.

— Поймёт.

— И ещё, — сказал Князь, — три будки. Дед сказал — три. Если мы их привезём — я хочу, чтобы одна была наша. Не по описи — по делу: Дед в одной не помещается уже неделю.

— Не наша, Василий. Армии.

— Я знаю, что армии, — сказал Князь. — Я говорю, чего хочу. Это разное.

Руденко спросил только одно: «Задний выход — кто?» И я сказал: «Ещё не знаю. Фрол думает». И Руденко сказал: «Если надо — мои могут его закрыть снаружи, из леса, если соседи дадут пройти. Это мы умеем». И я сказал: «Скажу Фролу». И сказал, и Фрол посмотрел на Руденко и сказал: «Может быть. Завтра посмотрим ещё раз — и тогда». И это был первый раз, когда Фрол сказал Руденко «может быть», и по тому, как Руденко это принял, я понял, что для него это было «да».

Дед в это время стоял у будки и смотрел на неё — на нашу, одну, с тремя заделанными дырками, — и шуплый стоял рядом, и Дед сказал ему:

— Там три. Одна вдвое больше нашей. И верстаки — под навесом. Ты бы видел.

— Увижу, — сказал шуплый.

— Увидишь, — сказал Дед. — Если довезём.

Восемь машин. Сорок шесть человек. Два ДП, один пулемёт, две четыреста пятьдесят. Двадцать шесть километров до цеха, который сворачивают.

Я обошёл стоянку — я всегда обхожу — и остановился у брони со звездой, и подумал, что вот теперь у меня есть то, чего не было девять дней: место. Не стрелка, не овал на карте, — двор с воротами, с постройкой, с засовом изнутри, с задним выходом в лес, — и человек с тисками, который начал собирать.

Не «когда». Но — где. И — что.

Этого было достаточно, чтобы завтра пойти посмотреть снова. И, кажется, достаточно, чтобы не спать.

Глава 25. «Немец тоже торопится»

Пятого июля к лесничеству ходили не мы.

Это надо сказать сразу, потому что вчера Фрол сказал «завтра — сами», а ближе к полудню лейтенант на посту соседей ответил Артисту, который привёз туда двоих наших: «Сегодня — мои. У них своя задача, вы им будете мешать. Ваши — здесь, ждать. Что увидят — напишут, я отдам». И Артист сидел у поста пять часов, и наши двое сидели, и потом сержант-разведчик — тот же, что водил нас вчера, — вышел из леса с бумагой и с одним своим, и сказал Артисту: «Этот — с вами. На ваш парк. Он смотрел, он и расскажет. Вечером верните». И Артист привёз его.

Он приехал в шестом часу дня, и я узнал об этом по тому, как ЗИС вошёл в ворота: быстрее обычного. Артист остановился у будки — не у ворот, у будки, где стоял я, — и из кузова прыгнул человек, которого я не знал: молодой, в маскировочном, с ППШ, с лицом, на котором было написано, что он четыре часа лежал и смотрел и теперь хочет сказать, — и подал мне бумагу.

Бумага была короткая, написанная карандашом на листке из блокнота, рукой сержанта, и я прочёл её вслух, потому что рядом уже стояли Фрол, Дед и Профессор, и потому что это была не моя бумага — наша.

«Наблюдение 5.07. Утро, с 7 до 9. Верстаки под навесом убраны — все. Ручной инструмент упакован в ящики, ящики у машин. Рабочих у верстаков нет; рабочие у машин, грузят. День, с 13 до 15. Канистры закреплены на бортовых, ящики закреплены. Две машины ушли:

одна бортовая, одна с будкой малой, задним выходом, в лес, около 14. На остальных готовят водительские места: протирают стёкла, что-то делают в кабинах. Один бортовой у ограды с открытым капотом — стоит, не трогают. Охрана — как вчера. Пулемёт у ворот — как вчера. Второй двор — движение, в форме, двое с бумагами ходили к машинам и обратно. Мотоцикл — один, утром».

Всё. Я дочитал и посмотрел на наблюдателя.

— Что не написано?

Он подумал.

— Не написано, как они грузят. Не как вчера. Вчера один, с тисками. Сегодня — все. И быстро. Не бегом — но быстро. Как перед дорогой. — Он помолчал. — И не написано, что две ушли — гружёные. Я видел борта: сели. Полные.

— Куда ушли — видел?

— Задним выходом, в лес, на юго-запад. Дальше — нет, лес.

— Кто-нибудь командовал? Видел?

— Один ходил. В форме, с бумагой. Показывал, куда ставить. Не рабочий. Кто — не знаю.

— Спасибо, — сказал я. — Это — что видел.

— Что видел, — подтвердил он, и я понял, что сержант его научил тому же, чему Профессор научил нас.

Артист, который всё это время стоял у подножки и молчал — а это само по себе было событием, — дождался, пока наблюдатель отойдёт к чайнику, и сказал вполголоса, мне одному:

— Пять часов, Алексей Палыч. Пять часов я сидел у их поста. Лейтенант — тот, что с картой, — вышел один раз, посмотрел на ЗИС, посмотрел на меня, сказал «ждите» и ушёл. Я ждал. Наши двое ждали. Потом сержант вышел с этим и сказал «вечером верните». Как книгу в библиотеке. — Он помолчал. — Я не про то, что долго. Я про то, что у них там — своё. Они на нас смотрят, как мы на «Опель» у ограды: стоит, не трогаем, а куда пойдёт — увидим.

— Они нас держат снаружи, — сказал я. — Это их работа.

— Я понимаю. Я к тому, что если завтра мы поедем — то за ними, а не с ними. Это разные вещи, когда ты в ЗИСе.

— За ними, — сказал я. — Это и хотел майор.

— Тогда хорошо. — Артист посмотрел на наблюдателя у чайника. — Он в дороге ничего не сказал. Двадцать два километра — ни слова. Я ему про Глуск начал — он кивнул. Я ему про Слуцк — он кивнул. Я замолчал. Это, Алексей Палыч, первый человек за неделю, который меня переслушал.

— Вернёшь его вечером, — сказал я. — Тем же путём. И по дороге — не надо про Глуск.

— Я и не собирался, — сказал Артист, и было видно, что собирался.

Профессор взял бумагу и прочёл ещё раз — про себя, шевеля губами, — и сказал:

— Что здесь есть: верстаки убраны, инструмент упакован, две машины ушли гружёные, на остальных готовят места. Это — перечень. Он не говорит, когда уйдут остальные. Он не говорит, что Хеннинг приказал уходить, — мы не знаем, там ли Хеннинг и что он приказал. Он говорит, что вчера собирал один, а сегодня — все, и что две уже уехали. — Он опустил бумагу. — Вывод — не мой. Вывод — ваш. Я только скажу: вчера вы говорили про первое, второе и третье. Вчера было первое — тиски. Сегодня — верстаки, инструмент, две машины. Это второе.

— Второе, — сказал я. — Тогда считаем.

И вот тут я посчитал — так, как считаю на площадке, когда вижу, что чужая база снимается: не «когда они решили», а «сколько им осталось». Девять машин было вчера. Две ушли сегодня. Семь. Одна по-прежнему стоит у ограды, с открытым капотом. Шесть остальных — с готовыми водительскими местами, с закреплёнными ящиками, с канистрами на бортах. Рабочих десять — верстаки убраны, им нечего делать, кроме как грузить, а грузить осталось то, что

уже стоит у машин. Это — не два дня. Это — день. К вечеру они кончат грузить. По лесной дороге им удобнее двигаться засветло. Но если прижмёт — поедут и ночью; рассчитывать, что подарят нам лишние часы, нельзя. К дню шестого основное уже может уйти. Может быть — не все. Может быть — не сразу. Но основное — днём шестого.

А наш срок — утро седьмого.

— Фёдор, — сказал я. — Седьмого утром мы возьмём пустой двор.

— Знаю, — сказал Фрол. — Я это понял на «две ушли».

— Григорий?

— Я понял на «верстаки убраны», — сказал Дед. — Верстаки убирают последними. Пока работают — они стоят. Убрали — значит, работать больше не будут. Здесь. — Он посмотрел на бумагу так, как смотрел на дрель без патрона. — Они уходят. До завтра могут не остаться.

— Значит, надо раньше.

— Значит, надо раньше, — сказал Фрол. — И вот тут — давай по порядку. Потому что «раньше» — это не «сейчас».

* * *

По порядку мы говорили у будки, втроём, при Профессоре, и это было то, что я называю в той жизни «перекладкой»: когда план есть, и он был правильный, и его надо переложить под то, что изменилось, не ломая.

Я начал с того, чего хотел. Хотел я вот чего: открыть дорогу раньше. Не ждать, пока пехота седьмым утром продвинется и лесничество окажется у неё в тылу, — а завтра, шестого, с утра, через пост соседей, по дороге к главным воротам, — тягачом убрать грузовик, который перекрывает проезд, и открыть путь для будки и для грузовиков, и ввести всё, что у нас есть, к базе — до того, как они уйдут.

— Нет, — сказал Фрол.

— Что «нет»?

— Не «всё, что есть». И не «с утра тягачом». — Он сказал это не так, как говорил «погоди» у первого двора, — не останавливая, а поправляя. — Слушай. Дорога к главным воротам — четыре километра от поста. Грузовик — за двести метров от ворот. У ворот — пулемёт на мешках и взвод. Ты хочешь с утра послать туда тягач с Дедом убирать грузовик. Тягач — небронированный. Дед — тоже. Двести метров от пулемёта. Пока пехота не открыла подход — то есть не сняла этот пулемёт и не взяла ворота или не заставила их лечь, — тягач туда не идёт. Это — не обсуждается. Не потому, что я нянька. Потому что я не хочу потом искать второй тягач.

— Согласен, — сказал я. Я поторопился с порядком: назвать нужный результат — ещё не назвать первую машину.

— Дальше. Подход открыт — это когда пехота скажет «открыт». Не когда мы решим. Они держат снаружи, мы — внутри, так майор сказал. Значит: пехота идёт первой, утром, — если штаб согласится сдвинуть. За ней — броня, потому что она пройдёт мимо грузовика обочиной, сержант сказал, — и на ней десять человек, включая Исаева с пулемётом. Броня занимает разрешённую позицию у поворота и прикрывает подход. За этим прикрытием — тягач с Дедом, убирать грузовик. Потом проверяем проезд будкой, а во двор идём по отдельному сигналу пехоты. — Он посмотрел на меня. — Это — не «с утра тягачом». Это — с утра пехота, потом броня, потом тягач, потом остальное. Часа три от «открыт» до «будка во дворе». Не «полдня». Три часа.

— Три часа, — повторил я. — Если пехота откроет утром — мы во дворе к полудню.

— К полудню, — сказал Фрол. — Если.

— Григорий?

Дед молчал дольше. Он смотрел на тягач, стоящий у ворот, и на будку, и на броню, и потом сказал:

— Что я не сокращу. Проверку тягача — полную, сегодня, до темноты: масло, вода, топливо, лебёдка, трос. Он завтра будет тянуть грузовик с разбитым передком под чужим двором, и я не хочу, чтобы он там заглох, потому что я поленился посмотреть отстойник. Это — час. Буксировочную готовность — трос, крюки, проушины на всех наших, чтобы любую можно было зацепить, если встанет, — это ещё час. Броню — Егор с Исаевым, я гляну. Грузовики — ремонтники, по одной. — Он посмотрел на меня. — Ты хочешь, чтобы я это сделал «быстро». Я сделаю это как надо, и это будет к темноте. Утром — не буду. Утром — едем.

— К темноте, — сказал я. — Не быстро. Как надо.

— И ещё, — сказал Дед. — Грузовик я уберу. Не за минуту. Он с разбитым передком, колёса целые, — его надо зацепить, чтобы не развернуло, и оттащить на твёрдый край, и это — с людьми, с осмотром, минут двадцать. Не «дёрнул и поехали». Скажи это Фролу, чтобы он мне дал двадцать минут, а не пять.

— Двадцать, — сказал Фрол. — Дам. Если подход к тому времени прикрыт.

— Если, — сказал Дед.

Вот это и была перекладка: не мой план и не их, — тот, что вышел из трёх. Пехота — с утра, если согласуют. Броня — первой, когда откроют. Тягач — под прикрытием, двадцать минут. Будка и остальное — к полудню. И ни один из нас не сказал «рискнём», и ни один не сказал «пожарим седьмого».

— Теперь — майор, — сказал я. — Лично. Сейчас.

Чумаков был в парке западнее Несвижа — он не уезжал третий день, и я понимал почему, — и я доложил ему у палатки, стоя, с бумагой сержанта в руке, и с наблюдателем рядом, чтобы он мог спросить сам. Он спросил. То же, что я: как грузят, куда ушли, кто командовал. Наблюдатель ответил то же. Чумаков прочёл бумагу дважды.

— Твоя оценка?

— Днём шестого уйдёт основное. Не все — может, оставят двор с тем, что не увезти, и охрану. Но машины с будками, с ящиками, с инструментом — уйдут. Седьмого утром мы возьмём двор без мастерских.

— Твоё предложение?

— Открыть подход утром шестого. Пехота — первой, как договорено. Мы — за ней: броня, тягач, остальное. К базе — около полудня, при подтверждении с их поста, что открыт. Не раньше и не сами.

— Не раньше и не сами, — повторил Чумаков. — Ты это сам придумал или тебе Буров сказал?

— Буров сказал «нет» на моё «с утра тягачом». Остальное — вместе.

— Хорошо, что сказал. — Чумаков сложил бумагу. — Теперь — так. Я не решаю за пехоту. Я иду на штабную линию — она у меня здесь, в палатке, — и говорю: противник сворачивается, наблюдение такое-то, прошу сдвинуть взаимодействие на утро шестого. Они спросят комбата. Комбат посмотрит, может ли он утром. Ответ — не сейчас. Часа через два, три, — если повезёт. Мой посыльный принесёт. До ответа — готовьтесь. После — как скажут. Если скажут «нет» — седьмое, и пустой двор, и это будет не первый. Если «да» — шестое. Ясно?

— Ясно.

— И Ракитин. — Он посмотрел на меня. — Ты сказал: «не сами». Я это запомнил. Если посыльный не придёт — вы не идёте. Ни в шесть, ни в семь, ни в десять. Пока не придёт.

— Пока не придёт.

Он ушёл в палатку — к своей линии, которую я не видел и не увижу, — и я вернулся к будке, и мы стали готовиться так, как готовятся, когда ответа нет, но он будет.

Посыльный пришёл в восьмом часу. Тот же парень с сумкой, что ходил от Чумакова всю неделю, — и с листком, короче нашей бумаги: «Взаимодействие сдвинуто: 6.07, подход

открывает пехота с утра, ввод группы к объекту — по подтверждению с поста, ориентировочно полдень. Срок вывоза — прежний, до ухода батальона. Семь водителей — заявлены, прибудут отдельным транспортом по открытии доступа. Чумаков».

— Шестое, — сказал Фрол, прочитав через плечо.

— Шестое.

— Тогда — до темноты. — И пошёл к своим.

* * *

До темноты парк западнее Несвижа работал так, как работает площадка перед большим выездом, — и я это знал по той жизни и узнал сейчас: не суетой, а тем, что каждый делает своё и не мешает соседу.

Дед — тягач. Он прошёл его весь, как обещал: масло, вода, топливо — отстойник, стеклянный, жёлтый, «чистый»; лебёдка — размотал трос до конца, посмотрел каждый виток, смотал; крюк, проушины. Водитель тягача ходил за ним и делал то же самое второй рукой, и Дед раз сказал ему: «Ты меня проверяешь?» — и водитель сказал: «Я запоминаю», — и Дед сказал: «Правильно». Потом — буксировочная готовность: он обошёл все восемь, и на каждой посмотрел, за что цеплять, и на двух ЗИСах сказал «за раму, не за крюк», и на «Опелях» — «проушины есть», и на броне — «есть, я их знаю», и шуплый шёл за ним и мелом отмечал на каждой машине то место, куда цеплять, — крестиком, — чтобы завтра не искать.

Броня — Селиванов и Исаев, вдвоём, без Деда: Селиванов — мотор, вода, гусеницы, натяжение; Исаев — пулемёт, ленты, ствол, стойка. Дед подошёл в конце, посмотрел, сказал «ладно» и ушёл, и это было для них больше, чем «принято».

Грузовики — ремонтники, по одной, старший и молчаливый: масло, вода, резина, тор-моза, — и водители при них: Артист у своего, Князь у своего, Дрозд, Суров, второй водитель. Суров менял фанерку в разбитом окне на кусок стекла, который где-то нашёл Князь, и это было единственное, что он делал сверх положенного, и он делал это долго и молча.

Князь — бензин и патроны. Бензин пришёл по ведомости, в бочках, из парка, — на выезд, на работу и на возвращение, «по заявке, что вы подписали в первый день, я не зря писал», — и Князь принял, пересчитал, распределил: сколько кому в бак, сколько в канистры, сколько остаётся здесь. Патроны — наши, винтовочные и к ППШ, с усилением и по заявке, — Князь с Исаевым пересчитали и раздали: стрелкам, пулемётчикам, каждому — сколько положено и сверх, и записали, и я расписался. Немецкие — две четыреста пятьдесят — не тронули: они лежали у Исаева, в ящиках, и Исаев сказал: «Как были».

Связисты — станция. Они свернули её, как складывают палатку, которую завтра ставить снова: не в мешок, а по частям, в ящики, в порядке, обратном развёртыванию, и старший связист показал мне пальцем, что куда, и сказал: «На месте — минут пятнадцать до связи, если пункт тот же». Пункт для выхода назначили у соседней пехоты. На посту связистам предстояло уточнить сеанс у местного командира. «На объекте — не обещаю, лес», — сказал связист, и я сказал, что и не жду: на объекте у нас посыльные, рука и свисток, как решили. Он кивнул так, как кивают люди, которым не первый раз объясняют, что их станция — не волшебная.

Мелехин — второй эшелон. Он обошёл своих двадцать четыре человека и три «Опеля» с Г-02 и сказал каждому водителю одно и то же: «Идёшь за передним. Отстал — стоишь. Не догоняешь. Свисток — стоишь. Рука — по руке». Устинов ходил за ним и запоминал, как водитель тягача за Дедом, и я подумал, что это у нас теперь такой способ учиться — ходить за тем, кто знает, и молчать.

Места — это делал я. Кто на чём едет завтра. Броня — десять: Селиванов, Руденко, Исаев с помощником, шесть стрелков с одним расчётом ДП. Первый ЗИС — восемь: Артист, я, Фрол, Дед, Профессор, двое связистов с их станцией, один стрелок. Будка — двое: водитель и механик. Тягач — двое: водитель и механик. Двадцать два — в первую очередь, к посту соседей, за пехотой. Остальные двадцать четыре — на втором ЗИСе и трёх «Опелях», по шесть,

с Князем, Мелехиным, Устиновым и вторым ДП, — вторым эшелоном, по отставанию, к посту, ждать за боевым доступом. Я это написал на листке, при лампе, и прочёл вслух, и Фрол сказал «так», и Руденко сказал «так», и Мелехин сказал «так», и Князь сказал: «Я во втором. Значит, котёл — со мной, и я его довезу», — и это тоже было «так».

Семь водителей — армейских, на вывоз — заявлены. Чумаков подтвердил: придут отдельным транспортом, когда доступ открыт, не раньше. Куда их сажать — после захвата и осмотра: Дед сказал «я не знаю, что там ходит, пока не потрогаю», и это было правдой. Семь мест — зарезервировано. Семь порций — Князь записал.

К темноте всё стояло. Восемь машин, с крестиками мелом у проушин. Сорок шесть человек, с патронами. Две четыреста пятьдесят — как были.

* * *

И вот тогда Князь сделал то, что делал всегда, — только на этот раз он сделал это со всеми, по очереди, и я видел это от будки, как видят спектакль с последнего ряда.

Сначала он пошёл к тягачу. Дед был под ним — не весь, ноги торчали, — и Князь сказал ногам:

— Григорий. Ужин.

— Сейчас.

— Ты это сказал в семь. Сейчас — девятый.

— Отстойник домотаю.

— Отстойник ты смотрел в шесть. Я видел. Ты смотришь его второй раз, потому что тебе нечего делать, а лечь ты не хочешь, потому что тогда получится, что ты кончил. — Князь присел на корточки. — Ты кончил, Григорий. Тягач готов. Ты его сам сказал «готов» водителю час назад, я стоял рядом. Вылезай. Щуплый с водителем доделают крестики — они молодые, им это в радость, а тебе — в спину.

Дед вылез. Не сразу — сначала вылезла рука с ключом, потом другая, потом он сам, — и посмотрел на Князя снизу вверх, как смотрел на Артиста, когда тот говорил «а если так», и сказал:

— Ты мне не старшина.

— Я тебе повар, — сказал Князь. — Повару можно.

И Дед пошёл есть. Не потому, что Князь его переспорил, — потому что Князь был прав, и Дед это знал, и спорить с правым он не любил, это я знал ещё с микрометров.

Потом Артист. Артист сидел в кабине своего ЗИСа и делал вид, что что-то смотрит на приборах, — на ЗИСе, в котором смотреть на приборах нечего, их там по пальцам, — и Князь открыл дверцу и сказал:

— Вылезай.

— Я...

— Ты — ел? Нет. Ты — лёг? Нет. Ты завтра везёшь командира, Фрола, Деда, Профессора и связистов двадцать два километра к пехоте, и если ты на двадцатом уснёшь за рулём, я лично всем скажу, что ты уснул не как герой, а как дурак. Вылезай.

Артист вылез. Он даже не рассказывал, — Князь потом это отметил как чудо, — и ушёл к котлу, и ел, и лёг в свой кузов.

Потом Исаев — тот ушёл сам, когда увидел, что Князь идёт к броне, потому что Исаев был человек, который не ждал, пока ему скажут. Потом Селиванов — тот сказал «гусеницу ещё раз», и Князь сказал «гусеницу ты смотрел с Дедом, Дед сказал ладно, ты Деду не веришь?», — и Селиванов слез. Потом ремонтники, потом Руденко — с тем Князь не спорил, а договорился: Руденко ляжет сейчас, встанет в два и сменит Фрола на постах, — и Руденко, который умел говорить только «так», сказал «так» и лёг.

Фрол ушёл сам, до Князя. Он подошёл ко мне, сказал: «Посты — Руденко с двух, до двух — мои, в два сдам тебе, если ты не будешь спать. А ты будешь», — и лёг, не дожидаясь ответа.

И я стоял у будки с листком мест и смотрел, как парк пустеет — не машины, люди: они уходили от машин к котлу и от котла — в кузова, — и думал, что в той жизни я видел такое только на одной площадке, у одного прораба, который умел выгнать бригаду по домам без крика, и что этот прораб сейчас ходит по парку с половником.

Он пришёл к будке, где я стоял с листком мест и в третий раз перечитывал, и сказал:

— Алексей Палыч. Ужин.

— Сейчас.

— Не «сейчас». Ужин. Сейчас — это то, что вы говорите с утра. Я считал.

Я посмотрел на него.

— Василий. У меня — список.

— Список вы прочли три раза. Он не изменится. — Князь не отходил. — Я скажу, как есть. Дед — ел и лёг. Фрол — лёг. Руденко — лёг. Исаев, Селиванов, Артист — лёг, лёг, лёг. Все — по очереди. Кроме вас. Вы — стоите с листком. Вы видели, как я их всех уложил, — я видел, что вы видели, вы улыбались. И думали: «меня не тронет». Тронет. Завтра в пять — подъём. В шесть — выезд. Вы поедете на ЗИСе с Артистом двадцать два километра, потом будете ждать пехоту, потом — двор, тягач, грузовик поперёк, потом — всё остальное, и это будет день, какого у нас ещё не было. И вы будете стоять на этом дворе после суток без сна и говорить «сейчас». — Он помолчал. — Я не прошу. Я говорю: ужин, потом — спать. Три часа. Я вас разбужу в два, если хотите, Фрол сдаст вам, и вы посмотрите посты до пяти. Но три часа — спать.

— Василий...

— Товарищ старший лейтенант, — сказал Князь. Не громко — но так, как он говорил Артисту «вылезай», — и я понял, что это не просьба. — Вы сами сказали Деду в первом дворе: «человек, который двое суток не спал, роняет жиклёр». Я слышал. Я стоял рядом. Завтра — ваш жиклёр. Ужин.

Я посмотрел на листок. На восемь машин. На тёмный парк, где спали сорок человек. На Князя, который стоял передо мной с половником, — он пришёл с половником, я только сейчас это заметил, — и не уходил.

— Ладно, — сказал я. — Ужин. Потом — три часа. В два — разбудишь.

— В два, — сказал Князь. — Разбужу.

И я ел — из ротного котла, у бочки с чайником, один, потому что все уже поели, — и Князь стоял рядом и смотрел, как я ем, так, как смотрел на второго номера с сапогом: чтобы сели. И потом я лёг — в кузове «Опея» Сурова, на брезенте, который Князь туда положил заранее, — и последнее, что я подумал перед тем, как заснуть, было не про двор, не про грузовик поперёк дороги, не про полдень. Это было про то, что старшина Князев только что командовал старшему лейтенанту «спать», и старший лейтенант послушался, и это было самое правильное распоряжение за день.

Он разбудил меня в два. Ровно. Фрол сдал посты — тихо, коротко: «всё тихо, Руденко на внешних, я лёг», — и я ходил по парку до пяти, между восьмью машинами с крестиками мелом, и слушал, как спят те, чья смена уже кончилась, и думал о том, что уже наступило шестое.

Шестое. Полдень. Пехота с утра, броня первой, тягач двадцать минут, будка к полудню. Немец торопится. Мы — тоже. Только мы — выпались.

Глава 26. «Дорога для победы»

В шесть мы вышли, и Артист, который вёз командира, Фрола, Деда, Профессора, двух связистов с их ящиками и одного стрелка, за двадцать два километра сказал ровно одну фразу — «яма слева», — и объехал яму слева. Я ехал рядом с ним и думал, что Князь вчера сделал больше, чем уложил людей спать: он сделал так, что Артист утром молчит, и это молчание стоило дороже любого рассказа.

Колонна шла так, как Фрол расписал ещё в Несвиже: броня — первой, потому что у неё пулемёт и потому что она в случае чего останавливается не сама, а тем, что перед ней; за ней — наш ЗИС; за нами — будка с её двумя; за будкой — тягач с его двумя, замыкающим, потому что тягач — самое медленное и самое дорогое, что у нас есть, и его надо видеть в зеркало, а не искать потом. Двадцать два человека. Четыре машины. Остальные двадцать четыре — Князь, Мелехин, Устинов, второй ДП — шли за нами на втором ЗИСе и трёх «Опелях» с отставанием, о котором вчера договорились: не «видеть хвост», а «час». Час — чтобы не набивать свой пехотный пост сразу двумя эшелонами: капитан успеет развести первые машины и указать, где ждать остальным.

Дорога была та же, по которой Артист возил разведку и наблюдателя, — узкая, лесная, с мостиком через ручей, где тягач прошёл шагом, а мы все смотрели, как он проходит, — и на ней ничего не случилось, кроме ямы слева. Я это отмечаю, потому что в той жизни я усвоил: спокойная дорога — это не везение, а результат, и результат этот сделал вчера Дед с отстойником, Селиванов с гусеницами и Князь с половником.

На пост соседей мы пришли в начале девятого, и пост уже был не пост.

* * *

Вчера здесь стоял лейтенант с картой и три человека при нём, и это был край чьей-то земли, за которым начиналась чужая. Сегодня здесь стояли две подводы с ящиками, санитарная повозка, кухня — их кухня, дымящая, — и человек тридцать пехоты, которые не сидели, а ходили, и лейтенант с картой был тот же, но с ним рядом стоял капитан, которого я не видел, и капитан нас ждал.

— Ракитин?

— Так точно.

— Мне про вас сказали в четыре утра, и я до сих пор не понял, что вы за люди, — сказал капитан без приветствия и без обиды, просто как факт. — Автомобильный отдел. С броневином. С тягачом. С будкой. Ладно. Слушай, что есть. — Он подвёл меня к карте лейтенанта, и Фрол с Руденко подошли сами, не спрашивая, и капитан это заметил и не возразил. — Мы пошли в пять. Дорога — четыре километра на запад, до их ворот. Первые три — наши, чисто, они не держали. Дальше — узкое место, за ним поворот, за поворотом — ворота с пулемётом. В узком месте — брошенная машина поперёк, вы знаете. Мы там стоим. Полчаса назад стояли. Они из-за поворота постреливают — не пулемёт, винтовки, охранение у ворот. Пулемёт молчит, но он там. Я не лезу к воротам лоб в лоб, у меня рота, а не полк. Мне сказано: открыть подход, пропустить вас, держать снаружи, объект — ваш. Так?

— Так.

— Тогда — так. Ваш броневинок я пускаю до поворота. Не за поворот. До. Там мой взвод, ему нужно, чтобы охранение у ворот легло и не вставало, пока он окапывается на повороте. У вашего броневика пулемёт немецкий, я слышал. Пусть поработает. Коротко. Потом стоит и держит. — Он посмотрел на Руденко. — Кто на нём старший?

— Я, — сказал Руденко.

— Мой лейтенант покажет, куда встать. Дальше поворота — нет. За поворотом — ворота, там — их дело до тех пор, пока я не скажу. Ясно?

— Так, — сказал Руденко.

— Остальные ваши — здесь. Будка, тягач, кто там ещё. Пока не скажу, что дорога — проезд, они не двигаются. Когда скажу — их дело убрать эту машину, я в неё не полезу, у меня нет тягача и нет людей, которые её понимают. — Он повернулся ко мне. — Это — граница. Вы — внутри её. Я — снаружи. Кто её нарушит — тот мне ответит, и мне всё равно, чей он.

— Принято, — сказал я, и Фрол сказал «принято», и это было то, что вчера сказал Артист: за ними, а не с ними. И это было правильно, потому что капитан говорил как человек, у которого рота, а не полк, и который знает, что делает с ротой.

Броня ушла в половине девятого.

Я видел, как она уходила: Селиванов за рычагами, Руденко рядом, Исаев за пулемётом, помощник с лентой, шесть стрелков на скамьях, с ДП посередине, — десять, как считали, — Лейтенант с картой шёл рядом до выхода на дорогу, показывая рукой, потом пошёл впереди к своему взводу. Она прошла мимо пехотной кухни, мимо подвод, мимо тридцати человек, которые все повернулись, как поворачиваются люди, когда мимо идёт чужая машина под своим флагом, — и ушла в лес по дороге, на запад, и я слушал её, пока слышал: сначала мотор, потом ничего.

Потом — минут через двадцать — пулемёт.

Я узнал его, как узнают голос: не наш. Быстрый, ровный, злой, — тот самый, что мы слушали на пробе, только теперь он говорил не в бревно, а в поворот, за которым были ворота. Он говорил коротко: очередь, пауза, очередь, пауза, ещё, ещё, — и потом замолчал. И за ним, издалека, — винтовки, наши и не наши, редкие, — и потом ничего.

Дед, стоявший рядом, сказал:

— Исаев. По его манере — лент не жёг. Короткими.

— Сколько ушло — потом Исаев скажет, — ответил я. — Главное, чтобы свои добрались.

Дед кивнул и посмотрел на дорогу.

Профессор стоял с связистами у их ящиков и ничего не говорил, и я видел, что он не говорит нарочно: потому что то, что он сейчас мог сказать, было бы выводом, а вывода ещё не было.

Вывод пришёл в начале десятого, с посыльным от лейтенанта — не с нашим, с ихним, пехотным, — и посыльный сказал, как ему велели, слово в слово: «Броневи́к на месте, у поворота. Охранение у ворот легло. Взвод окопался. Пулемёт у ворот не отвечал. Ваши все целы. Лейтенант просит командира группы — к машине, смотреть проезд». Потом добавил: «Пулемётчик передал расход — двести. Остаток две тысячи двести пятьдесят».

И следом — как по расписанию, потому что Князь считал часы лучше любого штаба, — на дорогу с востока вышли второй ЗИС и три «Опеля», и капитан, увидев их, сказал мне: «Это тоже ваши? Сколько?», — и я сказал: «Двадцать четыре, с кухней», — и он сказал: «С кухней. Ладно. Ставь их за подводами, и чтобы стояли», — и я поставил, и Князь, выйдя из кабины, первым делом спросил не «что там», а «где котёл ставить», — и это тоже была граница, только своя.

* * *

К машине я пошёл с Фролом, с Артистом и с водителем будки, — потому что смотреть проезд без тех, кто по нему поедет, всё равно что мерить дверь без шкафа.

Три километра мы прошли на ЗИСе, до места, где лейтенант оставил своего человека, и дальше — пешком, потому что дальше начиналось узкое место, и я не хотел в него въезжать раньше, чем увижу.

Узкое место было вот что. Дорога здесь шла по выемке — не такой, как у Несвижа, где нас ждали, а меньше, короче, метров тридцать: слева — канава, глубокая, с водой, за ней — лес; справа — откос, невысокий, песчаный, с соснами по гребню; между ними — сама дорога, шириной в одну машину с небольшим запасом. Не две. Одна с запасом. И в этой одной с запасом, в середине, наискось, — грузовик.

Немецкий, бортовой, порожний, — сержант вчера сказал правильно, — с разбитым передком: капот смят, радиатор вдавлен, левое переднее крыло ушло в колесо, — но на колёсах, на всех четырёх, и колёса стояли прямо, и это было главное, что я увидел, и главное, что вчера увидел сержант. Он стоял мордой на юго-запад, к воротам, задом — на нас, наискось, так что его задний борт почти упирался в откос справа, а разбитый передок смотрел в канаву слева, и между передком и канавой оставался проход — чуть больше двух метров, с захватом обочины у самого края.

По этому краю прошли пехота и броня. Я видел следы: сапоги — много, и гусеницы — одна пара, широкая, ушедшая в мягкую обочину на ладонь, у самой канавы, так что левая гусеница, наверное, шла по кромке, и Селиванов, наверное, вёл её так, как вёл в первый раз, — на ощупь. Он прошёл. Броня — метра два с небольшим шириной, и открытая сверху, и без кузова, — прошла, наклонившись к канаве, и не упала.

И вот тут ко мне подошёл человек лейтенанта — тот, что оставался у ЗИСа, — и сказал: — Лейтенант велел передать: проезд есть. Ваш прошёл, мы прошли. Давайте будку, и всех, кто дальше.

И водитель будки — я это видел — уже повернулся к ЗИСу, чтобы идти за своей машиной, потому что ему сказали «давайте будку», и он был водитель, а водители делают то, что говорят.

— Стой, — сказал я.

Он остановился.

— Куда ты её поведёшь?

— Туда, — он показал на щель у канавы. — Как броня.

— Броня — два метра с небольшим, — сказал я. — Открытая. Без кузова. По нижнему краю она прошла впритирку. А наверху борт этой машины отъедает просвет. Будка — сколько?

Он посмотрел на проход. Потом на меня. Потом снова на проход, и я видел, как он меряет, — не глазом, а тем, чем меряют водители, которые знают свою машину, как знают ширину своих плеч в дверях.

— Не пройдёт, — сказал он. — Шире. И выше. Кузов зацепит борт этого — вон, задний. Или сядет в канаву левым.

— Артист?

— ЗИС — тоже нет, — сказал Артист. Коротко, без спектакля. — С кузовом — нет. Я бы попробовал, если б надо. Но потом вы бы меня вытаскивали.

— Не надо, — сказал я.

И повернулся к человеку лейтенанта.

— Передай лейтенанту: проезда нет. Есть проход — для пехоты и для брони. Для будки, для грузовиков с кузовом, для того, что мы будем отсюда вывозить, — нет. Машину надо убирать всю. Не подвинуть — убрать. Скажи ему: командир группы просит боевой доступ к машине для тягача и людей. Минут тридцать работы. Он поймёт.

Человек ушёл. Быстро — он был пехотинец, он бегал лучше нас.

Фрол стоял рядом и молчал, и я знал, что он ждёт не приказа, а вопроса, — и спросил:

— Фёдор. Тягач будет здесь работать двадцать минут — Дед сказал двадцать, дадим тридцать. Люди при нём — Дед, водитель, механик, я, Артист, будка. Без прикрытия — не работают. Что нужно, чтобы работали?

Фрол посмотрел на поворот — метров сто впереди, где дорога уходила влево, и за которыми были ворота, — и на откос справа, и на канаву слева, и сказал:

— Нужно, чтобы отсюда никто не стрелял по ним. Ворота — за поворотом, оттуда сюда не видно, и нам их не видно, это хорошо. Значит: пулемёт у ворот на нас работать не может. Винтовки — могут, если кто-то выйдет на поворот. На повороте — их взвод и наша броня. Я ставлю своих стрелков — того, что с нами, и ещё из тех, кто на броне, — на гребень откоса, справа, чтобы видели дорогу за поворотом сверху, и вот сюда, к канаве, — двоих, чтобы никто не вышел из леса слева. Броня — стоит, где стоит, с Исаевым. Если кто-то полезет на поворот — она его положит, у неё две тысячи двести пятьдесят, ей хватит. Пехота — их лейтенант держит поворот, это его. — Он повернулся ко мне. — Это — граница, за которую нельзя отвечать огнём: вот отсюда, от машины, до поворота. Кто с той стороны — тот наш. Кто с этой — тот работает. Ясно?

— Ясно.

— Тогда я иду к лейтенанту сам. С его человеком не договоришься — он передаст, а надо, чтобы он понял. — Фрол пошёл, потом обернулся. — И Ракитин. Ты правильно остановил. Я бы не увидел. Я на ширину не смотрю, я смотрю, откуда стреляют.

И ушёл к повороту, и это было всё, что он сказал о моём решении, и этого было достаточно.

Пока его не было, я смотрел на машину, и на проход, и на откос, и думал о том, о чём думал сержант вчера и не додумал, потому что ему не надо было: в какую сторону её брать.

Три стороны было. Вперёд, к воротам, — туда, куда смотрел разбитый передок: тянуть за зад и толкать? Нет: там поворот, там их взвод, там тягач выйдет на прямую к воротам, — Фрол не даст и будет прав. Влево, в канаву, — столкнуть: она уйдёт в воду и в грязь по борт, и тогда проход у канавы кончится совсем, и дорога станет уже, а не шире; и вытаскивать её потом — а вывозить мы будем по этой дороге, — будет некому. Назад и вправо — к началу выемки. Там у подножия откоса было твёрдое расширение: на нём порожний грузовик мог встать вдоль дороги целиком. Не на песчаный склон с соснами, а на ровный край, чтобы борт остался вне нужной нам полосы.

— К откосу, — сказал я вслух. Артисту, водителю будки. — Вдоль. Задом к нам, передком туда же, куда смотрит, но прямо. Чтобы она стояла как на стоянке, у стены. Она уйдёт на расширение, и дорога останется свободной. Хватит места?

Водитель будки посмотрел, померил своим способом и сказал:

— Хватит. С запасом. Если она встанет ровно.

— Она встанет ровно, — сказал я, — если Дед скажет, что встанет.

* * *

Дед сказал не «встанет». Дед сказал «покажи».

Он приехал на тягаче, — водитель за рулём, щуплый на подножке, — и тягач вошёл в узкое место, как входит большой человек в узкую дверь: боком, не спеша, глядя вниз, — и остановился в десяти метрах от разбитого зада грузовика, и Дед слез и пошёл к машине, и не смотрел ни на поворот, ни на откос с нашими стрелками, ни на лейтенанта, который стоял у поворота с Фролом, — он смотрел на грузовик.

Он обошёл его. Присел у заднего моста. Посмотрел под раму. Потрогал заднее колесо — правое, потом левое, — проверил, не прижат ли скат к кузову, и Дед сказал: «Сзади свободно». Заглянул под разбитый перед, посмотрел на левое переднее, у которого крыло ушло в колесо, и сказал:

— Вот это — не катится. Крыло держит. Если тянуть вперёд — оно упрётся, и она пойдёт юзом, и развернёт. Значит — только назад. И перед тем — отогнуть.

— Отогнуть — чем?

— Ломом. Щуплый, лом.

Щуплый принёс лом с тягача, и Дед сунул его между крылом и колесом и налёг, и крыло отошло с тем звуком, с каким отходит железо, не хотящее отходить, — и Дед проверил зазор над левым передним и сказал: «Теперь крыло не держит. Как пойдёт — увидим».

— Цеплять — за что?

— За задний крюк. Он у неё целый, я смотрел. — Дед показал. — Не за раму — за крюк, у неё крюк на раме сидит, как надо. Трос — короткий, чтобы она не гуляла. Тягач — вот сюда, — он показал на середину дороги в десяти метрах, — назад, к нам, и чуть вправо, к откосу, чтобы, когда пойдёт, она сама шла вправо. Не рывком. Лебёдкой, а не ходом: лебёдка тянет ровно, ход дёргает. Она с разбитым передком, у неё что-то может держать, чего я не вижу. Лебёдкой — если держит, я это почувствую по тросу и остановлюсь. Ходом — не почувствую, и её развернёт поперёк ещё хуже, чем стоит.

— Двадцать минут?

— Двадцать. Если руль у неё крутится. Кто-нибудь — в кабину, держать руль. Не я, я слежу за тросом.

— Я, — сказал водитель будки.

— Тебе сейчас подавать будку. — Дед посмотрел на меня. — Алексей, сядешь?

Это было правильно: за моей спиной не ждала машина, которую нужно было подать сразу после расчистки, а руль держать я умел, и я полез в кабину немецкого грузовика с разбитым передком, через правую дверь, потому что левая не открылась, — и сел на чужое сиденье, на котором до меня сидел кто-то, кого здесь давно не было, — и взялся за руль. Руль крутился. Туго, но крутился. Я повернул его вправо — не до конца, на четверть, как Дед показал рукой снизу, — и стал ждать.

Дальше было так, как на площадке, когда груз идёт: смотрит один, командует один, остальные молчат.

Тягач встал, где Дед показал. Щуплый разматал трос — короткий, как сказано, — и зацепил за крюк, и Дед проверил зацеп рукой, и отошёл, и встал сбоку, так, чтобы видеть трос, оба задних колеса и мою руку на руле в окне, — и поднял руку водителю тягача.

Лебёдка запела. Я это слышал через смятое железо: ровный, тянущий звук, — и трос натянулся, — я видел его в зеркало, единственное, что уцелело на этом грузовике, — и грузовик под мной шевельнулся. Не пошёл — шевельнулся, как шевелится то, что долго стояло. Дед не опускал руку. Лебёдка тянула. И грузовик пошёл — назад, медленно, шагом, — и я держал заданный поворот руля и следил за Дедом: задние колёса уходили на расширение, передок отходил от канавы, — и на середине Дед опустил руку, и лебёдка замолчала, и он подошёл, посмотрел под левое переднее, сказал «идёт», и поднял руку снова.

Ещё метров пять. Ещё. Правый задний скат вышел на твёрдое расширение у подножия откоса, — и Дед крикнул «прямо!», и я выровнял руль, — и грузовик прошёл ещё два метра вдоль откоса и встал, прижавшись бортом к песку, ровно, как на стоянке у стены, передком к воротам, задом к нам, — и Дед опустил руку, и лебёдка замолчала совсем.

Я вылез. Посмотрел. Дорога была — вся: от канавы слева до борта грузовика справа — ширина, в которую входила будка с запасом, и ЗИС с запасом, и «Опель» с будкой, если такой поедет отсюда, — а он поедет.

— Двадцать две минуты, — сказал Артист. Он смотрел на часы, я не просил.

— Я говорил двадцать, — сказал Дед. — Две — на крыло. Крыло я не обещал.

Щуплый отцепил трос, сматал, и тягач сдал назад, — на свободную теперь дорогу, — и встал у канавы, и был свободен: одно перемещение, одна помеха, ни одного нового зацепа, ни одной поломки. Грузовик остался у откоса. Мы его не брали. Он был не наш, и он был ничей, и он был теперь не поперёк, а вдоль, — и это всё, что нам от него было нужно.

Я обошёл дорогу сам — с Артистом и с водителем будки, — от тягача до поворота: шириной, глазом, потом шагами. Артист прошёл вдоль грузовика, вытянув руку, как меряют, и сказал: «ЗИС — пройдёт, не касаясь, борт от борта — рука». Водитель будки прошёл посередине и посмотрел вверх, на сосны на гребне, и сказал: «Верх — чисто, ветки высоко. Кузов — пройдёт». Я посмотрел на обочину у канавы, где ушла гусеница, и сказал, чтобы туда не заезжали: мягко. Всё. Проезд был.

Со стороны поворота Фрол поднял руку — «вижу, стою», — и стрелки на гребне не двинулись, и никто за всё это время не выстрелил ни оттуда, ни отсюда, и это было не везение, а граница.

* * *

Будка прошла в одиннадцатом часу.

Я стоял у грузовика, у откоса, и смотрел, как она идёт: наш «Опель» с мастерским кузовом, — тот, что Дед в первом дворе назвал «домом на колёсах», тот, за который мы отвечали ночью у Любани, тот, к которому Дед не подпускал никого, кроме себя и водителя, — шёл по

узкому месту серединой дороги, не касаясь ни канавы, ни грузовика, и водитель вёл его так, как ведут, когда знают, что смотрят: ровно, без остановок, не быстро, — и кузов прошёл мимо заднего борта немецкого грузовика на расстоянии вытянутой руки, — Артист был прав, — и вышел за узкое место, и встал там, где лейтенант показал: у откоса, перед поворотом, в тени, — на безопасной точке, на которой до него никто, кроме брони, не стоял.

И вот тут я увидел то, ради чего это всё, — не потому что искал, а потому что оно стояло передо мной в одном месте.

Наш ЗИС, — тот, что в первое чужое утро стоял с помятым крылом и который с тех пор ни разу не встал, — стоял у тягача. Тягач, — тот, что мы взяли под Любанию за немецкий счёт и который завёлся от инерционной рукоятки, когда Дед сказал «заведётся», — стоял, свободный, с тросом на барабане. Будка, — та, что мы забрали с доставкой в первом дворе, — стояла за узким местом, прошедшая. И у поворота, на разрешённой позиции, — я её сейчас не видел, но слышал раньше, — стояла броня, которую мы нашли без хозяина и завели, и приняли, и на которой Исаев только что израсходовал двести немецких патронов на то, чтобы охранение у чужих ворот легло и не вставало.

Четыре машины из восьми. Три из них мы добыли своими руками, четвёртая была у нас с самого начала, и она нас ни разу не подвела. И сейчас они делали одну работу — одну дорогу, — и без любой из них дороги бы не было: без брони охранение не легло бы, без тягача грузовик стоял бы поперёк, без будки не было бы, чем проверить, а без ЗИСа мы бы сюда не доехали. Это не было гордостью, — гордость приходит потом, когда сидишь и рассказываешь. Это было тем, что чувствуешь на площадке, когда стропа натянулась и груз пошёл: что всё, что ты собирал, — собрано.

— Красиво прошла, — сказал водитель будки. Он вернулся от неё пешком, потому что ему было не велено стоять там одному, и он был доволен так, как бывает доволен человек, которого никто не видел, а он всё равно сделал хорошо.

— Прошла, — сказал Дед. — Красиво — это когда узко. Тут было достаточно. Достаточно — это не красиво. Это правильно. — Он подумал. — Мне правильно — приятнее.

— А мне — красиво, — сказал водитель.

— Тебе можно, — сказал Дед. — Ты за рулём. Мне нельзя, я слежу за тросом. У меня «красиво» — это когда трос не порвался.

— А что бы было, если бы порвался?

— Ты бы это видел, — сказал Дед, — а я бы это рассказывал. Долго. Вечером. Тебе бы не понравилось.

Артист засмеялся, — впервые за утро, — и я понял, что он весь день молчал не потому, что Князь его уложил, а потому, что ждал, когда можно будет.

Пехотный лейтенант подошёл к грузовику у откоса, посмотрел на него, посмотрел на дорогу, прошёл её шагами сам — до поворота и обратно — и сказал мне:

— Это — проезд. Нам — тоже. У меня повозки, кухня, санитарная. Они здесь не прошли бы. Теперь пройдут. — Он помолчал. — Я не понял, зачем вам будка, когда пошёл броневик. Теперь понял. Вы этой будкой мерили.

— Мерили, — сказал я.

— Ладно. Капитану скажу.

И ушёл к повороту, к своим, — и это было то, что сказал Чумаков в Несвиже: «нужен майору, нужен соседям». Соседям он тоже был нужен. Дорога — тоже.

* * *

Подтверждение пришло по станции.

Я в это не верил до последнего, и связисты, я думаю, тоже, — потому что вчера старший из них сказал «на объекте не обещаю, лес», и я его понял. Но станция оставалась на своём посту, почти в четырёх километрах позади, на открытом месте, у дороги, — и связисты, остав-

шиеся там с Профессором и с ящиками, развернули станцию за пятнадцать минут, как обещали, и настроились на пункт, который дал им капитан, — на его собственный, пехотный, ближайший, — и в начале одиннадцатого приняли короткое: «Проезд подтверждён. Ввод группы к объекту — по готовности, около полудня. Порядок прежний: броня, группа, обеспечение. Капитан». Он уже ушёл со стоянки к передовому пункту, откуда руководил взводом.

Это принёс мне наш посыльный. От станции до меня было почти четыре километра лесной дороги, а второй станции при мне не было: разговаривать было не с чем. Она достала до капитана. Этого было достаточно. Посыльный — оставался. Рука и свисток — оставались. Но одна короткая фраза прошла по проводу, которого не было, и это был первый раз, когда наша станция сделала то, для чего Чумаков её дал, и Профессор — я знал это, не видя, — стоял рядом с ней и не говорил «вот», потому что не говорил «вот» никогда.

Потом мы отдыхали.

Полчаса, — Фрол сказал полчаса, и это было столько, сколько было. Сменно: стрелки на гребне — по двое, вниз, к тягачу, где стоял мешок, — и потом обратно. Мешок пришёл с тем же посыльным, что принёс подтверждение: Князя не пустили дальше поста, — «обеспечение — когда двор ваш», сказал капитан, и Князь, я думаю, впервые за неделю не нашёл, что возразить, — но мешок он собрал за те три минуты, пока посыльный переводил дух: хлеб, сало, вчерашняя каша в котелке, холодная, и записка карандашом, сверху, на клочке от ведомости: «Командиру — есть. Не «сейчас». К.» Посыльный сказал, что ему велено эту записку отдать в руки и дожидаться, пока прочтут. Я прочёл. Посыльный ушёл. Фрол, стоявший рядом, посмотрел на записку и сказал: «Он тебя теперь не отпустит», — и я сказал, что знаю. Дед сел на подножку тягача и не спал, а смотрел на грузовик у откоса так, как смотрят на работу, которая сделана. Артист лёг в кузове ЗИСа и уснул за минуту — он умел. Водитель будки стоял у будки, за узким местом, и не отходил, и я его понимал.

Я сел на песок у откоса, спиной к грузовику, и съел то, что дал Князь, и подумал о том, что до полудня — час, и что за этот час ничего не надо делать, кроме как ждать, и что я это умею хуже всего, — и не стал делать ничего.

Без четверти двенадцать Фрол подошёл от поворота и сказал:

— Капитан подтвердил. Ворота — их взвод берёт с двенадцати. Нам — по его сигналу за ними. Броня — первой, Руденко знает. Мы с тобой — на ЗИСе за бронёй. Дед с тягачом и будка — когда двор наш. Второй эшелон — Князь, Мелехин — от поста, когда я пошлю. — Он посмотрел на меня. — Это — то, что ты вчера хотел. Полдень, шестое.

— Это то, что мы вчера переложили, — сказал я. — Втроём.

— Ладно, — сказал Фрол. — Артиста буди.

Я пошёл будить Артиста, и он проснулся так же, как уснул, — за минуту, — и сел за руль, и посмотрел на дорогу вперёд, на узкое место, на грузовик у откоса, на будку за ним, на поворот, — и сказал вторую фразу за день:

— Дорога.

— Дорога, — сказал я.

И мы поехали к воротам.

Глава 27. «Берём целиком»

Ворота взял их взвод, и я это видел с расстояния в сто метров, из-за поворота, лёжа за откосом рядом с Фролом, и это было не похоже на то, что я видел в кино в той жизни, — и похоже на то, что я видел в этой, за две недели: коротко, некрасиво и с результатом.

В двенадцать капитан дал сигнал — ракету, зелёную, — и взвод пошёл от поворота не по дороге, а по обе стороны от неё, лесом, и в это же время Исаев с брони, стоявшей на повороте, дал по воротам две длинные — не по воротам, по мешкам у ворот, где был пулемёт, и где он так и не заговорил: я потом видел эти мешки — их разнесло, и за ними никого не было. Охранение у ворот стреляло из-за ограды, из-за столбов, — недолго, — и потом перестало, и

капитанские люди вошли в ворота, а мы с Фролом ждали ровно столько, сколько он сказал: пока лейтенант не поднимет руку.

— Наш участок, — сказал Фрол, когда рука поднялась, — от ворот направо, вдоль ограды, до навеса. Их — налево, и дальше, в глубину, к малому двору. Руденко — на броне, входит первым, встаёт у навеса и держит внутренние ворота и проезд за ними. Ты — за Руденко, с теми, кто будет спасать имущество. Не первым. За.

— За, — сказал я.

— И Ракитин. Техника остаётся за прикрытием. Пока я не скажу. Тягач — назад к посту, будка и ЗИС — у расчищенного места. Ты пойдёшь посмотреть, что там, ногами. Когда скажу «двор наш» — тогда будка. Не раньше.

— Не раньше.

Он посмотрел на меня так, как смотрел утром у грузовика: не проверяя, а убеждаясь, что я это слышу тем же местом, что и он.

— Ты утром правильно остановил будку. Сегодня я останавливаю. Это одно и то же.

Я кивнул. Спорить тут было не о чем.

Броня вошла в ворота в четверть первого, и я вошёл за ней, — с Артистом, с Дедом, с щуплым, с водителем будки и его механиком, с одним стрелком, — семь человек, которым предстояло спасать то, что там было, и которые пока шли с оружием и без единого инструмента, кроме того, что было в карманах у Деда. Будка и ЗИС остались у расчищенного места. Тягач со своим водителем вернулся к посту, где стояли ещё четыре наши машины, оставались двое связистов, Профессор и люди второго эшелона. Все ждали сигнала, и сигнал к ним мог прийти двумя путями: станция — если капитанский пункт подтвердит; посыльный — если нет. Фрол послал посыльного заранее, с одним словом на бумажке: «ждать». Это был правильный посыльный, потому что «ждать» — единственное распоряжение, которое никогда не приходит слишком поздно.

Суров был на посту соседей тоже. Его «Опель» стоял там за подводами, с полным баком, готовый, — и Суров стоял при нём, и когда Фрол дал команду «допущенные — к двору, пешком», Суров оставил свой «Опель» под присмотром Мелехина и пошёл, — четыре километра, по открытому уже подходу, мимо грузовика у откоса, мимо будки за узким местом, мимо поворота, — вместе с Дроздом, со старшим ремонтником, с молчаливым и с Устиновым, которого Фрол велел прислать «на всякий случай». Это был час ходу. Я не знал тогда, что через час он мне понадобится именно таким — пешим, без своей машины, с руками, свободными для чужой.

* * *

Двор я увидел с брони — не с неё, а из-за неё, потому что вошёл следом, — и первое, что увидел, было не то, что искал.

Я искал девять «Опелей», — вернее, семь, — и верстаки, и навес, и рабочих. Верстаков не было — их убрали вчера, наблюдатель это написал. Навес был — пустой, с четырьмя столбами и с полосой чистой, вытоптанной земли под ним, где стояли верстаки. Рабочих не было — ни одного, ни живого, ни другого: их увезли или увели, и я потом узнал от капитана, что часть ушла ещё утром, пешком, на юго-запад, через задний выход, до того, как мы вошли. А «Опели» показывались не все сразу. Четыре я увидел с первого взгляда.

Двор был вот что. Большой, прямоугольный, вытянутый с востока на запад: ворота — восточные, у нас за спиной; ограда — по обеим длинным сторонам, справа и слева, деревянная, высокая; навес — справа, вдоль ограды, где был наш участок; постройка — слева, длинная, с воротами, закрытыми; и в дальней, западной, стенке двора — внутренние ворота, деревянные, двустворчатые, — те самые, о которых я говорил Фролу ещё после разведки, — а за ними, я знал по разведке, — проезд, короткий, к малому двору, где изба, где «начальство», и дальше — к заднему выходу, к лесу, сто пятьдесят — двести метров.

Так вот: четыре «Опеля» стояли во дворе. Один — у ограды справа, с открытым капотом, — тот, что не ходит, его я узнал. Три — в середине двора, носом на запад, к внутренним воротам, — в очередь. Бортовые, с ящиками в кузовах, закреплёнными, с канистрами на бортах, — готовые ехать, и не уехавшие. И перед ними, в самых внутренних воротах, — пятый: «Опель» с будкой, с большой, — я узнал её по крыше, которую видел с холма, — стоял наискось, наполовину в воротах, наполовину во дворе, левым задним колесом упёршись в закрытую створку, правым передним — в столб, и ему было некуда идти: ни вперёд, ни назад.

Я понял это сразу — так, как понимаешь на площадке, когда видишь, почему груз не идёт: не потому, что он тяжёлый, а потому что кто-то открыл только половину ворот.

Ворота были двустворчатые. Одна створка — правая — была открыта, внутрь проезда. Другая — левая — закрыта, и на ней, с нашей стороны, лежал в скобах деревянный брус, — запор, — обычный, толстый, какие кладут на ворота сараев, и его никто не снял. Немцы открыли одну створку. В одну створку прошли бы бортовые — узко, но прошли бы. Будка — большая, шире и выше, — не прошла: её повели в одну створку, наискось, потому что вторая закрыта, и она зацепила задним колесом закрытую створку, а передним — столб, и встала. И за ней, сбившись у ворот, встали три бортовых; между их бортами и навесом оставалась косая полоса свободной земли. И тот, кто её вёл, — вылез, и ушёл, и не вернулся, потому что в это время у главных ворот Исаев разнёс мешки.

Вот почему они уехали не все. Не потому, что мы быстрые. Потому что кто-то, торопясь, не снял брус.

— Ящик! — крикнул кто-то сбоку, и я повернулся.

Щуплый. Он стоял у навеса, у дальнего его конца, у самой западной стенки двора, — там, где стенка сходилась с оградой, в трёх шагах от внутренних ворот, — и показывал рукой на ящик. Я видел этот ящик: деревянный, длинный, с ручками, с крышкой набок, — и в нём, даже с двадцати шагов, видно было, что лежит: инструмент. Не наш ящик из первого двора, — другой, и полнее, — ключи, головки, что-то блестящее в ряд, — такой ящик, из-за которого Дед в первом дворе три часа ходил вокруг мастера. И щуплый уже шёл к нему. И механик будки — тоже. И Дед — Дед стоял и смотрел на него так, как смотрел на микрометры, и не шёл только потому, что он старше всех и умеет не идти сразу.

Ящик стоял у внутренних ворот. У проезда. У той дырки в западной стенке, за которой был малый двор, изба и те, кто оттуда ещё не ушёл. Руденко с броней стоял у навеса, и Исаев держал ворота и проезд в секторе, но «держал» — это значит, что если кто-то выйдет из-за поворота в видимую часть проезда, Исаев встретит его огнём, — а не что туда можно идти за ящиком.

— Стой! — сказал я. Не крикнул — сказал так, чтобы дошло до щуплого раньше, чем он сделает третий шаг. — Щуплый. Стой, где стоишь.

Он остановился.

— Ящик — не наш. Пока. Он у проезда, а за проездом — они. Ты за ним пойдёшь — и будешь стоять в воротах, спиной к малому двору, с ящиком в руках. Вернись к навесу.

Он вернулся. Не сразу — он посмотрел на ящик ещё раз, как смотрят на то, что уходит, — но вернулся.

— Григорий. — Я повернулся к Деду. — Ящик — потом. Сейчас — вот что. — Я показал на будку в воротах и на три бортовых за ней. — Четыре машины. Ходовые — не знаю, ты скажешь. Стоят в очередь к воротам, и первая — в воротах, наискось. Пока она там — три за ней не пройдут в ворота, и возле неё нельзя безопасно развести водителей. И весь проезд — закрыт. И мы не увидим, что за проездом, и они не увидят нас, — но и не уедет никто, и не подойдёт никто. Так?

— Так, — сказал Дед. Он уже смотрел не на ящик.

— Значит, первое — не ящик. Первое — будка. Вынуть её из ворот. Назад, во двор, к нам. Тогда — проезд свободен, три бортовых можно оттянуть от ворот по одной, ящик — забрать, и всё, что там дальше, — видеть.

— Вынуть — как? Она заклинена. Колесом в створку, передком в столб.

— Открыть вторую створку, — сказал я. — Снять брус. Тогда ворота — во всю ширину, и её можно вытянуть задним ходом прямо, не наискось. Не тягачом — своим ходом, если она ходит. Водителем. Задним ходом, во двор.

Дед посмотрел на будку. На брус. На меня.

— Если ходит.

— Если ходит. Ты скажешь.

— Я скажу, когда потрогаю. А потрогать я её могу, когда ты мне скажешь, что мне не выстрелят в затылок из проезда.

— Это Фрол скажет, — сказал я. — Я его сейчас спрошу.

* * *

Фрол был у навеса, — он прошёл вдоль ограды со своими стрелками до его дальнего конца и стоял там, за столбом, глядя на внутренние ворота, — и когда я подошёл, он уже знал, о чём я спрошу, потому что смотрел туда же.

— Хочешь в ворота, — сказал он.

— Хочу открыть вторую створку. Снять брус. С нашей стороны. Потом — водителя в будку, и назад, во двор. Мне нужно: чтобы, пока я у ворот, из проезда никто не стрелял. И чтобы, пока будка идёт назад, никто не стрелял через неё. Через двор. По тем, кто во дворе.

— Через двор стрелять не буду, — сказал Фрол. — Ни я, ни Исаев. Исаев стоит у навеса и смотрит в проезд — сбоку, под углом, в видимую часть, до поворота к избе. Кто выйдет из-за угла — получит очередь. По самому проезду и по воротам он не стреляет, пока там ты и будка. Это — его сектор, я ему сказал, он понял. — Он показал рукой. — Мои двое — вот сюда, к столбам ворот, по обе стороны, снаружи, за створки. Смотрят в проезд, стреляют только в проезд. ДП — на угол навеса, смотрит вдоль проезда. Пока вы у створок, огонь только дальше вас, по показавшейся цели, не через людей. Ты работаешь у запора. Снимаешь брус. Открываешь. Отходишь. Две минуты — я тебе дам. Больше — не дам, потому что ты будешь стоять в открытых воротах, лицом к малому двору.

— Две минуты.

— И не один. Двое с тобой — створки тяжёлые, ты их один не отведёшь, а ждать, пока отведёшь, я не буду. Бери своего стрелка и щуплого — щуплый лёгкий, он быстро отойдёт.

— Беру.

— Пошёл.

Это было не «погоди» и не «нет». Это было «пошёл», и я пошёл.

Брус лежал в скобах — двух, кованых, вбитых в створку и в столб, — и был тяжёлый, сырой, и его, я думаю, не снимали неделю, потому что немцы ходили в одну створку, и он им был не нужен. Я взялся за него с одного конца, стрелок — с другого, — и мы подняли его из скоб, вдвоём, с одного раза, — и он был тяжелее, чем я думал, и я это отмечаю, потому что в ту секунду думал именно об этом, а не о проезде за створкой. Мы отставили брус к столбу. Створка — левая — освободилась, и я толкнул её, и она не пошла, потому что в неё упиралось колесо будки, — я это знал, — и я сказал щуплому «толкай верх», и он налёг на верхнюю доску, а я на нижнюю, и стрелок — на середину, — и створка отошла от колеса на ладонь, на две, — и потом пошла сама, наружу, в проезд, — и я увидел проезд.

Короткий. Метров тридцать. Земляной, накатанный. С одной стороны — глухая стенка постройки, с другой — ограда. В конце — поворот направо, к малому двору, и за поворотом — не видно. В самом проезде — никого. Ни одной машины. Ни одного человека. Пусто, и от этого хуже, чем если бы было полно.

— Отходи, — сказал стрелок, и я отошёл, и он за мной, и щуплый первым, как Фрол и хотел, — и мы стояли у навеса, за столбом, и обе створки были распахнуты во всю ширину, — и будка стояла в воротах уже не заклиненная: её колесо больше ни во что не упиралось.

— Две минуты десять, — сказал Артист. Он опять смотрел на часы.

— Фрол сказал две.

— Фрол не смотрел на часы, — сказал Артист. — Я — смотрел. Я ему не скажу.

Теперь — водитель. Я не стал подгонять людей: до прихода допущенных с поста почти час держали освобождённые створки и смотрели в проезд.

У меня было трое: Артист, водитель будки и Дрозд, который час назад вышел с поста соседей и должен был вот-вот прийти. Артиста я не хотел: он был единственный водитель первого ЗИСа, и первый ЗИС мне ещё понадобится, — я это не знал, а чувствовал. Водитель будки — тот сказал сам: «Я свою знаю. Эту — нет. Она большая, у неё зад другой». Это было честно, и я это принял. И тут в ворота — в главные, восточные — вошли пешие с поста соседей: Суров, Дрозд, старший ремонтник, молчаливый, Устинов, — пять человек, час ходу, — и Суров, увидев будку в воротах, сказал ещё от главных ворот, через весь двор:

— Ага.

Не «что это». Не «ого». «Ага» — как говорят, когда видят работу, которая — твоя.

— Суров, — сказал я. — Иди сюда.

Он подошёл. Посмотрел на будку: наискось, в открытых воротах, передком в проезд, задом во двор. Посмотрел на двор за ней — на свободную его часть, между очередью бортовых и навесом, куда её можно было поставить. Посмотрел на меня.

— Задом? — спросил он.

— Задом. Прямо. Во двор. Вот сюда, — я показал, — к навесу, вдоль, чтобы не занять проезд трём бортовым. Я буду стоять там, — я показал на место у навеса, сбоку от будки, в её левом зеркале, если зеркало цело, — в двор, не в проезд. Ты меня видишь — едешь. Не видишь — стоишь.

— Как в выемке, — сказал Суров.

— Как в выемке. Только я не в кабине. Я — снаружи. Рукой.

Он кивнул. Пошёл к будке — через двор, мимо трёх бортовых, спокойно, как ходил у первого двора, — и полез в кабину, — правой дверью, потому что левая смотрела в проезд, — и сел, и я видел, как он, сев, замер на секунду, глядя на чужие приборы, на чужой руль, на чужие педали, — и потом положил руки. Это было то, что он делал в выемке, когда я вёл его машину по его руке: не торопился взять.

Дед стоял рядом со мной. Он не подходил к будке. Он ждал, пока ей не будет опасно, — и это было его правило, и я его не трогал.

— Она ходит? — спросил я его вполголоса.

— Не знаю. Он сейчас скажет.

Суров нажал на стартер. Мотор схватил — не с первого, со второго, — и заработал, — ровно, и Дед, стоявший рядом, чуть наклонил голову, как наклоняет, когда слушает, — и сказал:

— Мотор ровный. Тронется — посмотрим.

Я встал, где сказал: у навеса, сбоку от будки, на открытом, в её левом зеркале, — зеркало было цело, — лицом к Сурову. Поднял руку. Ладонь — на себя: «ко мне». Медленно.

И будка пошла.

Назад. Из ворот. Прямо, — потому что створки были открыты во всю ширину и ей больше не надо было идти наискось, — и правое переднее колесо отошло от столба, и левое заднее — от створки, которой уже не было на месте, — и она вышла из ворот во двор, вся, задним ходом, — и я вёл её рукой: на себя, на себя, чуть вправо — ладонь вбок, — на себя, — и она шла туда, куда я показывал, потому что Суров смотрел в зеркало, на мою руку, и делал то,

что видел, — и когда её зад поравнялся с концом навеса, я поднял кулак: «стой». Она встала. Ровно. Вдоль навеса. Свободная часть двора осталась свободной. Проезд — внутренние ворота — стоял пустой, распахнутый, и в нём было видно все тридцать метров до поворота.

Суров заглушил мотор. Вылез. Посмотрел на будку — не как на трофей, как на машину, которую только что поставил, — и сказал:

— Зеркало у неё хорошее.

— У тебя тоже, — сказал я.

— У меня зеркало давно целое, — сказал Суров. — Князь мне окно вместо фанерки застеклил. Теперь совсем хорошо.

И Дед пошёл к будке. Сейчас, — когда она стояла у навеса, в дальнем от проезда конце двора, за очередью бортовых, за стрелками у столбов, за сектором Исаева, — сейчас было можно. Он обошёл её, как обходил всё: кругом, сначала не трогая. Потом открыл заднюю дверь кузова. Заглянул. И я услышал, как он выдохнул, — не сказал ничего, выдохнул, — и это было то, что он делал в первом дворе у ящиков, только там он ходил три часа, а здесь у него не было трёх часов, и он это знал.

— Что там?

— Потом, — сказал Дед. — Сначала — те три. Потом — эта. Потом — ящик. По одной.

* * *

По одной — так и было.

Три бортовых стояли в очередь к воротам, носом на запад, и теперь, когда будка ушла из ворот, им было куда идти: не в ворота — от ворот, во двор, задом, по одной, в свободную часть, к ограде слева, вдоль, так, чтобы проезд и середина двора остались чистыми. Это я расписал за минуту: Дрозд — первую, Суров — вторую, — после будки, не одновременно, потому что Суров не мог быть в двух машинах сразу, — водитель будки — третью, если она не хуже его собственной. Каждую — Дед сначала слушает: заводится или нет. Каждую — я веду рукой, стоя, где видно.

Первая завелась. Дрозд сел в неё, посмотрел на меня через двор — я стоял у ограды слева, там, куда ей идти, — и спросил, не выходя из кабины, громко:

— Рукой поведёте, как у Фрола, или свистком, как у Руденко?

— Как у меня, — сказал я. — На себя — ко мне. Кулак — стой. Ладонь вбок — туда. Больше ничего.

— Рукой, как у Фрола, — сказал Дрозд. — Руденко не говорите.

И повёл, — задом, по руке, ровно, — и я вспомнил, как на стоянке у Несвижа Фрол с Руденко проверяли руку и свисток, и подумал, что Дрозд, видимо, для себя этот спор решил. Он поставил её у ограды слева, — вдоль, как я показал, — и вылез, и сказал: «Первая». Вторая — завелась со второго раза, и Суров поставил её рядом. Третью водитель будки завёл с первого, и Дед сказал «эта — лучше всех», и водитель будки поставил её третьей, и это была его первая чужая машина, и он вылез из неё так, как вылезают из чужой машины: осторожно, будто в ней что-то можно сломать, выходя.

Три бортовых — у ограды слева, в ряд. Будка большая — у навеса, справа. Середина — чистая. Проезд — открыт, и в нём видны тридцать метров и поворот, и у столбов — стрелки Фрола, и на углу навеса — ДП, и у навеса, ближе к воротам, — броня с Исаевым, глядящая через внутренние ворота вдоль видимого проезда до поворота к избе.

И только тогда — ящик.

Я послал за ним шуплого и молчаливого, вдвоём, — не бегом, — и они принесли его от западной стенки к навесу, к будке, и поставили, и Дед открыл крышку, и посмотрел, и закрыл, и сказал: «Хороший. Немецкий. Не трогать до вечера, сейчас — не до него», — и это было самое сильное, что я от него слышал за две недели, потому что в первом дворе он не мог отойти от микрометров, а здесь — отошёл сам.

Теперь — что мы взяли.

Дед смотрел это до вечера, — не один: старший ремонтник, молчаливый, щуплый, механик будки, — по одной, как обещал, — и не заводя ничего, что не завелось само, и не лазя ни под что, пока Фрол не сказал, что под это можно лезть. К вечеру он доложил, стоя у будки, с руками в масле, и это был не список — это был осмотр:

— Ходовых — пять. Бортовых — три, вот эти, у ограды. У одной масло на нижней отметке, я долил, у второй — вода, долил, у третьей — ничего, она лучше всех. Мастерских — две: большая, — он кивнул на будку у навеса, — и малая. — Малую я не видел, и Дед объяснил: — Она стояла в постройке, за воротами, закрытыми. Фрол открыл, когда двор стал наш. Там — она одна, и пусто. Заводится. — Он помолчал. — Шестой — тот, у ограды, с капотом. Не ходит. Мотор — не работает, и я не знаю, почему: я не заводил, я слушал, как его крутит стартер, — крутит, не схватывает. Топливо, зажигание, компрессия — не знаю, что. Смотреть — не здесь и не сейчас, здесь я его не почию, а испорчу. Ходовая у него целая, колёса целые, его можно тащить. Тягачом.

— Всё?

— Всё, что во дворе. — Дед вытер руки. — Что за проездом — не знаю. Я туда не ходил, и не пойду, пока не скажут.

Что за проездом — знал Фрол, и он это сказал мне отдельно, у навеса, когда пришёл от Руденко в седьмом часу.

— Малый двор — их. Изба — их. Задний выход — их. Там — карман: изба, ограда, выезд в лес, метров сто пятьдесят от наших внутренних ворот. Сколько их там — не знаю: не взвод, меньше, взвод они потеряли у ворот и по дороге. Стреляют — редко, из-за избы, через проезд, если кто-то из наших выходит на поворот. Когда они высовывались в видимую часть проезда, Исаев их дважды укладывал, — он расходовал, я считал: после утренних двухсот — ещё четыреста, с полуденным боем у ворот. Осталось тысяча восемьсот пятьдесят. Хватит. — Он посмотрел на проезд. — Соседи идут лесом, слева, к их заднему выходу, — капитан сказал: к ночи выйдут к нему, обложат. Тогда карман — с трёх сторон: мы через проезд, они — лесом. Четвёртая — сам выход. Узкий. Туда — завтра.

— Хеннинг там?

— Не знаю. Никто не знает. Там — кто-то в форме, с бумагами, наблюдатель это видел. Кто — увидим, когда возьмём. Не раньше.

— Не раньше, — сказал я.

— И ещё, — сказал Фрол. — У заднего выхода — машина. Бортовой «Опель», — Руденко видел с угла, когда ходил смотреть, куда его стрелки смотрят: стоит у самого выезда, носом в лес. Не из этих, — он кивнул на три у ограды. — Другой. Их — тот, что был в малом дворе, я думаю. Они на нём уедут, если мы дадим.

— Не дадим.

— Завтра, — сказал Фрол. — Сегодня — двор, и ночь, и смены. Ты Устинова видел? Он всех обошёл, кто здесь. Царапины. У Колосова рука — как была. Тяжёлых нет. Ни у нас, ни у соседей, капитан сказал, — у них двое лёгких, у ворот.

— Ни у нас.

— Ни у нас, — сказал Фрол. И добавил, — не мне, себе: — Так и надо брать.

* * *

К ночи двор стал наш так, как становится своим место, где ты поставил свои машины.

Фрол сказал «двор наш» в восьмом часу, — и это было то самое «не раньше», после которого можно, — и посыльный получил два поручения: водителю будки — подавать её от расчищенного места, Артисту — забрать с поста Князя с котлом. Они ушли к своим машинам. К сумеркам в главные ворота вошла наша будка, — та, что прошла узкое место утром, — и за ней ЗИС Артиста, который ходил за ней и за Князем и за котлом, — и Князь, слезая с ЗИСа

с половником, сказал, оглядев двор: «Так. Где ставить?», — и поставил там, где я показал: у навеса, за большой будкой, где было тише всего.

Остальные пять — второй ЗИС, три «Опеля» и тягач — остались на посту соседей. Так сказал Фрол, и так было правильно: двор был наш, но проезд — проезд смотрел в карман, где сидели те, кто ещё не ушёл, и держать во дворе на ночь восемь машин, из которых пять — не нужны здесь до завтра, было бы тем, что Фрол называл «ставить добро под чужой глаз». Мелехин держал пост соседей со своими, с Профессором, со связистами, с тягачом. Здесь были: наш ЗИС, наша будка, наша броня, — и пять чужих ходовых, и один чужой мёртвый, и ящик.

Три наших я поставил сам: броню — у навеса, ближе к внутренним воротам, так, чтобы Исаев с передней установки смотрел в проезд, оставаясь за бронёй своего места, — Руденко на ней, на ночь, с четырьмя. ЗИС — в глубине, у постройки, носом к главным воротам: если понадобится быстро — Артист выедет, не разворачиваясь. Будку — рядом с большой чужой, у навеса, — и вот тут произошло то, ради чего, я думаю, Дед сегодня и дожил до вечера.

Он посмотрел на большую чужую будку — ту, что Суров поставил у навеса, вдоль, ровно, — и на нашу, которую водитель будки только что поставил рядом, — и сказал:

— Кто её так поставил?

— Кого?

— Эту. — Он показал на нашу. Не на чужую — на нашу. — Она стоит на уклоне. Носом вниз. Тут навес, тут земля утоптана, тут — уклон к ограде, я видел, когда ходил. Она носом вниз — масло в картере к передней стенке, ночь простоит — утром на шупе одно, а в моторе другое. И задняя дверь — в сторону чужой, впритык, не открыть, если ночью надо будет что-то взять. И правое переднее — на камне.

Водитель будки, который её поставил, стоял рядом и слушал так, как слушают то, что заслужили.

— Я её сейчас переставлю.

— Ты её сейчас переставишь, — сказал Дед, — а я тебе покажу, куда. Не «вон туда». Куда. — И пошёл, и показал: развернуться, встать носом к воротам, задом к навесу, на ровное, дверью — в свободное, — и водитель переставил, а Дед стоял и смотрел, и потом обошёл её, и потрогал ладонью правое переднее, и сказал «так», — и только тогда сел.

— Ты бы её и ночевать к себе взял, — сказал Артист. Он это сказал без злости и не для публики — для Деда. — Как ребёнка.

— Взял бы, — сказал Дед. — Если бы влезала.

— А чужую?

Дед посмотрел на большую чужую будку, у навеса, — ровную, вдоль, поставленную Суровым по моей руке, — и сказал не сразу:

— Чужую — Суров поставил хорошо. Мне не к чему. — И добавил, — и это было единственное, что он сказал о ней за день: — Там кузов — хороший. Я заглянул. Там верстак откидной, и тиски на нём, — не те, что увезли, другие, стационарные, — и полки. Я это утром посмотрю. Сегодня — не мои. Сегодня — армейские, ничьи. Я в ничьё не лезу. Я в него только заглянул.

— Ты в него выдохнул, — сказал я.

— Выдохнул, — согласился Дед. — В это — можно.

Князь кормил в темноте, — костра не жгли, — и кормил так, как кормил всегда: по очереди, по сменам, никого не пропуская и не давая никому «потом». Раздавая, он считал вслух, — не порции, людей, — и на двадцать третьем сказал мне: «Двадцать четыре здесь, двадцать два на посту соседей, Мелехину я оставил. Семь порций — водителям — я тоже сварил. Они не пришли. Их я отдам Руденко, ему на броне ночь». — «Они придут завтра». — «Завтра я сварю ещё, — сказал Князь. — А сегодня — Руденко». И это был, я думаю, единственный человек во дворе, который в тот вечер точно знал, сколько нас, и не спрашивал

Фрола. Смены Фрол развёл на три: Руденко с четырьмя — на броне и у внутренних ворот, до часу; потом — стрелки от навеса; потом — под утро — те, кто сейчас спит. Дед — спать, безоговорочно, Князь это сказал, и Дед не спорил, потому что уже знал, чем это кончается. Суров лёг в кузове своей... — нет, не своей: своя была на посту соседей, — в кузове нашей будки, потому что в кузове чужой ему ночевать не разрешил Дед, «она не наша», — и Суров лёг в нашей и сказал, засыпая: «Завтра я её опять поведу. Скажите Деду». Я сказал, что скажу.

Артист не рассказывал. Он сидел на подножке своего ЗИСа, в темноте, и ел, и смотрел на двор — на пять чужих машин, на будку у навеса, на проезд, — и потом сказал, негромко, мне одному:

— Алексей Палыч. Мы их сегодня — сколько взяли? Пять? И одну мёртвую?

— Пять и одну. И одна — там, у выхода, завтра.

— Семь, — сказал Артист. — А у нас — восемь. Мы за две недели — восемь. А тут — за день — семь. — Он помолчал. — Я это никому не буду рассказывать. Это никто не поверит.

— Расскажешь, — сказал я. — Когда сдадим. Когда они будут армейские, и ты их будешь провожать.

— Тогда — расскажу, — сказал Артист. — Тогда — поверят.

Я обошёл двор после часу, — когда Руденко сдавал стрелкам, — от главных ворот до внутренних: мимо ЗИСа у постройки, мимо трёх бортовых у ограды слева, мимо мёртвого «Опеля» с открытым капотом, который Дед закрыл, «чтобы роса не села», мимо нашей будки, ровной, носом к воротам, мимо большой чужой, вдоль навеса, мимо ящика под навесом, мимо брони, из-за которой смотрел в проезд Исаев, — до самых створок, распахнутых, за которыми были тридцать метров земли и поворот, и за поворотом — изба, и в ней — кто-то, кого мы завтра увидим.

Я знал, куда смотреть. Я знал, зачем нам проезд. Я не знал, кто там.

И это было — не половина и не «почти». Это было — двор. Целиком. С запором, снятым своими руками, с будкой, выведенной по руке, с пятью машинами, поставленными по одной и не занявшими путь.

Завтра — путь. Сегодня — двор.

Глава 28. «Майор прилагается»

Ночь прошла по сменам, и я её проспал ровно столько, сколько Князь считал моим: с часу до четырёх, в кузове нашей будки, на брезенте, рядом с Суровым, который во сне сказал один раз «задом» и больше ничего. В четыре меня поднял Руденко, — не Князь: Князь спал свою смену, и это было единственное, что могло его остановить, — и я ходил по двору до рассвета, от главных ворот до внутренних, мимо своих трёх и чужих шести, и слушал.

Слушать было что. Слева, за оградой, за постройкой, в лесу, всю ночь работали соседи: не бой — движение, редкие выстрелы, голоса, один раз — ракета, белая, далеко, — капитан вёл своих лесом к заднему выходу, обкладывал карман, как обещал. Из кармана — из-за поворота проезда, от избы — за ночь стреляли трижды: коротко, наугад, в проезд, — и Исаев не отвечал, потому что отвечать было не во что, а лент у него было не бесконечно: тысяча восемьсот пятьдесят. Руденко сказал: «Они не спят. Слышно». Я тоже слышал: за избой, в темноте, кто-то ходил, что-то носили, что-то стучало о борт, — и я не знал, что, и не мог узнать до света, и не пошёл узнавать, потому что вчера Фрол сказал «завтра», а до условленного утреннего движения ещё оставалось время.

Профессор пришёл в шестом часу, с поста соседей, пешком, с посыльным, — потому что я вчера вечером послал за ним: во дворе были бумаги, в постройке, в ящиках, которые немцы не увезли, и их надо было читать не мне. Он вошёл в главные ворота, посмотрел на двор — на три бортовых у ограды, на будку у навеса, на мёртвый «Опель» с закрытым капотом, — и сказал не «ого», а:

— Где бумаги?

— В постройке. Дед покажет.

— Дед мне покажет инструмент, — сказал Профессор. — Бумаги я найду сам.

Дед в это время уже был у большой чужой будки — с рассветом, раньше Князя, который его в такое время ещё не ловил, — и не внутри, а снаружи: он стоял у открытой задней двери и смотрел в кузов, не входя, как смотрят в чужой дом с порога. Я подошёл.

— Не лезешь?

— Не лезу. Она — армейская. Я смотрю. — Он показал подбородком. — Верстак откидной, на петлях, к левому борту. Тиски — стационарные, на нём. Полки — с бортиками, чтоб не сыпалось на ходу. Ящики под полками — выдвижные, с ручками. Всё — на своих местах, ничего не вырвано. Они её собирались увезти целиком. Не успели. — Он помолчал. — Я в первом дворе ходил за микрометрами три часа. Тут я бы ходил неделю. Не буду. Не моя.

— А если бы дали?

— Если бы дали — я бы тебе сказал, что в неё надо: бензин, и чтоб её не ставили носом под уклон. — Он закрыл дверь. Аккуратно, как свою. — Не дадут. И правильно. У нас своя. Наша — хуже, но наша.

Утренний свет шёл с той стороны, откуда мы вчера входили, — с востока, через главные ворота. Стрелок на навесе первым заметил то, чего я не ждал.

— Товарищ старший лейтенант! — стрелок с навеса. Он сидел там с ночи, на крыше, на углу, ближе к внутренним воротам, — Фрол его туда посадил посмотреть через ограду, в лес, влево, туда, где работали соседи. — Машины! На дороге! Уходят!

Я поднялся к нему — по столбу, по перекладинам, как на площадке по лесам, — и лёг рядом, и посмотрел, куда он показывал.

Не в проезд. Не к избе. Дальше: через ограду, через полосу леса, — там, в просвете между соснами, метрах в пятистах, была дорога — не наша, не та, по которой мы пришли, другая, идущая с севера на юго-запад, мимо всего этого места, — и по ней шли машины. Три. Грузовые. Крытые брезентом. Не быстро — дорога была лесная, — на юго-запад, — и они прошли просвет одна за другой, и просвет опустел, и всё.

— Чьи? — спросил стрелок.

— Не знаю.

Я не знал. Они шли не из нашего двора — наш двор был здесь, под нами, и в нём всё стояло. Они шли не из кармана — карман был за избой, у заднего выхода, и оттуда на ту дорогу выезда не было, только в лес. Они шли мимо, — по чужой дороге, из чужого места, откуда-то, где сжимали соседи, или ещё дальше, — и куда, и по чьему приказу, и что везли, — этого я не знал, и знать не мог, и не стал делать вид, что знаю. В той жизни я видел, как люди на площадке бросают свою работу, чтобы посмотреть, как мимо везут чужой груз. Здесь это стоило бы дороже.

— Смотри на них, пока видно, — сказал я стрелку. — Считай. Больше — ничего. Вниз не кричи. Мне скажешь, когда слезу.

— Три прошло. Больше нет.

— Тогда — смотри в лес, куда Фрол велел.

И слез. И пошёл к внутренним воротам, к Фролу, который стоял у створки и тоже слышал крик с навеса, и сказал ему:

— Три машины на дальней дороге, на юго-запад. Не наши, не отсюда. Прошли. Стрелок смотрит дальше.

— Слышал, — сказал Фрол. — Не наше. Наше — там. — Он кивнул за поворот проезда. — Они за ночь что-то делали. Ты слышал?

— Носили. Стукали о борт.

— О борт, — повторил Фрол. — Это я и хотел услышать от тебя, а не от себя.

* * *

Видеть карман можно было с угла.

Угол — это был поворот проезда, в тридцати метрах от внутренних ворот, где проезд заворачивал направо и превращался в проулок: узкий, земляной, между глухой стенкой постройки слева и оградой малого двора справа, — метров сто с лишним, — до самого заднего выхода: до просвета в наружной ограде, двух столбов и колеи, уходящей в лес. Малый двор был справа от проулка, за своей оградой — деревянной, не такой высокой, как наша, — и у него были свои ворота, выходившие в проулок у самого его конца, у столбов, шагах в двадцати от выхода. Изба стояла в глубине малого двора. И «Опель» стоял в малом дворе: бортовой, — тот, что Руденко видел вчера с угла, — носом к своим воротам, к проулку, к выходу.

На углу у нас сидел стрелок — с ночи, за столбом, лёжа, с винтовкой, — и я лёг рядом с ним, и посмотрел, что он видел.

Видел он вот что: ворота малого двора — открытые. За ними — кусок борта «Опеля», поставленного наискось к своим воротам. Задний борт был откинут, его край тоже виднелся сбоку. Людей — двоих, троих, — в кузове, у борта, — и они что-то делали, что с угла не разобрать: наклонялись, выпрямлялись, наклонялись. Ещё — от избы к «Опелю» — ходили. С чем — не видно: далеко, и ворота узкие, и виден только кусок.

— Что ты видел ближе? — спросил я. — Ты тут с ночи. Что было — с ночи до сейчас?

Он ответил так, как отвечал вчерашний наблюдатель: перечнем.

— Ночью — носили. От избы к машине. Тяжёлое — слышно, как ставят. К утру — перестали носить. Стали выкидывать. Из кузова — на землю: я видел, как летело — ящик, бочка пустая, гремела. Освобождали. Потом — двое в кузове, стелили что-то, я думаю — брезент, по полу. Потом — от избы — трое или четверо, с виду не из охраны, — с портфелями, с папками, я видел, что несут, а что в них — нет, — к машине, и стояли у борта. Не садились. Ждали. Шофёр — в кабине, я видел, как он дверцу закрыл. Мотор — не заводили. Ждут. — Он подумал. — Ждут чего-то. Не знаю чего.

— Сколько всего людей — видел?

— В кузове двое. У борта четверо. Шофёр. Солдат — с винтовками — трое, четверо, у избы. Может, больше — не видно. Не взвод. Меньше.

— Спасибо. Это — что видел.

— Что видел, — сказал он. Это уже было у нас как пароль.

Я лежал за столбом и смотрел на кусок кузова в чужих воротах, и складывал — и это была не догадка, не «знание будущего», а то, что я видел за две недели своими глазами, три раза подряд.

В первом дворе, у Глуска, они увезли ящик с инструментом на подводе, — не всё, а самое ценное, и первым. У лесничества позавчера они отправили две машины — гружёные, задним выходом, в лес, — самое ценное, первым, тем выходом, который не смотрит на дорогу. Вчера ночью они здесь носили и стучали о борт, — грузили, — а к утру начали выкидывать: освобождать места. Не для ящиков. Для людей. Для тех, кто в форме, не солдат, с папками. Бумаги и эти люди — вот чему они теперь освобождали место, когда часть имущества уже увезли. И везут это не по дальней дороге, где прошли три машины, — те машины были не отсюда. Везут — задним выходом. Тем, который не смотрит на нашу дорогу. Тем, который мы вчера не закрыли, потому что Фрол сказал «завтра», и был прав.

И ждут. Ждут, я думаю, того же, чего ждали бы мы на их месте: чтобы соседи в лесу за выходом либо отошли, либо оставили щель, — либо просто рассвета, чтобы видеть колею. Рассвет — был. Значит — скоро.

Гнаться за тремя машинами на дальней дороге — не за чем, и не на чем, и не наше. А выход — вот он. Сто с лишним метров проулка. Два столба. Перед ними проулок расширился в короткую площадку: немецкому грузовику было где повернуть от своих ворот к лесной колее. Там поместится ЗИС поперёк — я проверил взглядом расстояние между стеной и оградой. Один «Опель», носом туда, — и между его носом и столбами — двадцать шагов.

— Лежи, — сказал я стрелку. — Если тронутся — свисток. Я — к Фролу.

* * *

Фролу я сказал это в тридцати шагах от угла, у створок, стоя, за две минуты, потому что больше не было.

— Они уходят задним выходом. На «Опеле», который стоит в малом дворе носом к своим воротам. Грузят людей с бумагами — не солдат, управление. Ждут, я думаю, света или щели у соседей. Выезд — вот он: проулок, столбы, колея. Узкий. Если поперёк него встанет ЗИС — не пройдёт никто. Не таранить. Встать. Раньше, чем они тронутся. От внутренних ворот до столбов — метров сто шестьдесят, я вчера прошёл проезд и посмотрел проулок с угла, — Артист это проедет за полминуты, если проулок свободен.

— Проулок — вдоль их ограды, — сказал Фрол. — Сто метров вдоль ограды, за которой они.

— Знаю.

— ЗИС — фанера. В нём ты, Артист и кто ещё?

— Двое стрелков. В кузове. Больше — нет, остальные — на местах. Встали — вылезли. За ЗИС, за столбы, в канаву, что там есть. Не в кабине.

Фрол посмотрел на угол, на створки, на броню у навеса, на ДП на углу навеса, — и я видел, как он раскладывает, — не «можно или нельзя», а «чем».

— Так, — сказал он. — Их ограда — невысокая, я смотрел с угла. Сверху её видно с крыши постройки, — постройка вдоль проулка, слева. Я сажаю ДП на крышу постройки, над проулком, — он видит их двор сверху, весь, — и стрелков у угла, за столбом, — они видят проулок и их ворота. Броню — к углу: Селиванов подведёт её к повороту, встанет так, чтобы Исаев смотрел вдоль проулка, до столбов, и в их ворота — под углом. Дальше угла броня не идёт: ей отсюда держать сектор, не загораживая ход бойцам. Исаев — по их ограде поверху и по воротам, если оттуда покажутся, — не по проулку, пока в нём ты. Ты идёшь, когда ДП на крыше и броня у угла. Не раньше. Это — пять минут.

— Пять.

— И Ракитин. Ты встанешь у столбов — и всё. Ты их не берёшь. Их беру я, отсюда, проулком, за тобой, — и соседи из леса, из-за столбов, — капитан там, я знаю, он всю ночь туда шёл. Ты закрыл — они дошли. Так?

— Так.

— Артист! — сказал Фрол. Не мне.

Артист стоял у ЗИСа, — он слышал, — и подошёл, и не спросил ничего, — и я сказал ему то, что нужно водителю, и только это:

— От внутренних ворот — прямо, тридцать метров, — направо, — проулок, сто тридцать, — в конце два столба, за ними лес. Встать поперёк проулка, перед столбами, — носом в левую стенку, задом к правой, — чтобы между бортом и столбами не прошёл никто. Не таранить ничего. Ничего там нет. Встать — и вылезти, в мою сторону, за машину. Двое — в кузове, вылезут сами.

— Понял, — сказал Артист. — Задом к правой. — И пошёл к ЗИСу, и сел, и завёл, и больше ничего не сказал, и это было всё, что мне от него сейчас было нужно.

Стрелков дал Фрол — двоих, из своих, тех, что вчера стояли у столбов ворот, — и они сели в кузов ЗИСа, к заднему борту, лицом назад, и я сел рядом с Артистом, с ППШ на коленях, и мы стояли у внутренних ворот, носом в проезд, и ждали пяти минут.

Они прошли так: ДП с двумя номерами полез на крышу постройки — по лестнице, которую вчера нашли внутри, — и лёг там, на скате, над проулком; стрелки у угла — легли за столбом рядом с тем, что там был; броня — Селиванов подвёл её к повороту, — я слышал, как она идёт: гусеницы по земле проезда, — и встала у самого поворота, прижавшись к стене и

оставив нам проход, так, чтобы Исаев со стойки смотрел в проулок. И Фрол, стоя у створки, поднял руку. И опустил.

— Дорога, — сказал Артист.

И мы пошли.

Тридцать метров проезда — я их не заметил. Поворот — Артист взял его так, как брал ямы: не тормозя, чуть внутрь, — и проулок открылся: узкий, длинный, ограда справа, стена слева, столбы в конце, — и «Опель» в их воротах, справа, впереди, — я видел его зад, откинутый борт, чью-то спину в кузове, — и мы шли вдоль ограды, и над оградой была крыша избы, и из-за ограды никто не стрелял. Я видел лишь край двора и не знал, заметили ли нас. ДП уже стоял над ними на крыше; хотелось верить, что Фрол успел прижать тех, кто мог выглянуть.

Мы прошли их ворота. Я видел, как спина в кузове повернулась. Артист не смотрел — он смотрел на столбы.

Двадцать шагов. Расширение у столбов. Артист вывернул руль влево, — носом в стену, — и дал задом, — коротко, — и ЗИС встал поперёк проулка: нос в стену слева, задний борт — в полуметре от правого столба, — и между ним и столбами не осталось ничего, куда прошёл бы даже мотоцикл. Своевременно. Не раньше и не позже. Так ставят машину, а не так бьют.

— Вылезай, — сказал я, и вылез сам, — в правую дверь, за машину, в ту сторону, где столбы и лес, — и Артист перебрался следом через освободившееся сиденье, и двое из кузова прыгнули через задний борт, — и мы легли: я — за передним колесом, у стены, Артист — за задним, стрелки — за столбами, по обе стороны, — и над нами был ЗИС, фанерный, как сказал Фрол, — но между нами и «Опелем» в их воротах он стоял поперёк, и это был не щит, а стена, за которой нельзя проехать.

Только тогда из-за их ограды выстрелили.

* * *

Дальше было то, что Фрол называл «доводить», и что делал не я.

Из ворот малого двора вышел «Опель». Не быстро — шофёр, я думаю, ещё не понял, — выехал в проулок, повернул к столбам, — и увидел ЗИС поперёк. Двадцать шагов. Он встал. Я видел, как он встал: вильнул, будто искал, куда, — некуда, — и встал. И из кузова, через борта, посыпались люди: те, что были в кузове, — двое, — и те, что у избы, солдаты, — те, что с папками, не посыпались, те остались в кузове, я видел, как один из них лёг на дно, — и шофёр открыл дверцу и вылез, и побежал не к нам, а обратно, к их воротам.

Стреляли. Из-за ограды — по проулку, по ЗИСу, — я слышал, как бьёт в кабину, в фанеру, в борт, — и наши двое из-за столбов ответили, — по их воротам, куда бежал шофёр, — и он добежал, — и над всем этим, с крыши постройки, заговорил ДП: короткими, вниз, в их двор, — и сверху же, от угла, — Исаев: не в проулок, — в проулке был я, — а по их ограде поверху, по тому месту, откуда стреляли в ЗИС, — очередь, пауза, очередь, — и стрельба из-за ограды прекратилась. Расход я узнал потом от Фрола: сто.

И потом — Фрол. Проулком. От угла — за нами, по нашему следу, — с восемью, — вдоль стены, а не ограды, — быстро и не бегом, — до «Опеля», стоящего поперёк с открытой дверцей, — и за него, — и от него — к их воротам, — и я видел это из-за колеса, лёжа, и не встал, потому что мой сектор был — столбы, — и держал столбы.

А из-за столбов, из леса, — соседи.

Их я услышал раньше, чем увидел: голоса, русские, за спиной, — и обернулся, — и из-за деревьев, из-за колеи, вышли пехотинцы, — капитанские, — пятеро, десять, — и старший из них, сержант, — тот же, что водил нас на разведку, я узнал его, — присел за столбом рядом с моим стрелком и сказал мне, через ЗИС:

— Мы с ночи тут. Ждали, когда поедут. Ты им дорогу закрыл. — Он посмотрел на ЗИС, поперёк. — Хорошо стоит.

— Он не мой, — сказал я. — Артиста.

— Хорошо стоит, — повторил сержант Артисту, и Артист, лежавший за задним колесом, кивнул, и не сказал ни слова. Аудитория была — не та.

Что было в малом дворе, я не видел. Я слышал: ДП — ещё два раза, коротко. Винтовки — их и наши. Голос Фрола — не слова, голос. Потом — тише. Потом — один голос, не наш, громкий, — одно слово, повторённое, — и я не знал этого слова, но знал, что оно значит, потому что после него не стреляли.

Пять минут. Может, семь. Артист потом сказал — восемь, он смотрел, — но он смотрел, лёжа за колесом, и я ему не поверил.

Фрол вышел из их ворот сам. Поднял руку — ту же, что поднимал вчера на повороте: «вижу, стою», — и потом ладонь вниз: «всё».

Что было в малом дворе, Фрол доложил мне потом, у их ворот, коротко, как докладывают то, что делали сами: они прошли проулком за нашим ЗИСом, вдоль стены, пока Исаев и ДП держали ограду; у чужого «Опеля», стоявшего поперёк с открытой дверцей, разделились — четверо остались при нём, чтобы никто в него не сел, четверо с Фролом пошли в их ворота. Во дворе — солдаты за углом избы, стреляли в проулок, не видя; ДП с крыши прижал их за укрытием, — и Фрол вошёл во двор с двумя, а двое встали в воротах. Те, что в кузове с папками, — лежали и не двигались. Шофёр — сидел за избой, без оружия, руки на голове, сам. Солдаты — семь — увидели, что ворота заняты, проулок закрыт, за оградой — соседи, а с крыши — пулемёт, и один из них — «в форме, не солдат, худой», — сказал Фрол, — вышел из-за избы с поднятой рукой и что-то крикнул, одно слово, дважды, и остальные положили винтовки. «Что за слово — не знаю, — сказал Фрол. — Профессор скажет. Но после него никто не стрелял, и мне этого хватило». Никого из них не убили. Одного ранили в руку — до того, как он положил винтовку. «Так и надо брать», — сказал Фрол, второй раз за два дня, и на этот раз — мне.

Я встал. ЗИС стоял, где стоял, — с двумя дырками в кабине, с одной в борту, с целыми колёсами, — и Артист, поднявшись, обошёл его, потрогал дырку в дверце пальцем и сказал:

— Фанера.

— Фрол сказал — фанера.

— Заделаю, — сказал Артист.

И это было первое, что он сказал с той минуты, как встал поперёк.

* * *

В малом дворе стояли одиннадцать человек — без оружия, с руками, которые Фрол велел держать на виду, — у стены избы, и наши стояли перед ними, и соседи — за ними, у ограды, — и я вошёл в их ворота через проулок, мимо «Опеля» с открытой дверцей, который стоял, где встал, целый, — с ящиками, вынутыми на землю, с брезентом на полу кузова, с четырьмя портфелями, — портфели лежали тут же, у колеса, куда их выбросили, когда легли, — и посмотрел на одиннадцать.

Солдат — семь. Шофёр — один. В форме, но не солдат, — трое: один пожилой, с папкой, которую у него уже забрали; один молодой, в очках, без ничего, — по бумагам, канцелярия; и один — средних лет, худой, в кителе без ремня, — ремень уже сняли, — стоял ровно, не глядя ни на кого, — и на нём не было написано, кто он. На нём не было написано ничего. Я его не знал. Никто из нас его не знал. И называть его я не стал.

— Оружие — здесь, — сказал Фрол. — Обыскали — все. Документы — вот. — Он держал в руке стопку: книжки, бумаги, — не читая. — Ранен — один их, в руку, Устинов уже смотрит. Наши — целы. Соседи — целы. Фанера — три дырки.

— Профессор, — сказал я.

Профессор пришёл из большого двора, из постройки, где читал бумаги, — с чернилами на пальцах, — и Фрол отдал ему стопку, и Профессор стал читать. Не вслух. Одну за другой.

Солдатские — быстро: имя, часть, — откладывал. Шофёрскую — отложил. Три последних — медленно.

— Этот, — сказал он, показав на пожилого, — писарь. Фельдфебель. Этот, — на молодого, — ефрейтор, канцелярия. Этот, — он не показал на третьего, он посмотрел на него, и потом — на бумагу, и потом — на меня, — по документам: майор. Курт Хеннинг. — Он произнёс это ровно, как называл номера машин на бумажке в первом дворе. — Здесь — удостоверение, с фотографией, — похож. Здесь — служебные бумаги с его подписью. Имя и звание совпадают с записью от двадцать пятого июня из мастерской у Глуска, где мы впервые прочли о нём. Я тогда выписал их себе. — Он опустил бумаги. — Что я не знаю: что он приказывал, и что он думал, и что ушло на тех трёх машинах утром. Это — не в документах. Это — если он скажет.

— Спроси. Не «что думал». Кто он и что здесь. Коротко.

Профессор спросил. По-немецки, ровно, без напряжения, — как спрашивают у человека дорогу. Худой в кители посмотрел на него — впервые на кого-то посмотрел — и ответил. Коротко. Три фразы. Профессор перевёл, — сразу, по-русски, без «он говорит», — так, как переводят содержание, а не голос:

— Майор Хеннинг. Командир ремонтного подразделения. База — эта. Часть оборудования и одна мастерская отправлены пятого. Личный состав — частью убыл, частью здесь. Он просит сообщить о его положении по команде и обеспечить раненому помощь.

— Раненому — обеспечена. О положении — сообщим. Скажи ему. И спроси: сколько людей убыло отсюда за два дня. Не куда — сколько.

Профессор спросил. Хеннинг ответил не сразу — не потому, что не хотел, а потому, я думаю, что считал, — и потом сказал одно число и добавил фразу.

— Он говорит: около тридцати, с двумя машинами и пешим порядком. И говорит, что это — не военная тайна, потому что мы их и так не догоним. — Профессор посмотрел на меня. — Последнее — его слова. Я перевёл, как сказано.

— Не догоним, — сказал я. — И не собирались.

Профессор перевёл и это. Хеннинг кивнул — один раз, — и снова стал смотреть мимо. Он был не сломлен и не гордый. Он был человек, который две недели переносил ценное первым и задним выходом, и которого в последний раз не выпустил ЗИС, поставленный поперёк, — и я думал, что он это знает, и говорить об этом не собирается, и я — тоже.

— Профессор. Что не совпадает?

— Ничего. — Он подумал. — Я не могу подтвердить, что он — тот Хеннинг, который был у Глуска лично. Я могу подтвердить, что это — тот, чьё имя стоит в бумагах и здесь, и там. Это одно и то же имя; здесь оно подтверждено удостоверением с фотографией. Больше документы не дают.

— Достаточно, — сказал я. — Остальное — не наше. Наше — сдать.

Пленных — одиннадцать, с раненым, — Фрол поставил под охрану в постройке большого двора, — не в избе: изба была на краю, а постройка — внутри, за нашими воротами, — с двумя стрелками у дверей и сменой, и Устинов перевязал раненого, и Князь — Князь, который пришёл к малому двору, когда там уже никто не стрелял, и посмотрел на одиннадцать так, как смотрел на всё, что надо было кормить, — сказал: «Одиннадцать. Кормить — по норме. Сапоги — не трогать, я знаю приказ, и вы знаете». Это он сказал не мне. Это он сказал шуплому, который смотрел на сапоги майора так же, как вчера — на ящик, и шуплый отвёл глаза. Потом Князь посчитал одиннадцать ещё раз, по головам, при них, и сказал стрелку у дверей: «Воды — сейчас. Еда — с нашими, по очереди, после наших. Раненому — первому, Устинов скажет, когда». Стрелок сказал «так», и Князь пошёл к котлу, и по дороге сказал мне, не оборачиваясь: «Одиннадцать ртов. Я на них не рассчитывал. Семь водителей — рассчитывал. Всё равно выходит нехватка: четыре». — «Водители придут». — «Придут — сварю. А эти — уже

здесь». И это было, я думаю, единственное, что в тот день огорчило старшину Князева: не одиннадцать пленных, а то, что они не были в его ведомости заранее.

Шестой «Опель» — тот, что встал перед нашим ЗИСом, — повёл Суров. Он пришёл проулком с Дедом, когда Фрол сказал «можно», и Дед обошёл «Опель», послушал, как заводится, — завёлся с первого, после короткого выезда он ещё не остыл, — и сказал «ходит», и Суров сел и повёл его задом по проулку, — сто тридцать метров задним ходом, по моей руке, потому что развернуться в проулке было негде, — до угла, до проезда, до створок, во двор, — и поставил четвёртым к трём у ограды слева. Шесть ходовых: четыре бортовых, две мастерские. Седьмой — мёртвый, у ограды справа, с закрытым капотом. Семь. Все — чужие. Все — армейские, с сегодняшнего дня. Ни одного — нашего.

Наш ЗИС Артист вывел из проулка сам — задом, до угла, разворот у створок, — и поставил у постройки, где он стоял ночью, носом к главным воротам, — и сел на подножку, и стал ковырять пальцем дырку в дверце, и Дед сказал ему «не ковыряй, хуже будет», и Артист перестал.

Только тогда — когда одиннадцать были под охраной, и шестой стоял у ограды, и ЗИС у постройки, и броня вернулась на своё место у навеса, и ДП слез с крыши, и соседи ушли к своим, — только тогда я сказал то, что надо было сказать, и сказал это не речью, а по одному.

Фролу: что он дал пять минут и восемь человек, и что ДП на крыше и Исаев по ограде — это было то, из-за чего в машине три дырки, а не тридцать. Фрол сказал: «Это моё. Твоё — что ты увидел, куда они поедут, и сказал мне выполнимое. Я не спорю с выполнимым». Артисту: что ЗИС встал поперёк там, где надо, и тогда, когда надо, и что это не таран, а парковка, и что я никогда не видел, чтобы так парковали. Артист сказал: «Я видел. Вы — в выемке. Только вы были внутри». Стрелку с угла: что он с ночи видел то, что видел, и сказал это перечнем, а не выводом, и что без его «выкидывают, освобождают, стелют» я бы смотрел на три машины на дальней дороге и думал, что это — они. Стрелок сказал «что видел» — и больше ничего, и это был лучший ответ. И соседям — капитану, который пришёл в большой двор в восьмом часу, — что его сержант с людьми стоял за столбами с ночи, и что без них выход был бы закрыт с одной стороны, а надо — с двух. Капитан сказал: «Мне сказали «держаться снаружи». Я держал. Ваш — поперёк, мой — за столбами. Хорошо стоит», — и это был уже третий человек, сказавший про ЗИС «хорошо стоит», и Артист, я видел, это слышал.

А потом — за завтраком, который Князь всё-таки сварил, потому что «семь водителей не пришли, а майор пришёл, значит, порции — по счёту», — Артист, который до этой минуты молчал с таким видом, будто ему это дорого стоит, сказал, глядя в котелок:

— Алексей Палыч. А майора — куда? В ведомость?

— Какую ведомость?

— Ну — семь «Опелей». Шесть ходовых, один на тягач. Это ж мы сдавать будем, по списку, Князь напишет. А майор? Он же с ними. Он же к ним — прилагается.

— Он не прилагается, — сказал Князь раньше меня. — Он — под охраной. По приказу. Ведомость — на технику. На людей — другая бумага, и не моя.

— Я понимаю, что не твоя, — сказал Артист. — Я про то, как рассказывать. «Взяли семь машин и майора» — или «взяли майора, а к нему семь машин»?

— Как было, — сказал Дед, не поднимая головы от котелка. — Сначала — двор. Потом — машины. Потом — майор. Майор — последний. Он сам так хотел: ехать последним. Мы ему не помешали. Мы ему помешали уехать.

— «Майор прилагается», — сказал Артист. — Я так буду рассказывать. Коротко.

— Ты — коротко? — сказал Суров. Он за две недели, кажется, впервые сказал что-то сам, не в ответ.

— Я умею, — сказал Артист. — Вы просто не слышали.

— Мы сегодня слышали, — сказал Фрол. — Ты полчаса лежал за колесом и сказал одно слово: «фанера». Это было лучшее твоё выступление.

— Аудитория была плохая, — сказал Артист. — Стреляли.

И Профессор, который ел стоя, с бумагами под мышкой, сказал то, что должен был сказать он, а не кто-то другой:

— В документах будет так: «7 июля 1944 года, в результате действий группы совместно с подразделением соседней пехоты, объект занят, личный состав противника в количестве одиннадцати человек, включая майора Хеннинга К., взят в плен и передан под охрану. Захвачено: автомашин «Опель» — семь, из них на ходу — шесть». — Он помолчал. — Майор — в отдельной строке. Не «прилагается». Это для Артиста. Для бумаги — «взят в плен».

— Для бумаги — пусть, — сказал Артист. — Для людей — прилагается.

И я ел, и смотрел на двор, — на семь чужих у ограды, на три своих у постройки и навеса, на постройку, где сидели одиннадцать, на распахнутые внутренние ворота, за которыми проулок и столбы, и лес, и в лесу — никого, — и думал не про майора. Майор был последний. Я думал про то, что Хеннинг две недели уезжал от нас первым и задним выходом, а мы две недели ехали за ним и брали то, что он оставлял, — и сегодня он оставил всё. Целиком. И себя.

Мы это не искали. Мы это взяли по дороге.

Он прилагался.

Глава 29. «Всё, что увезли»

Семь водителей приехали в десятом часу, на армейском ЗИСе с брезентом, — по нашей дороге, через пост соседей, через узкое место мимо грузовика у откоса, через поворот и главные ворота, — и ЗИС этот не был наш и не стал: он въехал во двор и высадил семерых, включая старшего сержанта. Потом ЗИС развернулся и встал у главных ворот, снаружи, со своим водителем, который вылез, закурил и на двор не смотрел. Ему было не велено. Ему было велено привезти и отвезти.

Семеро — были водители. Это было видно сразу, по тому, как они вошли во двор: не глядя на постройку, где сидели одиннадцать, не глядя на броню у навеса, не глядя на меня, — глядя на «Опели». Четыре бортовых у ограды слева. Две будки — большая у навеса, малая, которую вчера вывели из постройки и поставили рядом с большой. Один у ограды справа, с закрытым капотом. Семь. Они посчитали их так же, как я считал в первый день у Глуска: глазами, не двигая губами.

— Сержант Лапин, автомобильный отдел, — сказал старший. — Семь водителей, по заявке. Принять и вести. Бензин — на ЗИСе, канистрами, на шесть машин, по расчёту службы. Седьмая — сказано: буксир. Кто показывает?

— Дед, — сказал я. — Григорий. Механик. И его люди. Я — потом, про порядок.

Дед показывал так, как показывал бы свою машину покупателю, если бы у него была своя машина и он захотел её продать, чего не случилось бы никогда. По одной. К каждой подводил водителя — одного, того, кому она достанется, — и говорил не «хорошая», а что есть.

— Эта. Бортовая. Масло — я долил вчера, было на нижней. Вода — полная. Резина — целая, задняя левая — потёртая, но доедет. Тормоза — я проверил ходом на десять метров, держат. Заводится с первого. Груз — закреплён, они сами крепили, я перепроверил. Не мой. Твой.

Водитель — молодой, с пилоткой на затылке — сел, завёл, послушал, вылез, обошёл, пнул заднюю левую, посмотрел на Деда, — и Дед сказал «я же говорю — потёртая», — и водитель сказал «доедет», и это был приём.

— Эта. Бортовая. Со второго раза заводится, холодная. Прогреешь — с первого. Воды было мало — долил. Остальное — как у той.

— Эта — лучше всех. Ничего не долито, ничего не трогал. Не потому что лень — потому что не надо было.

— Эта — с проулка, сегодняшняя. После выезда ещё тёплая, она мне понравилась. Тормоза — держат, я проверил отдельно. Перед нашим ЗИСом она тоже остановилась как надо. — Это Дед сказал без улыбки, но старший ремонтник, стоявший рядом, улыбнулся за него.

Будки — две — он показывал дольше. Малую — водителю постарше, с усами, который спросил не «заводится?», а «что внутри?», — и Дед открыл заднюю дверь и показал: «Полки. Тиски малые. Верстак — нет, откидного нет, стол. Инструмент — ручной, в ящиках, по местам. Не трогал». Большую — самому Лапину: он остановился у её кузова и спросил про крепление верстака. Седьмому достался мёртвый; я его отметил — спокойный, невысокий, без видимого огорчения. Кому-то надо было вести и этот.

— Эта, — сказал Дед про мёртвого, и водитель подошёл. — Мотор — не работает. Стартер крутит, не схватывает. Что — не знаю, и здесь не узнаю. Колёса — целые, все четыре, я вчера проверил, сегодня ещё раз. Руль — крутится, свободно, тяги целые. Тормоза — ножной держит, я проверял, толкали втроём, — держит. Ручной — держит. Это всё, что тебе надо: рулить и тормозить. Мотор — не твой. Мотор — тягача.

— Понял, — сказал водитель. — Рулить и тормозить. На тропе бывал.

— Тогда ладно, — сказал Дед, и это было «ладно», которое он говорил Селиванову.

Лапин, стоявший рядом со мной всё это время, посмотрел на наш ряд у постройки и навеса — на броню, на нашу будку, на ЗИС с тремя дырками, — и спросил то, что, я думаю, хотел спросить с той минуты, как въехал:

— А эти? Броневи́к, тягач, будка ваша? По заявке — семь. Эти — не по заявке?

— Эти — не по заявке, — сказал я. — Эти — наши. На службе. Мы на них приехали и на них уедем.

— Броневи́к — ваш?

— Наш. Нашли без хозяина, завели, приняли. Пулемёт — наш, с патронами по учёту. Водитель — наш, он на таком ездил. Если у автомобильного отдела есть другое мнение — оно будет у майора Чумакова, не здесь.

— Другого мнения нет, — сказал Лапин. — Мне сказано: семь. Я просто смотрю. — Он посмотрел ещё раз. — У нас в парке такого нет.

— У нас — есть, — сказал Артист, проходя мимо с ведром воды. Ему не надо было публички, публика сама пришла.

Пока Дед показывал, Суров ушёл. Ушёл пешком, — на пост соседей, четыре километра, по открытой дороге, — с Князем, со старшим ремонтником, с молчаливым, со шуплым, с Дроздом и с двумя стрелками, которых Фрол отпустил, — потому что на посту соседей стояли пять наших, и среди них — его «Опель». Вести его поручено Сурову; искать замену, когда все свои водители на месте, незачем. Я это сказал ему, и он сказал «ясно», и пошёл, и я видел, как он шёл через двор: не оглядываясь на чужую большую будку, которую вчера поставил по моей руке, — потому что она была вчера, а его «Опель» — сегодня.

Через два часа пришёл посыльный от Мелехина: «На посту соседей — Суров принял Т-01, все пять — готовы, идём по вашему разрешению». Разрешение я отправил с Суровым ещё на выходе: собрать людей, принять свои машины и подавать по одной, тягач замыкающим, Мелехин старший. К полудню они вошли в главные ворота — второй ЗИС, Суров, Дрозд, второй водитель, тягач с шуплым на подножке, — и во дворе стало восемь наших и семь чужих, пятнадцать, — и ещё армейский ЗИС снаружи, и ещё то, что должно было приехать за пленными. Двор был большой. Он вместил.

* * *

Порядок был вот что, и я его сказал вслух, стоя посреди двора, при всех — при Деде, Фроле, Князе, Лапине и остальных шести водителях, — потому что порядок вывоза, как порядок подъёма, надо говорить один раз и всем сразу, иначе каждый поднимает своё.

— Ворота — главные, восточные. Дорога — четыре километра до поста соседей, потом двадцать два до парка западнее Несвижа, — та, по которой вы приехали. Узкое место — проезд есть, я его мерил будкой, там прошла наша, пройдёт и большая. Идём так. Броня — первой, до поста соседей, там встаёт и ждёт всех. Потом — чужие шесть, по одной, с интервалом, чтобы видеть переднего и не упираться. Между ними — наши: после второго чужого — первый ЗИС, после четвёртого — второй, после шестого — три наших «Опеля». Потом — наша будка. Замыкающим — тягач с седьмым на тресе, — и с тягачом идёт охрана, потому что трес не бегают. Останавливаемся на посту соседей все, собираемся, сдаём пленных конвоем, — и в парк западнее Несвижа, тем же порядком. Вопросы?

— Один, — сказал Лапин. — Мои шестеро — в чужих машинах одни. Если встанет?

— Если встанет — стоит и ждёт. Следующий за ним — наш, он увидит. У нас есть, чем зацепить любую, и есть, кому. Ни один не остаётся один дольше, чем идёт наш следующий.

— Тогда — нет вопросов.

— Есть у меня, — сказал Князь.

Я знал, что будет у него.

— Груз. — Он показал на то, что лежало под навесом и у постройки: ящики, снятые вчера с мёртвого «Опеля», — закрытые, тяжёлые, с чем-то, что Дед назвал «запчасти, немецкие, по нашим не подойдут, но армия разберётся»; ящик инструмента, тот, с угла, и ещё два поменьше из постройки; канистры — десятка полтора, полные и полупустые; остальное — мелочь, тоже в ящиках. — Это всё — армейское, я знаю. Но везём — мы. На чём? У чужих кузова — заняты, у них своё закреплено, туда не влезет. У нас — три «Опеля», два ЗИСа и будка. В будке — рабочее оснащение Деда, туда нельзя. На ЗИСах — люди: первый — восемь, второй — шесть, и котёл. На «Опелях» — по шесть на каждом, считая тех, кто до поста пойдёт в охрану. Это — восемнадцать на «Опелях» и четырнадцать на ЗИСах, и десять на броне, и по двое в будке и тягаче — сорок шесть. Куда — ящики?

— В кузова «Опелей», — сказал я. — Не на людей — рядом. По-разному. Т-01 — Сурову — закрытую тару с запчастями: она тяжёлая, ровная, её ставим к кабине, крепим, а люди — сзади, на скамьях, лицом к борту. Т-02 — Дрозду — ручной инструмент, ящики, три, они лёгкие, — к кабине, люди — сзади. Т-03 — второму водителю — канистры: их стягиваем вдоль бортов, по обе стороны, — между ними — люди. Ни одного человека — на грузе. Ни одного ящика — на человеке. И нагрузка — в пределах: Дед скажет по каждой, сколько можно, и больше — не грузим. Сначала проверим размещение всего, потом дадим выход.

— Т-03 — канистры и люди в одном кузове, — сказал Князь. — Бензин и люди.

— Канистры — закрытые, стянутые, стоя. Люди — сидя, между. Двадцать шесть километров всего. Если Дед скажет, что так нельзя, — канистры в ЗИС Артиста, а из ЗИСа — двое на «Опель». Григорий?

— Можно, — сказал Дед. — Если стянуты и не бьются. Я посмотрю сам. Я бы в бензин людей не сажал, но по обочине у нас ехать некуда.

— Тогда — так, — сказал Князь. — Но я посмотрю, как стянуты. И котёл — на второй ЗИС, ко мне, и на него — никаких ящиков.

— На него — никаких.

И грузили — час. Не суетясь. Дед ходил от «Опеля» к «Опелю» и говорил «сюда — ещё один», «сюда — хватит, дальше — рессоры», и Князь ходил за ним и проверял стяжки на канистрах, и щуплый с молчаливым носили, и семеро чужих водителей сидели в своих чужих кабинах и смотрели, — им было не велено помогать, и они не помогали, но смотрели с интересом, — и Лапин сказал мне, глядя, как Дед переставляет ящик с Т-02 к Сурову: «У вас механик — как старшина», — и я сказал: «У нас старшина — как механик. Они друг друга проверяют».

Первой ушла броня. В час. Руденко на ней, десять человек, — как пришла. За ней — первый чужой бортовой, — водитель с пилоткой на затылке, — он тронулся так, как трогаются

с чужой машиной в первый раз: осторожно, — и прошёл главные ворота, — и вот тогда я это увидел.

Не гордость. Я про это уже говорил вчера — гордость потом. Это было другое.

Ворота — главные — я видел вчера с поворота, когда их брал их взвод. Сегодня в них шёл чужой «Опель» с нашим порядковым номером в колонне. За ним — второй. За вторым — наш ЗИС, Артист, — и в кабине рядом с Артистом сидел я, а в кузове — Дед, Профессор и связисты. Два места — Фролу и стрелку — оставили до поста: они шли с пленными. Там нас снова будет восемь. За нами — третий чужой, четвёртый. За ними — второй ЗИС, с Князем, с котлом. Потом — пятый и шестой чужие: две будки, малая и большая, — и большая шла ровно, как вчера по моей руке, только теперь её вёл не Суров, — и я видел в её зеркале лицо чужого водителя, спокойное. Потом — наши три «Опеля»: Суров с закрытой тарой у кабины и людьми на скамьях, Дрозд с тремя ящиками, второй водитель с канистрами вдоль бортов и людьми между ними. Потом — наша будка, с Дедом... — нет, Дед был в ЗИСе, — с водителем будки и механиком, — и Дед оглянулся из кузова ЗИСа, чтобы её увидеть, и увидел, и отвернулся. Потом — тягач с седьмым, — но тягач шёл последним, и о нём — отдельно.

Я смотрел на это из кабины, в зеркало и вперёд, и видел не «колонну». Я видел: ЗИС, который нам дали в первое утро. «Опель», который мы взяли в первое утро и который я вёл в выемке по руке Сурова. ЗИС, который мы в первый день не бросили и провели километр с водой в радиаторе. Будку, за которую отвечали ночью. Тягач, который взяли за немецкий счёт. «Опель» Дрозда с обочины, «Опель» из выемки, с тысячей патронов. Броню без хозяина. Восемь. И между ними — семь чужих, которые ехали потому, что эти восемь были. Не «благодаря». Потому что. Без брони не легло бы охранение. Без тягача стоял бы грузовик поперёк. Без будки нечем было бы мерить. Без ЗИСа нечем было бы закрыть выход. Без «Опелей» некуда было бы положить ящики. Без Деда — нечем было бы сказать «ходит».

Всё, что мы взяли за две недели, ехало сейчас по этой дороге и везло то, что мы взяли за два дня.

Узкое место мы прошли шагом. Грузовик у откоса стоял, где Дед его поставил, и каждая машина проходила мимо него на расстоянии вытянутой руки, и никто не зацепил, и никто не заехал на мягкую обочину у канавы, потому что я сказал каждому водителю, включая чужих: «У канавы — мягко. Серединой». Лапин это передал своим. Они прошли серединой.

* * *

Тягач шёл последним, и на посту я вышел ему навстречу пешком: последний в колонне — тот, кого никто не видит, и его надо видеть кому-то. Но к этому моменту я уже видел, как связка начала путь: перед общим выходом мы с Дедом оставались при ней во дворе.

С седьмого «Опеля» сняли всё ещё вчера, — ящики, канистры, — и он был порожний, лёгкий, с закрытым капотом, — и Дед перед выходом сделал с ним то, что делал с грузовиком у откоса, только не спеша, потому что здесь никто не стрелял: обошёл, потрогал колёса — все четыре, повернул руль до упора туда и сюда, нажал ногой на тормоз, — и трос повесил не короткий, а средний, «чтобы на поворотах не рвал и не наезжал», — и посадил седьмого водителя за руль, и сказал ему три вещи, которые я запомнил, потому что они были сказаны так, как на площадке говорят стропальщику перед подъёмом:

— Первое. Ты не едешь — тебя везут. Руль — только чтобы держать в колее за тягачом. Не рули сам. Второе. Тормоз — твой. Тягач встал — ты тормозишь, чтоб не догнать его. Тягач пошёл — отпускаешь. Не раньше. Третье. Спуск — тормозишь заранее, до того, как трос ослаб. Ослаб — значит, ты его догоняешь. Догнал — ударил. Всё.

— Всё, — повторил водитель. — На тресе бывал. Так и есть.

— Тогда — поехали.

Тягач вёл наш водитель, — тот, что ходил за Дедом с отстойником и «запоминал», — и шуплый рядом с ним, — и я прошёл рядом первые метры при пробе во дворе и смотрел

на трос, — и трос натянулся ровно, и седьмой пошёл за тягачом, как идёт лодка за лодкой, — и остановился перед воротами. Проба кончилась. Я вернулся к первому ЗИСу, Дед — к своим проверкам, а связка дождалась общего выхода. На дороге четверо стрелков Фрола шли возле буксира; сам Фрол с оставшейся охраной вёл пленных следом. Их места в своих кузовах оставались свободными до поста.

Ничего не случилось. Я это опять отмечаю, потому что это — результат. Узкое место связка прошла шагом, серединой, и седьмой водитель на тросе держал колею так, что Дед, я думаю, сказал бы «ладно». Спуск к ручью — притормозил заранее. Мостик — прошли по одному: тягач, потом — трос, потом — седьмой. И к посту соседей они пришли, когда все остальные уже стояли там, — тринадцать машин, включая броню у поста, и капитан с лейтенантом, и пехота, которая смотрела на это так, как смотрела вчера на броню: как на чужое под своим флагом.

На посту соседей стояла ещё одна машина, которой утром не было: полуторка с конвоем. Лейтенант — не капитанский, другой, с бумагой от Чумакова, — и шестеро с ним, — и это был конвой за одиннадцатью.

Десять пленных пришли на пост пешком под нашей охраной. Раненого привёз армейский ЗИС, освободившийся после доставки водителей; Устинов ехал с ним. У поста стояла санитарная повозка, которую мы видели ещё вчера. Туда Устинов и передал немца для отправки в лечебное учреждение: в общий этап раненого не повели.

Фрол сдал десятерых лейтенанту по счёту, вслух: «Десять, один — майор. Ещё один передан медицинской службе, отметка — здесь». Профессор подал документы: отдельно на десятерых, отдельно на отправленного с санитарной повозкой. Лейтенант сверил людей, посмотрел на Хеннинга — тот стоял ровно, глядя мимо, — и подписал акт. В наших бумагах сошлись все одиннадцать, и за каждого теперь отвечал тот, кто принял.

Хеннинг сел в кузов полуторки, — сам, — и не посмотрел на семь «Опелей», стоявших в ряд у поста. Я думал, посмотрит. Не посмотрел. Он смотрел вперёд, туда, куда его повезут, — и это было, я думаю, единственное, что ему оставалось из того, чем он занимался две недели: смотреть вперёд.

— Не оглянулся, — сказал Артист рядом. Он видел то же.

— Ему не на что, — сказал я.

— Есть на что, — сказал Артист. — Семь машин. Я бы оглянулся.

— Ты не он.

— Я — точно не он, — сказал Артист. — У меня — ЗИС с тремя дырками, и я его не брошу.

Полуторка ушла первой, — вперёд, к парку западнее Несвижа, с конвоем, — а мы тронулись за ней через полчаса, тем же порядком: броня, шесть чужих попеременно с нашими, будка, тягач с седьмым, — двадцать два километра, — и армейский ЗИС с брезентом, в котором утром приехали семеро, шёл теперь пустой, замыкающим, за тягачом, — со своим водителем, который так и не посмотрел на двор.

* * *

В парк западнее Несвижа мы пришли в седьмом часу, и там нас ждали.

Не «встречали». Ждали: у въезда в парк, где неделю назад Чумаков поставил нашу палатку, стояли двое — из автомобильного отдела, из трофейной службы, — с бумагами, с карандашами, с тем видом, который бывает у людей, которым надо принять семь машин и привезённое имущество до темноты и которые об этом знают. И Чумаков. Не у палатки — у въезда. Стоя.

Приём был вот что. Шесть ходовых — по одной: подходит, встаёт, водитель глушит, приёмщик смотрит, записывает: марка, номер по нашему списку, состояние по слову Деда, — и Дед стоял при каждой и говорил то, что говорил утром, только короче, потому что уже гово-

рил, — и приёмщик писал, и водитель расписывался, и машина отгонялась в ряд, к парку, — к чужому ряду, не к нашему. Седьмой — тягач подвёл его к ряду, и седьмой водитель поставил его на ручной, и Дед сказал приёмщику: «Мотор — не работает, стартер крутит, не схватывает, я не смотрел, не мои условия. Ходовая, руль, тормоза — целые, доехал на тросе двадцать шесть километров без замечаний», — и приёмщик записал «без замечаний», и это было, я видел, приятно Деду больше, чем «ходит».

Второй приёмщик — тот, что от трофейной службы, — подошёл в это время к нашему ряду, к ЗИСу Артиста, и остановился у дырки в дверце, и Артист, стоявший на подножке, сказал ему, прежде чем тот спросил:

— Это — не сдаётся. Это — наше. Дырки — сегодняшние, три, с заднего выхода. Заделаю сам.

— Я не про сдачу, — сказал приёмщик. — Я про то, что ЗИС с дырками надо записать: повреждение, дата, обстоятельства.

— Обстоятельства — стоял поперёк, — сказал Артист. — Это долго рассказывать. Записывайте: «поперёк». Остальное — вечером, если хотите.

Приёмщик записал «поперёк». Я это видел. И, я думаю, вечером он пришёл, потому что Артист умел выбирать публику даже среди приёмщиков.

Потом — имущество. Ящики с Т-01, Т-02, Т-03 — снимали наши, ставили в ряд, приёмщик считал, Профессор подавал списки: он их составил ещё в постройке, утром, при чернилах на пальцах, — и по каждому ящику было, что внутри, и приёмщик, открыв три из них наугад, сказал «совпадает» и больше не открывал. Патроны — немецкие, из постройки, два ящика, найденные вчера, — Исаев принёс их сам и сдал сам, и сказал: «Наши — тысяча семьсот пятьдесят, при пулемёте, по учёту. Эти — не наши. Считайте», — и их посчитали, и они ушли в чужой ряд, и у Исаева осталось тысяча семьсот пятьдесят, ни одним больше.

Потом — Чумаков.

Он не говорил речь. Он подошёл, когда последний ящик стоял в ряду, и последняя подпись стояла на бумаге, — к нам, к сорока шести, которые стояли не строем, а так, как стоят люди у своих машин после дороги: кто сидя на подножке, кто с котелком, — и сказал, — не громко, но так, что слышали все:

— Семь машин базы. Шесть на ходу, одна на тросе. Имущество — по списку, совпадает. Одиннадцать пленных, с майором, переданы с документами: десять конвою, раненый медицинской службе. Своих — сорок шесть, все. Своих машин — восемь, все. Тяжёлых раненых — нет. — Он помолчал. — Я две недели назад дал вам два ЗИСа и восемнадцать человек и сказал: «ремонт и эвакуация, что найдёте — ваше, на службе». Вы нашли. — Он посмотрел на наш ряд: два ЗИСа, три «Опеля», будка, тягач, броня. — Восемь — ваши. На службе. Я это подтверждаю сегодня, при приёмщиках, и это будет в бумаге: временная ремонтно-эвакуационная группа при автомобильном отделе продолжает работу собственным составом и собственным парком. Никто у вас ничего не забирает. Это — в бумаге, сегодня. — Он посмотрел на меня. — Ракитин. Ты просил: не сами и не раньше. Ты не сами и не раньше. Спасибо.

И это было всё. Он не сказал «молодцы», не сказал «герои», не сказал ничего, что говорят на площадке начальники, приехавшие на час. Он сказал, сколько, и что остаётся нашим, и спасибо. И повернулся, и пошёл к своей палатке, — к своей линии, — и на полпути остановился и добавил, не оборачиваясь:

— И Князев. Довольствие — на сорок шесть, на неделю, я подписал. Сходи.

— Уже иду, товарищ майор, — сказал Князь. Он уже шёл.

А потом было то, что бывает, когда сорок шесть человек слышат, что их не разбирают по частям, — и это была не тишина и не «ура». Это был шум: Артист начал рассказывать, — сразу, с середины, про «фанеру», — и Дрозд сказал «сначала», и Артист начал сначала; Руденко сказал «так» — своё единственное, — и сел на броню; Мелехин с Устиновым о чём-

то заспорили, и я услышал «поёт», и понял, что это надолго; Селиванов пошёл к гусеницам, потому что двадцать шесть километров — это гусеницы; Исаев стоял у стойки и не улыбался, — он не умел, — но и не уходил, что у него значило то же самое; и Профессор, с чернилами, которые он так и не отмыл, стоял и смотрел на чужой ряд, на семь, и сказал мне негромко:

— Что здесь есть: семь машин, сданы. Одиннадцать человек, сданы. Восемь наших, оставлены. Это — не вывод. Это — перечень. — Он помолчал. — Вывод я всё-таки сделаю, один раз. Мы это сделали.

— Это вывод, — сказал я.

— Знаю. Один раз — можно.

А Дед был не с нами. Дед был у большой будки, — у чужой, у сданной, у стоящей в чужом ряду, — с Лапиным, который принял большую, — и они стояли у открытой задней двери, и Дед показывал. Я подошёл, — не мешая, — и слушал.

— Верстак — откидной. Вот петли. Вот упор, — не бросай, ставь на упор, иначе на ходу упадёт на тиски и погнёт. Тиски — стационарные, губки — целые, я смотрел, — не зажимай в них калёное без прокладки, испортишь губки, а таких тебе не дадут. Полки — с бортиками; бортики — на что? — Он посмотрел на водителя.

— Чтобы не сыпалось на ходу.

— Чтобы не сыпалось на ходу. Ящики — выдвижные, вот, с ручками, — но без стопора: на подъёме выедут, если не закрыть. Закрывай. Свет — плафон, вот, — работает от машины, я проверил, — не жги зря, аккумулятор у неё не бесконечный. Дверь — на два запора, вот и вот, — второй туго идёт, я бы смазал, но она — не моя. Твоя. Смажь.

— Смажу, — сказал водитель. — А что здесь делать можно? Что нельзя?

— Можно — всё ручное: снять, поставить, притереть, подогнать. Нельзя — точить, сверлить крупное, варить: нет ничего, что крутит, кроме твоих рук. Это — не станок. Это — руки на колёсах. Если кто скажет «давай выточим» — говори «нет, вези в парк». Иначе испортишь и деталь, и место. — Дед закрыл дверь, — аккуратно, как утром, — и положил на неё ладонь. — Она хорошая. Её собирали люди, которые понимали. Она не виновата, что они уехали.

— Не виновата, — согласился водитель, и я понял, что Дед выбрал ему правильно: не потому, что тот всё запомнил, а потому, что не спорил с вещью.

— Григорий, — сказал я, когда водитель ушёл к своим. — Ты её отдал.

— Я её показал, — сказал Дед. — Отдавать мне было нечего: она не моя. — Он посмотрел на чужой ряд. — Мне что надо было? Чтобы она поехала работать, а не стояла. Она поедет. Он смажет запор. — И повернулся к нашему ряду, к нашей будке, — маленькой, хуже, нашей, — и сказал: — А эта — моя. Утром — масло, я её сегодня носом под уклон не ставил, но всё равно посмотрю.

— Ты её и в парке носом под уклон не поставишь.

— Не поставлю, — сказал Дед. — Я — нет. Я слежу, чтобы другие не ставили.

Князь вернулся с довольствием — с бумагой, а не с мешком: мешок будет завтра, — и сказал мне, что сорок шесть на неделю — это первый раз, когда ему не надо ничего считать вперёд, и что это ему непривычно, и что он всё равно посчитает. И потом — то, что он, я думаю, шёл сказать от самой палатки:

— Алексей Палыч. Сегодня — все ели. Все сорок шесть. Днём — на посту соседей, вечером — здесь. И семеро — ели, я им дал, они армейские, но они с нами ехали. И одиннадцать — ели, утром, по норме. Это первый день за две недели, когда я никого не искал с половником.

— Значит, отдыхай.

— Отдыхать я не умею, — сказал Князь. — Я буду считать, сколько на завтра.

Я обошёл парк, когда стемнело, — как обходил всегда: от ЗИСа до брони, восемь, — и все восемь стояли, и все сорок шесть были при них, и в чужом ряду стояли семь, которые до утра были не наши, а с утра — не наши иначе, — и это было всё, что мы увезли: семь, и ящики,

и одиннадцать, и — не в ряду, не в списке, не в ведомости Князя — то, что Чумаков сказал у въезда, и что Профессор назвал выводом, и что Дед положил ладонью на чужую дверь.

Завтра был обещанный вечер. Обещанный ещё раньше, а после Любани так и оставшийся предметом спора: когда считать его законченным. Сегодня — вышло всё остальное.

Глава 30. «Рота гуляет»

Восьмого июля я впервые за две недели увидел, как выглядят мои люди умытыми, и это было отдельное зрелище.

Не потому, что они были грязные, — они были такие, какими бывают люди после двух недель дорог, дворов, тросов и одной ночи на чужом дворе, — а потому, что в парке западнее Несвижа была вода: настоящая, из колодца у бывшего хутора, где стояла палатка Чумакова, и Князь с утра поставил у колодца шуплого с ведром и сказал: «По очереди. Никто не лезет вперёд. Командир — тоже по очереди», — и я стоял в очереди, между Дроздом и молчаливым, и это было правильно.

Дальше было то, что бывает на площадке в первый день после сдачи объекта, когда работа кончилась, а люди ещё не поверили. Стирали — на верёвке между ЗИСом и «Опелем» Сурова висело столько гимнастёрок, что Артист сказал: «Флаги», — и никто не спорил. Брились — у одного зеркала, осколка, который Князь добыл вместе со стеклом для Сурова и с тех пор берёг, как берёг сахар. Селиванов лежал под бронёй и что-то там делал с гусеницей, и на вопрос «что» ответил «ничего, смотрю», и это была ложь, потому что он никогда не смотрел просто так. Исаев чистил пулемёт — так, как чистят пулемёт, который сегодня не будет стрелять и завтра, наверное, тоже: медленно, с удовольствием. Артист заделывал три дырки — две в кабине и одну в борту — жёстью от консервной банки, изнутри, на заклёпках, которые выпросил у Деда, и Дед дал их с таким лицом, будто отдавал микрометры, и потом сам подошёл смотреть, как Артист клепаёт, и сказал «криво», и Артист сказал «зато не дует», и Дед сказал «не дует — это когда прямо», и они поспорили, и было видно, что обоим это нравится.

Я не назначил на этот день ничего. Это надо отметить, потому что мне хотелось: у меня в голове с утра лежал список, — масло на восьми, трос на тягаче, проверить рессоры на Т-01 после закрытой тары, — и я его не сказал вслух, потому что вчера Чумаков сказал «спасибо», а Князь сказал «все ели», и после этого командовать «масло на восьми» было бы тем, что Фрол называл «не по делу». Масло сделали и без меня: Дед с шуплым и водителем тягача обошли восемь машин до полудня, не спрашивая, и Дед сказал мне только: «Всё. Не ставили под уклон». Это был его способ сказать, что день свободный.

Чумаков пришёл в парк в двенадцатом часу — не к палатке вызвал, а пришёл сам, — с бумагой, и бумага была та, о которой он говорил вчера у въезда: группа продолжает работу собственным составом и собственным парком, восемь машин, перечислены по номерам, — я прочёл и расписался, и он расписался, и всё. Он не говорил ничего сверх вчерашнего, и это было правильно: сказанное дважды весит меньше. Он только посмотрел на верёвку с гимнастёрками, на Селиванова под бронёй, на Артиста с жёстью — и сказал:

— Отдыхайте. Два дня. Потом — поговорим. Не сегодня.

— Не сегодня, — сказал я.

— И Ракитин. — Он уже уходил. — Вечером у вас, я слышал, что-то будет.

— Будет.

— Я не приду. Мне не надо. Это ваше. — Он помолчал. — Но если старшина Князев опять придёт ко мне с ведомостью «на вечер» — я подпишу. Скажи ему, чтоб приходил до трёх.

Князь пришёл в два.

* * *

Готовили вечер двое, — как в первый раз, у первого двора, и как во второй, на пилораме, — только в этот раз они готовили его не порознь.

Я это заметил не сразу. Я заметил это по тому, что Артист — у которого в прошлые два раза был свой угол, своя подножка и своя репетиция губами, — стоял рядом с Князем у стола и не репетировал, а спрашивал:

— Василий. Кого куда сажать?

— Как — кого куда? Кто сядет, тот и сядет.

— Нет. — Артист взял ящик и поставил его иначе. — Вот здесь — свет. Ты его вешаешь сюда, как всегда. Значит, кто сидит спиной к свету — того не видно, и он не видит, кто говорит. Мне нужно, чтобы все видели, кто говорит. И чтобы Дед сидел не с краю, а вот здесь, — он показал, — лицом ко всем, и чтобы ему не надо было поворачиваться. Он не любит поворачиваться, у него шея.

— У него не шея, — сказал Князь. — У него привычка сидеть к машине лицом.

— Тогда — так, чтобы за моей спиной была будка. Он будет смотреть на будку, а видеть меня. Это можно?

Князь подумал. Посмотрел на будку, на ящики, на лампу, которую держал в руке.

— Можно, — сказал он. — Если свет — сюда. Тогда чай у всех перед глазами и будка у Деда перед глазами. И ты — между.

— Я — между, — сказал Артист. — Это моё место.

И они переставили ящики вдвоём, — Князь мерил, Артист смотрел «отсюда видно?», — и стол вышел такой, какого у нас ещё не было: не ведомость, как сказал в прошлый раз Профессор, и не сцена, как хотел бы Артист, — а то и другое: чай перед каждым и все лица — на свету.

— Что ты будешь рассказывать? — спросил Князь, повесив лампу.

— Не про механика.

— Это я понял ещё на пилораме. Про что?

— Про фанеру, — сказал Артист. — Про то, как я восемь минут лежал за колесом и сказал одно слово. Это — не про механику. Это про то, как я молчал. Он этого не видел. Он это оценит.

— Оценит, — сказал Князь неожиданно серьёзно. — Он тебя за это уже третий день уважает. Он мне сам сказал: «Семён умеет молчать, я не знал». Это, Семён, у него — высшая награда.

— Я знаю, — сказал Артист. — Поэтому — про фанеру.

Дед пришёл сам.

Это уже третий раз, когда я это отмечаю, и в третий раз это было по-другому. В первый раз он пришёл и ушёл к ремонту. Во второй — пришёл, поел, рассказал про ключ, поспорил и пошёл спать довольный, оставив Артиста с недосказанным рассказом и всех — со спором, что такое «вечер». В третий раз он сначала закончил дела. Я видел это: он стоял у будки с щуплым и водителем тягача и говорил им то, что говорил бы себе: «Утром — масло на будке, я смотрел, но ты посмотри. Трос на тягаче — смотать заново, он после буксира лёг неровно. Броню — Егор сам, не лезь. Всё остальное — не трогать до меня». И щуплый сказал «так», и водитель тягача сказал «запомнил», — и Дед посмотрел на них так, как смотрел на Селиванова с Исаевым у брони, — «ладно», — и вытер руки, и пошёл к столу.

И сел. На то место, которое ему поставил Артист: лицом ко всем, будка за спиной у Артиста.

— Я сегодня — до конца, — сказал он. Не громко, но все услышали. — Условие ваше я помню: пока не встал последний. Я не встану. Мне некуда: всё сделано, всё передано, я проверил. Наливай.

Князь налил. И это было начало.

* * *

Я не буду пересказывать вечер весь — не потому, что он был не важен, а потому, что он был длинный, и это было его главное достоинство. Я расскажу то, что запомнил, и то, из-за чего он не кончался.

Первым говорил Артист, — про фанеру, — и говорил не так, как обычно: не разгоняясь, не подводя, а с середины, с той минуты, когда ЗИС встал поперёк и он вылез за заднее колесо. «И лежу. И слышу — в дверцу. Раз. Ещё раз. И думаю: это моя дверца. И молчу. Восемь минут молчу, — я по часам смотрел, — и всё это время думаю одно слово. Одно. И когда Фрол вышел и махнул — я встаю, подхожу, трогаю дырку — и говорю его. Вслух. Одно слово».

— Какое? — спросил кто-то из руденковских, кто не был там.

— «Фанера», — сказали хором те, кто был, и Артист поднял руку, — «не подсказывать!», — и было поздно, и все смеялись, и Артист тоже, потому что публика, которая подсказывает, — это была публика, которую он хотел две недели.

Фрол включился так, как включался всегда, — не рассказом, а поправкой: «Семь минут. Не восемь. Я смотрел с угла». — «Ты не смотрел на часы!» — «Я смотрел на тебя. Ты лежал семь минут. Восьмую ты сидел и ковырял дырку». — «Это тоже считается!» — «Это — не молчание. Это — ковыряние». И Руденко сказал «так», — и это было первое «так», которое значило не «принято», а «согласен с Фролом», и все это поняли, и Руденко, кажется, тоже.

Потом Руденко — про сигналы, — и Дрозд сказал «Руденко не говорите», и Руденко сказал «что не говорить?», и Дрозд рассказал, и Руденко сказал, что во дворе рука хороша, а в лесу её не видно, и Фрол сказал «так мы и договорились», и все, кто учил свисток за сараем, засмеялись, и Профессор — Профессор сидел тихо, с кружкой, и слушал так, как слушал старика у узла, — сказал в паузу, негромко: «Что здесь есть: одна рука, один свисток, и все выемки пройдены. Это — перечень. Вывод — не мой», — и Фрол сказал «вот это судья», как на пиломраме, и Профессор сказал «я не судья, я сегодня слушаю», и слушал.

Селиванов рассказал — коротко, он не умел иначе — про то, как броня прошла узкое место у канавы на левой гусенице по кромке, и как он вёл её «на ощупь, как в первый раз», и Исаев, сидевший рядом, сказал единственное за вечер: «Я в это время на стойке держался. Не за пулемёт. За стойку», — и это было, я думаю, самое смешное, что Исаев сказал за две недели, и он сам не понял, почему смеются, и не спрашивал.

Суров молчал и улыбался. Водитель будки рассказал про «красиво», и Дед сказал «достаточно», и все, кто был у грузовика, сказали хором «достаточно — это правильно», и водитель будки сказал: «А мне — красиво», — и Дед сказал: «Тебе можно».

И вот тогда Дед — сам — сказал:

— Стой. Вернись.

— Куда? — спросил Артист.

— К фанере. К тому месту, где ты трогаешь дырку и говоришь. Я хочу ещё раз. Я это не видел, я был у постройки. Расскажи ещё раз, с того места, где Фрол махнул.

И Артист рассказал ещё раз, — с того места, — и Дед слушал так, как слушал мотор, чуть наклонив голову, и когда Артист дошёл до «фанера», — Дед засмеялся. Не хмыкнул, как обычно, — засмеялся, вслух, и это слышали все, и все посмотрели на него, и он сказал:

— Вот. Теперь я это видел.

И потом — это было то, чего не было ни в первый, ни во второй раз, — он рассказал своё. Не про ключ. Про первое утро.

— Я вам скажу, что я думал в первое утро. Когда командир вёл «Опель» задом рукой. Я стоял у кузова и думал: уронит. В кювет. Он стоит, машет ладонью, водитель смотрит в зеркало, — а я думаю: сейчас правое заднее сойдёт с кромки, и всё, и мы будем вытаскивать первый трофей из канавы в первый же день, и я скажу «я же говорил», хотя я ничего не говорил. — Он посмотрел на меня. — И оно не сошло. Он его провёл. И я тогда подумал: ладно. Не «хорошо». Ладно. Это у меня — самое большое. И две недели он всё водит рукой, а я всё стою и думаю

«уронит», и он всё не роняет. Я уже привык. Мне это уже не интересно. — Он помолчал. — Врёт. Интересно.

Это последнее слово он сказал про себя, в третьем лице, и это было так неожиданно, что Фрол уронил кружку, а Князь сказал: «Григорий, ты сегодня — как Семён», — и Дед сказал: «Не как Семён. Семён — лучше. Он умеет молчать».

И вечер пошёл дальше — второй круг, третий: Артист рассказал про Лапина, который спросил «броневик ваш?», и Фрол — про «хорошо стоит», трижды, и Профессор, не удержавшись, добавил, что в документах ЗИС теперь записан как «поперёк», и что это первый ЗИС в армии с таким состоянием, — и Артист сказал, что он это будет рассказывать до конца войны, и Дед сказал «до конца — это долго», и Артист сказал «на это и расчёт».

А потом — в одиннадцатом часу — Артист замолчал, посмотрел на стол, на лампу, на лица, — и сказал:

— Всё. Я — всё. Я рассказал. Я устал. Вечер удался. Можно вставать.

— Нет, — сказал Дед.

Все повернулись.

— Не всё. — Дед сидел так же, как сел, — лицом ко всем, с кружкой, — и не собирался вставать. — Условие — пока не встал последний. Я — не встал. Я сижу. Значит, вечер — не кончен. Семён, ты сам это условие ставил. Дважды. В первый раз я ушёл — ты сказал «не считается». Во второй я ушёл спать — ты сказал «не считается». В третий я сижу — и ты хочешь встать? Не считается. Сиди.

— Григорий, — сказал Артист. — Я хотел, чтобы ты остался. Ты остался. Это всё, что я хотел.

— А я хочу ещё, — сказал Дед. — Ты мне ещё про выемку не рассказал. Как командир вёл «Опель» Сурова по руке Сурова. Я это тоже не видел, я был у тягача. Рассказывай.

— Это долго!

— Ты сам сказал: «на это и расчёт».

И Артист посмотрел на Князя, — как смотрят на союзника, — и Князь сказал, и это было лучшее, что он сказал за вечер:

— Семён. Ты хотел публику. Вот она. Она не расходится. Рассказывай.

И Артист рассказал про выемку. И Дед слушал, наклонив голову, и в конце сказал «ладно», и всё равно не встал.

Профессор не объявил, кто выиграл. Он вообще ничего не объявлял в тот вечер, и когда Фрол спросил его «ну, судья?», он сказал: «Судить нечего. Никто не проиграл. Это — не пере-чень, это уже вывод, но я его делаю, потому что мне сегодня можно». А Князь — Князь занялся теми, кто не хотел расходиться, когда всё-таки стали расходиться: Мелехиным с Устиновым, которые опять стояли у брони и спорили про «поёт», — и он подошёл к ним с чайником и сказал: «Допивайте и идите. Чайник я мыть буду», — и это подействовало лучше, чем «отбой».

Дед сидел. Дед сидел дольше всех.

* * *

Она приехала в половине десятого, — мотоцикл, как всегда, — и я услышал его раньше, чем увидел, и все за столом услышали, и Артист, не прерывая рассказа, сказал в сторону: «Дорога», — и продолжил, и никто не повернул головы, и это была любезность, которую мне оказали все, кто сидел за столом.

Она была по службе. Это было видно: планшет, сумка, пыль на сапогах до колен, — и она сначала пошла к палатке Чумакова, и была там, и вышла, и только тогда — к нам. Я встал из-за стола, и Дед сказал «встал — не считается, ты не последний», и я сказал «не считается», и пошёл ей навстречу.

— Кончили? — спросила она. Не «здравствуйте». Она умела начинать с дела.

— Кончили. Вчера. Сдали. Сегодня — вот. — Я кивнул на стол, на лампу, на людей за столом, которые делали вид, что не смотрят. — А вы?

— Кончила. Час назад. Штаб встал, пункты доведены, — три точки за день, последнюю — сюда, к майору. — Она посмотрела на стол. — У вас, я вижу, вечер.

— У нас — вечер. У нас с вами — тоже. Я обещал. После дела.

— Я помню, — сказала она. — Я приехала не за чаем.

Мы ушли от стола. Недалеко — к бочке с чайником, у дальнего края парка, где стояла броня и где было темно, — и я налил ей чаю из того чайника, который мы взяли у дорожников на Несвижской дороге, и она взяла кружку обеими руками, — так, как берут, когда весь день держали руль мотоцикла, — и мы стояли, и было слышно, как за столом Артист говорит «и вот трос натянулся», и как Дед говорит «стой, вернись».

— Про руку, — сказала она. — Вы обещали.

— Обещал. — И я вдруг понял, что не хочу рассказывать. Не потому, что нечего, — потому что всё, что я мог рассказать, я сегодня уже слышал за столом в исполнении Артиста, а ей это было не нужно, ей нужно было другое. — Я не буду рассказывать. Я покажу.

— Покажите.

— Идите туда, — я показал на броню, — и встаньте спиной ко мне. Смотрите на меня через плечо, как в зеркало.

Она пошла. Встала. Посмотрела через плечо.

Я поднял руку. Ладонь — на себя. «Ко мне». Она сделала шаг назад. Ещё. Я повернул ладонь вбок — «туда» — она шагнула вбок. Кулак — «стой». Она встала.

— Всё, — сказал я. — Это — рука. Больше ничего нет. Ко мне, туда, стой. Две недели, восемь машин, семь чужих. Всё — вот это.

Она стояла, глядя через плечо, и не поворачивалась, и потом сказала:

— А если я не хочу «ко мне»?

— Тогда вы не смотрите в зеркало. Тогда — свисток. У Фрола.

— У вас всё через Фрола.

— Не всё. — Я опустил руку. — Это — нет.

Она повернулась. Подошла. Взяла кружку, которую оставила на бочке.

— Вы считаете, — сказала она. — Я видела. Пока я шла к вам от палатки, вы считали. Что?

— Сколько дней до следующего. Я не хотел.

— Не хотели, а считали. — Она отпила. — Я вам скажу, что вы не знаете. Я тоже считаю. Столбы. Всегда. Я вам говорила: двенадцать километров пешком, столб за столбом. Я их не могу не считать. Я еду на мотоцикле и считаю столбы, и когда линия кончается, я знаю, сколько их было, и мне от этого спокойно. Я вам это говорю, потому что я вам сказала не считать, а сама считаю. И вы согласились, а сами считаете. Мы оба врём. Одинаково.

— Одинаково, — сказал я. И засмеялся, — впервые за вечер по-настоящему, потому что за столом я смеялся с ними, а здесь — сам, — и она тоже, и это было слышно за столом, и Дед, я знаю, сказал «стой, вернись», но уже не Артисту.

— Ваш полк — куда? — спросил я.

— На запад. Как все. Как вы. — Она поставила кружку. — Майор сказал в первый день: точки связи у нас общие. Я тогда подумала — вежливость. Теперь думаю — правда. Вы будете на дорогах. Я — на пунктах. Дороги идут через пункты. Мы встретимся, потому что иначе не бывает.

— Не «после дела»?

— Нет. — Она улыбнулась — по-настоящему, как на крыльце узла. — Дело было одно. Оно кончилось. Дальше — просто когда. Не считайте.

— Не буду.

— Врёте.

— Вру, — сказал я. — Но одинаково.

Она допила чай, — весь, до конца, как делают дела, — и посмотрела на стол, где Дед всё ещё сидел, и сказала:

— Это ваш механик? Который не встаёт?

— Он.

— Мне дежурный сказал в первый день: «тот самый, с рукой». Я думала — про вас. Теперь думаю: у вас все — тот самый с чем-нибудь. С рукой. С половником. С кружкой, который не встаёт. — Она надела планшет через плечо. — Мне ехать. Пункт — с шести утра, и до него — сорок минут. Я вернусь. Не «когда-нибудь».

— Не «когда-нибудь».

— И ещё. — Она посмотрела на стол, на лампу, на Деда с кружкой. — Майор сказал: «У них там рота гуляет». Это и есть — рота? Мне говорили — «Трофейная».

— Народное имя. В бумагах — временная группа.

— Гуляет?

— Гуляет.

— Как с майором, — сказала она, и протянула руку, и я пожал её, — и она пошла к мотоциклу, и он затрещал, стрельнул, — и не сразу уехал: она сидела на нём с минуту, глядя на наш стол, на лампу, на сидящих за столом, — и потом уехала, и я стоял у бочки и не считал. Честно — не считал. Минуту.

* * *

Известие принёс посыльный Чумакова, — тот же, с сумкой, — в одиннадцатом часу, когда Артист уже сказал «всё», а Дед — «нет», и стол ещё сидел.

Он подошёл не ко мне — к столу, ко всем, потому что ему было велено ко всем, — и сказал то, что велели, слово в слово:

— Майор Чумаков передаёт: по линии из штаба армии — Барановичи взяты. Сегодня. Восьмого. Армией. Всё.

И ушёл, потому что ему было велено передать и уйти.

Стало тихо, — не так, как перед докладом, а так, как бывает, когда весь стол одновременно думает об одном месте, в двадцати двух километрах от которого они два дня сидели, не видя его, и куда ехали немецкие мастерские, которые не доехали.

— Двадцать два километра, — сказал Артист. Первым, конечно.

— Мы туда не входили, — сказал Профессор. Сразу, ровно, как называл номера. — Это надо сказать, пока не начали рассказывать. Мы не брали Барановичи. Барановичи взяла армия. Мы взяли базу в двадцати двух километрах от них и семь машин. Это — перечень. Он точный. Он — наш. Барановичи — не наш.

— Никто и не говорит, — сказал Артист.

— Ты бы сказал, — сказал Фрол. — Через неделю. «Мы под Барановичами...» Я тебя знаю.

— «Под» — это правда, — сказал Артист. — «Под» — двадцать два километра. Это — «под».

— «Под» — можно, — согласился Профессор. — «Взяли» — нельзя.

— «Под» — беру, — сказал Артист, и было видно, что уже сочиняет.

Я сидел и думал не про город, — я его не видел и не увижу, наверное, ещё долго, — а про то, как это складывается. Хеннинг две недели вёз свои мастерские на запад, к Барановичам, — и они не доехали: часть мы взяли на дорогах, часть — во дворе, часть уехала дальше, на юго-запад, мимо города, который сегодня взят. Армия шла на город. Мы шли за мастерскими. Это были разные работы, и кончились они одна за другой: наша вчера, армейская сегодня, — и от этого одна не становилась другой, и Профессор был прав, что сказал это первым. Но они были

— рядом. Наши семь машин стояли в чужом ряду в шести километрах от Несвижа, а Несвиж был на дороге к Барановичам, а Барановичи — сегодня. Это было не «мы освободили». Это было «мы — тоже здесь». Этого хватало.

— Товарищ старший лейтенант, — сказал Руденко. Он говорил редко, и когда говорил не «так», все слушали. — А дальше?

— Дальше — два дня, — сказал я. — Майор сказал. Отдыхать.

— А потом?

— Потом — дороги. На запад. Там то же, что было здесь: обочины, дворы, то, что не доехало. Мы это умеем. Нам это никто не приказал, и я не буду говорить, что приказали. Но я знаю, что там есть, и Дед знает, и Фрол. Спросят — пойдём.

— Спросят, — сказал Фрол. — Кто ещё пойдёт? У них броневика нет.

— У нас — есть, — сказал Артист. В третий раз за два дня.

И Дед — Дед, который всё ещё сидел, — сказал то, чем вечер и кончился, потому что после этого никто ничего лучше не сказал:

— Дороги — это ладно. Дороги подождут. Я вам скажу, чего я хочу. Я хочу, чтобы в следующий раз, когда командир будет вести чужой кузов рукой, — я стоял не у постройки и не у тягача, а там, где видно. Про выемку я только слышал. Я хочу видеть. Мне интересно. — Он поставил кружку. — Всё. Теперь — встаю. Последний.

И встал. И вечер кончился так, как должен был кончиться в третий раз: не тем, что Дед ушёл, а тем, что Дед закончил.

Князь мыл чайник. Артист спал на подножке своего ЗИСа с заделанной дверцей, — он уснул, как умел, за минуту, сразу после «встаю», — и Фрол накрыл его брезентом, не разбудив, что у Фрола было высшей формой любезности. Профессор что-то дописывал при лампе, которую Князь ему оставил, — и я знал, что это не донесение, потому что донесений больше не было, и не спросил, что. Руденко сидел на броне. Исаев спал у пулемёта — не при, а у. Селиванов — под ней. Мелехин с Устиновым спорили шёпотом. Суров ушёл в кузов своего «Опеля» и сказал оттуда, засыпая, одно слово, которое я не разобрал, но, кажется, — «зеркало».

Я обошёл парк, — восемь, — и все восемь стояли, и все сорок шесть были при них, и в чужом ряду семь были уже не наши, а в шести километрах — Несвиж, а дальше по дороге — город, который взяли сегодня без нас и рядом с нами. Народное имя, которое кто-то дал нам у Несвижской дороги, — «Трофейная рота», — было не в бумагах. В бумагах мы были временной группой при автомобильном отделе, с восемью машинами по номерам. Но майор сказал Анне «рота гуляет», и Анна спросила «гуляет?», и я ответил, — и это было правдой. Первый раз за две недели — правдой целиком.

Рота гуляла. Дед встал последним. Завтра — два дня, потом — дороги.

Мы это умеем.

Глава 2

Обратно мы ехали в том же «Опеле», и я всю дорогу — весь этот километр — думал не о немцах, а о тросе.

Это, наверное, надо объяснить. За двадцать лет у меня выработалось то, что моя бухгалтерша называла «профессиональной деформацией», а я называл порядком: если машина неисправна, её не заводят. Её цепляют и везут. Всё остальное — самодеятельность, за которую потом платят мотором. У меня в кузове, в ящике под сиденьем, всегда лежал трос, и я знал, что в ЗИСе у Артиста, в таком же ящике, тоже что-то лежит, потому что помнил это тем чужим, кусковым знанием, которое досталось мне вместе с погонами. «Опель» — исправный, тяговитый, с хорошей резиной. Второй ЗИС — три тонны без груза, руль цел, тормоза целы. Километр ровного большака. Зацепить, тронуться на первой, довести — четверть часа. Я даже прикинул, где встану сам перед троганием: сбоку, чтобы видеть сцепку и обоих водителей.

Рядом со мной, между мной и Суровым, сидеть было негде — кабина на двоих, — и Дед ехал в кузове, с механиком и двумя канистрами воды, и я слышал сквозь заднее стекло, как он что-то втолковывает механику, размахивая рукой. Устинов тоже ехал в кузове, хотя я ему сказал, что он на точке нужнее.

— Я сказал: на глазу поддержку, — ответил он. — Значит, на глазу.

И полез через борт. Я не стал спорить. Мне, если честно, было приятно, что за мной кто-то смотрит с таким упрямством, — в той жизни за мной так смотрели только налоговая и Витькина жена.

Свой второй ЗИС я увидел издали — он стоял там же, у кармана, с открытым капотом, серый и терпеливый, и над ним никто не суеился. Возле него на подножке сидел Князь и курил, Фрол стоял у кромки леса с двумя стрелками, пулемёт лежал на своём месте, а третий стрелок с механиком копались у переднего колеса, что-то подкладывая. Всё было тихо. Всё стояло так, как я оставил, и это само по себе, знаете, — большое дело: вернуться и застать то, что оставил.

Суров подвёл «Опель» и встал, не глуша.

Дед с механиком сразу занялись ЗИСом: подлили воду, дали мотору поработать и снова полезли к нижнему бачку. Я тем временем прикинул, как поставить «Опель» под буксир. Минут через двадцать Дед выпрямился и вытер руки.

— Ну, — сказал я. — Цепляем и тянем.

Я сказал это, не дождавшись, что скажет Дед, и сказал зря. Не потому, что был неправ по существу, — а потому, что здесь, среди этих людей, я не был человеком, который знает, как надо. Здесь это ещё надо было заработать. Я это понял по тому, как Князь перестал курить.

Дед ещё раз заглянул под капот, проверил, как капает, и только тогда посмотрел на меня.

— Тянуть — не надо, — сказал он.

— Мотор?

— Мотор живой. Я сейчас посмотрел его ещё раз, с водой. Прогрел на холостых, послушал. Он не заклинил, Алексей Палыч. Он даже не постучал. — Дед произнёс это с тем удовольствием, с каким говорят о выздоровевшем родственнике. — И течь я прижал.

— Запаял?

— Прижал, — повторил он твёрдо. — Не запаял. Чем прижал — не спрашивай, стыдно сказать, я об этом на вечере не расскажу. Но она теперь не течёт, а сочится. На километр хватит. Может, на два. На три — не хватит, и не проси.

— Григорий, — сказал я. — На тросе за «Опелем» — четверть часа, и мотор вообще не трогаем. Зачем его гонять, если можно не гонять?

Тут я был на своей земле, и голос у меня, наверное, это показал. Дед посмотрел на меня внимательно и — что мне понравилось — не обиделся. Он думал. Потом мотнул головой в сторону большака, туда, в направлении точки.

— Ты по этой дороге ехал сейчас. Ложбину видел? Метров через четыреста. Песок, низина, и колея разбита.

— Видел.

— Немец с тремя тоннами на тресе в эту ложбину войдёт — и забуксует. Резина у него хорошая, а привод один, задний. Он забуксует, встанет, а Василий сзади — без мотора, без наката, на одних тормозах, а тормоза у ЗИСа — вот такие. — Дед показал пальцами, сколько именно, и получилось немного. — Василий накатит немцу в корму. И будет у нас два битых грузовика вместо одного больного. Это раз. А два — трес. Трес у нас один, на первом ЗИСе, и он не для этого. Метров шесть, и жёсткой сцепки нет. В этой ложбине задняя машина накатит на переднюю быстрее, чем Василий выберет слабину тормозами. Стоять между ними ты сам никому не позволишь.

Я стоял и слушал, и знаете, что чувствовал? Не досаду. Удовольствие. Такое же, как когда мой Витька в первый год работы вдруг сказал мне: «Сергеич, крюк не туда цепляешь», — и был прав, и я понял, что у меня появился человек, на которого можно оставить площадку. Дед не спорил со мной о моторе. Он спорил о ложбине, о тресе и о тормозах — о том, что он видел глазами и щупал руками. У меня в голове был другой трес, другой тягач и другая дорога — асфальт, с разметкой, — а он мне показывал эту.

— Значит, своим ходом, — сказал я.

— Своим ходом. Медленно. С остановками. Вода — с нами, и я — с ним. — Дед кивнул на Князя. — В кабине.

— А я?

— А ты, командир, — сказал Дед, и в первый раз за день назвал меня командиром, — впереди, на немце, с водой. Чтобы, когда я крикну «стой», вода уже стояла рядом, а не ехала.

Так у воды было отдельное место, а Дед мог ехать рядом с Князем и следить за машиной. Я прикинул ход через ложбину ещё раз. Для этого короткого перегона его предложение годилось.

— Тогда так, — сказал я, и сам услышал, что говорю голосом Фрола. — «Опель» впереди, с водой, метров на пятьдесят. Не дальше, чтобы Дед докричался. Второй ЗИС за ним. Ложбину я сначала пройду ногами. Фрол!

— Слышу, — сказал Фрол от кромки. Он всё это время стоял к нам спиной и смотрел в лес, и слушал, и я понял, что он слышал всё до последнего слова.

— Люди — пешком, по обочине, впереди и с той стороны. Пулемёт — в кузов «Опеля», задом, на лес.

— Пулемёт в кузов — да, — сказал Фрол. — А люди — двое впереди, двое с боку, один сзади. Сзади тоже надо, Алексей Палыч. Лес и там.

— Ставь и сзади. Кого — сам знаешь.

— Знаю, — сказал Фрол, уже поворачиваясь к своим, и по голосу было слышно, что расставлять людей ему нравится больше, чем спорить о них.

Воду залили — Дед сам, из канистры, тонкой струёй, слушая, как она уходит, и раз остановился, и покачал радиатор ладонью, и снова лил. Я стоял рядом, и мне очень хотелось взять канистру самому, потому что руки чесались, но я не взял. Вместо этого я взял ведро, набрал в кювете — вода там была чёрная, торфяная, но для радиатора годилась, — и поставил его в кузов «Опеля», к канистрам, чтобы было три ёмкости, а не две. Дед на это посмотрел и ничего не сказал. Но кивнул.

* * *

Тронулись мы в первом часу — по солнцу, часов у меня на руке не было, и я поймал себя на том, что уже второй раз за утро смотрю на запястье и вижу там загорелую полоску от чужого ремешка.

Суров вывел «Опель» на большак, я сел к нему, а в кузове устроились пулемётчики, задом, стволом на сосны, и Устинов, потому что он, по-моему, решил, что теперь до вечера будет там, где я. Сзади, метрах в пятидесяти, завёлся ЗИС — я услышал его, кашлянул раз, другой, потом поймал, — и в круглом зеркале я увидел, как он тронулся: тяжело, осторожно, будто Князь вёз не пустой кузов, а полный воды до краёв.

Он и правда так вёз. Это я понял по первым ста метрам.

Князь ехал на первой. На первой, на самых малых, так, что стрелки на обочине шли быстрее, чем он ехал, и один из них, тот, что впереди, раз даже оглянулся — не отстать бы от машины, а машина от него не отставала. Я велел Сурову держать ровно, чтобы не растянуть колонну, и «Опель» тоже пополз, и мы ползли так, все вместе, и звук у ЗИСа сзади был ровный, чистый, без свиста.

Через триста метров Дед крикнул «стой».

Я услышал это через два мотора, потому что Дед, когда хотел, умел кричать так, что слышно через два мотора. Суров встал. Я спрыгнул, взял канистру и пошёл назад. ЗИС стоял, Князь сидел за рулём с таким лицом, будто его остановили на пороге собственного дома, а Дед уже был у капота.

— Не кипит, — сказал Князь мне, потому что Дед его не слушал. — Не кипит же. Я его чувствую. Он ровный. Мы могли ещё двести проехать.

— Могли, — сказал Дед из-под капота. — Воду сюда. Пока не лей, дай остынуть немного.

Я поставил канистру рядом. Дед велел Князю заглушить мотор, выждал и долил немного — на палец, не больше. Потом вытер руки о штаны.

— Григорий, — сказал Князь, и голос у него был тот особенный, каким водители говорят с механиками, когда очень стараются не обидеть. — Ты пойми. Я его веду. Я его слышу. Если бы он начал — я бы первый встал. Ты же меня знаешь. А ты его каждые триста метров глушить будешь, он у тебя от этого только хуже — то горячий, то холодный...

— Для осмотра я его не глушу, — сказал Дед. — Долить надо — тогда остановлю. Я смотрю, сколько ушло. Ушло на палец. Значит, сочтется. Значит, едем дальше. Если бы ушло на ладонь — стояли бы, и ты бы у меня не то что двести, ты бы двадцать не проехал.

— Так на палец же!

— На палец — потому что я остановил. А не остановил бы — не знал бы, сколько.

Они говорили одновременно и оба были правы, и я это видел, как видел ложбину. Князь хотел довести свою машину домой — и он её слышал, слышал по-настоящему, я по его рукам на руле видел, что слышит. Дед хотел, чтобы машину было чем чинить завтра, — и он единственный из нас знал, сколько воды в этом радиаторе на самом деле и сколько её должно там быть. Ни один не мог уступить, потому что каждый уступал бы не другому, а машине.

— Стоп, — сказал я. — Оба.

Оба замолчали, и Князь посмотрел на меня с надеждой, а Дед — с подозрением.

— Василий, — сказал я. — Ты его слышишь. Верю. Дед смотрит воду. Верю. Делаем так: остановок будет три. Не «каждые триста метров», а три: перед ложбиной, за ложбиной и на точке. Перед ложбиной — потому что в ней ты дашь газу, и вот там я хочу, чтобы Дед посмотрел до, а не после. За ложбиной — потому что после газа. На точке — потому что всё. Между ними — не глушим, не останавливаемся, едешь как едешь. Григорий, три остановки — хватит?

Дед подумал. По-честному подумал, глядя на радиатор, а не на меня.

— До ложбины — хватит. За ложбиной — посмотрю. Если за ложбиной ушло много — будет четвёртая, и ты, Василий, не спорь.

— Не буду, — сказал Князь и, кажется, впервые за час улыбнулся. — Три — это по-человечески. Три я понимаю.

Ложбину я, как обещал, прошёл ногами. Это было нетрудно и, наверное, со стороны смешно — старший лейтенант идёт по колее, как по минному полю, и смотрит под ноги, — но я знал, зачем иду. Песок был сухой сверху и сырой снизу, колея разбита в две глубокие борозды, а между бороздами горб, и я нашёл то, что искал: правее, ближе к сосне, старый след, где кто-то уже проходил, взяв правее горба, по твёрдому. Я показал Сурову рукой: сюда. Он прошёл — мягко, не сбавляя, «Опель» только чуть присел на задних и вылез. Потом я показал Князю, и Дед из кабины кивнул мне, что видит, и ЗИС пошёл — на первой, на ровном газу, и в самой низине я услышал, как мотор набрал, потянул, — Князь дал ему ровно столько, сколько надо, ни капель больше, — и вышел на твёрдое, и я, стоя по колено в песке, поймал себя на том, что улыбаюсь во весь рот.

За ложбиной остановились. Дед смотрел долго. Долил — на два пальца.

— Ушло больше, — сказал он. — Но не много. Едем.

— Я же говорил, — сказал Князь.

— Ты говорил, что не кипит. Он и не кипел. А воды ушло на два пальца — я тебе показывал. — Дед захлопнул капот. — Езжай.

Последние двести метров были самыми простыми и самыми длинными, потому что точка уже была видна — бочки, палатка, свой регулировщик с флажком у обочины, наш первый ЗИС под соснами, — и Князь, я это видел, держал первую из последних сил. Он мог бы дать вторую. Он очень хотел дать вторую. Он не дал.

ЗИС вкатился на точку, прошёл мимо бочек, мимо регулировщика, который посмотрел на него с интересом, и встал под соснами, рядом с первым, и Князь заглушил мотор.

Стало тихо.

Дед вылез, открыл капот, посмотрел. Долго. Потом закрыл капот, вытер руки и сказал — не Князю, не мне, а всем, кто стоял рядом, и стояли уже все:

— Стоит. Довезли. — И, помолчав, добавил то, что я от него и ждал: — Это не значит, что она починена. Она стоит, потому что я её прижал и потому что Василий её вёл, как яйцо. Отсюда она никуда не поедет, пока я её не запаю. Кто её тронет с места — будет иметь дело со мной.

— Никто не тронет, — сказал я.

— Вот и хорошо, — сказал Дед, и тут его лицо не выдержало, и он засмеялся, и хлопнул Князя по плечу, и сказал: — Как яйцо вёз, Василий! Как яйцо! — и Князь, красный, довольный, отмахнулся от него и полез в кабину за кисетом, потому что руки у него, я видел, чуть дрожали, и он не хотел, чтобы это заметили.

* * *

Точка наша — я теперь могу рассказать про неё спокойно, потому что мы на ней стояли до двадцать восьмого — была не бог весть что. Съезд с большака на старую вырубку, укатанный колёсами; под соснами — место для машин, штук на шесть; бочки с горючим под накатом из жердей; палатка; окопчик для дежурного с видом на дорогу; и шесть человек из своих, армейских, которые держали здесь заправку и связь с тылом — то есть посыльного на попутных машинах, потому что никакой другой связи тут не было. Всё это было временное, дней на пять, а может, на три, потому что наступление шло, и точка должна была идти за ним.

Пленных мы передали здесь же, ещё до возвращения за Князевым ЗИСом. Дежурный — пожилой, обстоятельный, с карандашом за ухом — принял их по счёту, четверых, посмотрел документы, которые у них были, спросил, есть ли раненые, и Устинов сказал: один, голень, перевязан, идти может. Дежурный записал. Потом спросил про оружие, и Исаев показал, что лежит в кузове: четыре винтовки и автомат, — и это тоже записали, и людей увезли попутной полуторкой под двумя стрелками из точки: раненого — в ближайший медпункт, троих осталь-

ных — на сборный пункт пленных. На раненого Устинов передал отдельную записку. Пленные, уходя, ещё раз посмотрели на «Опель». Я их понимал. Я бы тоже посмотрел.

Потом мы записали «Опель». Это делал я, сам, на листе из планшета дежурного, потому что это была моя работа: грузовик, «Опель Блиц», трёхтонный, исправный, взят такого-то числа на такой-то дороге в бою, принят группой для использования, водитель — рядовой Суров. Я писал и ловил себя на том, что мне это нравится: буквы — чужие, пером я не писал лет тридцать, а бумага — та же самая, в сущности. Акт есть акт. Хотя в каком году.

А потом — потом был тот час, ради которого, наверное, люди и делают всё остальное.

Князь за полчаса устроил из ничего стол. То есть не стол — накат из жердей у бочек, накрытый плащ-палаткой; но на нём стояли котелки, лежал хлеб и что-то из консервов, порезанное ровными ломтями, и это было сделано так, будто он готовился к нам с утра. Дед сидел на пеньке спиной к своему ЗИСу и время от времени оборачивался на него, как на спящего. Артист лежал под первым ЗИСом, на спине, с закрытыми глазами, и по нему было видно, что он не спит, а готовится. Фрол ел стоя. Суров ел в кабине «Опеля» — он оттуда, кажется, не вылезал с самого утра, и никто ему не мешал.

А Профессор сидел в стороне, под сосной, спиной ко всем, с планшетом на коленях, и читал немецкие бумаги.

Он подошёл ко мне ещё до еды.

— Алексей Павлович, — сказал он, и я заметил, что он один из всех говорит «Павлович» полностью, — там не путёвка. То есть путёвка тоже. Но там больше. Мне надо посидеть. Не полчаса — час. Может, больше. Я не хочу выдать вам сейчас половину, а потом оказаться неправым.

— Сиди, — сказал я. — Сколько надо.

Он кивнул и ушёл под сосну, и я видел, как он там устроился — по-настоящему, с карандашом, с листком, на который что-то выписывал, — и подумал, что этому человеку нужно не время, а разрешение, и что разрешение я, кажется, только что дал правильно.

А к столу подошёл Князь. Не сел. Стоял и мялся, и я понял, что он собирается о чём-то просить и что просьба ему неудобна.

— Алексей Палыч, — сказал он наконец. — Можно на минуту?

Мы отошли. Он привёл меня не в сторону, а к людям — к стрелкам, что сидели у своего кузова, — и там, не говоря ни слова, показал пальцем. На ноги.

Я посмотрел. У одного стрелка — второй номер у пулемёта, я его запомнил по утру — сапог был подвязан проволокой: подошва отходила спереди, и при каждом шаге он, наверное, черпал ею песок. У другого — ботинки с обмотками, и обмотки были целые, а ботинки — нет, левый разошёлся по шву, и из него торчала портянка. У третьего, механика, сапоги были ещё ничего, но голенища — сшиты из двух разных пар, я это видел по цвету.

— Это я не про красивую жизнь, — сказал Князь тихо, чтобы стрелки не слышали, хотя они слышали. — Я про то, что нам с ними ходить. Сегодня — километр. Завтра — сколько скажете. А второй номер у меня уже сейчас хромает, только не признаётся. Я у него спросил — говорит, нормально. У него не нормально. У него сапог, Алексей Палыч, не сапог, а лапоть.

— Сколько надо?

— Пар пять, если по-честному. Три — совсем. Две — можно потерпеть.

Я посмотрел на сапог с проволокой. Мне вдруг очень ясно вспомнилось, как у меня в фирме первый год люди работали в чём попало, потому что на спецобувь не хватало, и как я потом узнал, что один из моих ребят зимой три недели ходил с мокрыми ногами и молчал, потому что «нормально». Я тогда взял кредит на обувь. Здесь кредит взять было негде.

— С пленных не снимаем, — сказал Князь раньше, чем я успел что-то сказать, и сказал твёрдо. — Я не про то. Я знаю, что не снимаем. Я про своих.

— Я знаю, что ты не про то, — сказал я. — Через нашу службу. Я доложу, при первой же встрече с майором. Сапог не обещаю — не моё дело обещать то, чего нет на складе. Обещаю добиваться. Пять пар. Каждый раз, когда буду говорить с начальством, — пять пар. Пока не дадут.

— Пока не дадут? — переспросил Князь.

— Пока не дадут.

Он посмотрел на меня, и я увидел, что он не столько поверил, сколько запомнил. Это было правильно: верить мне тут ещё было не за что. А запомнить — уже было.

— Ладно, — сказал он. — Тогда я тоже запомню. Пять.

И пошёл к столу, и по спине его было видно, что ему полегчало — не от сапог, которых не было, а оттого, что его услышали и не отмахнулись.

* * *

А за столом, пока меня не было, началось.

Началось, судя по всему, с того, что Дед сказал «довёз я», а Князь сказал «довёз я», и оба сказали это без злости, просто как факт, — но Артист под ЗИСом открыл один глаз, и этого оказалось достаточно.

Когда я вернулся, Артист уже сидел на пенёчке, как в президиуме, и говорил:

— Нет, товарищи, давайте разберёмся. Давайте по-честному. У нас есть машина. Она стояла и была больная. Теперь она стоит и — как, Григорий? — «не кончилась». Хорошо. Кто её спас?

— Никто её пока не спас, — сказал Дед. — Она стоит. Спасена она будет, когда я её запаяю.

— То есть спасать её будешь ты.

— Я.

— А кто её довёз?

— Василий, — сказал Дед честно. — Как яйцо.

— Значит, Василий её спас?

— Нет, — сказал Дед. — Василий её довёз. Это разное.

— Как это разное? — вмешался Князь, который, видимо, только этого и ждал. — Ты мне объясни, Григорий, как это разное. Если бы я её не довёз — ты бы что паял? Ты бы паял её там, у кармана, с немцами из леса? Довёз — значит, спас. Кто вёз, тот и спас, это всякий водитель знает.

— Всякий водитель знает, — сказал Дед, — что если бы я её не прижал, ты бы её не довёз. Ты бы её вскипятил на второй сотне метров, потому что ты слышишь мотор, а воду ты не слышишь. Воду никто не слышит. Воду смотрят.

— Так, — сказал Фрол, вытирая ложку о рукав. — Стоп. Так вы до утра будете. Давайте правила. Спасение — это когда? Когда машина в безопасности. Так?

— Так, — сказали оба.

— В безопасности — от чего?

— От леса, — сказал Князь.

— От перегрева, — сказал Дед.

— Вот, — сказал Фрол удовлетворённо. — Вы про разное спасение. От леса её спас Василий, потому что довёз. От перегрева — Дед, потому что прижал. Оба спасли. Пополам.

— Опять у тебя пополам, — сказал Артист. — У тебя утром с командиром было пополам, теперь с этими пополам. Ты, Фрол, судья или бухгалтер?

— Я честный человек, — сказал Фрол с достоинством. — А ты, Семён, помолчи, ты вообще утром на чужой машине катался.

— Я не катался, я её выводил!

— Тебя командир выводил. Рукой.

Тут Артист, вместо того чтобы обидеться, вскочил и сказал: «Хорошо! Хорошо. Нужен третейский суд. Нужен человек, который не вёл, не паял и не командовал», — и пошёл под сосну к Профессору.

Я хотел его остановить. Не успел.

— Пётр, — сказал Артист торжественно. — Отвлекись на секунду. Одна секунда, и ты вернёшься к своим бумагам. Скажи как учёный человек: машину Деда — кто спас, механик или водитель?

Профессор не поднял головы. Он дописал что-то на своём листке, поставил точку и сказал, глядя в бумаги:

— Спасённой можно считать машину, которой больше не грозит опасность. Опасность здесь — перегрев. Перегрев возможен при работающем моторе. Мотор заглушен. Пока машина стоит с заглушенным мотором — она спасена. Как только её заведут — нет. — Он поднял глаза. — Значит, спас её тот, кто заглушил мотор. Кто заглушил?

Стало тихо.

— Василий, — сказал Дед.

— Я, — сказал Князь и посмотрел на Деда. — Утром. Ещё до всего.

— Тогда — Василий, — сказал Профессор и вернулся к бумагам. — Утром. Ещё до всего. Но это временное решение. Когда Григорий её запаляет, ответ изменится.

Артист стоял с открытым ртом. Он, по-моему, рассчитывал на что угодно, кроме того, что ему ответят точно. Фрол первый захохотал — громко, с удовольствием, откинувшись, — и сказал: «Вот! Вот это судья! Утром, ещё до всего! А вы тут — пополам!», и Князь засмеялся, и Дед засмеялся, и сказал Князю: «Ладно. Утром — твоя. А запаляю — моя», — и они на этом сошлись, и я видел, что сошлись по-настоящему, не для смеха.

А Профессор сидел под сосной и, кажется, даже не понял, что выиграл.

* * *

Он подошёл ко мне через час с лишним, когда солнце уже ушло за сосны, а стол Князя был убран, и людям было велено спать по очереди. Подошёл с планшетом и своим листком и сел рядом — не спросив разрешения, но так, что было ясно: он не забыл, что должен был спросить, просто сейчас ему важнее сказать.

— Я скажу сначала, что есть, — начал он. — Потом — что это, по-моему, значит. Отдельно. Чтобы вы видели, где я знаю, а где думаю.

— Давай.

— Есть путёвка на машину. Обычная, с маршрутом на вчера. Есть — вот это главное — записи о выдаче. Кому, что, когда: запасные части, инструмент, масла, всё по ремонтному хозяйству. Записей много, за две недели. Выдавали не одной части, а несколькими, и с разных мест. Здесь, — он показал на листок, где выписал столбиком, — по-моему, пять точек. Пять названий, где что-то принимали или выдавали. Три — я нашёл бы на карте, если бы была карта. Два — не знаю, может, не населённые пункты, а какие-то их условные названия.

— Что за точки?

— Мастерские. Ремонтные. Не полевые кузницы — настоящие: там числятся станки, там выдают моторы в сборе. — Он помолчал. — То есть у них тут, по нашему направлению, целая сеть ремонта. Была. Или есть. По бумагам — две недели назад была.

— А сейчас?

— Вот тут я думаю, а не знаю, — сказал Профессор аккуратно. — Последние записи — уже не выдача, а приём. То есть они не раздают, а собирают. Свозят. Куда — не написано. Я бы сказал — вывозят. Отходят и вывозят. Но это уже я говорю, а не бумага.

Я смотрел на его листок и видел то же, что видел он, — и ещё кое-что, чего он видеть не мог, потому что не работал в моей конторе.

У нас было два ЗИСа. Один — с прижатым радиатором, который никуда не поедет, пока Дед не найдёт олова. Один — с помятым крылом. Три ящика с ручным инструментом. Ни станка, ни сварки, ни подъёмника, ни мастерской на колёсах. А в десяти, в двадцати, в тридцати километрах отсюда кто-то, кого мы только что ободрали на один грузовик, свозил к себе по дорогам — по нашим же дорогам — целые мастерские. Со станками. С моторами в сборе. Чтобы увезти.

И вот тут во мне что-то повернулось — тем самым поворотом, который я знал за собой с той жизни. Когда видишь не беду, а возможность. Не «у них есть, а у нас нет», а — «у них есть, и оно едет по дороге, а дороги — это моё».

— Пётр, — сказал я. — Спасибо.

— Это не всё, — сказал он. — Я бы ещё раз перечитал. Там есть места, где я не уверен в почерке.

— Перечитай. Утром. А листок этот — мне.

Он отдал листок и пошёл спать, и по нему было видно, что он доволен: не тем, что нашёл, а тем, что его нашли нужным.

Я остался сидеть. Было ещё светло — здесь в конце июня темнеет поздно, — и с дороги слышно было, как проходят машины на запад, туда, где днём бухало. Под соснами стояли три грузовика — два наших и один, который стал наш сегодня. У бочек ходил дежурный. Где-то в кузове Артист вполголоса что-то рассказывал, и кто-то смеялся, тихо, чтобы не разбудить спящих.

Я думал про майора Чумакова, который нас курировал и должен был появиться на точке, — не сегодня, но скоро, — и про то, как я ему это скажу. Не «дайте нам задание». А — «вот что едет по дорогам, и вот что мы можем с этим сделать, если нам дадут людей и разрешат».

Работа была. Настоящая, большая, из тех, что я любил. И она стояла не завтра и не через неделю — она уже ехала где-то по лесной дороге на запад, на второй передаче, с подвыванием, и надо было её только догнать.

Глава 3

Майор Чумаков приехал утром двадцать шестого, на «виллисе», таком пыльном, что цвета у него не было вовсе, и я узнал об этом не по машине, а по тому, как дежурный у бочек вдруг выпрямился и поправил пилотку.

Я в это время шёл через точку от наших грузовиков к палатке, и идти было метров сто, и на этих ста метрах я увидел то, что потом вспоминал не раз, — потому что за эти сто метров я, кажется, впервые понял, где нахожусь. Не в каком году. В каком хозяйстве.

У бочек стоял ЗИС-5. Не наш — чужой, с другим номером на борту, но такой же старый, с такой же железной кабиной, только чистый по-особенному: чистый после ремонта, когда машину протёрли не потому, что грязная, а потому, что жалко отдавать грязной. Возле него стояли двое ремонтников с точки, наших, армейских, и один из них ещё что-то подтягивал под капотом, а водитель — молодой, в замасленной пилотке — стоял рядом с ведомостью в руке и ждал. Ждал бензина. Бензин у точки был, в бочках под жердями, но выдавали его не так, как хочется, а так, как записано, и водитель это знал и не спорил, а просто стоял, и по нему было видно, что стоит он тут не первый час.

И пока я шёл, подошла партия. Полуторка с бочками, две в кузове, с сопровождающим, который спрыгнул, не дожидаясь остановки, и сразу пошёл к дежурному с бумагой. Дежурный прочёл, кивнул, что-то отметил карандашом, и через пять минут водитель отремонтированного ЗИСа уже наливал в свой бак из ведра через воронку — ровно столько, сколько ему было положено, и ни литра сверху, я видел, как он посмотрел на ведро и на ведомость, — потом закрыл бак, сунул ведомость за пазуху, кивнул ремонтникам, сел и уехал. На запад, к своей части, к тем, кому этот ЗИС был нужен ещё вчера.

Вот и всё. Ничего не случилось. Одна машина починилась, дождалась бензина и уехала. Но я стоял и смотрел ей вслед, и во мне сложилось то, что не складывалось со вчерашнего дня.

Это был не фронт, как его показывают в кино, — атаки, окопы. Это был тыл наступающей армии, то есть огромное, в сотни километров, хозяйство, которое едет за войной на колёсах, и всё, что в этом хозяйстве имеет колёса, — на вес золота. Каждый исправный грузовик — это чей-то бензин, довезённый вовремя. Чьи-то снаряды. Чей-то хлеб. Одна машина, отремонтированная и заправленная, уехала — и где-то там, за лесом, у кого-то сегодня всё будет чуть лучше. А у нас под соснами стоял «Опель», взятый вчера. Тоже исправный. Тоже с колёсами.

Я повернул к нашим машинам и нашёл Деда — он, разумеется, был у своего ЗИСа, с открытым капотом, и смотрел на радиатор так, как смотрят на письмо, которое не могут прочесть.

— Григорий. Одну минуту. Если бы тебе сейчас дали что угодно — одну вещь — что бы ты взял?

Он даже не задумался.

— Лампу паяльную. Олово. Кислоту. Это одна вещь, не спорь, это всё вместе — одна вещь, она называется «запаять». — Он подумал и добавил честно: — А если по-настоящему одну — то большой ремонтный комплект. Настоящий. Потому что с тремя моими ящиками мы будем чинить только то, что и так почти целое. А то, что сломалось всерьёз, — будем смотреть и вздыхать.

— Понял, — сказал я.

— Ты к майору?

— К майору.

— Скажи ему про лампу, — сказал Дед. — Про комплект не говори, не поверит. Про лампу — скажи.

* * *

Чумаков сидел в палатке на ящике, с планшетом на коленях, и пил из кружки что-то горячее, и когда я вошёл и доложился, он посмотрел на меня поверх кружки внимательно — не на погоны, на лицо. Ему был сорок один год, я знал это своим чужим знанием, и выглядел он на сорок один: плотный, с тяжёлой челюстью, с сединой в висках, в выгоревшей гимнастёрке с полевыми погонами, и руки у него были не штабные — с вьёвшейся чернотой в складках, как у Деда. Это я заметил первым. Это мне понравилось.

— Садись, Ракитин, — сказал он. — Мне уже доложили, что у тебя тут стоит. Расскажи, как стоит.

Я рассказал. Я рассказал коротко и по порядку, и первым назвал не себя.

— Старший сержант Буров оценил обстановку и провёл захват: пять человек противника, машина взята без повреждений, потерь у нас нет. Техник-лейтенант Шестаков сохранил мотор ЗИС-5 при течи радиатора и принял трофейную машину, она пригодна. Водители — ефрейтор Лисицын вывел «Опель» из-под огня, рядовой Суров принял его и ведёт. Старшина Князев довёл неисправный ЗИС на точку своим ходом, без ущерба для мотора. Сержант Зорин разобрал бумаги с машины — вот его выписка. Пленные переданы вчера с документами, оружие сдано, акт на машину составлен.

Чумаков слушал не перебивая. Когда я кончил, он не сказал «молодец» и не сказал «плохо». Он сказал:

— Буров здесь?

— Здесь.

— Шестаков?

— Здесь.

— Зови обоих.

Я вышел и позвал, и они пришли — Фрол быстро, Дед не спеша, вытирая руки, — и встали в палатке, и Чумаков посмотрел на них так же, как на меня: на лица.

— Буров, — сказал он. — Сколько их было и откуда?

— Пятеро на машине, товарищ майор, — сказал Фрол сразу, не глядя на меня. — Двое в кабине, трое в кузове. Шестой — отдельно, лежал у повозки, не с ними, раньше. Машина шла с боковой дороги, с востока, одна. По тому, как шла, — отстала от своих. Ехали не по карте, а куда дорога выведет. Водитель — водитель, остальные — так, ехали. Стреляли один раз. Сдались быстро. За ними по той дороге я не ходил, товарищ майор, — не с чем было.

— Правильно, что не ходил. Шестаков. Машина?

— «Опель», трёхтонный, товарищ майор, — сказал Дед, и я услышал, как он старается говорить по-казённому и как ему это плохо удаётся. — Шесть цилиндров, бензин. Ходит. Резина хорошая. Наш бензин — подойдёт. Масло наше — подойдёт, я лил, работает. Чего нет — запасных частей. Ни одной. Если у неё что-то сломается — а оно сломается, любая машина ломается, — снять будет не с чего.

— Значит, — сказал Чумаков, и уголок рта у него дрогнул, — нужна вторая такая же.

— Так точно, — сказал Дед совершенно серьёзно. — И третья. С третьей уже можно работать.

Чумаков посмотрел на него, и я увидел, что майору Дед понравился — не как подчинённый, как человек, — и что он этого не станет показывать.

— Свободны, — сказал он. — Спасибо. Ракитин, останься.

Они вышли. Чумаков взял выписку Профессора — листок, исписанный столбиком, — и читал долго, водя пальцем. Потом достал из планшета свою бумагу, тоже исписанную, положил рядом и сравнивал. Я ждал.

— Три из пяти сходятся, — сказал он наконец. — Три твоих названия есть у меня. Нам с трофейного отдела и от соседей передавали ещё позавчера: у немцев по этому направлению стояли армейские мастерские, ремонтные пункты, штук несколько, с оборудованием. Сейчас

они их сворачивают. Не бросают — сворачивают. Своят в одно место и вывозят на запад. Целиком: станки, агрегаты, людей. Мастерские на колёсах. — Он постучал пальцем по листку. — Твой сержант это увидел по накладным. Умный сержант.

— Он ещё не всё дочитал, — сказал я. — Просил утром перечитать, там почерк.

— Отдельные машины отстают. Вот как твоя. — Чумаков отложил листок. — А сама база — идёт. Где — не знаю. Кто ведёт — не знаю. Знаю, что она есть, что она подвижная и что она ещё не ушла. И вот это, Ракитин, — он посмотрел на меня прямо, — стоит очень дорого. Не мне. Армии. У нас передовой ремонт — ты сам видел, — он мотнул головой в сторону бочек, — два человека и ящик ключей, а всё остальное — сзади, за сто вёрст. А у них — на «Опелях», и собрана, и укомплектована, и здесь. Если такую взять целой — это не грузовик. Это мастерская для целой армии, которую не надо строить. Она уже построена.

Я это понимал. Я это понимал ещё вчера вечером, сидя с листком Профессора, — но одно дело понимать самому, а другое — услышать от человека, у которого на планшете лежит бумага из трофейного отдела.

— Товарищ майор, — сказал я. — Мы можем её искать.

— Можете, — сказал он. — Об этом я и приехал.

* * *

Он достал вторую бумагу — на этот раз отпечатанную, с подписью, — и подал мне, и я прочёл, и перескажу своими словами, потому что казённые слова там были казённые, а смысл — простой.

Группе — работать в указанном дорожном коридоре: вот отсюда, от точки, до Глузка и дальше по мере продвижения армии. Вывезти своё оставленное имущество — и тут была строчка, которую я прочёл дважды: в семи километрах западнее, на брошенном ремонтном дворе, наше передовое подразделение при перемене обстановки оставило ящики с ремонтным имуществом; вывезти. Сбирать пригодную технику на дорогах и сведения о противнике. Отдельные доступные цели брать при согласовании с местной боевой частью. Выходить к назначенным точкам связи — они были перечислены, и эта точка — первая. И — отдельно, чётко — не уходить всем парком в неподтверждённый тыл противника.

— Последнее — это про тебя, — сказал Чумаков, когда я дочитал. — Я тебя вчера не видел, но мне рассказали, как ты с рукой стоял. Так вот: одна машина на боковой дороге — это одно. База — другое. Базу в одиночку не берут. Её сначала находят, потом докладывают, потом армия решает. Ты найди. Это твоё. Остальное — не твоё, и не обижайся.

— Не обижаюсь, — сказал я, и это было правдой: он говорил со мной так, как я сам говорил с Витькой, когда тот в первый год рвался тащить фуру, которую надо было сначала разгрузить. — Товарищ майор. Ящики на дворе — это в семи километрах. Мой механик со вчерашнего дня просит паяльную лампу. Там она может быть?

— Там может быть что угодно, — сказал Чумаков. — Двор бросали спешно. Что успели взять — взяли, что нет — там. Поезжай и посмотри. Сегодня. Дорога до двора наша, вчера проверяли. Дальше — нет.

— Сегодня, — сказал я. — И второе.

— Говори.

— Если мы будем брать машины — а мы будем, — кто их поведёт? У меня три водителя на три машины и один без руля. Механиков двое и Шестаков. Каждый новый грузовик — это водитель. Каждый сломанный — это руки. Если мы найдём базу и её возьмут — там будут машины, и много, и кто-то должен будет их вести хотя бы до своих. Мне нужны люди. На будущие машины. Три водителя. Три ремонтника. Запросить сейчас.

Чумаков смотрел на меня с интересом. Не с раздражением — с интересом, как смотрят на человека, который просит не то, что обычно просят.

— Ты машины ещё не взял, а водителей на них уже просишь.

— Когда возьму — просить будет поздно. Они пока дойдут — а машины стоят. Товарищ майор, я знаю, как это бывает: техника есть, людей нет, и техника стоит и ржавеет. Лучше пусть люди ждут машину, чем машина — людей.

— Аппетит у тебя, — сказал Чумаков.

— Есть, — согласился я.

Он помолчал. Потом достал карандаш.

— Три водителя, три ремонтника, — сказал он, записывая. — Запрос напишу сегодня, уйдёт с посыльным. Когда придут — не скажу. Не потому, что не хочу, — потому что не знаю: это не мои люди, это люди автомобильного отдела, а у отдела вас таких — не один. Дня через два-три, если дадут. Если не дадут — скажу тебе честно, что не дали, и ты не будешь ждать зря. Так годится?

— Годится.

— И ещё, — сказал он, не поднимая головы от бумаги. — Я тебе не командующий. Я — офицер отдела, которому поручено с тобой работать. Что я могу дать — дам. Что не могу — попрошу у тех, кто может, и это будет не завтра. Не строй на мне того, чего я не выдержу. Договорились?

— Договорились, товарищ майор.

— Вот и хорошо. — Он поднял голову. — А что ещё просишь? У тебя лицо такое, что ещё просишь.

Я не собирался, честно. Но лицо, видимо, было.

— Сапоги, — сказал я. — Пять пар. Люди ходят пешком за машинами, обувь разбита. У одного подошва на проволоке. Пленных не разуваем. Через нашу службу — пять пар.

Чумаков хмыкнул.

— Запишу, — сказал он. — Не обещаю. Обувь — это не по моей части, но записать могу и передать могу. Пять пар. — Он записал. — Что ещё?

— Всё, товарищ майор.

— Не верю, — сказал он, — но ладно.

* * *

Вот тут, в этот момент, снаружи затрещал мотоцикл.

Он подошёл к самой палатке, треща и стреляя, и заглох, и я услышал голоса — дежурный что-то спросил, ему ответили, коротко, женским голосом, — и полог откинулся, и в палатку вошла женщина.

Лейтенант. Это я увидел первым — не женщину, а лейтенанта: полевые погоны с двумя звёздочками, гимнастёрка, перетянутая ремнём, полевая сумка на боку, сапоги в пыли до колена, пилотка сдвинута на затылок, и в руках — планшет, раскрытый уже на нужном месте. Она доложила Чумакову коротко и правильно — «лейтенант Веденеева, офицер связи штаба такого-то стрелкового полка» — и, не садясь, сказала, зачем приехала.

Зачем — я понял не сразу, потому что это была не моя служба, но понял через минуту, и это оказалось просто. Её полк шёл вперёд. Ему нужен был бензин, ремонт, всё, что даёт автомобильная служба армии, — и для этого штаб полка посылал донесения сюда, в автомобильный отдел, через такие вот точки. Позавчера полк послал связного на точку, которая была вчера. Связной приехал — точки нет, ушла вперёд. День потерян. Начальник штаба полка послал её выяснить раз и навсегда: где принимают донесения сейчас, до какого часа, кому сдавать, и куда точка уйдёт потом, — чтобы больше не гонять людей по пустому месту.

— Здесь, — сказал Чумаков. — Дежурный, круглосуточно. До утра двадцать восьмого — точно. Дальше точка идёт за армией, куда — сообщим через ваш штаб.

— «Сообщим» — это как, товарищ майор? — спросила она. Не грубо — точно. — Позавчера тоже сообщили, и связной приехал на пустое место. Мне нужно, чтобы я вернулась и сказала начальнику штаба: до такого-то часа — здесь, после такого-то — там. Иначе я ездила зря.

Чумаков посмотрел на неё с тем же выражением, с каким десять минут назад смотрел на меня. Ему нравилось, когда просят точно.

— До восьми утра двадцать восьмого — здесь, — сказал он. — Это я вам говорю твёрдо, дежурный получит. С восьми — новое место, и оно будет доведено вашему штабу не «сообщим», а посыльным от меня лично, к вечеру двадцать седьмого. Если посыльного не будет — значит, точка не ушла. Так годится?

— Годится, — сказала она и записала. — Кому сдавать, если дежурный сменился?

— Любому дежурному. Это его обязанность, не его имя.

— Спасибо, товарищ майор. — Она закрыла планшет. — Разрешите идти? Мне до вечера ещё в две точки.

— Идите.

И тут она посмотрела на меня. Впервые за всё время — до этого я для неё был предметом обстановки, и правильно. Посмотрела коротко, оценивающе, так, как смотрят на человека, с которым, может быть, ещё придётся иметь дело, а может, и нет.

— Это ваш «Опель» у бочек? — спросила она.

— Наш.

— Вчера взяли?

— Вчера.

— Ходит?

— Ходит.

— Хорошо, — сказала она. — Значит, если нашим достанется такой же, есть у кого спросить, как с ним обращаться. — Она чуть наклонила голову. — Лейтенант Веденеева. Анна.

— Старший лейтенант Ракитин. Алексей.

— Я знаю, — сказала она. — Мне дежурный сказал, пока я мотоцикл глушила. Он сказал: «Тот самый, с рукой». Я не поняла, с какой рукой, но, видимо, что-то было.

— Было, — сказал я.

— Расскажите при случае, — сказала она, и это было не обещание, а вежливость, и она сама это знала, и я знал, и мы оба, кажется, поняли, что вежливость эту можно будет при случае и проверить. — Разрешите, товарищ майор.

И вышла. Мотоцикл затрещал, стрельнул, и его не стало.

Вот теперь я скажу то, что должен сказать честно, потому что рассказываю всё по порядку. Сначала — первые две минуты — я видел, как она работает: как пришла с готовым вопросом, как не дала майору отделаться словом «сообщим», как записала, как спросила про дежурного. Это было хорошо сделано, и мне это нравилось так же, как мне вчера нравилось, как Суров тронул «Опель». А потом, когда она уже закрыла планшет, я увидел, что она молодая, лет двадцати пяти, что у неё под пилоткой тёмные волосы, забранные так, чтобы не мешали, и серые, очень внимательные глаза, и что она красивая — не той красотой, о которой говорят, а той, на которую смотрят. И я смотрел, пока полог не упал, и Чумаков это видел, и не сказал ничего, и правильно сделал.

— Веденеева, — сказал он, когда мотоцикл стих. — Второй раз её вижу. Оба раза — по делу. Хороший офицер. — Он помолчал и добавил без всякого выражения: — Полк её, между прочим, идёт тем же коридором, что и ты. Так что точки связи у вас общие.

— Понял, товарищ майор.

— Я и не сомневался. — Он встал. — Всё, Ракитин. Иди работай. Ящики — сегодня. Базу — искать. Людей — ждать. Обувь — записана. Что ещё?

— Паяльную лампу, — сказал я. — Механик просил передать. Лично.

— Передай механику, — сказал Чумаков, — что паяльную лампу он, скорее всего, найдёт на том дворе сам. А если не найдёт — пусть скажет мне, и я буду искать. Но пусть сначала посмотрит.

* * *

Когда я вышел из палатки, у наших грузовиков уже все были в сборе. Не потому, что я велел, — просто все, кто был свободен, оказались там, где стоял «Опель», а «Опель» стоял так, что от него видна была палатка. Артист сидел на подножке своего ЗИСа. Фрол стоял, скрестив руки. Дед — у капота, но смотрел не в капот. Князь, Профессор, Суров в кабине, Исаев с двумя стрелками у кузова — все делали вид, что заняты, и все смотрели на меня.

Я рассказал. Не всё — всё было ни к чему, — а то, что нужно, чтобы работать.

— Ближайшее: сегодня. Семь километров на запад, брошенный ремонтный двор. Наши ремонтники оставили там ящики с имуществом, когда пришлось уйти с двора. Сейчас дорогу снова проверили. Вывезти. Едем на «Опеле» и первом ЗИСе, второй ЗИС стоит. Дорога до двора наша, дальше — нет, дальше не суёмся. Фрол — охрана, как всегда. Дед — смотреть, что там, и брать всё, что нужно. Всё.

— А свех ящиков? — спросил Дед, и я понял, что он спрашивает про лампу.

— Майор сказал: посмотри сам. Что найдёшь — твоё. То есть наше.

Дед кивнул с таким видом, будто ему уже что-то пообещали.

— Дальше, — сказал я. — Люди. Я попросил три водителя и три ремонтника. Запрос ушёл. Придут дня через два-три, если дадут. Если не дадут — нам скажут честно.

— На какие машины? — спросил Артист с подножки. — У нас машин три.

— На те, которые будут.

— А они будут? — спросил Артист, и по его лицу было видно, что он не сомневается, а подводит.

— Будут, — сказал я. — И вот про это — третье.

И рассказал про базу. Про то, что немцы сворачивают свои мастерские и вывозят их куда-то на запад, целиком, на колёсах, и что эта база — не наша добыча и не наша задача, а задача армии, а наша задача — найти, где она, и доложить. Что ищем по дорогам: по отставшим машинам, по бумагам, по людям. Что брать её нам никто не даст, и правильно, и что если она найдётся — её возьмут те, кому положено, а мы будем при этом, и это, я думаю, будет хороший день.

Стало тихо. Потом Князь сказал негромко, не мне:

— Мастерская на колёсах. Целая. С запасом.

— Не наша, — сказал я.

— Я и говорю — не наша, — сказал Князь. — Я просто представил.

— Василий, — сказал я. — Про обувь майор записал. Пять пар. Не обещал — записал. Я ему буду напоминать.

Князь посмотрел на меня и кивнул — тем же кивком, что вчера: запомнил.

И тут заговорил Фрол, и заговорил не со мной.

— Григорий, — сказал он. — Вот скажи мне как механик. Если эту базу найдут и её будут брать — что там для тебя? Что ты с неё хочешь?

— Всё, — сказал Дед просто.

— Ну «всё» — это не ответ. Что первое?

— Станок, — сказал Дед, и глаза у него стали такие, какие бывают у людей, когда они говорят о том, что любят. — Любой. Токарный. Ты понимаешь, Фёдор, что такое токарный станок на колёсах в двадцати километрах от передовой? Это значит, что любую втулку, любой палец я тебе сделаю за час. Не «поищу на складе» — сделаю. Из куска железа.

— А я тебе скажу, что первое, — сказал Фрол. — Первое — это как её брать. Потому что если её берут плохо — твой станок горит вместе с ней. Мастерская на колёсах — это значит, что у них там бензин, и много. Один снаряд — и нет твоего станка. Значит, брать её надо так, чтобы никто не успел ничего поджечь. А это, Григорий, уже моя часть. Так что сначала моё, потом твоё.

— Сначала твоё, — согласился Дед. — Но ты её бери целой. Ты понял? Целой. Мне станок нужен, а не станок с дыркой.

— Если там станок найдётся и мы его возьмём целым, — сказал Фрол торжественно, — ты мне сделаешь втулку. За час. Ты сказал.

— Сказал.

— При свидетелях.

— При свидетелях, — сказал Дед, и они пожали друг другу руки, серьёзно, как люди, заключившие сделку, — и Артист с подножки сказал: «Свидетель — я. Втулка за час. Запомнил», — и все засмеялись, и я тоже, и подумал, что вот так, наверное, и начинаются большие дела: не с приказа, а с того, что два человека при свидетелях поспорили на втулку.

— Через час выезжаем, — сказал я. — Суров, Артист — машины. Князь — вода, еда на день. Фрол — люди. Дед — ящики под груз освободить. Пётр...

— Я с вами, — сказал Профессор. — Там может быть что-то немецкое. Бумаги. Надписи.

— Едешь, — сказал я.

Перед выходом Князь получил у дежурного бензин и пополнение наших патронов по заявке. Водители заправились: на семь километров туда, работу и обратный путь хватало.

Через час мы выехали. Второй ЗИС остался под соснами, с открытым капотом; при нём — Устинов, один механик и стрелок, остальные пятнадцать ехали на двух исправных машинах. Князь, садясь в кабину «Опея» рядом с Суровым, — я в этот раз ехал с Артистом, — обернулся на свой ЗИС, и я видел, как он обернулся. Не бросаем. Просто он пока стоит.

Глава 4

Семь километров на запад мы прошли за полчаса, и это был первый длинный выезд в этой жизни, и я, признаться, всю дорогу смотрел в окно, как турист.

Дорога была своя — вчера по ней прошли наши, сегодня по ней шли тылы: навстречу нам попались две полуторки, порожние, идущие назад, санитарная машина и пешая команда с лошадью, — и на обочинах лежало то, что лежит на обочинах после большого наступления: перевёрнутая немецкая повозка, брошенное оружие с задраным стволом, сгоревший остов чего-то, чего уже было не разобрать. Артист вёл ровно, не гнал, и раз, обгоняя телегу с ранеными, сбавил до шага и что-то крикнул им из окна, и на телеге засмеялись. Я не расслышал что. Я смотрел на лес по сторонам и думал о том, что где-то в этих лесах, по таким же дорогам, сейчас едет на запад целая мастерская, и что я её найду.

Двор мы увидели с дороги. Я ждал пустого двора — Чумаков сказал «брошенный», и я себе представил пустой сарай с раскрытыми воротами, — а увидел людей.

Их было человек десять, и все они работали. Двор оказался старым хозяйственным двором при какой-то бывшей МТС или чём-то вроде: длинный сарай с широкими воротами, навес, колодец с журавлём, забор из жердей, поваленный в двух местах, и въезд — узкий, между сараем и каменной стеной, оставшейся от чего-то давно сгоревшего, — такой узкий, что грузовик проходил в него впритирку, я это увидел ещё с дороги, привычным глазом. В этом въезде сейчас стоял ЗИС — не наш, чужой, с разбитым передком, — и его цепляли на трос к другому ЗИСу, стоящему снаружи, а человек в пилотке и с ведомостью в руках командовал сразу тремя делами: тросом, ящиками, которые двое выносили из сарая, и жердями забора, которые ещё двое оттаскивали, освобождая место.

— Наши, — сказал Артист, глядя на это. — Вернулись. Значит, тут вчера было весело.

Я вылез. Человек с ведомостью увидел мои погоны и подошёл — не бегом, а так, как подходят люди, у которых на руках три дела и ни одно нельзя бросить: лейтенант, техник, лет тридцати, с лицом, серым от недосыпа. Мы доложились друг другу коротко. Он был из того самого передового подразделения, что оставило двор позавчера, когда справа, в лесу, что-то зашевелилось и стало стрелять, и своих сил удержать двор не было; вчера обстановка переменилась, лес прочесали, и сегодня утром они вернулись — забирать то, что оставили, и вывозить повреждённую машину, которую тогда бросили с разбитым передком.

— Мне велено вывезти имущество, — сказал я и показал бумагу.

Он прочёл. Кивнул.

— Мне велено то же самое, — сказал он. — Но у меня одна машина, и она тянет вот эту. Так что забирайте, товарищ старший лейтенант. Только не сейчас. Сейчас я вывожу битую, и пока она в проезде — никто ни туда, ни оттуда. Проезд один.

— Сколько?

— Полчаса. Если трос не лопнет.

— Трос выглядит целым, — сказал я. — Только крепление проверьте, петля набок легла.

Лейтенант обернулся, окликнул своих. Трос ослабили и поправили; человек в кабине битого ЗИСа высунулся, чтобы лучше видеть сигналы. Я дождался, пока закончат, и пошёл искать Деда.

Пока мы говорили, Фрол уже был у забора с двумя стрелками и говорил с человеком из здешних — сержантом, судя по всему, из охраны двора, — и я видел, как тот показывает ему рукой: туда, на север, в лес, потом на дорогу дальше, на запад, и качает головой. Через минуту Фрол подошёл.

— Дорога дальше — не наша, — сказал он. — Вчера прочесали до опушки, и всё. В лесу на север вчера стреляли, сегодня — тихо, но никто не ходил. Я людей ставлю на опушку, к

дороге и к забору с севера. Здесь — их охрана, четверо. Я с ними договорился, кто где. Если что — сначала мои, потом их.

— Хорошо.

— И ещё, — сказал Фрол. — Их лейтенант — нормальный мужик. Он тут второй день не спит. Ты с ним не спорь.

— Я не спорю.

— Я вижу, что не споришь, — сказал Фрол. — Я на всякий случай.

* * *

Деда я нашёл в сарае, и он был не один.

В сарае было полутемно, пахло железом, старой соломой и керосином, и вдоль стен стояли ящики — не три, как у нас, а штук пятнадцать, разных, одни закрытые и подписанные мелом, другие раскрытые, с торчащими рукоятками, — и посреди всего этого стояли двое и спорили. Один был Дед. Второй — невысокий, кряжистый, лысый, в комбинезоне, старший сержант по погонам, с руками, которые я узнал бы в любой толпе: руки человека, который тридцать лет держит ключ. Мастер. Они стояли друг против друга, как два петуха, и одновременно улыбались, и это было видно даже в полутьме.

— ...а я тебе говорю, что микрометры я уже уложил, — говорил мастер. — Уложил, подписал, в ту отправку, которая идёт с битой машиной. Они там. Ты что, хочешь, чтобы я вскрывал?

— Хочу, — говорил Дед. — Потому что ключи — здесь, а микрометры — там. И что мне с ключами без микрометров? Я гайку закручу, а зазор мне кто померит? Ты?

— Да зачем тебе зазор мерить, Григорий! Ты что, в поле моторы перебирать собрался?

— Собрался, — сказал Дед с таким спокойствием, что я понял: он говорит правду и сам этому рад. — Ты не знаешь, что у меня стоит. У меня стоит немец с шестью цилиндрами и ни одной запасной части. Когда он у меня застучит — а он застучит, — я его буду перебирать в поле, и мне нужен будет зазор. И плоскость. И щупы. Всё, что ты в ту отправку положил, мне нужно здесь, с этими ключами, в одном месте. Потому что рабочее место — это не ключи. Рабочее место — это ключи и чем мерить. Одно без другого — это красивый ящик.

Мастер посмотрел на него. На ящики. На меня, стоящего в дверях. Я молчал: тут я был лишний, и понимал это.

— Григорий, — сказал мастер другим голосом. — Ты понимаешь, что я за них расписался? Я их вскрою, отдам тебе — а с меня спросят.

— Спросят. Скажешь, что отдал по распоряжению. — Дед кивнул на меня. — Вот распоряжение, у товарища старшего лейтенанта, с подписью. Скажешь, что на месте решил передать полный комплект группе, которая будет работать в поле, а не в тылу. Потому что в тылу микрометр пролежит в ящике до осени, а в поле он завтра будет мерить.

Мастер помолчал. Потом сказал, обращаясь ко мне, впервые:

— Товарищ старший лейтенант. Он всегда такой был. В тридцать восьмом, когда мы вместе работали, он у меня так же выпросил набор плашек. Сказал: «В тылу пролежат». И они у него пролежали, только не в тылу, а у него.

— И работали, — сказал Дед.

— И работали, — признал мастер. — Работали, чёрт с тобой.

Он повернулся к ящикам, к тем, что были закрыты и подписаны мелом, нашёл один — небольшой, плоский, окованный, — и поставил его отдельно, к ногам Деда.

— Микрометры, штангели, щупы, линейки, плитка. Полный. Пиши расписку, Григорий. Не командиру — мне лично. Чтоб я знал, с кого спрашивать, если что.

— Напишу, — сказал Дед. И вдруг положил ему руку на плечо. — Спасибо.

— Иди ты, — сказал мастер и отвернулся, и я увидел, что он доволен так же, как Дед, и точно так же не хочет этого показывать.

Дальше пошла работа, и я вам скажу: я такую работу люблю больше всего на свете. Не бой — это. Когда надо найти, взять, перенести и положить так, чтобы потом можно было найти снова.

Груза нам досталось на семь мест. Не на пятнадцать — на семь; остальные уходили с той отправкой, к своим, и это было правильно, и Дед не спорил. Семь: два ящика ключей — гаечных, торцовых, разводных, с воротками, тяжёлых, — я поднял один вдвоём с механиком и понял, что двое — это в самый раз; ящик с измерительным, тот самый, плоский; ящик со съёмниками и оправками; тиски, стуловые, вместе с наковаленкой — не ящик, а просто железо, обёрнутое в мешковину; ящик с расходным — прокладки, шплинты, шайбы, проволока, лента, — и ещё один, в котором Дед копался дольше всего и наконец выпрямился с таким лицом, что я всё понял до того, как он сказал.

— Лампа, — сказал он. — Паяльная. И олово. Кислоты нет, но кислоту я найду. Алексей Палыч. Лампа.

— Вижу.

— Ты не видишь. Ты смотришь. — Он держал её в руках, медную, закопчённую, с помятым баком, как держат добычу. — Это значит, что Василий поедет. Не сегодня — но поедет.

Мастер из угла сказал: «Лампу я тебе не давал, учти, лампа была в общем ящике», — и Дед ответил: «А я и не беру. Я её нашёл», — и они снова заулыбались, и я вышел из сарая, потому что мне надо было посмотреть на проезд, а этим двоим было хорошо и без меня.

* * *

С проездом дело было плохо.

За те двадцать минут, что я провёл в сарае, лейтенант с ведомостью успел зацепить свою битую машину, тронуть — и встать. Крепление выдержало, но буксирующий ЗИС встал слишком близко к стене. Когда он потянул, передние колёса битой машины пошли к углу сарая; водитель попробовал отвернуть, и грузовик закосило, и теперь стоял в проезде наискось, передним колесом у стены, и ни вперёд, ни назад ему было не пройти, потому что впереди мешал угол сарая, а сзади — он сам, то есть его собственный разворот. Лейтенант стоял у него, серый, и молчал. Водитель тягача высунулся из кабины и ждал. Артист сидел в кабине нашего ЗИСа снаружи, у дороги, и тоже ждал, и Суров в «Опеле» за ним, и всё наше дело стояло вместе с этим одним чужим грузовиком, вставшим в узком месте наискось.

Я подошёл к лейтенанту.

— Товарищ лейтенант. Разрешите.

Он посмотрел на меня.

— Что «разрешите»?

— Разрешите вашу машину провести. Я это умею. Не хвастаюсь — умею. Это моя работа.

Он мог отказать. Я бы на его месте, наверное, отказал: чужой старший лейтенант, второй день не спишь, а тут тебе указывают. Но он был усталый и честный, и он посмотрел на свой ЗИС, стоящий наискось, и на меня, и сказал:

— Ведите.

И я повёл.

Это было просто. То есть это было просто для меня — я такие вещи делал двадцать лет и делал бы с закрытыми глазами, — а для того, кто не делал, это выглядело, наверное, как фокус. Сначала я отвёл людей от троса и посмотрел, куда могут пройти передние колёса. На битом ЗИСе человек оставался за рулём, руль и тормоза у машины работали. Буксирующий грузовик пришлось переставить: теперь он тянул с выносом влево, от стены. Крепления я проверил ещё раз. Оба водителя видели мою руку. Я сказал ему: «Полметра. Не больше. По руке», — и поднял ладонь. Он дал полметра. Битый ЗИС качнулся, его передок пошёл от стены — на ладонь, на две, — и я сказал: «Стой». Когда трос ослаб, буксирующий ЗИС чуть переставили. Я показал второму водителю, как повернуть колёса. Ещё полметра. Передок отошёл от стены

и встал ровно, в створ проезда. Теперь обе машины стояли прямо, и я сказал: «Теперь тихо и не останавливаясь», — и тягач потянул, и битый ЗИС вышел из проезда, как выходит пробка из бутылки, если её не дёргать, а вести.

Восемь минут. Я не считал — это лейтенант потом сказал.

Он стоял и смотрел на свой ЗИС, уже на дороге, уже на прямом тротуаре, и потом посмотрел на меня.

— Где учились? — спросил он.

— Нигде, — сказал я, и это была почти правда. — Работал.

— Работали, — повторил он. — Ну да. — И вдруг протянул руку. — Спасибо. Я бы его тут до вечера ковырял. Проезд ваш.

Вот и всё. Ничего героического. Но Артист из кабины смотрел на меня так, что мне стало неловко, а Суров — Суров не смотрел. Он уже подавал «Опель» задом в освободившийся проезд, и подавал хорошо: не дожидаясь моей руки, сам, по зеркалу, ровно, в ладони от стены, — и встал у ворот сарая точно так, чтобы ящики можно было подавать прямо из дверей в кузов, без переноски. Я это увидел и ничего не сказал. Не потому, что не оценил — потому, что он сделал это не для того, чтобы оценили.

Зато сказал Артист. Он вылез из своей кабины, подошёл к «Опелю», обошёл его, посмотрел на просвет между бортом и стеной, потом на Сурова в кабине и сказал громко, для всех:

— Гаврила. Ты это сам?

— Сам, — сказал Суров.

— Без руки?

— Зеркало есть.

— Зеркало есть, — повторил Артист и повернулся к Деду, который как раз выносил из сарая первый ящик. — Григорий, ты видел? Он её задом в щель поставил, как ложку в стакан. Вчера человек первый раз за этот руль сел. Вчера! Я на своём ЗИСе третий год, и я бы сюда с двух раз заходил.

— С трёх, — сказал Дед, не останавливаясь.

— С двух!

— Я тебя видел в марте у переправы. С трёх.

Суров сидел в кабине и молчал, и уши у него были красные, и я подумал, что вот так, наверное, и надо: чтобы человека хвалили не командир, а тот, кто сам умеет, и чтобы третий при этом честно уточнял счёт. Я подошёл к кабине и сказал ему только одно:

— Она твоя, Гаврила. Совсем.

Он кивнул. Ничего не ответил. Но руки на руле положил иначе — как кладут на своё.

И вот тут выяснилось то, чего я, честно говоря, не рассчитал.

Грузовых мест было семь, включая тиски с наковаленкой, и ещё то, что Дед нашёл «сверх» — а он нашёл, он не мог не найти: два бидона с маслом, которые мастер отдал со словами «всё равно не довезём», и моток буксирного троса, старого, но целого, и какие-то доски, «под ноги, чтоб не в грязи стоять». Весь этот комплект — это не три ящика ручного инструмента. Это вес. Наш первый ЗИС мог взять это всё, но тогда в нём не оставалось места людям — а людей у нас на две машины было пятнадцать. Трёх из них Фрол держал на опушке до последнего, они должны были сесть уже перед отъездом. Ещё надо было оставить место знакомому мастеру Деда: он сопровождал имущество до точки. Без «Опеля» пришлось бы ехать дважды. Семь километров туда, семь обратно, ещё раз в проезд, ещё раз в этот двор, который в любую минуту мог опять стать «не наш».

С «Опелем» — один раз.

Я стоял и смотрел, как ящики уходят в его кузов — тяжёлые сначала, к переднему борту, потом лёгкие, потом тиски и железо, обёрнутое в мешковину, по бокам, чтобы не ёрзали, —

и думал, что вот ради этого, собственно, я вчера и стоял с рукой у повозки. Не ради машины. Ради того, чтобы сегодня не ехать дважды.

Дед распоряжался погрузкой, как дирижёр: «этот — сюда, этот — не туда, не ставь на измерительный, я тебе руки оторву», — и механики его слушали, и мастер стоял рядом и, кажется, впервые за день ничего не делал, а просто смотрел, как правильно грузят его ящики, и это ему нравилось.

С досками вышла заминка. Дед велел их грузить, Артист, подававший из сарая, взял верхнюю, посмотрел на неё и остановился.

— Григорий. Это доска.

— Я вижу, что доска.

— Мы за семь километров за досками ехали?

— Мы ехали за инструментом. А доска — это чтобы инструмент не лежал в грязи, когда я его разложу. Ты когда-нибудь искал щуп в луже?

— Не искал.

— Вот и не будешь. Грузи.

Артист погрузил. Но вторую доску он взял уже иначе — с некоторым уважением, как берут вещь, у которой, оказывается, есть назначение, — и Профессор, стоявший у борта с бумагами, которые нашёл в сарае (немецких там не оказалось, все наши, но он всё равно посмотрел), сказал ему негромко: «У него на всё есть назначение. Ты заметил? Даже на нас», — и Артист засмеялся и сказал: «На тебя — точно. Ты у него — чтобы надписи читать», — и Профессор не обиделся, а подумал и сказал: «Справедливо».

Фрол пришёл с опушки, когда оставался последний ящик.

— В лесу на севере, — сказал он мне негромко, — километрах в двух, стреляли. Минуту назад. Не по нам. Не в нашу сторону. Кто-то с кем-то. Я людей не трогаю — они стоят, они смотрят. Грузитесь. Если пойдёт ближе — скажу.

— Сколько у нас?

— Сколько надо, столько и есть. — Он посмотрел на кузов «Опеля». — Не торопись. Торопиться — ронять.

Я не торопился. Через десять минут последний ящик встал на своё место, и Дед закрыл борт, и хлопнул по нему ладонью, и сказал: «Всё», — и мастер сказал: «Ну, Григорий», — и они пожали друг другу руки во второй раз за день, и мастер полез в кузов «Опеля», потому что ехал с нами: с ним ехали его ящики, и он их не оставлял.

Люди Фрола сели последними — через борт первого ЗИСа, уже у самой дороги, — и в лесу на севере больше не стреляли, и мы ушли.

Обратно «Опель» шёл впереди, тяжело, с грузом, и Суров вёл его так, что ни один ящик, я думаю, не сдвинулся ни на палец; мы шли за ним, и Артист, глядя ему в корму, сказал через минуту молчания:

— Один раз.

— Что — один раз?

— Съездили один раз. Я, когда ящики увидел, подумал — два. Точно два. А вышло — один. — Он покачал головой. — Вот вам и немец. Одна машина — а семь километров сэкономила.

— Четырнадцать, — сказал я. — Туда и обратно.

— Четырнадцать. — Он попробовал число на слух, как пробуют реплику перед выходом. — Так и буду говорить.

— А вы, товарищ старший лейтенант, с тросом — это где?

— Работал, — сказал я.

— Работали, — повторил он так же, как лейтенант во дворе, и больше не спрашивал, и я был ему за это благодарен: не потому, что скрывал, а потому, что «работал» было единственным честным ответом, который я мог дать, и он это, кажется, почувствовал.

* * *

На точке нас ждали.

Не потому, что кто-то что-то знал, — просто дежурный видел, как мы уходили, и видел, как возвращаемся с грузом, и вышел встречать, и с ним двое ремонтников. Чумаков уехал ещё днём — я узнал это первым делом, — но уехал не молча: дежурному была оставлена записка, и в записке было то, что я, честно говоря, надеялся прочесть, но не ждал так скоро: имущество принять на точку по ведомости, группе Ракитина выделить для работы то, что группа обоснует, остальное — по линии отдела. «Обоснует» было подчёркнуто. Я понял это так: бери, что нужно, но чтобы было понятно, зачем.

Обосновать я поручил Деду. Он это сделал за пять минут, и лучше, чем сделал бы я, потому что говорил не «нам надо», а «вот это — на «Опель», у которого нет запасных частей; вот это — на ЗИС, у которого течёт радиатор; вот это — на любую машину, которую мы возьмём, потому что без съёмника вы её не разберёте, а ключи от неё немецкие, а немецкие ключи у нас есть — вон, с «Опеля», три штуки», — и дежурный слушал и записывал, и в конце концов группе остались четыре ящика из шести, тиски с наковаленкой, лампа из расходного ящика, масло, трос и все доски. Два ящика — те, что дублировали наши, — ушли на точку, и Дед отдал их без звука, потому что дублирующие ключи — это не то, из-за чего спорят с армией.

А потом на точке произошло то, чего я не планировал, и что оказалось лучше всякого плана: Дед и мастер сели разбирать ящики.

Это надо было видеть. Они сели на землю у нашего второго ЗИСа, под открытым капотом, поставили между собой измерительный ящик, открыли его — и пропали. Я подходил три раза. Первый раз они обсуждали, какой из двух микрометров врёт и на сколько, и мастер говорил: «на две сотых, я его в апреле выверял», а Дед говорил: «на три, я его сейчас проверил по плитке». Второй раз они уже говорили не про микрометры, а про какого-то Семёнова, который в тридцать девятом уронил этот самый ящик с эстакады, и что он после этого сказал, и что ему на это сказал мастер, и оба смеялись так, что Профессор, читавший под сосной, поднял голову. Третий раз я не подходил — я просто стоял в стороне и слушал, как Дед объясняет мастеру, что такое немецкий «Опель» с точки зрения зазоров, а мастер объясняет Деду, что он ничего не понимает в немецких зазорах, и что в тридцать восьмом тоже не понимал, и это была неправда, и оба это знали, и оба были счастливы.

Я подумал тогда — и до сих пор так думаю, — что человеку нужно не так уж много. Нужна работа, которая получилась. И нужен кто-то, кто понимает, почему она получилась.

Князь подошёл ко мне, когда я стоял и слушал. Подошёл не так, как вчера, — не мялся. Подошёл по делу.

— Алексей Палыч. Ужин будет через час, я договорился с точкой на кипяток. Это раз. Два: масло, которое Дед привёз, — я его перепишу, чтобы было понятно, сколько чьё. Три. — Он помолчал. — Про обувь я не спрашиваю. Я знаю, что вы сказали майору. Мне Фрол сказал, он под палаткой стоял.

— Сказал, — подтвердил я.

— Я не про это. Я про то, что у меня второй номер сегодня семь километров в кузове трясся с этим сапогом, а завтра, если куда пойдём, — опять. Я ему пока проволоку перемотал, новую. Но это не сапог. Так что я хочу, чтобы вы знали: если где-то по дороге будет трофейное имущество — не с пленных, я не про это, а склад, брошенное, что положено принимать, — я первым делом смотрю обувь. И если найду — я вам доложу, а вы решите. Я сам не возьму.

— Договорились, — сказал я. — Смотри. И докладывай.

— Вот, — сказал Князь и, кажется, остался доволен: не тем, что получил, а тем, что порядок был ясен.

И тут к нам подошёл человек, которого я до этого не видел, — водитель, с проходящей машины, полуторки, что стояла у бочек на заправке: немолодой, небритый, в ватнике, несмотря на июнь. Его привёл дежурный. Дежурный сказал: «Вот, товарищ старший лейтенант, он тут говорит одно дело, а я помню, майор велел — про немецкие мастерские всё, что услышим, к вам».

— Говори, — сказал я водителю.

Он говорил медленно, как человек, который привык, что его перебивают, и удивлён, что не перебивают. Он вёз имущество с востока, по дороге в объезд — по той стороне, восточнее Глуска, где вчера ещё стреляли, а сегодня уже пропускали. И на боковом выезде, километрах в восьми от Глуска, если по той дороге считать, — он показал рукой, куда, — он видел, как в лес, на просёлок, сворачивает немецкая машина. Не грузовик. С кузовом. С будкой. «Как у ремонтников, — сказал он. — Знаете, такая, с дверью сзади и окошком». Одна. Никто её не гнал, никто за ней не ехал. Свернула и ушла в лес, как к себе домой.

— Когда?

— Сегодня. С утра. Часов в восемь, может, в девять. Я как раз проезжал.

— Точно немецкая?

— Товарищ старший лейтенант, — сказал водитель почти обиженно, — я их четвёртый год вижу. Немецкая. Серая. С будкой.

— Охрана? Ещё машины? Люди?

— Не видел. Она одна. Свернула — и всё. Я дальше поехал, мне не до неё.

Больше он ничего не знал, и я не стал его мучить: он сказал всё, что видел, и сказал честно, и место показал, и время. Я поблагодарил, и дежурный увёл его к его полуторке, и я остался стоять.

Немецкая машина с будкой. Ремонтная. Одна, не в колонне. Сворачивает с бокового выезда в лес — не бежит, а сворачивает, «как к себе домой». Сегодня утром, в восьми километрах восточнее Глуска, на той стороне, куда нам ехать не велено.

Это был не приказ. Не карта. Даже не уверенность. Это был след — свежий, как след на песке, — и я стоял и смотрел на него, как смотрят на след, когда знают, что по нему пойдут.

Не всем парком. Чумаков сказал ясно, и он был прав. Сегодня ещё хватало света на выезд к передовому посту, а дальше — как скажет Фрол.

— Фрол, — сказал я.

Он оказался рядом — как всегда.

— Слышал?

— Слышал, — сказал он. — Одна. С будкой. В лес. Восемь километров от Глуска, по восточной. — Он помолчал. — Я бы посмотрел.

— Я бы тоже.

— Не всем.

— Малой группой, — сказал я. — Собирай. Пока едим, договоримся.

А у второго ЗИСа Дед и мастер всё ещё сидели над открытым ящиком, и мастер говорил: «Ты этот щуп не суй, он погнутый, я его в тридцать девятом на Семёнове погнул», — и Дед хохотал, и Артист, подошедший послушать, уже сидел рядом и ждал, когда ему объяснят, кто такой Семёнов, и что можно погнуть щуп об человека.

Глава 5

Мы выехали, когда солнце ещё стояло высоко, вечером двадцать шестого, часов в шесть, и я знал, что это правильно, и всё равно мне казалось, что поздно.

Ехали на первом ЗИСе — Артист за рулём, я рядом, в кузове Фрол, Дед, Профессор и двое стрелков, которых Фрол выбрал сам, не спрашивая: один — тот, второй номер, с сапогом на проволоке, потому что «ходит тихо, а сапог — это не ноги»; второй — молодой, длинный, с винтовкой, о котором Фрол сказал только «глаза хорошие». «Опель» с Суровым остался на точке, и Князь, и Исаев, и второй ЗИС под соснами с открытым капотом, и все остальные, — и это было правильно, потому что мы ехали не брать, а смотреть, а смотреть ездят немногие.

Дорога была длинная. Тридцать с лишним километров в объезд, по восточной стороне, где Глуск оставался слева, за лесом и рекой, и куда нам было нельзя, потому что Глуск ещё не был наш. Вчера здесь стреляли. Сегодня пропускали — на двух постах нас останавливали, смотрели бумагу, спрашивали, куда, и на втором посту, у сгоревшего хутора, старший, лейтенант-пехотинец с забинтованной кистью, сказал: «Про вас знаем, из автоотдела передавали. Дальше по дороге — наши до поворота на просёлок. За поворотом — не ходили. Если пойдёте — скажите, когда назад, чтоб не стрельнули». Я сказал: ночью. Он кивнул и записал.

Вот это и был наш «согласованный выход», о котором так гладко пишут в бумагах: лейтенант с забинтованной рукой, который знает, что мы поедem, и запишет, когда мы вернёмся. Больше ничего. И этого, если честно, было достаточно.

Мне хотелось ехать быстрее. Я ловил себя на этом всю дорогу — на том, как я смотрю на спидометр, на то, как Артист берёт повороты, на солнце, которое, как мне казалось, падает слишком быстро. Я хотел увидеть эту машину. С того часа, как вернулись с ящиками, с того момента, как водитель в ватнике сказал «с будкой», я думал только о ней — так, как думаешь о вещи, которую тебе показали в витрине и сказали, что сегодня её ещё не продают. Я это понимал, и понимал, что это неправильно, и всё равно смотрел на спидометр.

Фрол, видимо, тоже понимал. Когда мы свернули с дороги на просёлок — тот самый, что показал водитель, узкий, в две колеи, уходящий в сосны, — он постучал в заднее стекло, и Артист встал, и Фрол слез и подошёл к моему окну.

— Дальше — пешком, — сказал он. — Машину — сюда, в кусты, задом, чтобы выезжать носом. Семён при ней. Нас шестеро, Семён остаётся при машине. Километра два, если водитель не соврал.

— Не соврал, — сказал я.

— Тогда два. — Он посмотрел на меня. — Алексей Палыч. Ты когда её увидишь — не беги. Второй день за тобой смотрю — так и тянет тебя к чужому рулю.

— Не побегу.

— Вот и посмотрим, — сказал Фрол.

* * *

Он был прав, и я это признаю, потому что рассказываю честно.

Через полтора километра просёлок сделал поворот, и лес расступился, и мы увидели двор. То есть — я увидел двор. Фрол увидел что-то другое, но сначала расскажу, что увидел я.

Мы лежали в кустах у поворота, на пригорке, откуда просёлок уходил вниз и упирался в ворота. Ворота были распахнуты. За ними, метрах в двухстах, стоял большой сарай, каменный, с широкой крышей, — бывшая, наверное, кузница или мастерская при какой-то усадьбе, — и перед сараем, на утоптанной площадке, стояла машина. Серая. «Опель», такой же, как наш, с той же тупой мордой, — только вместо бортового кузова у него была будка: высокий закрытый кузов с покатой крышей, с дверью сзади и маленьким окном сбоку. Мастерская. Я знал, как

выглядят мастерские на колёсах, я их видел в той жизни десятки, — и эта была именно она: не фургон, не санитарка, а рабочий кузов, в котором внутри верстак, а снаружи — откидной борт.

Она стояла тихо. Никого вокруг. Ворота открыты, площадка пуста, дверь сарая прикрыта. Вечер, тень от сарая легла на половину двора. Ни звука, ни движения.

— Брошена, — сказал я.

Я сказал это тихо, но с такой уверенностью, что сам её услышал. Брошена. Стоит. Они ушли, оставили, и вот она стоит, и до неё двести метров, и надо просто спуститься и...

— Погоди, — сказал Фрол.

Он лежал рядом и смотрел не на машину. Он смотрел на сарай, на угол сарая, на тень.

— Что?

— Ты видишь ворота и машину. — Он говорил медленно, как говорят, думая. — Ты не видишь двор. Двор — за сараем. Сарай длинный, он закрывает всё, что за ним. И слева, за забором, — там тоже что-то есть, я вижу крышу. Мы видим то, что нам показывают: пустую площадку и машину. Может, она и брошена. А может, за сараем — десять человек, и они ужинают.

— Как проверить?

— Обойти. — Он показал рукой: вправо, в лес, по дуге, туда, где за двором поднимался пологий холм, поросший соснами. — Оттуда, с горки, двор будет как на ладони. Весь. Полчаса ходу.

Полчаса. Солнце уже касалось верхушек. Я посмотрел на машину, стоящую внизу, тихую, серую, в двухстах метрах, — и на Фрола. И вот тут я, честно скажу, подумал: а что, если он прав, и за сараем никого нет, и мы потратим полчаса на то, чтобы посмотреть на пустой двор с другой стороны, и стемнеет, и мы уедем ни с чем?

А потом я подумал другое. Я подумал: он видит крышу за забором, а я не вижу. Он думает про то, что за сараем, а я думаю про машину. Я двадцать лет учил Витьку: не лезь к фуре, пока не обошёл кругом. Не лезь. Обойди.

— Идём, — сказал я.

— Не бежишь? — спросил Фрол.

— Не бегу.

— Ну и молодец, — сказал он совершенно серьёзно и пополз назад, в лес.

Мы обошли. Полчаса — это Фрол сказал щедро, вышло минут сорок, потому что шли тихо, а тихо по лесу — это медленно, и комары ели нас так, будто нас им обещали. Но когда мы вылезли на холм и легли между сосен, и я посмотрел вниз, — я понял, что такое «обойти», понял всем собой, как понимаешь, когда ошибся и тебя вовремя удержали.

Двор был живой.

За сараем — тем самым, который закрывал всё с дороги, — была вторая площадка, больше первой, и на ней было человек восемь. Не десять — восемь, Фрол сосчитал сразу и сказал: «восемь, двое у ворот в лес, один на углу, за ним пулемёт, пятеро работают». Работали они у машины — той же самой, серой, с будкой, — только теперь я видел её с другой стороны, с рабочей: задняя дверь открыта, откидной борт опущен, и на нём разложен инструмент, и двое стоят у борта и что-то делают, а третий носит из сарая ящики, и ставит их у колеса, и возвращается за следующим. У ворот, что выходили в лес — вторые ворота, с той стороны, откуда мы теперь смотрели, — стояли двое с винтовками, и оба смотрели не в лес, а во двор, на работу, и один курил. На углу сарая, под навесом, лежал пулемёт на сошках — я его не сразу разглядел, разглядел Фрол, — и возле него сидел человек, спиной к стене, и, кажется, дремал.

И ещё во дворе была повозка с двумя лошадьми, распряжёнными, и на повозке тоже лежали ящики.

— Не брошена, — сказал я.

— Работают, — сказал Фрол. — Лежи. Досмотрим.

Я лежал и смотрел, и во мне, знаете, одновременно было два чувства, и оба сильные. Первое — стыд: если бы я побежал, как хотел, то выбежал бы на пустую площадку перед сараем, и из-за угла в меня выстрелил бы тот, кто сейчас дремлет у пулемёта, и, наверное, попал бы. Второе — удовольствие, странное, почти детское: она не брошена, она живая, возле неё работают, её готовят к дороге, — значит, шанс получить исправную мастерскую ещё есть.

— Фёдор, — сказал я. — Спасибо.

— За что?

— За то, что я не побежал.

— Это ты сам не побежал, — сказал Фрол. — Я только сказал «погоди».

* * *

Мы лежали на холме до темноты, а темнело в тот вечер долго, и я расскажу, что мы видели, потому что каждый из нас видел своё, и всё вместе сложилось в то, с чем мы потом вернулись.

Профессор видел надпись.

На боку будки, на серой стенке, крупно, белым, была нанесена надпись — не имя, не название, а служебная строка, буквы и цифры, какие немцы ставили на своих машинах, чтобы своя же служба знала, чьё это. Профессор смотрел на неё долго, прищурившись, — было далеко, метров сто пятьдесят, и свет уходил, — и потом сказал, не мне, а Деду, который лежал рядом:

— Это та же самая.

— Какая та же самая? — спросил Дед, не отрываясь от машины.

— Та, что в бумагах с «Опеля». Там в накладных, где выдача, есть получатель — сокращение и номер. Я его выписал, помнишь, я говорил — три названия и два непонятных. Так вот одно непонятное — не название. Это не место. Это они. — Он кивнул вниз. — Вот эта надпись. Это подразделение, которое получало. Ремонтное. Которому выдавали.

— То есть?

— То есть тот грузовик, что мы взяли вчера, вёз для них. Или от них. Он — их. И эта — их. Одна и та же... — он искал слово, — контора.

— Контора, — повторил Дед и, кажется, впервые за вечер оторвался от машины и посмотрел на Профессора. — А сколько у конторы таких машин, ты по надписи скажешь?

— Нет, — сказал Профессор честно. — По надписи — нет. Надпись говорит, чьё. Не сколько. И не где остальные. Я не буду угадывать.

— Правильно, — сказал Дед. — Не угадывай. Я тебе скажу, что вижу я.

И он сказал. Он лежал, подперев подбородок кулаками, и говорил тихо, ровно, как человек, который читает вслух то, что перед ним написано.

— Борт откидной — верстак. Не стол, а верстак, на кронштейнах, видишь, как стоит — не качается. На нём — тиски, маленькие, я их отсюда вижу по тому, как тот, с ключом, за них держится. Ящики, что носят из сарая, — это инструмент, тяжёлый, видишь, как несёт, двумя руками, а ящик небольшой. Значит, металл. Значит, ключи или оправки. Дверь сзади — открыта, внутри свет, — лампа переносная, значит, есть чем светить. Внутри — полки, вижу край. Что на полках — не вижу. Что в ящиках — не вижу. Есть ли там станок — не знаю, но не думаю: под станок кузов был бы другой, шире и ниже, а этот — обычный. — Он помолчал. — Верстак, тиски, свет, полки, инструмент в ящиках. Всё. Больше не скажу, пока внутрь не зайду.

— А ты зайдёшь, — сказал Профессор.

— Я зайду, — сказал Дед так, что стало ясно: это не надежда, а намерение.

А я видел движение.

Это моя работа — видеть, как движется груз, и я её делал, лёжа на холме между сосен, как делал бы её на своей площадке. Я видел, что машина стоит носом к воротам в лес, а не к сараю: её уже развернули, чтобы выезжать. Я видел, что ящики, которые носят из сарая, ставят

у колеса, а не в кузов — значит, ещё не грузят, а готовят; грузить будут потом, когда кончат то, что делают у борта. Я видел, что делают у борта — не видел, что именно, но видел, как: двое, склонившись, с инструментом, над чем-то, что лежит на верстаке, и третий подаёт, и они не спешат. Это была работа. Не сборы — работа. Они что-то чинили. И пока они чинили, машина стояла.

— Похоже, ждут окончания работы, — сказал я. — Потом погрузят ящики и поедут. Машина уже носом на выезд.

— Мотор-то живой? — спросил Фрол.

— Надеюсь. Перед сараем стояла, теперь за сараем, носом на выезд. Сама могла пройти, пока мы обходили.

— А могли и перекатить.

— Могли, — согласился я. — Значит, подождём. Перед дорогой им всё равно её заводить.

— Лежим, — сказал Фрол.

И тут внизу переменялось.

Тот, кто носил ящики, поставил последний — и не пошёл за следующим. Вместо этого он подошёл к кабине, открыл дверцу, залез, и через минуту мы услышали — снизу, через сто пятьдесят метров, через вечер, — как мотор завёлся. Завёлся хорошо, ровно, шестёркой, я эту шестёрку узнал, как узнают голос, и водитель дал газ, послушал, сбросил, послушал ещё — так слушают мотор перед дорогой, — и заглушил. И вылез. И подошёл к своим у борта, и что-то сказал, и те у борта — я видел — стали убирать. Не работать — убирать. Складывать инструмент с верстака в ящик.

— Кончили, — сказал Дед.

— Теперь — грузить, — сказал я. — И ехать могут хоть сейчас.

— До утра простоят? — спросил Фрол.

— Может, простоят. — Я кивнул на небо, где уже не было солнца. — На ночь по такой дороге с грузом я бы не полез. Но за них не решу. Надо вернуться со своими к рассвету; позже можем застать пустой двор.

Пока он считал, мы лежали молча, и комары делали своё дело, и я, чтобы не думать о них, думал о том, что вот сейчас, в эту минуту, внизу восемь человек заканчивают работу и не знают, что за ними смотрят с холма; и что вчера утром я точно так же не знал, что за повозкой лежит человек с винтовкой. Это было странное чувство — не превосходства, а какой-то ответственности за то, что знаешь. Фрол, видимо, думал о чём-то похожем, потому что вдруг сказал, не поворачивая головы:

— Алексей Палыч. Вчера. У повозки. Ты почему не лёг?

— Когда?

— Когда он поднялся. Ты стоял с рукой. Любой бы лёг. Ты — нет.

Я подумал. Можно было ответить «не успел», и это была бы половина правды. Но он спрашивал по-настоящему, и я ответил по-настоящему.

— Машина шла задом. Если бы я лёг, Семён потерял бы руку — мою, в зеркале, — и дёрнулся бы. В кювет или на оглоблю. Это раз. — Я помолчал. — А два — я хотел, чтобы вы видели, что я умею. Первый день. Вы меня знаете, а я вас — как будто заново. Хотел показать.

Фрол помолчал.

— Показал, — сказал он. — Только больше так не показывай. Мне тебя потом Деду объяснять.

— Не буду.

— Будешь, — сказал он. — Но я тебя предупредил.

Фрол лежал и смотрел вниз, и я видел, как он считает — не машину, людей: двоих у ворот, того на углу с пулемётом, пятерых у борта. Считает, как они стоят, куда смотрят, где лес подходит к забору, где двор просматривается, а где нет.

— Двое у ворот — смотрят во двор, — сказал он наконец. — Пулемёт на углу — один, и он спит, а если не спит, то не видит лес: угол закрыт навесом. Пятеро работают, оружие — у стены сарая, я вижу, стоят винтовки, пять штук, в ряд. Их нужно брать не ночью — ночью они спят у стены, рядом с винтовками. Утром. Когда они встали, разошлись по работе, и оружие — там, а они — здесь. Идти — от леса, с этой стороны, к воротам, где двое. Двоих снять тихо — и весь двор наш, потому что пулемёт не видит, а пятеро — без винтовок. Если пулемёт проснётся — по нему первым, из леса, ДП, он тут как раз ляжет, я место вижу. — Он помолчал. — Это если утром они стоят так же, как сейчас. Если не так — буду смотреть утром. Это я тебе, Алексей Палыч, не обещаю. Это я тебе говорю, что вижу.

— Мне нужна машина, — сказал я. — Целая. На ходу. С тем, что в ней. Мне не нужен сарай. Не нужна повозка. Не нужно, чтобы взяли всех до одного. Мне нужно, чтобы её никто не поджёг, не прострелил и не успел выгнать в лес. Всё остальное — твоё, как ты скажешь.

— Понял, — сказал Фрол. — Значит, первое — водитель. Чтобы не сел. Второе — пулемёт, чтоб не стрельнул по кузову. Третье — все остальные. — Он подумал. — Двадцать человек мне не надо. Надо восемь. С ДП. И чтобы никто не бежал впереди.

— Никто не побежит, — сказал я.

— Я это уже слышал сегодня, — сказал Фрол, и в темноте я услышал, что он усмехается.

* * *

Обратно мы шли в полной темноте, и это было долго, и я не буду рассказывать про два километра леса ночью, потому что там нечего рассказывать, кроме комаров и корней. Скажу только, что Фрол шёл первым и ни разу не сбился, и что стрелок с хорошими глазами шёл последним и дважды останавливал нас, и оба раза это была птица.

Артист ждал у машины. Он не спал — он сидел на подножке в темноте, с ПППШ на коленях, и когда мы вышли из кустов, он не вскочил, а сказал тихо: «Свои?» — и Фрол ответил, и тогда он встал. Мы сели: я в кабину, остальные в кузов, и Артист вывел ЗИС из кустов носом вперёд, без света, как и загнал, и только на просёлке включил фару.

На обратной дороге остановились у своего поста: нас записали, а я попросил Артиста заглушить мотор на несколько минут и подошёл к кузову. Надо было сразу решить, кем вывозить мастерскую, если утром её возьмём. Фрол как раз говорил об этом с Дедом.

— Кто поведёт? — спрашивал Фрол. — Вот возьмём мы её. Она на ходу. Кто поведёт?

— Я поведу, — сказал Дед.

— Ты не водитель.

— Я не водитель, — согласился Дед. — Но я её поведу. Я её из этого двора выведу и до наших доведу, потому что я знаю, что у неё внутри, — то есть не знаю, но узнаю, как только сяду, — и я не дам её никому, кто её не понимает.

— Григорий, — сказал Профессор мягко. — Ты сейчас говоришь как человек, который хочет её потрогать.

— Я хочу её потрогать! — сказал Дед с такой силой, что Артист в кабине засмеялся. — Что, нельзя? Я сегодня увидел лампу и обрадовался как маленький. А это — не лампа. Это — вот что: верстак, который не качается. Тиски на верстаке, который не качается. Свет. Полки. Я тридцать лет чинил машины на земле, на коленях, при свечке, — и вот стоит будка, в которой всё это есть, и она — на колёсах, и она — в двух шагах, и вы мне говорите «кто поведёт»? Да я её на руках унесу!

В кузове засмеялись — оба стрелка, и Профессор, и Фрол громче всех.

— На руках не надо, — сказал Фрол. — Она три тонны. Ты её поведёшь, а по дороге сядешь в кювет, потому что будешь смотреть не на дорогу, а на полки. Нет. Водитель — водитель.

— Семён? — спросил Профессор.

— Семён — на своём, — сказал я, положив руки на борт. — Семён ведёт ЗИС, а ЗИС нам там нужен: люди, ДП, обратная дорога. Одновременно две машины он не поведёт. Гаврила — на «Опеле», и «Опель» пойдёт с нами, потому что восемь человек Фрола, ДП, мы и ещё место под то, что возьмём с машиной, — в один ЗИС не влезут. Остаётся один.

Стало тихо, и я слышал, как они все одновременно вспомнили.

— Второй водитель, — сказал Фрол. — Наш. Который пока в кузове.

— Он, — сказал я. — Он сидит без руля с того дня, как Гаврила взял «Опель». Он водитель. Ему нужен руль. Вот ему и руль — на первый выезд: из двора и до точки. Дальше — посмотрим. Майор обещал людей; придут — будет постоянный. Не придут — останется он.

— Он справится? — спросил Профессор.

— Он водитель, — сказал Фрол. — Немец — это тот же ЗИС, только передач больше. Справится. Гаврила же справился. — Он помолчал. — А Дед сядет к нему рядом. В кабину. И будет всю дорогу думать о полках. Григорий, это тебя устроит?

— Устроит, — сказал Дед, и по голосу было слышно, что он улыбается. — Только не через стекло. Я сначала внутрь зайду. Пять минут. Потом поедем.

— Три, — сказал Фрол.

— Пять!

— Три минуты, Григорий, и я тебя вытащу за ногу. Там двор не наш, там лес кругом. Три.

— Четыре, — сказал Дед, и они на этом сошлись, и Профессор сказал: «Свидетель», — и все опять засмеялись, и я тоже, и Артист в кабине.

— Куда её? — спросил Профессор, когда отсмеялись.

— На точку, — сказал я. — К нашему второму ЗИСу. Рядом. Чтобы Дед в неё зашёл — и через час у него был радиатор. У него будет и лампа, и олово, и верстак. И машина стоит рядом. Вот для этого она нам и нужна — не чтобы стоять, а чтобы чинить. Первое, что она починит, — наше.

— А сарай? — спросил Фрол. — Там же ящики. Повозка. Там, может, ещё что.

— Сарай — не наш, — сказал я. — Что успеем взять с машиной — возьмём. Что не успеем — доложим, и трофейная служба заберёт, когда дорога будет наша. Мы не за сараем едем. Мы за машиной. Если мы полезем в сарай — мы потеряем машину, потому что пока мы будем таскать ящики, кто-нибудь заведёт её и уедет. Машина — первое. Сарай — потом. Кто-нибудь. Не мы.

— Жалко, — сказал Дед.

— Мне тоже, — сказал я. — Но ты мне сам утром скажешь: три ящика или машина?

— Машина, — сказал Дед мгновенно. — Что ты меня спрашиваешь.

Я вернулся в кабину, Артист завёл мотор. Мы ехали. Фара выхватывала дорогу, по обочинам стояло всё то же, что днём, только чернее. У следующего поста, у сгоревшего хутора, нас окликнули, и Артист встал, и лейтенант с забинтованной рукой вышел к машине, посмотрел на меня и сказал: «Записал. Живые?» — «Живые». — «Утром опять?» — «Утром опять». — «Тогда я предупрежу по цепочке. Чтоб не стрельнули». И записал ещё раз.

На точку мы пришли во втором часу. Дежурный не спал. Князь тоже — он вышел к машине, посмотрел на нас, сосчитал, увидел, что все, и только тогда сказал: «Кипяток есть». И был кипяток, и был хлеб, и все сидели у бочек, в темноте, и Дед рассказывал Князю про верстак, который не качается, и Князь слушал так, как слушают человека, который видел чудо, и переспрашивал: «А полки — деревянные или железные?» — и Дед отвечал: «Не разглядел», — и это его, кажется, мучило больше всего.

А я сидел с кружкой и думал о водителе — нашем, втором, который сейчас спал в кузове «Опеля», не зная, что утром сядет за руль. Я его почти не знал. Я знал, что он водитель, что он пока ездил в кузове и ни разу ничего не сказал, и что завтра ему дадут машину, которую он никогда не водил, и двор, который не наш, и четыре минуты, пока Дед будет ходить внутри.

Я думал, что скажу ему это утром просто: «Ты поведёшь». И что он, наверное, ответит так же, как Гаврила: ничего. И положит руки на руль.

Глава 6

Второму водителю я сказал это в четвёртом часу утра, в темноте, у бочек, когда люди уже грузились: «Ты поведёшь». Он посмотрел на меня, потом на «Опель», потом опять на меня — и спросил только одно: «Немца?» — «Немца. С будкой». Он кивнул и полез в кузов первого ЗИСа, и всю дорогу, тридцать километров, сидел там молча, и я его понимал: он два дня ехал в кузове чужой машины, а теперь ехал в кузове чужой машины к своей.

Ехали двумя: первый ЗИС с Артистом, я рядом; «Опель» с Суровым, Дед рядом. В кузовах — восемь бойцов: Фрол, Исаев и все шесть стрелков с ДП; Профессор; Устинов, который сказал, что раз стреляют, то он едет, и это не обсуждается; и второй водитель. Пятнадцать. На точке остались Князь с обоими механиками. Трое. Второй ЗИС под соснами с открытым капотом Князь обещал стеречь, как стергут дом.

Лейтенант с забинтованной рукой на посту у хутора не спал. Он вышел к машине, посмотрел на два грузовика и людей в кузовах, и сказал: «Понял. По цепочке передано. Назад — как?» — «К полудню». — «Если после полудня — пришлите кого-нибудь вперёд, я предупрежу». И записал. Я подумал, что человек с этой книжечкой, наверное, спас за войну больше народу, чем иной с орденом, и что никто ему за книжечку ничего не даст, и что он это знает и всё равно пишет.

На просёлок мы свернули, когда небо на востоке уже серело, и машины загнали туда же, где вчера стоял один ЗИС, — задом, в кусты, носом на выезд, — и дальше пошли пешком, и на этот раз я не смотрел на часы, которых у меня не было, а смотрел под ноги, потому что Фрол сказал «тихо», и это значило тихо.

* * *

С холма двор был тот же, и не тот же.

Тот же — потому что сарай стоял, где стоял, и машина стояла, где мы её оставили вечером, носом к лесным воротам. Не тот же — потому что вчера они работали, а сегодня собирались. Это было видно сразу, с первого взгляда, как видно с первого взгляда, что люди уезжают: ящики, что вчера стояли у колеса, уже были в кузове, задняя дверь будки закрыта, откидной борт поднят и закреплён, — а во дворе запрягали лошадей. Двое возились с повозкой, третий выносил из сарая последнее — какой-то ящик, небольшой, окованный, я видел, как он несёт: двумя руками, с наклоном, тяжёлый, — и ставил его на повозку, не в машину. Двое у ворот стояли, как вчера, и курили, как вчера. Пулемётчик на углу сидел, и на этот раз не дремал: смотрел в лес. Но не в наш лес. В тот, куда выходили ворота.

— Быстрее, чем я думал, — сказал Дед тихо, и в голосе его была настоящая обида. — Они же не кончили. Они вчера не кончили, я видел!

— Кончили ночью, — сказал я. — Или решили, что кончили.

— Ящик на повозку несут, — сказал Дед. — Тот, окованный. Это инструмент. Это, Алексей Палыч, не абы что, это...

— Григорий, — сказал Фрол, не оборачиваясь. — Потом.

Дед замолчал.

Фрол лежал и смотрел, и я видел, как он сравнивает: то, что вчера, с тем, что сегодня. Двое у ворот — так же. Пулемёт — не так: не спит. Пятеро — не у борта, а в разных местах: двое у повозки, один ходит, двое я не видел — в сарае, наверное.

— Хуже, чем вчера, — сказал Фрол. — Пулемёт проснулся. Зато водитель не в кабине, и машина закрыта, и ей ехать — надо сначала запрячь, а они запрягают повозку, а не её. Значит, повозка первая. Машина — за ней. Минут десять у нас есть. Может, пятнадцать.

— Мне нужна машина, — сказал я.

— Знаю. — Он повернулся к своим, лежавшим за ним в ряд. — Слушать. ДП — сюда, на этот край, стволом на угол. Угол — ваш. Как я пойду — по углу, сразу, не ждать. Исаев — с двумя — правым краем, вдоль забора, к тем воротам, что на просёлок, чтобы никто не ушёл на дорогу. Стоять там, держать. Двое со мной — к лесным воротам, к тем двоим. Тихо, пока можно; как нельзя — громко. — Он повернулся ко мне. — Ты, водитель, Григорий — за мной, но не со мной. Отстать на двадцать шагов. Ваше — машина. Как я скажу «пошли» — идёте к кабине, и всё. Не к сараю, не к повозке, не к пулемёту. К кабине. Григорий, ты слышишь?

— Слышу, — сказал Дед.

— Профессор — с ними. Крикнуть, когда я скажу. Устинов — за ДП, ждать. Всё.

И пошёл.

* * *

Я расскажу это так, как видел, а видел я мало, потому что двадцать шагов позади человека, который идёт через лес к вооружённым людям, — это не то место, откуда видно всё.

Фрол и двое шли вниз по склону между сосен — не крадучись, а просто тихо, как ходят по лесу за грибами, — и я видел их спины, и видел за ними, внизу, ворота, и двоих у ворот, которые курили и смотрели во двор. Метров сто. Потом восемьдесят. Потом Фрол поднял руку, и двое за ним легли, а он пошёл один, и я подумал, что вот сейчас, и оказалось — да, сейчас: один из тех, у ворот, повернул голову, увидел, открыл рот — и Фрол побежал.

Дальше всё стало быстро и громко.

Тот, кто увидел, вскинул винтовку, и не выстрелил, потому что двое за Фролом выстрелили раньше, и он упал. Второй бросил винтовку и поднял руки — сразу, я видел, как она упала в траву. И в ту же секунду с угла сарая заработал пулемёт — не по Фролу, по лесу, наугад, туда, откуда стреляли, — длинно, зло, несколькими очередями, и я вжался в землю, и Дед рядом вжался, и над нами полетели ветки. А потом с нашего края, сзади, из-за спины, ударил ДП — короткими, три, четыре, — и пулемёт на углу замолчал. Не сразу — ещё дал одну, короткую, вбок — и замолчал совсем.

— Пошли! — крикнул Фрол снизу.

И мы пошли.

Я бежал вниз по склону и видел одновременно много всего, и всё это было не то, на что надо было смотреть. Я видел, как из сарая выскакивают двое с винтовками и стреляют — не прицельно, в сторону ворот, — и как двое Фрола отвечают из-за столбов. Я видел, как у повозки человек бьёт лошадей и как повозка, с ящиками, с тем окованным ящиком, срывается с места и уходит в другие ворота — те, дальние, на просёлок, — и как там, у дальних ворот, поднимается Исаев с двумя, и стреляет, и повозка не останавливается, а летит, и Исаев не бежит за ней, потому что ему сказано стоять, и он стоит. Я видел, как из-за угла сарая, от замолчавшего пулемёта, отползает человек, и как Устинов, оказывается, уже бежит вниз со своей сумкой — не к нашим, к нему. Я видел всё это — и не смотрел.

Я смотрел на кабину.

Она была в тридцати метрах, потом в двадцати, серая, закрытая, с дверцей, и к ней с другой стороны, от сарая, бежал человек. Немец. Водитель — я понял это по тому, как он бежал: не с винтовкой, а с чем-то маленьким в руке, с ключом, наверное, — и бежал именно к дверце, к водительской, и до неё ему было столько же, сколько нам.

— Дверца! — крикнул я второму водителю, и он понял.

Он был быстрее меня. Он был моложе и проворнее меня, и он добежал первым, и не к водительской — к правой, к пассажирской, и рванул её, и она открылась, и он влетел внутрь, поперёк сиденья, лицом к другой дверце, — и когда немец снаружи распахнул водительскую, он увидел не пустую кабину, а человека, лежащего на сиденье с ППШ, направленным ему в живот.

Немец остановился. Ключ у него в руке — это был ключ, я теперь видел, — он не бросил, а как-то очень аккуратно положил на подножку. И поднял руки.

Я подбежал и взял ключ.

— В кабину, — сказал я водителю. — За руль. Не заводи.

И повернулся, и увидел Деда.

Дед не бежал к кабине. Дед стоял у борта, у откидного борта, который был поднят и закреплён, и отстёгивал его, и борт упал с грохотом, и на нём — на верстаке — ничего не было, всё было убрано. И Дед посмотрел на пустой верстак с таким лицом, будто у него отняли, — и повернулся, и увидел то, что лежало снаружи.

А снаружи лежало много. Не всё они успели убрать: у колеса стоял ящик, второй, раскрытый, с ключами; у стены сарая, на бревне, лежал ряд напильников, разложенных по размеру, как их раскладывает человек, который завтра будет ими работать; на пне у входа стояла переносная лампа, та самая, что светила вчера в открытой двери; и ещё какие-то оправки, и коробка, и свёрток. Это они не успели. Это они бросили бы, если бы уехали. И Дед пошёл к этому — не к кабине, а к напильникам, — и Профессор, шедший к кабине за бумагами, подхватил лампу. Дед тем временем уже присел над ящиком у стены и тянул к себе ещё какую-то коробку, и в сарае ещё стреляли, и Фрол с двумя работал у той стены, и это было — вот это было — то, что я знал по своей площадке, как знают собственную руку: момент, когда груз открыт, и все тянут каждый своё, и через минуту не будет ни груза, ни порядка, а будет куча людей с вещами в руках и одна машина, которую никто не ведёт.

— Стоп! — крикнул я.

Я крикнул так, что сам испугался, и они остановились. Все.

— Всё, что взяли, — в кузов. Не себе — в кузов. В будку. Григорий, ты выбираешь, что вернуть внутрь, — только ты, — и оно идёт внутрь, а не в карман. Две минуты. Потом мы едем. Не с ящиками — с машиной. Кто с вещью в руках через две минуты — бросает вещь и садится в кузов. Сарай — не наш. Повозка ушла — ушла. Мы берём машину. Целиком. Всё, что в ней, — наше. Всё, что не в ней, — не наше. Понятно?

— Понятно, — сказал Профессор с лампой, отнёс её в будку и вернулся во двор к Фролу. Лампа поедет с машиной; сам он ещё нужен был здесь.

Дед стоял с напильниками в руках. Не с одним — с рядом, как их и держат, — и смотрел на меня.

— Алексей Палыч. Там, в сарае, — я вижу отсюда — стеллаж. Что на нём — не знаю. Дай мне пять минут. Три.

— Нет.

— Григорий! — крикнул Фрол от сарая, и голос у него был такой, каким он, наверное, говорил редко. — Там двое с винтовками. Я их держу. Я их не выкурю ещё десять минут. Ты в этот сарай не пойдёшь, потому что я тебя туда не пушу. Клади свои напильники в кузов и садись!

Дед посмотрел на сарай. На Фрола. На напильники. И — я это видел, я это запомнил — сделал то, что делает человек, у которого отняли, но которому оставили главное: пошёл к будке, залез в дверь, положил напильники на полку внутри — я видел, что на полку, аккуратно, — и вылез, и поднял ящик с ключами, и тоже занёс, и ещё оправки, и коробку, и свёрток, — за две минуты, молча, как грузят своё. И вылез, и захлопнул дверь, и сказал:

— Верстак пустой. Ящика того — нет. Того, окованного. Он на повозке. Ушёл.

— Она в лесу, — сказал я. — Исаев стоял, где сказано.

— Там были ключи. И измерительный. Я по тому, как несли, видел.

— Григорий, у нас есть измерительный. Ты его вчера у мастера выпросил.

Дед посмотрел на меня — и вдруг засмеялся. Коротко, зло, как смеются над собой.

— Выпросил, — сказал он. — Правда. Ладно. Поехали.

И полез в кабину, справа от водителя.

* * *

Фрол создал нам выезд так, как обещал: не выкуривая сарай, а закрыв его.

Он оставил у той стены своих двоих, чтобы двое с винтовками внутри не могли высунуться в дверь, — и они не высовывались, стреляли из окна наугад, и пули шли поверху, в лес, — и повернулся к воротам, к лесным, и крикнул мне: «Дорога чистая! Выводи!» — и это было всё, что мне было нужно.

— Заводи, — сказал я водителю.

Он завёл. Ключ, стартер, — шестёрка схватила сразу, ровно, как вчера вечером, когда мы слышали её с холма, — и он послушал её, как слушал Суров, и посмотрел на меня.

— Тихо, — сказал я. — Первая. По руке.

И встал перед машиной, лицом к кабине, спиной к воротам, и поднял руку, — и знаете, что я подумал в эту секунду? Что вот я стою в третий раз за три дня перед грузовиком с поднятой рукой, и что Фрол это видит, и что он мне вечером это припомнит. И что мне всё равно.

Машина пошла. Тяжёлая — будка, ящики, — тяжелее «Опеля» с ящиками вчера, но пошла ровно, и водитель держал сцепление так, как держат в первый раз на чужой машине: слишком осторожно и оттого правильно. Ворота были широкие. Просёлок за ними — узкий, но прямой. Я вёл его до ворот пешком, потом вскочил на подножку, а за воротами велел останавливаться. Дед слез с правой стороны и забрался в будку: «Я должен посмотреть, что там едет». Я занял освободившееся место, и только тогда водитель снова тронулся.

Сзади, во дворе, ещё стреляли — редко, лениво, — а потом перестали, и я услышал, как Фрол кричит что-то, и Профессор кричит по-немецки, и потом — тишину, и потом голоса, и понял, что сарай кончился.

Через триста метров, на просёлке, я велел встать.

Мы стояли и ждали, и за нами, из ворот, вышли все: Фрол, стрелки, Исаев со своими, Устинов, ведущий под руку человека с перевязанной ногой — того, с пулемёта, — и четверо пленных с поднятыми руками — водитель, тот, что бросил винтовку у ворот, и двое из сарая, — и Профессор с планшетом. Один остался во дворе, у ворот, и его я больше не видел. Повозки не было. Она ушла в лес, и Исаев сказал: «Не догнать. Две лошади. Я стрелял по колёсам — не попал», — и Фрол сказал: «Не надо было догонять. Ты стоял, где сказано. Хорошо».

Пленные шли под Исаевым и двумя стрелками, отдельно, и Исаев нёс на плече кроме своей винтовки ещё одну вещь, которую снял с угла сарая, — пулемёт. Немецкий, с лентой, с сошками, — и нёс его не как трофей, а как вещь, с которой знаком: на ремне.

Мы дошли до машин. Там, на просёлке, у кустов, стояли наши — ЗИС с Артистом, «Опель» с Суровым, — и когда из-за поворота вышла будка, серая, высокая, на своих колёсах, своим ходом, Артист вылез из кабины и не сказал ничего. Просто стоял и смотрел. И Суров вылез. И они стояли по обе стороны просёлка, два наших водителя, и смотрели, как второй водитель — наш, третий, — подводит трофей и ставит рядом с «Опелем»: серое к серому, будка к борту, две немецкие машины, одна другой хуже, с точки зрения тех, кто их делал, и одна другой лучше, с нашей.

— Ну, — сказал Артист наконец. — Гаврила. Твоя всё ещё лучше.

— Знаю, — сказал Суров.

— Моя тоже.

— Знаю, — сказал Суров и полез обратно в кабину.

Дед вылез из будки. Он ходил там, внутри, пока мы стояли, и теперь вылез, и лицо у него было такое, что я даже не спросил. Он подошёл к кабине и сказал водителю: «Открой капот», — и тот открыл, и Дед сунулся, и пробыл там ровно столько, сколько надо, чтобы посмотреть масло и воду и послушать, как крутится. И вылез. И сказал мне:

— До точки доедет. Мотор — ровный. Вода — есть. Масло — есть. Тормоза сейчас проверим на ровном, до спуска. Водитель, слышишь? Только после проверки двинемся дальше.

— Слышу, — сказал водитель.

— Внутри, — сказал Дед, и голос у него изменился, — верстак. Тиски. Полки — железные, Василию скажу. Инструмент — половина. Ключей — треть от того, что надо. Измерительного — нет. Лампа — есть. — Тут Дед покосился на Профессора, и тот поправил ремень планшета. — Напильники. Дрель ручная. Расходники — прокладки, шланги, трубка медная, крепёж. Ветошь. — Он помолчал. — Это половина мастерской, Алексей Палыч. Вторая половина уехала на повозке.

— А наша половина? — спросил я. — Та, что с двора. Ключи, измерительный.

Дед подумал.

— С нашей — будет три четверти. Может, больше. — И вдруг понял то, что я сказал, и посмотрел на меня, и лицо у него стало светлое. — Ты поэтому ящики брал. Вчера. Не для ЗИСа. Для этого.

— Для этого, — сказал я. — И для ЗИСа. Григорий, поехали. Полдень.

— Успеем, — сказал Дед и полез в кабину.

* * *

Обратно шли трем. Впереди ЗИС с Артистом и людьми Фрола; за ним будка — второй водитель за рулём, Дед рядом; замыкал «Опель» с Суровым, с пленными, Исаевым и Устиновым. Я ехал в будке — не в кабине, внутри, на ящике, между полками, потому что хотел посмотреть сам, и потому что Профессор сидел там же, на другом ящике, с планшетом, и читал.

Читал он то, что взял из кабины, — из ящичка под щитком и из-за козырька, — обычные бумаги: путёвки, записи, накладные, такие же, как позавчера, только больше. Он читал молча, минут двадцать, пока мы тряслись по просёлку, и я не мешал, я смотрел на полки — на железные полки, на тиски, привинченные к верстаку так, что не качались, на моток медной трубки, — и думал, что Дед был прав: это была половина мастерской, но половина настоящая.

— Алексей Павлович, — сказал Профессор.

Я повернулся.

— Скажу, что есть. Потом — что думаю. — Он поднял листок. — Это запись выдачи. Двадцать пятого июня. Позавчера. Здесь, с этой машины, выдали расходники — масло, прокладки, ещё что-то, я не всё разобрал, — подвижной ремонтной группе. Так и написано: подвижная ремонтная группа. И написано, чья. — Он посмотрел на меня. — Майора Курта Хеннинга.

Я молчал.

— Это имя, — сказал Профессор. — Не должность, не номер. Имя. Курт Хеннинг, майор. Он получатель. То есть эта мастерская — она не его. Она — при них, она их снабжала. Позавчера снабдила в последний раз. И дальше — вот это. — Он показал строчку. — Следующее получение. Не место — направление. Любанское.

— Любань?

— Любанское направление. Не «в Любани». Не «у Любани». Направление. То есть — туда. На запад отсюда. Где именно — не написано. Когда — не написано. Кто ещё будет получать — не написано. — Он опустил листок. — Вот это я знаю. А думаю я, что Хеннинг — это тот, кто ведёт базу. Ту, о которой майор говорил. Потому что «подвижная ремонтная группа майора» — это не отделение. Это — вот оно. Но это я думаю. По одной записи.

— По одной записи, — повторил я.

— Да.

Я сидел на ящике, в будке, которая тряслась, и смотрел на листок с чужим именем, и во мне было то, что бывает, когда работа, которую ты искал ошупью, вдруг получает лицо. Не адрес — лицо. Майор Курт Хеннинг. Где-то на запад отсюда, на Любанском направлении,

человек с этим именем вёл на запад мастерские, целые, на колёсах, и позавчера получал масло с этой самой машины, на которой я сейчас еду.

— Пётр, — сказал я. — Это нужно майору. Сегодня же. Слово в слово.

— Я перепишу, — сказал он. — Отдельно: что написано. Отдельно: что я думаю. Чтобы он видел разницу.

— Так и сделай.

Дед из кабины постучал в перегородку и крикнул: «Тормоза держат, как на пробе! Спуск прошли!» — и водитель что-то ответил, и я услышал в голосе у водителя то, чего не слышал два дня: он был доволен.

На посту у хутора нас записали — все три машины, по счёту, — и лейтенант с забинтованной рукой посмотрел на будку, и сказал: «Ого», — и больше ничего.

А на привале — мы встали на десять минут у ручья, напоить пленных и дать людям размяться — я увидел то, чего не ждал.

Исаев сидел на подножке «Опеля» с тем самым пулемётом на коленях. Немецким, с угла сарая. Он его не разглядывал — он его разбирал. Не весь: снял ленту, отвёл затвор, посмотрел в ствол, проверил что-то на коробке, — руки у него ходили так, как ходят руки у человека, который это уже делал, и не раз.

— Знакомый? — спросил я.

— Приходилось, — сказал Исаев, не поднимая головы. — По прежней службе. Немного. Лента, затвор, ствол менять — это знаю. Больше — нет. — Он вставил затвор на место, отложил ленту в сторону. — Хороший пулемёт, товарищ старший лейтенант. Только патронов к нему — вот, что в ленте. Сотня. И всё. Наши к нему не подходят.

— Сдаём его, — сказал я. — Вместе с винтовками. На точке.

— Так точно, — сказал Исаев. Помолчал. — Жалко.

— Сотня патронов, — сказал я. — И не наши. Сдаём.

— Это да, — сказал Исаев и завернул пулемёт в мешковину, аккуратно, как заворачивают чужое.

* * *

На точку мы пришли за полдень, и на точке нас ждали не только свои.

У бочек стояла полуторка — чужая, с чужим номером, — и возле неё шесть человек с вещмешками, и дежурный с бумагой, и Князь, который встретил нас первым, потому что увидел будку, и подошёл к ней, и обошёл кругом, и заглянул в дверь, и сказал: «Полки железные», — с таким удовольствием, будто это он их привинтил.

Шестеро были те самые. Три водителя, три ремонтника, по бумаге о прикомандировании, с печатью, — дежурный подал мне её, и я прочёл, и всё сходилось: майор Чумаков написал запрос вчера, и вот они, на день раньше, чем он обещал, потому что, как сказал старший из них, «в отделе сказали — срочно, и мы поехали». Полуторка, что их привезла, уже заправлялась, чтобы уйти обратно, к своей части, — она нам не принадлежала, и я, признаться, на неё посмотрел с сожалением, но только посмотрел.

Я построил их. Не для торжественности — чтобы видеть лица. Шесть лиц: три водителя — один постарше, лет под тридцать, с ефрейторской лычкой, спокойный, и двое помоложе; три ремонтника — все трое с теми самыми руками, которые я узнаю в любой толпе. Я сказал им, кто мы и что у нас стоит: два ЗИСа, один с течью, два «Опеля», один с будкой, — и что работа начинается сейчас, потому что будку надо ставить рядом с больным ЗИСом, и разгружать, и Дед — вот он — покажет, что куда.

— Водители, — сказал я. — Кто на чём работал?

Первый сказал: ЗИС, полуторка. Второй — то же, и ещё «студебекер» на курсах. Третий, тот, что с лычкой, помолчал и сказал:

— Ефрейтор Селиванов. Егор. ЗИС, ГАЗ. И — трофейный. Бронетранспортёр, полугусеничный, немецкий, наши взяли раньше, в другой части, и я на нём ездил. Водил и обслуживал. Не стрелял — водил.

Стало тихо. Артист, стоявший у своего ЗИСа, повернул голову. Фрол посмотрел на Селиванова с интересом. А Дед — Дед сказал, ни к кому не обращаясь: «Полугусеничный. Скажите пожалуйста».

— У нас бронетранспортёра нет, — сказал я Селиванову честно.

— Я знаю, — сказал он. — Я и не говорю, что есть. Вы спросили, на чём работал. Я сказал.

Мне это понравилось. Не то, что он водил бронетранспортёр, — то, как он это сказал: без «а вот у нас», без ожидания, что его сейчас за это возьмут в командиры. Сказал — и всё.

— Тогда так, — сказал я. — Постоянных машин под вас пока нет: ЗИСы закреплены, «Опель» закреплён, будка — вот. — Я посмотрел на второго водителя из тех, что помоложе, того, что сказал про «студебекер». — Будка — твоя. С этого часа. Водитель, что её привёл, — наш, и руль у него ещё будет, а сегодня он покажет тебе, что она умеет: он на ней тридцать километров прошёл, он знает. Селиванов — подменять. Любую машину, любого водителя, кто устал или кому надо в другое место. И — к механикам: помогать. Третий — то же, и готовиться: машины будут.

— Какие? — спросил третий.

— Не знаю, — сказал я. — Но будут.

Артист от своего ЗИСа сказал негромко: «Это он всегда так говорит. Позавчера тоже говорил», — и Фрол добавил: «И вчера», — и новые посмотрели на них, потом на будку, стоящую рядом с «Опелем», и, кажется, что-то поняли про то, куда попали.

Ремонтников Дед забрал сразу. Просто подошёл, посмотрел на руки каждого — на руки, не на лица, — и сказал: «Ты — со мной, ты — с ним, ты — разгружать ящики с ЗИСа, вот те, с двора, и не путать, где что, я потом проверю», — и увёл всех троих к будке, и через минуту оттуда уже слышалось: «Не туда! Это измерительный, я тебе руки оторву!» — и ремонтник, которому он это сказал, отвечал что-то спокойно и не обиженно, и я понял, что эти двое работают.

А у будки уже стоял спор. Не новый — старый, начатый ещё на просёлке: Артист с Князем обсуждали, что было на той повозке, и Артист утверждал, что там был «весь настоящий инструмент, а нам оставили обёртку», а Князь говорил: «Какая обёртка, ты видел полки? Полки железные!» — и Профессор, проходя мимо с переписанным листком, сказал, не останавливаясь: «На повозке был один ящик. Окованный. Дед видел, что несли. Один», — и Артист сказал: «Один — но какой!», — и новые водители стояли и слушали это, и один из них, молодой, засмеялся, и Артист посмотрел на него и сказал: «Вот. Человек понимает».

Полуторка, что привезла шестерых, ушла. Раненого Устинов передал для отправки в ближайший медпункт, остальных четверых Исаев сдал дежурному под охрану. Дежурный записал всех пятерых с отдельной отметкой о раненом, а потом оружие, и отдельно, с моих слов, пулемёт, и я поставил подпись, и Исаев поставил рядом свою, как принявший и сдавший. Второй ЗИС стоял под соснами, с открытым капотом, а теперь рядом с ним стояла будка, и между ними уже лежали доски — те самые, из-за которых Артист вчера спорил с Дедом, — и на досках Дед раскладывал ключи.

Двадцать четыре человека. Три машины на ходу и одна, которая вот-вот. Имя — Курт Хеннинг — осталось на копии у Профессора; листок с переводом я уже отдал дежурному для майора.

Я стоял и смотрел, как Дед раскладывает ключи, и думал, что ещё два дня назад я лежал на песке у дороги. А теперь знал, как зовут того, кого ищу.

Глава 7

К вечеру двадцать седьмого у нас под соснами стояло уже не место для машин, а хозяйство, и я это понял по тому, что перестал узнавать его с первого взгляда.

Будка стояла вплотную к больному ЗИСу, задом к нему, с открытой дверью и опущенным бортом-верстаком, и от неё до ЗИСа на земле лежали доски — те самые, — и на досках был разложен инструмент. Не свален — разложен: ключи по размеру, от больших к маленьким, съёмники отдельно, напильники в ряд, как в сарае у немцев, только теперь это был наш ряд. Плоский окованный ящик с измерительным стоял на верстаке, открытый, и в нём лежали микрометры, которые вчера Дед с мастером проверяли по плитке. Переносная лампа висела на гвозде, вбитом в дверной косяк будки, и её ещё не зажигали, потому что было светло, но она висела, и это было главное: висела на своём месте.

Дед ходил между всем этим, как ходит человек по дому, в который переехал утром: трогал, переставлял, отходил, смотрел и опять переставлял. Три новых ремонтника ходили за ним. Один — плотный, немолодой, с медленными руками — сразу занял место у верстака и ничего не спрашивал, только делал; второй, помоложе, таскал и раскладывал; третий — шуплый, с прокуренными пальцами, тот самый, которому Дед в первый час обещал оторвать руки, — держался ближе всех и молчал, но молчал не так, как молчат из робости, а так, как молчат, когда думают.

Я помогал тем, чем мог: распределял руки. Это я умею. Один механик — на воду: две канистры, ведро, ещё ведро, потому что радиатор снимают сухим, а ставят с водой, и воды надо много. Второй — с Дедом, на радиатор. Ремонтники — как Дед скажет. Князь — не подпускать к машине, пока не позовут, потому что Князь ходил вокруг своего ЗИСа кругами, как ходят вокруг больного, и мешал. Я ему так и сказал: «Василий, ты мешаешь». Он обиделся и пошёл к бочкам, и оттуда всё равно смотрел.

Радиатор сняли за полчаса. Дед освобождал крепления и патрубки медленно, и я понял почему: он смотрел на шов. Он повернул снятый радиатор на досках, положил его нижним бачком кверху, и вот он был, шов: длинный, паяный, с чёрным потёком в одном месте и ещё двумя местами, где пайка была тёмной, как бывает, когда она вот-вот.

— Вот тут, — сказал Дед, показывая пальцем. — Течёт тут. А вот тут и тут — не течёт, но будет. Той же пайки. Того же года. Если я запаяю только это, — он показал на потёк, — через неделю потечёт вот это. Значит, паять — весь шов. Весь. Это долго.

— Сколько?

— С лампой, с оловом, если никто не будет дёргать, — до темноты. Может, к ночи.

И тут шуплый сказал — не мне, Деду, и негромко, так, что я не сразу понял, что он сказал что-то важное:

— Товарищ техник-лейтенант. Разрешите. Шов если весь перепаявать — старое олово всё снимать надо. Бачок старый, края тонкие. Я бы его лишний раз не разбирал. Трещину зачистить, облудить и накладку пустить. Полоску медную, узкую, по всему шву, и пропаять её сверху. Она и шов держит, и медь под ней целая остаётся. У нас так на... — он запнулся, — так делали. У нас держало. Здесь надо проверить.

Дед посмотрел на него. Долго. Потом на шов. Потом опять на него.

— Полоску, — сказал он.

— Полоску. Из медной трубки, вон, с будки, если нет полосы, — трубку расплющить и пустить. Я видел, там есть.

— Трубку расплющить, — повторил Дед и, кажется, попробовал это на вкус. — Молотком?

— Молотком, на наковаленке. Она тонкостенная, ляжет ровно.

Дед молчал ещё секунд десять. Я стоял и не вмешивался, потому что здесь мне вмешиваться было незачем: это был разговор двух людей, которые понимали друг друга лучше, чем я понимал их обоих. Я видел, как Дед думает — не про полосу, про то, что перед ним стоит человек, который два часа назад пришёл с чужой полуторкой, а сейчас говорит ему про его радиатор такое, чего он сам не подумал. Или подумал, но не сказал.

— Ты паял? — спросил Дед. — Сам? Не смотрел, как другие, — сам?

— Сам.

— Сколько раз?

— Много, — сказал щуплый и не стал уточнять, и это было правильно: «много» тут значило больше, чем любое число.

Дед повернулся к будке, залез в неё, погромел там и вылез с мотком медной трубки. Отмотал, посмотрел на просвет, отрезал кусок. И протянул щуплому.

— Плющи, — сказал он. — Полосу — ты. Лудить — ты. Паять — вместе. Я держу лампу, ты ведёшь. Если полоска отойдёт — ты мне это скажешь сам, раньше, чем я увижу.

— Скажу, — сказал щуплый, и я увидел, как у него дрогнуло лицо — не от испуга, от того, что ему дали.

Вот так. Ничего больше. Дед не сказал «молодец», не сказал «доверяю», не хлопнул по плечу. Он дал ему кусок трубки и половину работы, и щуплый это понял, и я это понял, и старший ремонтник у верстака, плотный, медленный, поднял голову от своих ключей и посмотрел на них обоих, и опустил голову, и, по-моему, улыбнулся.

* * *

Паяли они до темноты, и я не буду рассказывать, как паяют радиатор, потому что это делают руками, а не словами, и потому что половину времени я стоял в стороне и слушал, как они переговариваются, — «держи», «ниже», «ещё», «стой, тут пузырь», — и это был лучший разговор за день, хотя в нём не было ни одной целой фразы.

Проверяли просто: заткнули патрубки, залили водой, поставили на доски и ждали. Дед сидел на корточках и смотрел на шов так, как я в той жизни смотрел на манометр. Пять минут. Десять. Сухо. Щуплый стоял рядом и не смотрел на шов — смотрел на Деда. Через пятнадцать минут Дед провёл по шву пальцем, посмотрел на палец и сказал: «Сухой», — и это было всё, что он сказал, и щуплый выдохнул.

Ставили уже с лампой — не паяльной, а той, переносной, с гвоздя, — потому что стемнело. Патрубки, болты, вода. Заводили — заводил Князь, потому что это был его ЗИС, и я видел, как у него дрожали руки, когда он полез в кабину, и как он это скрывал. Мотор схватил, пошёл, — и Дед стоял у капота с лампой и смотрел на шов, на бачок, на патрубки, и минуту, и две, и пять, а Князь сидел за рулём и ждал, и наконец не выдержал:

— Григорий. Ну?

— Не ну, — сказал Дед, не оборачиваясь. — Полчаса на холостых. Потом круг по точке. Потом ещё раз смотрю. Потом — ну.

— Полчаса?!

— Ты его двое суток ждал, — сказал Дед. — Полчаса подождёшь. Или хочешь, чтобы он у тебя завтра на марше закипел, при всех, при новых, при майоре, если приедет? Полчаса, Василий.

Князь подождал. Он сидел в кабине, положив руки на руль, все полчаса, и не вылезал, и я его понимал. А потом Дед сказал: «Круг», — и Князь включил первую, и ЗИС пошёл — сам, без остановок, без «стой, смотрю воду», — прошёл вдоль бочек, мимо палатки, мимо дежурного, который проводил его взглядом, развернулся на выезде и вернулся. Двести метров. Первые двести метров за двое суток, которые эта машина прошла как здоровая.

Дед посмотрел ещё раз. Долго. И сказал:

— Сухой. — И потом — то, что я от него ждал: — Это не значит, что он новый. Это значит, что он запаян. Завтра на марше — смотреть воду на каждой остановке, Василий, не как раньше, а просто смотреть. Через неделю я его сниму и посмотрю ещё раз. Но ехать — может. Куда угодно.

— Куда угодно, — повторил Князь. И вылез. И подошёл к Деду, и я думал, он его обнимет, но он не обнял. Он повернулся к щуплому, который стоял в стороне, и сказал ему: — Тебя как зовут?

Щуплый сказал.

— Спасибо, — сказал Князь. — Я запомню.

И вот тут Дед сказал — щуплому, при всех, при Князе, при мне, при старшем ремонтнике у верстака:

— Полоска — его. Я бы снимал старое олово. Он сказал не снимать. Шов сухой — вы видели. — И, помолчав: — Завтра будешь мне «Опель» смотреть. Один. Я только гляну потом.

Щуплый ничего не ответил. Но ушёл к будке так, как уходят люди, у которых сегодня получилось.

А Профессор весь этот вечер сидел у верстака с бумагами — с той папкой из будки, — и когда радиатор проверяли, он подошёл ко мне и к Деду с одним листком. Одним, не папкой.

— Я не буду рассказывать всё, — сказал он. — Там много, и половина — не про нас. Я скажу, что нам нужно на дорогу. Две вещи.

— Говори.

— Первое: где они брали горючее. В записях есть — не адреса, а порядок: каждые сколько-то дней, с каких точек. Точки — те же, что были в списке с «Опеля». Две из них — по нашему направлению, на запад. Если там остались бочки — это бочки. Если нет — там хотя бы стояли, и по дороге туда можно смотреть. Второе: они возили не только для Хеннинга. Есть ещё получатели — мелкие, наверное, тыловые. Это значит, что по дорогам ходят и другие их машины, не только базы. Отстают, ломаются, бросают. — Он опустил листок. — Остальное — не на дорогу. Остальное — майору, я перепишу.

— Перепиши, — сказал я.

Я стоял и думал о том, о чём думал ещё утром, ведя будку через ворота: что у нас теперь три грузовика на ходу и мастерская, и что это очень много, и что это ничего не решает, если на дороге попадётся что-то тяжелее трёх тонн. «Отстают, ломаются, бросают» — а что бросают? В сухом дворе я сегодня мог бы повторить вчерашнюю работу с двумя ЗИСами. Но размокшая обочина — другое дело: там одному грузовику легко увязнуть рядом со вторым. А на дорогах за наступлением лежало много такого, что тяжелее трёх тонн, я это видел, я это считал по обочинам с первого дня.

— Нужен тягач, — сказал я.

— Нужен, — сказал Дед. — Только его не паяют. Его или находят, или нет.

— Найдём, — сказал я.

— Ты это уже говорил про водителей, — заметил Профессор. — Вчера. Они пришли.

— Вот видишь, — сказал я.

* * *

А тем временем у бочек затевалось.

Я это заметил не сразу, потому что был при радиаторе, — но когда пошёл к бочкам за кипятком, увидел, что Князь с Артистом стоят у стола — у того самого наката из жердей — и спорят, а Фрол сидит рядом на ящике и слушает с видом человека, которого сейчас позовут в судьи, и это ему нравится.

— ...потому что вечер — это когда люди сидят, — говорил Князь. — Сидят, Семён. Не стоят с кружкой, а сидят. И у них есть стол, и на столе есть что поставить, и им тепло, и никто не бегают. Вот это вечер. А ты хочешь, чтобы они тебя слушали.

— Я хочу, чтобы они смеялись, — говорил Артист. — Сидеть можно и в окопе. А смеются — не везде. Вечер — это когда потом вспоминают. Вспоминают что? Как сидели? Нет. Вспоминают, что рассказали.

— Вспоминают, как хорошо было.

— Хорошо — от чего?

— От стола!

— От рассказа!

— Стоп, — сказал Фрол, и это было его любимое слово, я это уже понял. — Вы оба хотите, чтоб было хорошо. Вы спорите, от чего. Это не спор, это два разных вечера. Давайте проверим. Кто проверит?

— Что проверит? — спросил я, подходя.

Они обернулись. Артист посмотрел на Князя, Князь — на Артиста, и я увидел, что они уже придумали, и им нужен был кто-то, кому это сказать.

— Дед, — сказал Артист.

— Что — Дед?

— Дед проверит. — Артист сел на край стола, что Князю не понравилось, и стал объяснять, и объяснял он так, как рассказывал бы со сцены: с подводкой. — Смотрите, товарищ старший лейтенант. У нас есть человек, который любит хорошую компанию. Я это знаю. Он любит послушать, он любит подпеть, он умеет заслушаться так, что у него рот открыт. Я видел. Но у этого человека есть одна беда: у него всегда стоит машина. И машина всегда важнее. Он придёт к столу, посидит десять минут — и вспомнит, что не посмотрел зазор. И уйдёт. Не потому, что ему с нами плохо. Потому, что там — интереснее. Так вот. Вечер удался — это когда Дед сам пришёл и сам остался до конца. Сам. Никто его не держит, никто не уговаривает. Если он остался — значит, было лучше, чем у машины. Вот проверка.

— А кто устраивает? — спросил я.

— Мы, — сказал Князь. — Я — стол. Он — рассказ. Оба сразу. И посмотрим, что его удержит.

— И если он остался — кто выиграл?

Тут они замолчали, потому что об этом не подумали.

— Если остался — оба, — сказал Фрол. — Если ушёл — оба проиграли. А если ушёл в середине — то посмотрим, от чего ушёл: от стола или от рассказа. Так честно.

— «До конца» — это до чего? — спросил Профессор.

Он подошёл незаметно, как всегда, с кружкой, и стоял, и спрашивал так, как спрашивал позавчера про «спасённую машину»: без подвоха, всерьёз.

— До конца вечера, — сказал Артист.

— А когда вечер кончается? Когда все ушли? Когда кончился рассказ? Когда стол убрали? Это разные концы. Если Дед уйдёт после рассказа, но до того, как убрали стол, — это до конца или нет?

Артист открыл рот. Князь открыл рот. Фрол засмеялся.

— Вот! — сказал он. — Я же говорю. Условие надо ставить, а то потом — как с машиной. Пётр, ты скажи, как правильно.

— Я не знаю, как правильно, — сказал Профессор. — Я знаю, что надо договориться. Предлагаю: до конца — это пока не встал последний. Кто бы он ни был. Если Дед встал последним или вместе с последним — вечер удался.

— Годится, — сказал Князь.

— Годится, — сказал Артист. — Только тогда я буду сидеть до утра.

— А я тогда стол не уберу, — сказал Князь.

— Вот и посмотрим, — сказал Фрол, и они посмотрели на меня.

Я понял, что от меня ждут. Не разрешения — участия. Они хотели, чтобы командир был в игре, не над ней. И мне, если честно, этого хотелось самому: сесть за стол, который устроил Князь, слушать, что рассказывает Артист, и смотреть, уйдёт Дед или нет, — и не знать, чем кончится.

— Я — зритель, — сказал я. — Не судья. Судья — Фрол, он уже назначился. Я сижу, ем и смотрю. И если Дед меня спросит, зачем его позвали, — я не скажу.

— Вот это правильно, — сказал Артист. — Вот это по-товарищески.

— И ещё, — сказал я. — Я ставлю на стол.

— Почему? — спросил Артист с обидой.

— Потому что я за ним два дня смотрю, — сказал я, — и он за это время два раза сказал «потом» на мой вопрос и ни разу — на еду.

— Это не считается, он голодный был!

— Вот и проверим, — сказал Фрол, и на этом затея была принята.

* * *

Стол Князь устроил такой, что я, признаться, не ожидал.

Не по еде — еда была наша, разрешённая, из того, что выдавали: каша, консервы, хлеб, чай, — а по тому, как это стояло. Он где-то достал — «выменял у точки на работу», сказал он, и я не стал спрашивать, на какую, — большой закопчённый чайник, настоящий, на всех; он накрыл накат не плащ-палаткой, а куском брезента, чистого; он поставил вокруг ящики так, чтобы всем было где сесть, и не в ряд, а кругом, чтобы видеть друг друга; и он зажёл — вот это было главное — лампу. Переносную, с гвоздя на будке, — он выпросил её у Деда «на два часа, потом верну», и повесил над столом, на жерди, и в её свете стол стал не столом у бочек, а тем, что Князь и хотел: местом, где сидят.

Люди сели. Не все — охранение стояло, Исаев с двумя ходил по точке, — но все, кто был свободен: Фрол, Профессор, Артист, Устинов, Суров, новые водители, ремонтники, стрелки. Двадцать человек кругом. И Дед.

Дед пришёл сам. Это надо отметить: сам, когда Князь крикнул «готово», — вытер руки, посмотрел на свой ЗИС, на будку, на щуплого, который ещё что-то раскладывал, и пошёл к столу, и сел, и ему налили, и он ел, и говорил с Устиновым про что-то своё, и смеялся, и я видел, как Князь смотрит на него с надеждой, а Артист — с расчётом.

И Артист начал.

Он начал не сразу — он дал людям поесть, дал стихнуть, а потом, когда Фрол сказал что-то про немецкую повозку, которая утром ушла, Артист сказал: «А я вам про повозку расскажу», — и все повернулись, и он рассказал. Про то, как в тридцать восьмом их бригада ехала на гастроли по району на подводах, четыре подводы и лошадь, которую звали Секретарь, потому что она отказывалась работать после шести вечера, — и как в одном селе они играли в клубе, а лошадь ушла, и её искали всем селом, и нашли в правлении колхоза, где она стояла и ела протокол собрания, — и как председатель сказал: «Правильно, я бы тоже съел». Он рассказывал это так, что я видел эту лошадь. Я видел правление. Люди смеялись — Фрол громче всех, Суров молча, но со слезами, новые водители сначала осторожно, потом как все. Дед смеялся. Он сидел, откинувшись, с кружкой, и смеялся, и Князь смотрел на него, и я видел, как у Князя разглаживается лицо.

А потом к столу подошёл щуплый.

Он не подходил специально — он шёл от будки к бочкам за водой, с ведром, — и остановился за спиной у Деда, послушать, и Артист как раз дошёл до того, что лошадь на следующий год избрали в президиум, — и щуплый засмеялся, и Дед обернулся, и увидел его с ведром, и спросил:

— Ты чего с ведром?

— Воду. В радиатор долить, на утро, чтоб полный был.

— Он полный.

— Полный, — согласился шуплый. — Я на всякий случай. — И помолчал, и добавил, потому что не мог не добавить, я это видел: — Товарищ техник-лейтенант, я вот думаю. Верхний шов. Он ведь того же года. Той же пайки. Мы нижний перекрыли, а верхний — он сейчас держит, но если и он такой же...

Дед перестал улыбаться. Не обиделся, не помрачнел — перестал улыбаться так, как перестают, когда думают.

— Верхний, — сказал он.

— Верхний. Я не говорю, что течёт. Я говорю — посмотреть бы. Пока лампа горит. Пять минут.

— Лампа горит здесь, — сказал Князь быстро.

— Я и без лампы, — сказал шуплый. — Я на ощупь. Я просто говорю.

Дед сидел. Я видел, как он сидел: с кружкой в руке, на ящике, в свете лампы, и вокруг смеялись, и Артист уже начал следующую историю — про Секретаря в президиуме, — и Дед слушал, и одновременно думал про верхний шов, и я видел, как эти две вещи в нём борются, и это было, честное слово, лучше любой истории.

Он поставил кружку.

— Пять минут, — сказал он Князю. — Я пощупаю и вернусь.

— Григорий, — сказал Князь.

— Пять минут, Василий. Я не уйду. Я щупать.

И встал, и пошёл к ЗИСу, и шуплый за ним с ведром, и мы все смотрели им вслед, и Артист замолчал на середине фразы, и Фрол сказал, глядя на Князя:

— Так. От чего ушёл?

— Он не ушёл! — сказал Князь. — Он щупать!

— Он не от стола ушёл, — сказал Артист. — И не от рассказа. Он к шву ушёл.

— Шов — это не из условия, — сказал Профессор. — Мы говорили про стол и про рассказ. Про шов никто не говорил.

— Значит, надо было говорить! — сказал Фрол с удовольствием. — Я же предупреждал: условие!

Они спорили ещё полчаса. Дед не вернулся. То есть он вернулся — раз, минут через двадцать, взял кружку, сказал: «Верхний держит. Но я ему накладку тоже пушу. Не сегодня. Завтра, если стоять будем», — и ушёл обратно, потому что шуплый там что-то уже размечал, и им обоим было интересно, и это было видно с двадцати шагов, и никто их не звал. Не потому, что обиделись. Потому что понимали.

— Не удался, — сказал Князь. Не горько — как констатируют.

— Как это не удался? — спросил Суров.

Все повернулись к нему, потому что Суров за весь вечер сказал три слова.

— Я вот сидел, — сказал Суров. — Ел. Смеялся. Лошадь эта. Мне хорошо было. И сейчас хорошо. Как это — не удался?

— Условие не выполнено, — сказал Князь.

— Ваше условие, — сказал Суров. — Не моё. — И встал, и пошёл к своему «Опелю», спать, и по спине его было видно, что вечер у него удался, и с ним встали ещё двое, и тоже, видимо, считали так же.

— Суров дело сказал, — заметил Устинов неожиданно. — Вечер был. Деда не было. Это две разные вещи.

— Это одна вещь! — сказал Артист. — Мы для него...

— Вы для себя, — сказал Устинов. — Чтоб он оценил. А он оценил и пошёл щупать. Это не поражение, Семён. Это Дед.

Артист хотел ответить и не ответил. Посмотрел на Князя. Князь посмотрел на него. И оба, кажется, поняли, что проиграли не Деду, а собственному условию, и что это, в общем, не страшно, и что ещё будет случай.

— Следующий раз, — сказал Князь. — Когда стоять будем. Я по-другому сделаю.

— И я по-другому, — сказал Артист. — Я про машину расскажу. Он про машину не уйдёт.

— Уйдёт, — сказал Фрол. — Проверять. — И захохотал, и на этом вечер кончился, и Князь убрал стол, и последним встал не Дед, а Профессор, который сидел и что-то дописывал в своём листке при свете лампы, пока Князь не снял её с жерди, чтобы вернуть на гвоздь.

* * *

Я обошёл точку перед сном. Это уже становилось привычкой — как в той жизни обходил площадку перед тем, как запереть ворота.

Первый ЗИС, с помятым крылом, — стоит, Артист спит в кабине. «Опель» — стоит, Суров в кабине, не спит, но лежит. Будка — стоит, дверь прикрыта, внутри темно, и рядом на досках лежит инструмент, накрытый брезентом от росы. Второй ЗИС — стоит, с закрытым капотом. Закрытым. Впервые за три дня. У него в темноте сидели двое: Дед на подножке, щуплый на корточках у колеса, и они не работали — сидели и разговаривали вполголоса, и я не стал подходить.

Три грузовика и мастерская. Двадцать четыре человека. Пулемёт немецкий — сдан днём дежурному, с лентой, под расписку, и Исаев расписался и ещё раз сказал «жалко», и я ещё раз сказал «патронов сотня». Всё стояло. Всё было целое. Завтра — марш: через Глуск, который сегодня, как сказали на точке, взяли, — на запад, за наступлением, туда, куда ушли повозка, и база, и майор Курт Хеннинг.

И где-то там нам могла попасться тяжёлая машина на плохом грунте. Такая, возле которой придётся стоять и чесать затылок, если нечем будет потянуть.

Тягач. Я его ещё не видел. Но я уже знал, что он мне нужен, — а это, как показывали последние три дня, было полдела.

Глава 8

Колонной мы пошли впервые, и я, признаться, волновался так, как не волновался ни у повозки, ни во дворе с сараем.

Четыре машины. Первый ЗИС с Артистом — головной, потому что Артист знал дорогу до Глуска лучше всех и потому что у него было чувство дистанции, которое не выучишь; я с ним. Второй ЗИС с Князем — за ним, потому что вчера запаянный радиатор надо было держать на виду, и Дед сидел у Князя в кабине и смотрел на капот так, как смотрят на спящего. «Опель» с Суровым — третьим, с людьми. Будка — замыкающей, с новым водителем, и рядом с ним Селиванов, потому что будка была для нового ещё чужая, а Селиванов, как выяснилось за вчерашний вечер, умел объяснять чужую машину коротко и без обиды. Фрол — в «Опеле», с ДП в кузове, стволом назад. Профессор — в будке, с бумагами, потому что ему там было удобно.

Двадцать четыре человека, четыре машины, и все на ходу. Я сидел рядом с Артистом и смотрел в зеркало на то, как они идут за нами — серый борт, серая будка, — и думал, что три дня назад у меня было полтора грузовика и восемнадцать человек, которых я знал по именам, не зная в лицо.

Точку мы оставили в шесть. Дежурный проводил нас, как провожают жильцов: записал, посмотрел вслед и вернулся к своим бочкам. Чумаков не приехал — но приехал его посыльный, ещё затемно, с бумагой: проезд через Глуск подтверждён, дорога до пилорамы северо-восточнее Любани открыта для колонн, там стоянка, там ждать. И отдельно — карандашом, его рукой: «Любань не трогать. Она не наша». Я это прочёл дважды и положил в планшет.

До Глуска шли два с половиной часа. Тридцать пять километров — это на своей площадке полчаса, а колонной, с пропусками, с проверками, с двумя остановками, когда Дед выходил посмотреть воду и говорил «сухой» с таким видом, будто это его личная заслуга, — это два с половиной. Я понял за это утро, что колонна — это не четыре машины, которые едут. Это четыре машины, которые едут с той скоростью, с какой едет самая медленная из них, и останавливаются там, где останавливает дорога, а не ты.

Глуск мы прошли не останавливаясь. Я смотрел в окно и мало что запомнил: сгоревшие дома по одной стороне улицы и целые по другой, как бывает; людей — немного, старуху с ведром, мальчишек у сгоревшей немецкой машины; мост через реку, узкий, деревянный, с двумя сапёрами по краям, которые пропускали по одной машине и смотрели на колёса; регулировщицу на площади с флажками, которая показала нам налево так, будто мы тут ездили всю жизнь. Город, который взяли вчера. Вчера на точке об этом сказали, а теперь я ехал по нему, и он был мокрый после ночного дождя, и пахло гарью и мокрой известью, и это было совершенно не то, что число.

За Глуском дорога пошла на запад, и вот там мы встали.

* * *

Встали мы не сразу — сначала пошли медленнее, потом совсем медленно, потом впереди, за поворотом, замигали чьи-то тормозные огни, и Артист сбросил, и мы встали за санитарной машиной, а за нами встал Князь, а за Князем всё остальное.

Я вылез.

Вот здесь я должен рассказать честно, потому что рассказываю всё по порядку, и потому что это была моя ошибка, маленькая, но моя. Я вылез и пошёл вперёд, вдоль колонны, — не нашей, чужой: перед нами стояло ещё четыре машины, санитарки, полуторки, одна «эмка», — и шёл я быстро, и думал я, что впереди сломалась головная. Кто-то встал, у кого-то закипело, кто-то сел на мост, — и колонна стоит. Это первое, о чём думает человек с моей работы, когда видит стоящую колонну: кто-то встал. И я шёл вперёд с этим в голове и уже прикидывал: если

это грузовик, то трос у нас в первом ЗИСе; если легковая — можно и руками; если что-то тяжёлое — то это моё, это как раз моё, и я это сделаю, и...

Я дошёл до головы и увидел не сломанную машину.

Я увидел проезд. Дорога впереди сужалась — с обеих сторон её обжимали воронки, одна большая, с водой, и остатки взорванной насыпи, — и в этот проезд, в одну машину шириной, с той стороны, навстречу нам, шла колонна. Своя. Порожные грузовики, потом орудия на прицепе, потом ещё грузовики. Шла медленно, по одной, и у проезда стоял регулировщик — сержант, немолодой, с флажками, с лицом человека, который сегодня уже всё слышал, — и рядом с ним лейтенант с повязкой на рукаве, и они пропускали встречных, и наши стояли, и это было правильно, потому что проезд один, а колонны две.

Никто не сломался. Дорога была занята.

Я стоял, и мне было неловко за то, что я шёл сюда с тросом в голове. Не перед кем-то — перед собой.

— Товарищ лейтенант, — сказал я. — Долго?

Лейтенант посмотрел на меня, на мои погоны, на колонну за моей спиной.

— Пока пройдут, — сказал он. — Двадцать машин. Потом ваши. Минут сорок. Вы который по счёту?

— Пятый. То есть первая моя — пятая.

— Значит, минут пятьдесят.

— Ясно, — сказал я. — Спасибо.

Он посмотрел на меня чуть внимательнее — видимо, ждал, что я буду спорить. Не знаю, сколько человек до меня подходило к нему за это утро с «а нельзя ли». Я не стал. Я не имел на это права, и я это понимал, и — что важнее — мне и не хотелось. Дорога была его. Я умел вытаскивать машины, а не командовать дорогами.

Я пошёл назад к своим, и по пути мне навстречу шёл Дед, тоже быстро, и тоже с лицом человека, который думает про трос.

— Что там? — спросил он.

— Ничего. Встречных пропускают. Проезд один.

— А. — Он остановился, посмотрел вперёд, кивнул. — Я думал, кто-то встал.

— Я тоже думал.

— Ну, — сказал Дед, — значит, оба дураки. — И пошёл обратно к своему радиатору, и по спине его было видно, что он доволен: не тем, что никто не сломался, а тем, что у него есть время ещё раз посмотреть шов.

* * *

А у регулировщика, чуть в стороне, у обочины, стоял мотоцикл.

Я узнал его раньше, чем увидел человека, — по тому, как он стоял: не брошен, а поставлен, с коляской к дороге, чтобы сразу тронуться. А потом увидел и её. Анна стояла у мотоцикла и разговаривала с солдатом — молодым, с полевой сумкой через плечо и винтовкой, — и по тому, как она говорила, а он слушал, было ясно, что он получает задачу. Она что-то показала ему на планшете, он кивнул, она закрыла планшет и посмотрела на дорогу — на проезд, на встречную колонну, — и лицо у неё стало таким, каким бывает у людей, которые считают время и понимают, что его не хватает.

Я подошёл.

— Лейтенант Веденеева.

Она обернулась. Узнала — сразу, я это видел, — и не удивилась, что тоже было видно.

— Старший лейтенант Ракитин, — сказала она. — Тот самый, с рукой. Вы тоже здесь стоите?

— Пятые в очереди.

— Тогда вам ждать, — сказала она. — А у меня времени ещё меньше, я не могу тут ждать. — Она кивнула на солдата. — Связной. С донесением в наш пункт, вперёд по этой дороге, километров пятнадцать. Пешком — три часа. Попутка — полчаса, но попуток нет: всё стоит. Я его тут оставлю ждать, а сама — в другую сторону, у меня ещё две точки. Он дожётся — но когда, не знаю.

Она сказала это не жалуясь — просто изложила задачу, как излагают человеку, который, может быть, поможет, а может, нет. И я сразу увидел, чем помочь, — увидел так, как вижу всегда, разом: у меня четыре машины, одна из них — «Опель», лёгкий, быстрый; дорога вперёд — наша, на пятнадцать километров точно; отправить «Опель» с связным сейчас, вне колонны, он довезёт и вернётся, а мы за это время как раз пройдем проезд, и...

— Я отправлю машину, — сказал я. — Отдельно. «Опель», он быстрый. Довезёт и догонит нас.

Она посмотрела на меня. Потом — через моё плечо, на нашу колонну, на первый ЗИС с Артистом, на его кузов.

— А зачем отдельно? — спросила она.

— Что?

— У вас головная машина — вон, ЗИС. Она идёт туда же. По той же дороге. Мимо нашего пункта — он у самой дороги, там сворачивать не надо. У неё в кузове — я вижу отсюда — четыре человека и место ещё на десять. Зачем гонять «Опель» отдельно, вне колонны, туда и обратно, если ЗИС и так идёт мимо и у него есть место?

Я открыл рот. И закрыл.

Она была права. Она была так права, что мне стало смешно: я стоял и предлагал ей отдельный рейс — красивый, быстрый, с догоном, — а она смотрела на мой кузов и видела в нём пустое место. Я в той жизни ругал своих ребят именно за это: за то, что гоняют машину отдельно, когда рядом стоит попутная. Я это знал двадцать лет. И вот стоял и не видел.

— Вы правы, — сказал я.

— Я знаю, — сказала она без всякого торжества. — Я просто смотрю на кузов, а вы — на «Опель». Вам «Опель» больше нравится.

— Мне «Опель» больше нравится, — согласился я, и она засмеялась. Коротко, по-настоящему — и я подумал, что вот сейчас она первый раз смеётся при мне, и что мне бы хотелось, чтобы не последний.

— Так возьмёте?

— Возьму. В кузов. Довезём до пункта, высадим, не сворачивая. — Я повернулся к связному. — Боец. Со мной. Первая машина, кузов. Как увидишь свой пункт — стучи в кабину, встанем.

— Есть, — сказал связной, и посмотрел на Анну, и она кивнула ему, и он пошёл к нашему ЗИСу.

— Спасибо, — сказала она.

— Это вам спасибо. За кузов.

— За кузов вы бы и сами догадались. Минуты через две.

— Через три, — сказал я честно.

— Через три, — согласилась она и, кажется, хотела сказать ещё что-то, но посмотрела на дорогу, на проезд, где встречная колонна уже редела, и вместо этого сказала: — Мне ехать. Две точки. Если ваша стоянка — на пилораме, то наш пункт связи — там же рядом. Так что дорога у нас общая.

— Общая, — сказал я.

Она села в коляску — не за руль, за рулём был её водитель, ефрейтор, который всё это время стоял и делал вид, что смотрит на колонну, — и мотоцикл затрещал и ушёл назад, в

сторону Глузка, и я стоял и смотрел ему вслед дольше, чем нужно, и Артист из кабины сказал негромко:

— Товарищ старший лейтенант. Регулировщик машет.

Регулировщик махал. Встречные прошли. Наша очередь.

Связного мы довезли, как и сказали: пятнадцать километров, пункт у дороги — изба с антенной и часовым, — Артист встал, не сворачивая, связной прыгнул, отдал часовому бумагу, обернулся, махнул нам и пошёл в избу. Всё. Он не остался с нами, не попросился в кузов дальше, не стал членом группы — он сделал своё дело, и мы сделали своё, и это заняло у нас четыре минуты и ни капли бензина сверх того, что мы и так сжигали.

— Она права была, — сказал Артист, трогаясь. — Про кузов.

— Она мне это уже сказала. Сама.

— Я бы тоже «Опель» послал, — сказал он. — Если честно.

— Потому что тебе «Опель» больше нравится?

— Потому что красиво, — сказал Артист. — Отдельный рейс, догон. Кузов — не красиво. Кузов — правильно. — Он помолчал. — Она красивая, да?

— Семён.

— Я как водитель спрашиваю, — сказал Артист. — Мне за дорогой смотреть, я не вижу.

— Смотри за дорогой, — сказал я, и он засмеялся, и смотрел за дорогой, и больше про это не говорил, и я был ему за это благодарен: не потому, что скрывал, а потому, что не хотел, чтобы это стало номером.

* * *

Пилорама была ровно тем, что обещали: пилорамой. Длинный навес на столбах, под ним рама с пилой, давно не работавшей, и вокруг — штабеля досок, серых от дождей, и опилки, и запах смолы, и большой утопанный двор, куда наши четыре машины встали так, как я хотел: кругом, носами наружу, будка в середине. Двор был на отшибе, километрах в двенадцати от Любани, на ответвлении дороги, и здесь стояли не одни мы: у навеса — палатка какого-то тылового хозяйства, и у ворот — пост, и связь с автомобильной службой была через тех же посыльных, только теперь до точки было дальше.

Любань была впереди, слева, и она была не наша. Я это знал не из своей школьной памяти — я это знал от лейтенанта с повязкой: «прямо — не ходить, там ещё стреляют». И от посыльного Чумакова: «Любань не трогать».

И вот тут, через час после того, как мы встали, Фрол привёл ко мне человека.

Это был сержант — сапёр, судя по петлицам и по рукам, чёрным от земли, — из тех, что вчера проходили тут с дорожной командой и стояли теперь у навеса, ожидая своих. Фрол вёл его так, как ведут человека, который что-то знает: чуть впереди себя, не касаясь, но и не отпуская.

— Расскажи, — сказал ему Фрол.

Сапёр рассказал. Вчера, ближе к вечеру, они проверяли ответвление — вот это, в сторону леса, что за пилорамой, — на предмет мин, и прошли по нему километра четыре, до бокового двора: усадьба не усадьба, хутор, с сараем и загоном, у самой опушки. И там стоял тягач. Немецкий. «Большой такой, с гусеницами сзади и колёсами спереди, знаете, у них такие, что пушки таскают». Стоял у сарая. Возле него были люди — трое или четверо, немцы, в комбинезонах, копались.

— Копались? — спросил я. — В нём?

— В нём. Капот открыт был, один под ним. Другие — рядом, что-то таскали.

— Стрелял кто-нибудь?

— Нет. Мы их не трогали — нам не велено, у нас дорога. Они нас, по-моему, не видели: мы из леса смотрели. Доложили своим, нам сказали — не наша задача, идите дальше. Мы и пошли.

— Когда это было?

— Вчера. Часов в семь вечера.

— Тягач — двигался? При вас — трогался, ехал?

— Нет. Стоял. Всё время стоял.

Я посмотрел на Фрола. Фрол смотрел на сапёра.

— Дорога до двора, — сказал Фрол. — Вы её прошли. Мины?

— Не нашли. Но мы шли по колее, а не по обочинам. По колее — чисто.

— Лес за двором?

— Не ходили. Не наша задача.

— Люди — куда могли уйти?

— В лес. Больше некуда: дорога — к нам, за двором — лес и болото.

Вот и всё, что он знал. Он сказал честно, и место показал, и время, и я поблагодарил его, и Фрол его отпустил, и мы остались стоять вдвоём, и я уже знал, что сейчас скажу, и Фрол уже знал, что я скажу, и первым сказал он:

— Не сейчас.

— Фёдор.

— Не сейчас, Алексей Палыч. Вчера в семь вечера там стоял тягач и четыре немца. Сейчас — половина третьего дня. Прошло девятнадцать часов. За девятнадцать часов они могли его починить и уехать. Могли бросить и уйти в лес. Могли остаться и ждать своих, и свои могли прийти — я не знаю, кто у них там за лесом. Сапёры прошли по колее, значит, по колее — чисто. По обочине — не знаю. Двор — я не видел. Лес за двором — никто не ходил. Это четыре километра, — он показал рукой на ответвление, — и я по ним поеду. Но не сейчас и не всеми. Сначала — посмотреть.

— Я не говорил «всеми».

— Ты ещё ничего не говорил. Я тебя знаю четвёртый день.

Я засмеялся. Я действительно хотел ехать сейчас: у меня перед глазами стоял тягач — тот, о котором я думал вчера ночью, обходя точку, — стоял у сарая, с открытым капотом, и до него было четыре километра, и это было так близко, что у меня чесались руки.

— Что нужно, чтобы посмотреть? — спросил я.

— Двое. Пешком. По колее, как сапёры. Час туда, полчаса там, час обратно. Если он стоит — я вернусь и скажу, как стоит. Если нет — значит, нет.

— Кто?

— Я и тот, с глазами.

— А если он там стоит, а ты не вернёшься за два с половиной часа?

— Тогда, — сказал Фрол, — через три часа поедешь ты. С Исаевым. И тогда уже — всеми. Но это если. Обычно я возвращаюсь.

И тут подошёл Профессор. Он слушал — он всегда оказывался там, где что-то говорилось, — и теперь подошёл со своим листком, тем, вчерашним, и сказал:

— Можно одно?

— Говори.

— Тягач у ремонтников — это не просто тягач. Это то, чем они тащат сломанное. Если он их — из той же конторы, что будка и «Опель», — то он там не сам по себе. При нём или что-то было, что он тянул, или он ждал, что потянет. Сапёр сказал: «тащали». Что-то рядом. Я не знаю, что. Но если Фрол пойдёт смотреть — пусть смотрит не только тягач. Пусть смотрит, что вокруг.

— Хорошо сказано, — сказал Фрол. — Посмотрю.

— И ещё, — сказал Профессор, — про время. Сапёр сказал «часов в семь». Я его переспросил, пока вы говорили: он сказал, что солнце было ещё высоко и что они успели до темноты

вернуться сюда. Значит, не позже семи. Может, раньше. Это к тому, что прошло не девятнадцать часов, а, может, двадцать. Больше времени — больше могло случиться.

— Спасибо, — сказал Фрол серьёзно. — Двадцать.

И пошёл за тем, с глазами.

* * *

Он вернулся через два часа десять минут, и я знаю это потому, что нашёл на точке у тылового хозяйства человека с часами и спросил у него время, когда Фрол ушёл, и когда пришёл.

— Стоит, — сказал Фрол.

Он сел на подножку первого ЗИСа, снял пилотку и вытер лицо, и было видно, что он шёл быстро. Тот, с глазами, сел рядом на землю.

— Стоит у сарая, как сапёр сказал. Капот открыт. Гусеницы целые, колёса целые. Немцев — трое, не четверо. Ходят вокруг, один под капотом, двое таскают — из сарая к тягачу, ящики. Похоже, снимают с него всё, что можно унести, — не чинят, а раздевают. Или чинят и заодно раздевают, я не механик. Оружие — у двоих винтовки за спиной, у третьего не видел. Двор — открытый, сарай, загон, за загонем опушка. Лес за двором — я прошёл вдоль опушки метров триста: тихо, следов свежих нет, дороги дальше нет. Колея до двора — чистая, мы прошли. По обочине — не ходили. — Он помолчал. — Что вокруг — Профессор был прав. У сарая, под навесом, стоит что-то на колёсах. Прицеп, платформа — низкая, широкая. Пустая. И рядом — ещё одна машина, легковая, разбитая, без колёс, снятая. Это, по-моему, и есть то, что он тянул: они на нём тащили эту легковую, легковая рассыпалась, они её бросили, и тут у них встал тягач. Или наоборот. Не знаю. Стоит — знаю.

— Доступно? — спросил я.

— Доступно. Четыре километра, колея чистая, трое немцев, которые заняты своим и не ждут. Если идти — то сегодня, до вечера, потому что завтра их там может не быть — они его раздевают, значит, собираются бросать. Не всеми: восемь, как в тот раз, и одна машина, чтобы людей довезти и — если тягач наш — съездить за будкой. Остальные — здесь. Стоянка наша, посты свои, я договорился.

— «Если тягач наш», — повторил Дед.

Он подошёл, пока Фрол говорил, и стоял, и слушал, и теперь смотрел на Фрола так, будто тот сказал что-то очень важное и очень неправильное.

— Что не так? — спросил Фрол.

— Всё так. Только ты сказал «если тягач наш» так, как будто он будет ездить. А он стоит с открытым капотом, и его раздевают. Я не знаю эту машину. Я про неё слышал: что она большая, что мотор у неё большой, что тянет она столько, что нашим и не снилось. Слышал. Не видел. Не трогал. Что у неё внутри и почему она встала — я тебе скажу, когда постою рядом с открытым капотом столько, сколько мне надо. Не раньше. — Он посмотрел на меня. — Алексей Палыч, я тебе честно: если он на ходу — это лучшее, что у нас будет. Тягач — это то, о чём мы вчера говорили: он вытащит всё, что мы найдём. Он и ЗИС вытащит, и «Опель», и что угодно. Но «если». Я не обещаю. Я обещаю посмотреть.

— Больше и не надо, — сказал я.

— Надо, — сказал Дед. — Надо, чтоб он ездил. Но это не от меня зависит.

Дальше всё пошло так, как идёт, когда люди знают своё дело.

Фрол собрал восьмерых бойцов — себя, Исаева и шестерых стрелков, включая расчёт ДП, — и они уже проверяли оружие. Мы с Дедом, Устиновым и Профессором шли с ними; Селиванов вёз нас на «Опеле». Дед взял двоих ремонтников — старшего, медленного, и щуплого — и повёл их к будке отбирать, что брать с собой, если тягач окажется «наш»: не всю будку, а то, что нужно для первого взгляда, ящик и лампу. Селиванов в это время сидел за рулём «Опеля» и подавал его к бочкам тылового хозяйства — Суров спал: он стоял в ночном охранении на точке, и я велел ему спать, а не спорить, и Селиванов сел на его место так,

как садятся на чужое место люди, которые понимают, что оно чужое: ничего не переставляя. «Опель» надо было заправить и вывести к воротам, и он это делал.

Я пошёл к Князю.

— Василий. Основной парк — здесь. Ты старший, при тебе водители и механики. Посты — свои, тыловые, но ты на них не надейся: свои двое у машин, круглосуточно. Мы — на «Опеле», четыре километра. Если тягач стоит и мы его берём — я пришлю кого-нибудь пешком, час ходу, и тогда ты отправляешь будку с ремонтниками и её водителем. Не раньше. Если через четыре часа никого нет — не ехать. Ждать. Послать на точку, к дежурному, сказать: Ракитин ушёл на боковой двор в четырёх километрах, не вернулся. Пусть решают они. Не ты.

— Понял, — сказал Князь. — А если он ездит?

— Тогда, — сказал я, — у тебя завтра будет во дворе на одну машину больше. Большую.

— Большую, — повторил Князь, и я увидел, как он представил.

Я стоял у ворот пилорамы, и «Опель» уже стоял рядом, заправленный, с Селивановым за рулём, и Фрол грузил людей, и Дед носил ящик, и во дворе, за штабелями досок, стояли наши три машины кругом, носами наружу, и Князь ходил между ними, как ходят по дому, — и я думал, что вот так дорога и выбирает добычу: не ты идёшь искать тягач, а тягач стоит в четырёх километрах от того места, где тебе велели стоять, и сапёр проходит мимо, и рассказывает, и всё.

Ты только должен быть готов, когда рассказывают. И иметь машину, чтобы доехать. И человека, который скажет «не сейчас», — и другого, который скажет «стоит».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.